ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР 1

1

1993

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. № 1 (813) Январь, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ОБРЕТАЕМ... Русская идея и новая российская государственность: проблемы, направления, перспективы. Обработка и подготовка материалов С. Николаева 3

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — **Стих о стихах духовных, или Прение о Руси** 44
ИВАН ОГАНОВ — **Песнь виноградаря осенью**, эпос. Главы из книги 50
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — **Прощание с поэзией**, стихи 132
БОРИС ЕКИМОВ — **Враг народа**, рассказ 134
АСАР ЭППЕЛЬ — **На траве двора**, рассказ 152
Д. А. ПРИГОВ — **Моя Россия**, стихи 168
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — **Дочь Бухары**, рассказ 172
ЕЛЕНА КРЮКОВА — **Мать Мария**, стихотворение 181

**НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ**

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ — **Стихи 1970—1980-х годов**. Перевод с польского и примечания Владимира Британишского 183

**ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ**

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — **Клюев в Италии** 187
ПЕТР ЧЕРКАСОВ — **Последний император** 189

**ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ**

ПИСЬМА М. И. ЦВЕТАЕВОЙ. Из архива П. П. Сувчинского. Публикация и комментарий Ю. Клюкина, В. Козового и Л. Мнухина 197

(См. на обороте)

МОСКВА 1993

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

**В МИРЕ ИСКУССТВА**

*Предварительные итоги XX века*

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — **Новая музыка № 6** 218

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ — **пРОЗА МИРА** 233

**ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ**

Ю. ШРЕЙДЕР — **Культура как фактор свободы** 242

КОРОТКО О КНИГАХ:

Юрий Кубланов̀ский.— Инна Лиснянская. Стихотворения. ♦
Юрий Ряшенцев.— Алексей Дидуров. Вариации. ♦
И. Слюсарева.— Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. Дон-Аминадо. Парадоксы жизни. Стихотворения, воспоминания, афоризмы. ♦
Е. Ознобкина.— I. Логос. Философско-литературный журнал. II. Ступени. Философский журнал. III. Новый круг. Ежеквартальный художественно-философский и культурологический журнал. IV. Путь. Международный философский журнал 247

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 255

SUMMARY 256

---

***Редакция «Нового мира» благодарит всех читателей, приславших свои пожертвования в фонд поддержки нашего журнала***

**К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ**

**Редакция располагает ограниченным количеством экспортного тиража «НОВОГО МИРА» (в специальной белой обложке) № 1—12 за 1992 год для розничной продажи. Цена договорная. Тел. (095) 200-08-29 (с 11.00 до 17.00)**

© Журнал «Новый мир», 1993.

# РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ОБРЕТАЕМ...

*«Мы живем, под собою не чуя страны» — эти слова поэта, сказанные в иное время, в иных исторических обстоятельствах, пожалуй, наиболее точно характеризуют нынешнее состояние нашего задерганного, измученного, лишенного едва ли не всех внутренних опор и утратившего едва ли не все ориентиры общества.*

*Крах коммунистической идеологии и тоталитарной власти обернулся крахом прежнего государства, безвластием, правовым хаосом. Разрушено традиционное культурное и экономическое пространство, вместо него — кровавые межнациональные войны. Эйфория последних месяцев 1991 года, вызванная августовскими событиями, вскоре же сменилась растерянностью, а затем и глубокой общественной депрессией. И это тоже результат того социокультурного шока, что пережили все мы, во всяком случае большинство из нас, после стремительного распада СССР.*

*Сегодня Россия (как, видимо, и все остальные недавние союзные республики, а теперь сопредельные суверенные государства) переживает болезненный период духовного брожения, самопознания и самоопределения. Вновь напряженно и мучительно переосмысливая свое прошлое, она ищет себя, ищет идеи, могущие стать фундаментом ее новой государственности и способные помочь ей обрести достойное ее великой истории место в современном мире.*

*Кто мы и откуда? Куда идем? Какой дом мы разрушили и какой собираемся воздвигнуть на прежнем месте? В чем коренятся наши грехи и заблуждения (в том числе и самые недавние)? возможно ли избежать их повторения? — все это лишь некоторые сущностные вопросы, возникшие сегодня перед всеми нами. Они ждут своего разрешения.*

*В 1992 году Международным фондом социально-экономических и политологических исследований («Горбачев — фонд») была проведена дискуссия на тему «Русская идея и новая российская государственность: проблемы, направления, перспективы». Вряд ли по существу своему, по содержанию эта тема может оставить равнодушным кого-либо из россиян и многих-многих нероссиян.*

*По существу и по содержанию. Другое дело — по форме. Другое потому, что дискуссии всех нас утомили — все мы ждем нынче дела. Дела, которое изменило бы к лучшему наше реальное положение. Дела, которое перестало бы быть обещанием, а стало бы самим собою. К тому же форма всегда множественнее, чем содержание, а во множестве труднее разобраться, сделать выбор, рассудить, что мне в том или ином содержании подходит, а что — ни в коем случае. Здесь нужно сказать, что форма, в которой осуществилась дискуссия, отличается не только культурой, но, пожалуй, даже и определенной изысканностью. В ней можно различить две особенности — ее историчность, поскольку большинство ее участников строили свои выступления на фактах как новейшей, так и отдаленной и древней истории, и элитарность, поскольку об этом говорит уже сам уровень подготовленности ее участников, весьма различных по убеждениям и собственной логике, и поскольку по ходу дискуссии не раз и не два прозвучала мысль о современной роли интеллигентной элиты, о необходимости ее выявления и обновления.*

*Редакция «Нового мира» с большим вниманием отнеслась к материалам дискуссии. Разумеется, мы не могли напечатать всю стенограмму целиком, ведь это не отчет, тем более не отчет формальный и исчерпывающий, а лишь тот журнальный вариант, который отвечает журналистским требованиям. Вариант это не устный, а печатный, из которого мы по мере возможности стремились исключить разговорность и свойственную ей многословность, повторяемость одной и той же мысли, а заодно и излишнюю, на наш взгляд, наукообразность. Далеко не все выступления здесь представлены — такой возможности, да, пожалуй, и необходимости, у нас не было.*

*Однако же, несмотря на все эти «ущемления авторских прав» и авторских же пожеланий, мы полагаем, что с достаточной объективностью, воздерживаясь пока от собственных суждений и оценок, представили читателям эту дискуссию, на наш взгляд, полно и всесторонне отражающую сегодняшнее состояние умов и самый широкий спектр ныне существующих общественно-политических воззрений и позиций.*

*И еще. Мы намеренно, дабы не препятствовать непосредственности читательского восприятия, не указывали должности, звания, принадлежности к той или иной партии, политическому движению или платформе участников дискуссии. Пусть уж высказанные ими позиции говорят сами за себя.*

# РУССКАЯ ИДЕЯ И НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ*

**А. С. ЦИПКО.**

Можно много говорить о причинах обвального, хаотического распада СССР, но, мне думается, одной из главных причин все-таки был идейный кризис. Ни одна из политических сил, начиная с периода перестройки, не сумела сформулировать содержательную, конструктивную концепцию, которая могла бы придать процессу ухода от коммунистического тоталитаризма какой-то цивилизованный, рациональный характер. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что обвинения в адрес Горбачева в том, что он не имел концепции, справедливы. В последнее время я общаюсь с людьми, которые имели отношение ко всей этой истории, которые вместе работали в горбачевской команде, и они подтверждают: какой-то концепции, которая работала на опережение, учитывала уникальную сложность процесса, действительно не было. Но надо сказать, что и противостоящая демократическая оппозиция тоже не выдвинула конструктивной концепции, той совокупности идей, которая придала бы процессу демократизации некий целенаправленный характер.

Демократическая позиция, я имею в виду радикальную позицию, в общем, была столь же догматична и примитивна, как и концепция коммунистическая. С той только разницей, что марксистскому, бетонному коммунистическому догматизму был противопоставлен демократический романтизм, по сути, в общем-то, довольно консервативный. Из всех способов решения социальных проблем, перед которыми стояла страна, был выбран самый простой и самый примитивный — путь разрушения. Отсюда эта убогая дилемма: или сохранить Союз в том виде, в каком он был, или как можно быстрее разрушить все до основания, как можно быстрее добиться, чтобы каждая советская социалистическая республика превратилась в независимое государство, и тем самым обеспечить ускоренный процесс демократизации. Как мы убедились, никто не учитывал ни структуру этой страны, ни реальные последствия распада. И в общем-то, ни один прогноз не оправдался. Стихийный распад страны не привел к желанной дружбе народов будущих демократических государств.

Теперь встает самый главный вопрос. Хорошо, после этого распада осталась Россия, остался какой-то центр бывшего Союза. Существует ли какая-либо возможность новой идейной и духовной консолидации этого образования, которая позволила бы выйти этому новому историческому образованию из кризиса? Вот основной мотив и основной вопрос.

Я глубоко убежден, что та держава, которая распалась, не была великой державой. В современном мире не может быть великой державой государство, которое держит в тюрьмах и психушках огромное количество людей, которое строится только на страхе и насилии. Но с другой стороны, я никак не могу согласиться с тем, что, вступая в новый исторический период, нам не нужно сильное государство, что идея государственности — это вообще обманная идея, что людям, живущим в этой стране, безразлично, где они живут. Я абсолютно не согласен с утверждением о том, что современного человека больше интересует, есть ли у него молоко и бензин, чем то, в каком государстве он существует.

Теперь еще одна дилемма: или права личности, или права государства. Но ведь никогда не было в истории Европы ни одного случая, чтобы права личности реализовывались без сильного государства. Это надуманное противопоставление. Проблема состоит в другом: какое необходимо государство — то, которое защищает права личности, или то, которое разрушает и подавляет права личности? Люди не выбирают между правами человека и государством, а выбирают между различными типами государства или вообще между различными государствами как таковыми.

Далее. Мы должны избавляться от старой марксистской традиции идти к жизни от понятий, от теоретических схем. В результате мы очень часто не столько анализируем реальную действительность, сколько навязываем ей априорные оценки, связанные с нашим эмоциональным сопереживанием отдельных понятий. Классический пример такой аберрации сознания — все наши рассуждения об СНГ. Слово «содружество» в данном случае — явная логическая ловушка. Оно скрывает подлинный деструктивный смысл минских соглашений. Содружество независимых государств может возникнуть только на основе объединения уже отколовшихся от России государств. Если в Минске произошло бы объединение на какой-либо основе России

© «Горбачев — фонд».

* Из выступлений участников дискуссии.

с прибалтийскими государствами, то тогда слово «содружество» имело бы какой-то смысл. В действительности же минская акция ускорила дезинтеграцию СССР, за один день превратила, например, Белоруссию в независимое государство, создала субъектов будущего возможного содружества.

Меня поразило, что когда после Минска вдруг появилось СНГ, то никто не анализировал, что́ реально произошло на предметном, субстратном уровне, что́ реально изменилось, а все комментарии шли на тему: нужно ли нам Содружество, будет ли прочно это Содружество? Но никто не спросил: действительно ли способствовал процесс распада созданию какого-то Содружества? И вот я думаю, что прежде всего чрезвычайно важно, чтобы мы научились видеть эту реальность предметно, как она существует. Я уже на третий день после Минска говорил о необратимости истории, необратимости перемен. Когда я начал внимательно следить за тем, что произошло, то обнаружил, что государства, может быть, и нет, а страна-то существует, несмотря на то, что все республики назвали себя суверенными государствами и Запад поспешил всех признать. Но ведь парадокс и одновременно трагедия состоит в том, что все же в значительной части страна сохранилась. Казахстан и Белоруссия не предпринимают каких-то решительных шагов, чтобы окончательно все разорвать, а ищут какого-то консенсуса, согласия с Россией. И я думаю, переход от понятийного исследования жизни на этот субстратный, предметный уровень мог бы в какой-то степени способствовать созданию более объективного образа действительности.

Я думаю, нам надо отказаться от закоренелой марксистской привычки оценивать действительность под углом зрения того, чего бы нам хотелось. Все эти годы все, что писалось, носило модальный, сослагательный характер. Никто не исходил из того, что в действительности возможно. Вспомните, как демократическая пресса писала о Горбачеве еще два года назад, утверждая, что он перешел на сторону реакционных сил, изменил демократии. Но никто никогда не писал: а что он смог сделать, совершая революцию сверху, в той критической политической ситуации, когда он имеет КГБ, когда он имеет генералов, зараженных коммунистическим догматизмом, когда у него объективно не хватает сил все это переломать? Я здесь говорю не о самом содержании наших статей, а о модальном стиле мышления, доставшегося нам в наследство от XVIII—XIX веков. Мы до сих пор оцениваем историю и события с точки зрения того, чего бы нам хотелось, но никогда не хотим исследовать, что возможно в данной конкретной исторической ситуации.

Было бы очень хорошо, если б мы сумели преодолеть рецидивы биполярного мышления. Последние митинги доказали, что нет существенной разницы между стилем мышления противостоящих друг другу группировок. Параллельные митинги, на мой взгляд, обнажили тайну нашей политической жизни. Сначала мы увидели Глеба Якунина, это вообще что-то несообразное — человек в рясе кричит: «Бейте, уберите Петрова!» А с другой стороны, такой же истерический крик Анпилова, который призывал: «Бей!» И все друг друга обвиняют в фашизме. Вот эта биполярность нашего политического мышления, по-моему, как раз и является проявлением глубокого духовного кризиса, в котором находится наше общество. Мы в своем анализе обязаны вырваться за рамки примитивного классового подхода, когда все общество делится на «наших» и «не наших».

И последнее. Нам всем надо учиться задавать вопросы, которые сами по себе в состоянии осветить всю нынешнюю политическую ситуацию под каким-то общим углом зрения. Когда я вчера смотрел программу «Новости», где говорилось об угрозе забастовки, то у меня, к примеру, возник самый банальный и простой вопрос. Государство распалось, потому что Горбачев и все руководство страны отказались от принципа насилия при решении политических проблем. Но сможет ли Ельцин обойтись без насилия? Не распадется ли Россия, если он не применит насилия? Что произойдет, если он применит насилие?

Существуют элементарные вопросы, которые сами по себе проясняют ситуацию. Мне кажется, нормальные люди могут учиться у истории по крайней мере тому, чего не надо делать. Если нам удастся организовать наш Центр, то я думаю, что и все проводимые в нем исследования будут вестись под этим углом зрения. Чего не надо делать? где наиболее вероятные зоны риска? в какие сферы нельзя вторгаться? — вот то минимальное, на что способен найти ответ человеческий разум и к чему можно стремиться. Обычно народы не учатся на своей истории. Но русские, как мне кажется, меньше всего готовы учиться у истории и делать из нее выводы. Поэтому если мы сможем способствовать пробуждению исторического самосознания народа, то сделаем великое дело.

Таковы некоторые целевые установки, которые я решился изложить.

**В. В. АКСЮЧИЦ.**

Давайте посмотрим, какие идеалы собрали людей у стен Белого дома. Безусловно, идеалы борьбы за свободу России. И эти идеалы выражались в таких символах, как двуглавый орел, трехцветный российский флаг, Георгий Победоносец, иконы и т. д. Это символы патриотического государственного возрождения. Руководство России, которое пришло к власти во многом благодаря опоре на эти символы, имело выбор: пойти по пути государственного патриотического возрождения или по другому пути. Были робкие попытки заявить такой путь, но затем радикальным образом от него отказались, и руководство России выбрало путь леворадикального популизма. Так был запущен маховик огромной разрушительной силы.

Когда мы мучительно думали, в чем же мотивы Ельцина и его команды при создании так называемого СНГ, мы пришли к выводу, что мотивы эти, к сожалению, очень прозаические — борьба за власть. Необходимо было всеми силами убрать Горбачева, а для этого нужно было разрушить союзное государство, сконструировать Российскую Федерацию как Россию и объявить ее границы окончательными. Вот примерная государственная концепция.

Это и завело механизм всеобщего разрушения. Я только укажу несколько явлений, которые, с одной стороны, общеизвестны, с другой же — мало кто имеет мужества и ответственности осознать их сполна. Прежде всего это полный правовой беспредел: заговор трех президентов разваливает огромное государство, Верховные Советы республик, ратифицируя соглашение об СНГ, по существу, отменяют конституции республик. Победила революционная целесообразность, и руководство России, демонстрируя полное беззаконие, цинично предлагает нам работать над основным законом — Конституцией. Затем, разрушение союзной государственности безусловно стимулирует расчленение Российской Федерации. СНГ — это ни в коем случае не концепция содружества, а концепция развала. Расчленение армии и захват новыми «суверенами» вооружений безусловно приведет к крупномасштабным войнам во всех регионах страны, в том числе и в Российской Федерации. Так называемая экономическая реформа тоже мотивирована в основном концепцией леворадикального популизма.

Я прихожу к выводу, что основной метод политической деятельности российского руководства — это разводить руками и говорить: «Ну что же поделаешь». Скажем, сначала уверяют: нет, не отдадим Крым, Черноморский флот; а затем разводят руками — не воевать же за них. На встрече с Ельциным я сказал: «Борис Николаевич, осознает ли высшее руководство Российской Федерации, против кого по логике развития истории теперь будут направлены двадцать дивизий бывшей Советской Армии, которые реквизировала Украина?» На что Борис Николаевич сказал: «Никаких двадцати дивизий. Мы договорились согласовывать все эти вопросы и решать вместе, кому и сколько дивизий». А потом развел руками и сказал: «Ну что же поделаешь, забрали двадцать дивизий». То же самое по поводу всего остального. Я говорил: «Борис Николаевич, вы должны отдавать себе отчет, что теперь начнут сыпаться наши автономии, которые заявили о вхождении, о присоединении к союзному договору, а теперь будут рваться в СНГ?» Борис Николаевич даже стукнул по столу и сказал: «Назовите мне хотя бы один пример такой автономии». Мы ахнули: как минимум — Чечня и Татарстан. Борис Николаевич сказал, что нет, ни в коем случае мы этого не позволим. А теперь опять все разводят руками и говорят: не воевать же.

И так во всем: по принципу «ну что поделаешь» идет развал страны. Объективность требует назвать вещи своими именами: наше правительство, может быть, оно этого и не хочет, может быть, оно к этому не стремится, но оно является правительством национально-государственного унижения и предательства. Какой же выход из этого? Выход из катастрофы и духовной, и экономической, и политической только один — всеми силами приостановить распад российской государственности, распад государства. И для этого необходимо, с одной стороны, отказаться от этой монополии политической доктрины леворадикального популизма, от леворадикальной политической утопии. Только это, с другой стороны, позволит предотвратить скатывание общества далеко вправо. Концепция российской государственности, возрождения российской государственности — это единственная концепция, которая сейчас может мобилизовать здоровые силы страны и предотвратить катастрофу. Какие шаги и какие методы мы видим в проведении этой концепции?

Прежде всего признать полную нежизнеспособность СНГ. Не нужно обманывать себя и других и делать вид, что происходит какая-то честная игра. Во-вторых, необходимо объявить РСФСР правопреемницей Советского Союза и Российской империи, но не для того, чтобы конституировать эту искусственную территорию с искусственными ленинско-сталинскими границами в качестве России, но только для

того, чтобы на ее основе возрождать российскую государственность. Конечно же, встает вопрос о границах. Я совсем не понимаю, почему правительство, как было сказано, «по понятным причинам» не может ставить вопрос о границах. Мне, например, непонятны эти причины. Пусть бы правительство объяснило нам, каковы эти понятные причины. Эти границы абсолютно произвольны. И если немецкий народ стремился воссоединиться в единое государство и весь мир это понимал, то совершенно непонятно, почему в это же самое время русский народ нужно расчленять на множество разных государств и почему эти причины должны быть понятными. Таким образом, непризнание границ в то же время не означает территориальных претензий и захватов. Это означает, что все мы вошли в длительный переходный период, когда необходимо решать спорные вопросы с помощью всего арсенала политических средств, включая и референдумы на спорных территориях.

Далее. Воссоединение тех территорий, которые этого пожелают, с Российской Федерацией. Тоже, естественно, не насильственными, но политическими средствами.

Всеми силами предотвратить распад бывшей союзной армии, объявить ее под юрисдикцией Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза, ибо распад армии в конечном итоге заблокирует все реформы во всех областях жизни — и экономические и политические. Безусловно, российское руководство должно осознать, что оно является руководством России, и поэтому оно должно защищать российские национально-государственные интересы, а не некую утопию, либо интересы каких-то других государств. И среди прочего обязано защищать русских и русскоязычное население на всех других территориях бывшего Союза.

Эта концепция совершенно реальна. Но она реальна только тогда, когда будет радикально сменен политический и экономический курс российского руководства, а это, в свою очередь, невозможно без замены правительственной команды.

**О. Р. ЛАЦИС.**

Мне кажется, нынешняя дискуссия показывает, что мы, как и все наше общество, не очень готовы к выдвижению каких-то конструктивных идей. Очень легко и, как правило, справедливо мы критикуем окружающее безобразие, но очень мало готовы что-то предложить. Но, может быть, в этой ситуации полезно в качестве первого шага прежде всего определить, где именно наибольшие слабости в нашем понимании ситуации, что у нас хуже всего понято и что хуже всего определено. Характерно в этом отношении наше поведение в момент беловежских соглашений. Я думаю, не в том дело, что не так как-то понимали, не так как-то осознавали трагедию происшедшего распада Союза или преувеличивали созидательную роль Содружества. А дело в том, что ничего другого просто не могли выговорить в тот момент. У меня, например, было просто ощущение ужаса от случившейся трагедии и в то же время невозможности выступить против нее прямо. Прежде всего потому, что Союз распался не в тот момент, когда это было провозглашено, в Пуще. Союз, конечно, был разрушен в августе. Это бесспорно. Была надежда, что Ельцин будет способствовать его возрождению или сохранению, но скорее он должен был создать его заново. Не смог он или не захотел, это другой вопрос, но фундамент Союза был разрушен до того, как лидеры России, Украины и Белоруссии собрались в Беловежской пуще. И единственное, что оставалось, это рассчитывать опять же прежде всего на Ельцина как на, к сожалению, едва ли не единственную цементирующую силу и на его шаги по созданию чего-то нового, не важно чего — Содружества так Содружества. И это действительно было не важно, ибо при всем том, что государство разрушено, страна осталась, страна вечна и будет всегда, и она в конце концов должна была найти для себя какое-то новое государственное естество. И нравится это кому-то или нет, но человек ответственный будет стремиться если не способствовать, то хотя бы не мешать какому-то новому государственному созиданию.

Но тут возникает много вопросов. Например, мы говорим — Россия, русские, русская идея. Что такое Россия? Ну, конечно, Россия — это не Российская Федерация. Россия — это Российская империя или ее наследник, Советский Союз. Но ежели это так, то постановка вопроса о защите русских, русского или русскоязычного населения в республиках СНГ, постановка вопроса о праве на единство России, аналогичная праву, скажем, немецкого народа на единство Германии, сразу предстает перед нами как весьма странная идея. Русская идея, конечно, совсем не то, что немецкая идея. Русская идея — это идея народа, который являлся в течение нескольких веков строителем многонационального государства, пусть даже империи. И конечно, аналогия с Германией здесь никакой критики не выдерживает. Здесь гораздо ближе аналогия, к сожалению, с Югославией. И с возможностью кровавой трагедии, если мы будем об этом забывать. Русская идея никак иначе не может

проводиться в жизнь. Только так. Тут ставили вопрос о том, решится Ельцин применить силу или не решится. Это, по-моему, не вопрос. Совершенно очевидно на примере, скажем, Латвии, что представление о том, что ОМОН может выступать защитником русского населения, достаточно наглядно и весьма неприятным образом опровергнуто. Трагедия заключается в том, что как раз, скажем, интерфронты в Прибалтике эффективнейшим образом действовали против интересов русскоязычного населения, точно так же как национальные фронты, к сожалению, сегодня весьма эффективно действуют против интересов коренного населения. Но то же самое в тех или иных ситуациях может происходить и в России.

Другими словами, когда мы призываем к возрождению русской или российской государственности, то мы уже никак не сможем ограничиться простым призывом к реализации этой благой идеи. Придется использовать силу. Но приведет ли это к ожидаемому результату? По-моему, многие без всяких на то оснований полагают, что Советский Союз распался потому, что Горбачев не решился применить силу. Но так ли это? Он распался потому, что Горбачев не убедил достаточно наглядным образом все республики, что Союз больше не будет империей, скрепляемой силой и кровью. Он как раз не дал себе труда разрушить глубочайшее подозрение у народов, что это будет именно старая империя, сталинская или царская, какая угодно, но старая империя. А в такой империи никто жить не хочет, в том числе и русские люди.

Самая большая проблема, конечно, это проблема понимания роли государства. И мы должны начать с того, что для самих себя уяснить, что оно состоит не в том, что кто-то за государство или против государства, а в том, какое государство и для чего. Естественным образом получается сейчас, так же как получилось в семнадцатом году, что, к сожалению, наиболее реакционная функция государственной власти, функция реализации корыстных интересов каких-то правящих классов, уничтожается позже и труднее всего. Сначала уничтожаются наиболее полезные функции государства. И это как раз произошло у нас. Государственная идея не получит никакой народной поддержки, пока она не предстанет как идея созидательная, конструктивная, полезная и нужная каждому человеку. Как идея государства подавляющего, государства как центра насилия и реализации корыстных интересов она никого не увлечет. Совершенно не важно, будет ли это идея социалистической государственности или русской (впрочем, конечно, это по-разному обернется, но не решающим образом). Объясните мне, зачем вообще необходимо государство? Для того, чтобы сохранять монополии какие-то, для того, чтобы вести какие-то игры с ценами, или для того, чтобы я хорошо жил? После этого я могу начинать говорить о том, как я к этому государству отношусь.

Если взять экономическую сторону и вспомнить, что делало государство в период нэпа, то, к сожалению, у нас сейчас достаточно сильно представлено только то, чем занимался в свое время наркомфин Сокольников. Он восстанавливал или создавал заново деньги — рубль. Но тогда, кроме него, действовали еще председатель Госплана Кржижановский, председатель ВСНХ Рыков, потом Дзержинский, создатель синдикатов Ногин, наркомвнешторг Красин. Все эти люди активнейшим образом создавали нечто реальное, некие механизмы, и нам сейчас стоило бы вспомнить и рассказать, загибая пальцы, что они делали. А делали они то, чего сейчас не делается. И это, может быть, больше всего и тормозит реформы.

Многие вещи, конечно, в конце концов возникнут сами по себе, на основе рыночного автоматизма и восстановления функции денег, только произойдет это к тому времени, когда нас уже не будет. Поэтому надо уже сегодня что-то делать, и этим должно заниматься государство. Больше некому. У нас же почему-то остается господствующим нелепое противопоставление: государственная идея — реакционна, антигосударственная — демократична. И с этого места мы сдвинуться никак не можем.

Сейчас подвергается критике чрезмерная власть прессы. Но можно ли считать эту власть чрезмерной, если пресса не властна даже над своим собственным существованием на ближайшие недели и месяцы? И вообще дело вовсе не в прессе, а в неразвитости политической системы. Влияние прессы, мне кажется, является естественным следствием того, что у нас нет партийной структуры. У нас партий так много, что их, в общем-то, на самом деле нет. И ежели депутаты могут проголосовать так или иначе на основании того, что́ они сего́дня утром в статье прочитали, это значит, что наши депутаты не объединены ни в какие организации, заслуживающие наименования партии. Это не депутаты, не партии, и это, конечно, огромнейшая прореха в нашей политической системе.

Посмотрите, что получается: мы не знаем, что такое русская идея, Россия, не знаем, чего мы хотим от государства, не знаем, какова должна быть партийная система, какова должна быть экономическая функция государства.

Возвращаясь к вопросам национального устройства, нельзя не видеть, что правительство не имеет ни малейшей возможности ставить вопрос о границах, это смертельный вопрос, это, как я уже говорил, вопрос далеко не тождественный вопросу о германском единстве, и ответ на него — югославский, а не германский. И с другой стороны, невозможно не ставить вопрос о русской государственности и о российской государственности. Невозможно примириться и с тем, что Россия — это РСФСР. Это, конечно, неправда. Этого никогда не было и скорее всего никогда не будет. И здесь, наверное, самый трудный вопрос. Мы должны все-таки найти какое-то решение, и, может быть, оно в том, что мы просто должны выйти из этой плоскости, ибо в ней нет решения. Мы не можем ставить вопрос о границах и не можем не ставить. Мы не можем говорить о том, что российское государство — это русское государство, ибо тогда это Московское княжество первой половины XV века, до взятия Казани. Мы не можем отказаться от всего того, что создано русской и российской государственностью во все последующие века. И не можем добиваться восстановления этой государственности на основе подчинения, простого подчинения других народов российской власти на прежней имперской основе. Мы должны придумать что-то другое, что-то на основе идей XXI века, на основе того опыта, который создает Западная Европа, что-то такое найти, чего у нас еще не было, потому что в рамках тех идей, которые были, решения нет, это очевидно. И искать ключ к этим проблемам, что тоже очевидно, надо как можно быстрее. Их решение нельзя откладывать.

**Д. В. ДРАГУНСКИЙ.**

Мне кажется, что наши разговоры идут в рамках не совсем полного понимания того, что действительно происходит. Мы сейчас существуем в какой-то нереальной ситуации. Вот пример. Когда про события в Чечне, или про события в Татарстане, или про события в Крыму, на Украине говорят, что это мины замедленного действия, это довольно смешно, потому что эти мины уже с успехом взорвались и продолжают рваться и рвать нашу страну, а мы все говорим, что они замедленного действия. Может быть, это психологическая самозащита? Ведь как приятно назвать такие события миной замедленного действия, потому что это позволяет нам без конца пугать друг друга, не замечая, что самое страшное уже случилось.

В выступлениях экспертов-публицистов, журналистов, как очень точно сказал Отто Лацис, нет никаких более или менее конструктивных попыток нарисовать желательную и вместе с тем реалистичную перспективу нашей жизни. Доминируют в основном прогнозы деструктивного характера, своего рода Кассандрины пророчества, которые почти всегда сбываются.

Мне бы хотелось остановиться на двух вещах. Во-первых, на так называемой русской государственной идее. Когда говорят о русской государственной идее, у меня по коже пробегает легкий мороз. Потому что на самом деле это просто идея Российской империи, не более того и не менее. Это великая идея. Но я думаю, что любому человеку, хотя бы поверхностно знакомому с историей СССР, как ее преподавали у нас в школе, совершенно ясно, что эта идея неосуществима. Почему существовала Российская империя? Потому что в ней велась планомерная политика русификации всех проживающих на ее территории народов, формировался уникальный этнический, этнокультурный замес, формировалось, если можно так сказать, русскоязычное христианизированное наднациональное имперское пространство. После подписания ленинско-сталинского союзного договора стали интенсивно формироваться нации на территории нашей страны, а уж коль скоро сформировались нации со своей экономикой, со своими творческими, научными, политическими и какими хотите элитами, со своим национальным сознанием, то сейчас говорить всерьез о возможности реконструкции империи в границах, скажем, 1917 года совершенно нереально. В своих выступлениях представители русских государственническо-патриотических кругов говорят, что народ — это живое тело и его нельзя резать. А вот только ли русский народ такое живое тело? Я думаю, что и казахская, татарская и любая другая нация, она тоже живое тело, и всякие манипуляции с ней чреваты соответствующей, весьма жесткой ответной реакцией. И поэтому когда говорят о необходимости русской государственности, надо, с одной стороны, согласиться — действительно, России нужна государственность. Но, с другой стороны, может быть, стоило бы подойти к этому вопросу не тривиально.

Мы не первые столкнулись с процессом распада империи. Есть богатый мировой опыт, который следовало бы учитывать. Но судите сами: великий Рим, который

обнимал полмира, вернулся назад в Италию. То же примерно произошло с Византийской империей, с империей Александра Македонского, с империей Саладина, с романоязычными колониальными империями. Все они в итоге оказались Италией, Турцией, Грецией, Францией, Великобританией, Испанией и т. д. Не исключено, что России придется восстанавливаться на своем собственном, исконно русском пространстве, которое с запада ограничено Украиной и Прибалтикой, а с востока — недавно созданной федерацией Большая Волга (как вы знаете, недавно несколько областей плюс национальные автономии Поволжья объявили о таком союзе). И я думаю, что в таком исходе истории Российской империи не будет ничего ужасного и ничего оскорбительного, потому что когда говорят, что русское национальное самосознание уязвлено, например, маневрами Украины вокруг Крыма, или поведением генерала Дудаева, или милимеджлисом в Татарстане, то мне хочется спросить: что же русское национальное самосознание не уязвится тем, что мы живем в скотских бытовых условиях, что в 40 процентах роддомов на территории России нет горячей воды, а в 30 процентах — никакой вообще воды? Это русское национальное самосознание почему-то терпит. Но когда в Татарстане собирается миллимеджлис, тут русское национальное самосознание становится на дыбы. Очевидно, роль прессы, роль «паблик релейшнс» нашего нового правительства, заключается в том, чтобы начать кампанию по какой-то моральной переориентации русского национального самосознания. Забудем, господа, о панславизме, об империи Белого царя, о тайге и о Британских морях. Займемся восстановлением российской государственности на наших исконных российских территориях.

Понимаете, в чем дело? Когда говорят, что кто-то разрушил СССР, забывают, что в действительности он совершенно замечательно разрушился сам — благодаря той региональной конструкции, которая была заложена в него в ходе его строительства. Имеют ли смысл разговоры о едином экономическом пространстве, если ни один человек из здесь присутствующих, ни из господ, заседающих в Госплане, не может мне сказать, какова доля продукции местной промышленности в местных же магазинах. Желающий должен пойти на оптовую базу и там выяснять, потому что статистикой не ведется даже такого учета.

Что же касается наших железных дорог с их замечательными встречными перевозками, нефтепроводов и прочих объектов, которые создают иллюзию общего экономического пространства, то на деле все это можно назвать инфраструктурным насилием над довольно большим количеством более или менее автаркичных регионов. И пока мы сейчас здесь говорим о русской идее, в это время пермская фабрика Гознака печатает уральские деньги, а в Армении печатают айки и гаки. И в каждом регионе возникает своя проблема денег.

Пора прощаться со зловредным мифом великодержавия. Он нам не поможет. Конечно, мы сможем выполоскать в крови примерно три четверти России и все остальные новосозданные суверенные государства и еще на полгода восстановить «Союз нерушимый». Кому от этого будет легче, я не знаю.

Теперь что касается наших экономических реформ и будут ли в связи с этой шоковой терапией какие-то народные волнения.

Мне думается, что экономические реформы в нашей стране безусловно удадутся. И они уже сейчас удаются. Маленькие пространства жизни при реформах уже возникают. Когда реформы победят, то есть когда правительство сведет дебет с кредитом, спрос с предложением и конвертирует рубль, то в ситуации экономических реформ будет жить примерно одна десятая населения. Одна десятая населения будет работать на современных предприятиях западного образца, получать достойную зарплату, покупать доброкачественные товары, обладать вполне доброкачественным социальным страхованием, медобслуживанием, образованием для детей, иметь машины, хорошие дома и прочее. Этот круг будет, естественно, потихоньку расширяться. Задача государства должна заключаться в том, чтобы этот круг не был разрушен обездоленными массами. В этой связи особую роль в осуществлении реформ предстоит сыграть нашей армии. И армии надо тоже будет как-то ценностно перевооружаться. В нашей армии за семьдесят лет до сих пор еще не изжит дух рабоче-крестьянской Красной Армии, «защитницы голодных и обездоленных». Я думаю, что далеко не случайно офицеры живут в таких омерзительных, бесчеловечных условиях. И если командир батальона живет в бараке, в одной комнатушке с женой, тремя детьми и тещей, то совершенно ясно, против кого он поведет свой батальон. Против проклятых мироедов-кооператоров, а не против людей, которые хотят этих мироедов-кооператоров разгромить. Мне думается, что армия должна в нашей стране стать — и обязательно станет — привилегированным классом, задачей которого будет сохранять порядок в этой стране. А сохранять в стране порядок — это

значит защищать зону экономических реформ, зону благополучия от зоны неблагополучия.

Я понимаю, что это звучит крайне жестоко, но что же делать? Мы вступаем в железный век, и нам нужно пройти через него достойно. А чтобы пройти через него достойно, необходимо хотя бы интуитивно понимать, что для этого придется забыть про фантомы типа «великая, единая, неделимая Россия», в которой царствует социальная справедливость.

**А. М. САЛМИ́Н.**

Я хочу сосредоточиться на проблеме СНГ, хотя есть масса других интересных тем. Не случайно, видимо, несмотря на то, что привилегированная тема сегодня — последствия экономической реформы, но посвящена все-таки наша дискуссия по сути проблемам государственности, а также проблемам содружества-сообщества тех государственных или квазигосударственных образований, которые существуют сейчас на территории нашей страны.

Действительно, экономические проблемы без предварительного или хотя бы одновременного решения проблемы государственности не то чтобы осложнены, они по-своему абсурдны. И дело не только в том, что, как говорят, при неправедной власти и земля не родит (может быть, это и не так или не всегда так), но главным образом в том, что без некоего образа государственности (не говорю уж о государственности реальной) просто не может быть последовательной экономической политики, да и всякой иной тоже.

Постараюсь разложить, насколько это возможно, нашу ситуацию на некие элементы. Что мы имеем? Говорят — объективное единство страны. Видимо, да, но какое единство, что это такое? Я думаю, то психологическое единство, о котором мы очень часто говорим как об основном формообразующем, цементирующем нашу страну начале, имеет некие распознаваемые и поддающиеся анализу конкретные черты. Правда, элементы единства, как «круги Эйлера», частично накладываются друг на друга, что создает соблазн искать в «зоне наибольшего затемнения» какой-то один элемент или фактор. Итак, круги. Первый — язык. Конечно, русский язык — родной у половины населения бывшего СССР, второй язык у многих, у значительной части населения, у тех, кто по паспорту русскими не является. Язык — это еще и некое славянское языковое поле: возможность без перевода общаться, понимать и быть понятым в огромной, не только собственно русской части государства. Это, наконец, алфавит, азбука, каким бы странным ни показалось это заявление. Конечно, сейчас алфавиты кое-где меняются, кое-где уже поменялись — я имею в виду Молдову и, возможно, некоторые азиатские республики. Но и при этом алфавит остается очень важным фактором, тем более что поменять его сейчас (скажем, на латиницу или арабскую вязь) в Азии, к примеру, куда сложнее, чем в 20—30-е годы: иной уровень грамотности. Так вот, кириллица выделяет значительную часть (не всю, конечно, кроме Армении и Грузии, Прибалтики, теперь и Молдовы) нашей страны из окружающего мира, не изолируя при этом полностью (кириллица на Балканах плюс греко-латино-славянское родство). И в то же время она делает более прозрачными друг для друга разнородные культуры (кириллица делает внятным звучание слов, а иногда и смысл фраз при огромном количестве заимствований из европейских языков, из русского в языках других семей) — это важный фактор. Следующий круг — православие как религия, которая объединяет не только славянские народы, но и Грузию, Молдову, часть тюркских, угро-финских и других народов, скажем, более широкий круг — восточное христианство в более широком понимании, включающий и Армению тоже. Еще один круг — культура. В узком смысле слова — долговременная история совместного существования и неопределенное чувство общности, за которым на самом деле стоят совершенно реальные структуры: этнические пересечения, слияния, единство или сходство хозяйственного уклада, обусловленного единством почвы и климата при различии религиозных архетипов (например, русские и татары Поволжья).

Все эти факторы создают деконцентрированную, но все же достаточно плотную центральную зону, обеспечивающую ее доминирование в государстве. И как всякая плотная масса, она является центром притяжения. И уже по законам чисто геополитического и геоисторического конструирования к этой зоне естественно тяготеют государства, которые нуждаются (нуждались, во всяком случае) в защите, в экономических контактах и т. д. То есть и экономическая география вмешивается сюда. Еще один круг — правовое пространство. Как бы ни оценивали нашу правовую систему, как бы ни пытались ее преобразовать в нечто лучшее, но этот правовой менталитет, да еще воплощенный в кодексах, все же един на всей территории страны.

Наконец, экономика. Об этом долго вообще говорить не буду. Рублевая зона, которая худо-бедно, но все-таки действует и, наверное, будет еще действовать на территории страны, хозяйственный комплекс и т. д.

Так что же из этого следует? Много и ничего. Из этого ровным счетом ничего не следует в политической области, по крайней мере «круги Эйлера» автоматически не гарантируют политического единства и даже не убеждают в его необходимости. Из этого не следует также (я думаю, здесь не должно быть никаких иллюзий) ни необходимости экономического единства, ни необходимости признанного «узаконенного» культурного единства. Но кое-что из этого все-таки следует.

Следует, видимо, сохранение потребности в некоем единстве, в том, чтобы не расходиться слишком далеко, до тех пор, конечно, пока люди не начинают осознанно или подсознательно действовать назло другим и себе во вред. Из этого следует, кроме того, невозможность безболезненного разделения для всех сторон. Так уж устроена эта страна, наша страна.

Почему же отсутствуют достаточные условия, которые эти предпосылки не позволяют, как это бывало в прошлом, соединить и создать или воссоздать единство на территории нашей страны? Я говорю сейчас не о типе единства, а просто о стабилизации нормальных отношений в этой геополитической зоне.

Видимо, проблема связана с генезисом самого российского государства. Оно идеократическое по своему происхождению, как, впрочем, значительная часть, если не большинство самобытных государств на определенном этапе своего развития. Но вопрос тут в фазе. Оно возникло как сакральная монархия, космополитическая, то есть в известном смысле внеконфессиональная и вненациональная. На смену этой идее пришла столь же космополитическая коммунистическая идея. Сейчас, на мой взгляд, когда у нас говорят, что мы можем выйти из нашей разрухи на путях создания национального государства, то очень важно понять, о каком национальном государстве мы говорим. Мы ведь, не ведая того, прошли в какой-то степени эту фазу национального государства. Мы не заметили, что для нас коммунистическая государственность была функционально «исполняющей обязанности» того национального государства, которое существовало в Европе.

«Национальная государственность» пришла к нам под псевдонимом. Но о какой национальной государственности идет речь? Не об этнической государственности, не об этнонации, а о национальной государственности, как в Европе, которая была реакцией на «старый порядок», на иерархическую структуру «старого порядка». Ведь национальное государство — это не только государство одного языка, одного этноса, это еще и определенным образом понимаемая логика внутреннего — социального и политического — устройства. Это ощущение государства как «моего тела», приходящее на смену «старорежимному» ощущению его как «тела короля» (французское определение XVII века: «нация растворяется в личности короля»). Патриотическое ощущение своей истории поверх узкоэтнических различий, сквозь них, интегрируя их. Вот что такое национальное государство. И эту фазу мы прошли, как ни странно, под названием Союза Советских Социалистических Республик.

Это не сообразно ничему на свете, но именно так это получилось, потому что мы вошли в поток мировой истории на определенном этапе его развития и увлеклись определенными идеями. Это в какой-то степени расплата за наше более глубокое прошлое. Россия, попытавшаяся заглотить (и успешно это сделавшая) целый ряд этнически чужеродных, заведомо чужеродных единиц, как то: Польшу, Финляндию, часть Средней Азии (Ташкент и все, что юго-восточнее его),— расплатилась за эту «жадность» тем, от чего предостерегали в свое время славянофилы: явной разнородностью государственного состава, провоцировавшей центробежные тенденции и там, где неоднородность не была явной или постепенно сглаживалась бы в иных обстоятельствах. За свою разнородность Россия расплатилась тем, что именно здесь коммунистическая идея укоренилась в большей степени, чем, может быть, она имела бы возможность укорениться, и сама поддерживалась длительное время этой самой необходимостью удерживать сложившееся экономически и геополитически государство в состоянии единства.

И вот сейчас — расплата. Как быть? Что нам делать? Идти дальше по пути национального самоопределения? Но это будет либо (если мы пойдем по пути территориального развития) попытка поддерживать достаточно нежизнеспособные сущности, к числу которых относятся, к сожалению, и Российская Федерация и остальные государства (на данном этапе по крайней мере), либо развитие в сторону этнонационализма, то есть гарантированная (я боюсь определенных выводов, но все-таки здесь, я думаю, вы согласитесь), более или менее гарантированная этническая гекатомба и воссоздание, по сути дела, большого государства, но на путях крови, огня и железа. Как попытаться выйти из этого положения?

Как ни печально это сознавать, сейчас у нас нет, если отвлечься от этнонационализма, никакой государственной идеи, кроме, разумеется, идеи силы и страха. Но это идеи не для всех. Точнее, у нас есть идея силы, а не сама сила, а страх не для всех. Скажем, китайская угроза — что́ она для Украины или для Белоруссии, по крайней мере сегодня? Или исламский фактор для Прибалтики и Молдовы?

Смысл таких собраний, как у нас, если они будут продолжаться (а я считаю, что имеет смысл их продолжить), состоит в том, чтобы в интеллектуально-политической среде проговорить те вещи, которые завтра будут говориться в парламенте, на улицах и т. д. И наметить́ способы взаимодействия идей, может быть, расходящихся. Создать какую-то единую концепцию невозможно, никому никогда не удавалось это сделать, а вот создать язык, на котором мы могли бы говорить на чуть более высоком уровне, чем говорили раньше, эта задача, наверное, вполне разрешима.

Нам надо попытаться создать рамки решения проблемы, чтобы блокировать тупиковое и опасное развитие идеи национального и этнического самоутверждения. Видимо, сейчас нам надо в самом деле (как ни грустно это осознавать, и мне особенно, потому что, пока был цел Союз, я стоял на позициях сохранения его) использовать собственно национально-государственную, но, подчеркиваю, не этнически-государственную, не этнически-национальную, идею, то есть ориентироваться на государственные образования в той мере, в какой они возникли,— до определенного предела.

Видимо, учитывая объективную ситуацию, нам необходима система сообществ. СНГ — это едва ли нечто большее, чем ликвидационный комитет прежней государственности. И едва ли мы сделаем из этого СНГ что-то: родовой грех какой-то на нем. Как возникла эта структура, так она и будет существовать. Видимо, надо дать ей возможность сделать то, что она делает: безболезненно разделить армию. А большее она не сделает, эта структура уже запуталась в своих проблемах. Нельзя в одной области одной и той же структуре быть конструктивной и деструктивной, одной частью души ненавидеть, а другой любить своего ближнего. Так бывает очень редко. Но вот система сообществ — это, быть может, наименее болезненная попытка выйти из этого положения. Какая же система сообществ возможна? Система двухсторонних, многосторонних связей, быть может, асимметричных. Система специализированных связей в различных областях жизни: экономике, культуре, политике и т. д. Система трансгосударственных отношений, в том числе экономических. Быть может, даже попытка создать некое сообщество, в которое могли бы войти на равных правах с существующими достаточно условными республиками все те, кто туда захочет войти. Хотя бы и автономии, если они хотят войти в некое наднациональное образование, транснациональное: надо дать им эту возможность, но не в рамках СНГ, а в каком-то другом сообществе, не отменяющем СНГ, а существующем рядом с ним, в ином измерении.

Возможно и некое сообщество, в котором были бы объединены этнические советы типа Конгресса украинского народа, которые объективно существуют на территории нашей страны и которым необходимо существовать поверх национальных границ, иначе они просто не выполнят своих функций. Сейчас создана масса таких этнических ассоциаций, союзов, конгрессов и т. д.

Я думаю, что этот путь, если мы не хотим пройти через этап войны всех против всех, наиболее не скажу реальный, но, по крайней мере, обоснованный, такой, ради которого стоит что-то предпринять. Потому что в противном случае кто-то может, например, выйдя из СССР сам, не захотеть отпустить свои автономии. А это будет означать либо их подавление и скорее всего диктатуру, либо то, что они уйдут не спросясь, просто уйдут, и тогда большие и не очень большие республики (Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Молдова) развалятся. Вот альтернатива со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых и говорить не очень хочется.

И чтобы закончить, скажу: речь идет, по сути, о такой системе сообществ, которая отвечает нынешнему положению вещей, она неадекватна той объективной общности, тем «кругам Эйлера», о которых я говорил, но и не альтернативна ей.

Объективное ощущение страны, видимо, действительно может реализоваться не в ущерб идее этнического самоутверждения, а в какой-то степени опираясь на эту идею.

**Б. А. ЗУБОВ.**

Последние месяцы, последний год государственный процесс, идущий в стране, которую еще недавно называли Советским Союзом, шел главным образом по линии национальных движений, национальных сепаратизмов. Единственный народ, который хранил, в общем-то, молчание и оставался поразительно индифферентным к этому процессу, это народ русский. Причем не только там, где он находится в большинстве, где ему еще, в общем-то, можно спать спокойно, но и там, где русский

этнос является меньшинством, меньшинством дискриминируемым, лишающимся многих гражданских прав. То, что кое-где, скажем в Приднестровье, этот этнос начинает кристаллизоваться и ведет себя более-менее активно, это исключение, которое только подчеркивает правило, утверждающееся повсюду — от Тувы и Средней Азии вплоть до Прибалтики.

В чем же дело? Я думаю, что реальность этого факта объясняется не моментом дня, не особенностями наследия большевистского режима, а намного более широким историческим спектром, без которого мы просто не поймем до конца, почему русское этническое сознание почти безмолвствует, дремлет.

Чтобы увидеть, каково наше сознание, каково этническое русское сознание, чем оно отличается от сознания других этносов государства Российского, для этого надо совершить некий экскурс в давнее прошлое, я имею в виду прошлое, отстоящее от нас на несколько столетий.

Русский этнический фактор, в общем-то, практически всегда оказывался подчиненным другому фактору — государственному. Я бы сказал, что в системе массового сознания этноцентризм был подчинен этативной государственной идее. И это не случайно. Это особенность любого имперского народа, любого народа, который является цементирующим началом империи. Мы не заметим этнического сознания, ярко выраженного этнического сознания, скажем, в греческом населении Византийской империи буквально до палеологовской эпохи, и только уже после латинского королевства в Константинополе, после его падения, начинается подъем эллинофильства и Византийская империя начинает осмыслять себя как империя греческая, а не только и не столько как вселенская. Заметим, что момент этот был последним моментом в истории Византийского государства и палеологовская династия была последней династией Византии.

Подобным же образом и в России. Буквально с тех пор, когда начинает складываться империя, а я думаю, что империя в России начинает складываться с момента завоевания Иваном IV Астрахани и Казани, то есть с середины XVI века, с этого времени этнический фактор уходит на задний план, заменяясь на короткое время фактором религиозного православного единства, а с Петром I — идеей государства как такового, империи как таковой. И хотя до третьего раздела Польши, то есть до 1795 года, Российское государство было более-менее однорелигиозным, поскольку большинство населения составляли православные жители Украины, Белоруссии и России, а иные этнические группы, скажем, жители Лифляндии, Выборга, Поволжья, Крыма, находились в явном меньшинстве, тем не менее идея национальная и даже идея религиозная не выдвигалась. На первое место ставилась идея расширения государственности. Этатизм подчинял себе этноцентризм.

Как почти в любом государстве, претендующем на имперский статус, знать, правящее сословие рекрутировалось не только из великорусской нации и даже не только из трех восточнославянских этносов, но и из широкого спектра этнических групп: первоначально литовской и татарской, потом в значительной степени немецкой и даже шведской и польской. Знать Российской империи была имперской по своей природе. Империя подчиняла себе этнос. Я не говорю, хорошо это или плохо. Но иначе империю не построишь. Империя, строящаяся на этническом начале, содержит неизбежное противоречие в самом своем основании. Такая империя лишена созидательного начала и изначально обречена на распад.

Однако должен сказать, что идея этноцентризма все же постоянно скрыто, как бы подпольно присутствовала в сознании строителей Российской империи. Так, в 1764 году в одном из своих посланий генерал-прокурору князю Вяземскому Екатерина II указывала на необходимость уважительного и осторожного обращения с национальными чувствами населения Малороссии, Лифляндии и Финляндии. Но здесь же не забывала добавить, что «сии провинции, также Смоленскую надлежит мягчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеться, как волки в лесу».

Таким образом, вы видите как бы две тенденции складывающейся российской государственности: с одной стороны — этатизм, признающий множество этносов и религиозных групп, с другой — подпольное стремление к унификации путем русификации.

Надо сказать, что наиболее явственно принцип превалирования этатизма над национализмом, принцип принесения этнического в жертву имперскому начинает доминировать в российской политике после 1815 года, после Венского конгресса, когда в царствование Александра I и при царствовании Николая Павловича Россия действительно становится империей в полном смысле этого слова. Именно тогда произносятся Николаем I замечательные слова о том, что он не делит своих подданных на русских, евреев или немцев, а делит их только на верных и неверных.

В беседе с Самариным Николай I, отвечая на высказанные опасения об угрозе онемечивания русского и латышского населения, заметил, что его задача состоит не в том, чтобы бороться с чьим-то влиянием путем насильственной русификации, а в том, «чтобы привлечь к себе немцев любовью. Без этого государство не создастся».

По всей видимости, такая модель имперской политики была подорвана величайшим российским поражением в 1855—1856 годах в Крымской войне. Из этой войны Россия выходит иной, и начинается поиск новой идентификации, новой самоорганизации. Как и сейчас, после нашего поражения в холодной войне, путь самоустроения многим виделся в следовании западным государственным формам, в русле западного экономического и политического либерализма, постепенной подготовки парламентских структур, судебной реформы и т. д.

Александр II отказался от одностороннего этатизма, имперская проблема как бы вообще уходит на второй план. Главенствующее положение в обществе занимает проблема либеральных реформ. Однако либеральные реформы очень быстро стали пробуксовывать как раз в этнической сфере. Этническая программа, не меньше известная, чем программа, скажем, эмансипации крестьянства, предполагала в первую очередь возвращение статуса самоуправляющейся государственности Польше. И реформы маркиза Велепольского, поддержанные Александром II, должны были обеспечить возвращение Польше того статуса, который был дан ей на Венском конгрессе, то есть статуса королевства в составе Российской империи. Однако эти либеральные реформы по демократизации, автономизации Польши вызвали не подъем прорусских настроений, а активизацию как раз настроений антирусских и антиимперских и привели в конечном счете к известному и печальному польскому восстанию 1863 года.

Первые либеральные реформы, которые потерпели крах в Российском государстве, это были реформы этногосударственные. Александр II после этого раз и навсегда отказался от решения этнических проблем, от планов предоставления Польше и другим территориям прав самоуправления. С этого момента начинает активно проводиться в жизнь политика этнического национализма.

Если для екатерининской и александровской империи был характерен этатизм, то для умирающей империи характерен этноцентризм. И один за другим предпринимаются шаги с целью русифицировать и оправославить население империи. Не хочется здесь перечислять направленные на это многочисленные акты. Но все же назовем хотя бы некоторые. Это и акт 1876 года о запрещении использования малорусского языка, акт о запрещении судопроизводства в Балтийских провинциях на немецком языке и переводе его на русский язык и акт о закрытии частных немецких школ в Риге и Ревеле, акт о закрытии примерно полутысячи армянских школ в Закавказье и акт 1903 года о конфискации национальных сокровищ Армении, замечательные по своей противоположности николаевским реформам акты антиеврейского направления, предпринятые при Александре II и Александре III: были введены квоты на еврейское образование 10 процентами от абитуриентов в черте оседлости, 5 процентами от всех абитуриентов в остальной России, 3 процентами от всех абитуриентов в Москве и Санкт-Петербурге.

Все эти меры были призваны русифицировать империю, придать ей некую национальную однородность. Реакция была прямо противоположной. Как писал профессор Погодин: «Подобно тому как исламское возрождение в Турции возвратило почти уже угасший сербский и болгарский национализм, точно так же попытка русификации... империи выгнула ветки подъема национализма по всей империи».

Впрочем, процесс сдерживался экономическим моментом. Дело в том, что в отличие от современных националистов национальные деятели наиболее развитых наций империи, в частности поляки и финны, прекрасно осознавали те выгоды, которые единство с империей давало польской, финской или балтийской экономике. К примеру, после восстания в 1863 году поляки боролись уже не столько за независимость от России, сколько за снятие таможенных барьеров между Польшей и Россией, за возможность бестаможенного, беспошлинного вывоза товаров из Польши в Российскую империю. Постепенно меняется даже позиция польских политических партий. Главная национально-демократическая партия Польши, возглавляемая Романом Дмовским, начиная с 1898 года принимает Устав, в котором отказывается от принципов борьбы за восстановление независимости Польши и предлагает вести борьбу только за автономную Польшу в составе Российской империи.

Главная опасность для последних польских националистов была в том, что в Польше, по их словам, произошел сговор самого худшего сорта со всем русским обществом. И вот этот экономический момент до некоторой степени мог бы компенсировать собой политику этноцентризма, проводимую в России в конце

прошлого — начале нашего века. Однако этноцентризм перехлестнул все возможные границы. И если в 1905—1906 годах этнические меньшинства консолидировались вокруг хотя бы конституционно-демократической партии, то к моменту начала первой мировой войны положение еще более осложнилось. Победа блока 17 октября и «Союза русского народа» в III Государственной думе заставила большинство этнических групп отойти от поддержки единой русской государственности. Больно и грустно вспоминать, как наиболее трезво мыслящие польские политики вплоть до 1916 года пытались убедить русскую администрацию и самого Николая II в том, что необходимо как можно быстрее дать внутреннее самоуправление Польше ради того, чтобы Польша не отпала вовсе. Этого сделано не было. Комиссия по автономизации Польши, учрежденная в 1916 году, безрезультатно проработала вплоть до февральской революции. Таким образом, постепенно русский этноцентризм подготовил развал империи, которым успешно воспользовались большевики.

Не случайно лидеры русского государственного начала, которое было в то время сконцентрировано в основном в конституционно-демократической партии, говорили, что путь этноцентризма и русификации безумен и преступен. Прекрасно об этом сказал в III Думе спикер кадетской партии Милюков: «Истинный патриотизм должен быть российским патриотизмом, а не патриотизмом великорусским. Если вы на место этого российского государственного патриотизма хотите поставить наш великорусский, то вместо органического единства, к которому мы стремимся, вы можете получить только механический агломерат центробежных стремлений, который вам придется насильственно искусственно поддерживать. И вы придете к результату, противоположному вашим намерениям. Вы из великой империи сделаете колосс на глиняных ногах».

Итак, к 1917 году Россия распалась. Россия распалась в первую очередь потому, что центр, русский центр, отказался быть имперским центром, пожелал быть центром национальным. Не большевики со своим «вплоть до полного отделения», не эсэры со своей крайней федерализацией России, но именно русские государственные мужи активизировали процесс распада русского государства. Когда большевики пришли к власти в 1917 году, этноцентризм опять замещается этатизмом, этатизмом очень жестким. Не надо думать, что, объявив право наций на самоопределение вплоть до полного отделения, большевики реально хотели дать самоопределение и независимость хотя бы одной нации. Любят вспоминать Финляндию. Но предоставив Финляндии в декабре 1917 года независимость, большевики уже в январе 1918-го выделили из казны Советской России колоссальные средства для организации социалистического восстания в Финляндии. Русским полкам, остававшимся в Финляндии, через комиссаров был дан приказ выступить на стороне социал-демократии против националистического правительства. Только оккупация Финляндии Германией привела к тому, что эта страна смогла обеспечить себе независимость.

Ленин, видимо, имея определенные договоры с Германией, не решался первое время открыто попирать зыбкую государственность народов бывшей империи. Зато он с успехом начал это делать в девятнадцатом году. Имперский этатизм вновь возрождается в Советской России, но после второй мировой войны он опять подменяется этническим национализмом. И как раз этнический национализм после второй мировой войны, ограничение в правах многих этносов привели к тому, что российская государственность из абсолютной монархии сталинского прошлого превратилась в феодальную брежневскую монархию, где этнические элиты замкнулись в своих республиках. Это облегчило им потом борьбу с горбачевскими инициативами, с горбачевской перестройкой ради сохранения себя и своих прав на местах. Я думаю, что для всех совершенно очевидно, что распад государства произошел на самом деле не потому, что восстали народы, а потому, что партийные элиты, обособившиеся в своих республиках, решили воспользоваться этим последним и отчаянным средством в борьбе с влиянием Москвы.

В Москве ситуация была иной. В Москве центр, естественно, не мог бороться с Горбачевым, с перестройкой путем сецессии, борьба шла в другом направлении, в направлении восстановления советской государственности. Та государственность, которую пыталась восстановить старая элита в Москве, была государственностью советской. Поэтому не случайно: если митинги в Киеве за свою государственность проходили под желто-голубыми знаменами, то митинги в Москве в поддержку идеи государственности проходят сейчас под знаменами красными.

И здесь надо заметить такой момент, отличающий этнический русский национализм от национализма, скажем, украинского или любого другого. Украинский этнический национализм мыслит себя пределами Украины, хотя и не только в пределах расселения украинской народности. События в Крыму этому явное и очевидное доказательство. Русский этнический национализм видит своим государ-

ством не Российскую Федерацию, а Советский Союз, Российскую империю. Если для Армении своя ниша — это Армения плюс Карабах, если для Украины ниша — это Украина, если для Азербайджана — это Азербайджан плюс Карабах, то для России, для русского этнического сознания своя ниша — все старое распавшееся государство.

Может ли современное этническое сознание русских примириться с Российской Федерацией? По всей видимости, нет! По двум причинам. Во-первых, потому, что само ельцинское государство перебрасывает мост в то прошлое, когда Россия была в два раза больше, чем она сейчас является в виде Российской Федерации. Во-вторых, потому, что огромное количество русскоязычного населения живет за пределами сегодняшних российских границ, и именно оно дает основание считать российское имперское чувство, в общем-то, реальным чувством, определенным реальными же границами расселения этноса. Поэтому любое государство, заключенное в рамки Российской Федерации, по всей видимости, будет политически нестабильным. Оно будет стремиться или к полному распаду, или к восстановлению каких-то более широких границ.

Как прогноз можно предположить следующее. Большинство русских против того, чтобы Россия была этническим государством. Мартовский опрос показывает, что лозунг «Россия — для русских!», лозунг Жириновского, поддержали 13 процентов москвичей. В то же время отрицательно относятся к этому лозунгу 69 процентов. Я думаю, что в некоторых областях процент может быть иным, скажем в Псковской или Смоленской, но размерности, в общем-то, те же самые.

И таким образом, для нас есть две возможности. Есть возможность этатического решения проблемы, то есть государственности как таковой, где национальное — лишь элемент государственной структуры. Это путь строительства государства, если угодно, строительства империи. Есть иной путь — путь этнического государства. Это путь распада остатков Российской Федерации и, по всей видимости, полной анархии на территории всего бывшего Советского Союза. Надо иметь в виду, что в настоящее время примерно половина россиян поддерживает большевистские лозунги. В этой ситуации очень легко этатистскую идею, наиболее конструктивную, перехватывают силы коммунистические. Единственная возможность не допустить этого перехвата — перебросить мост не в социалистическое прошлое единого государства, а в прошлое более раннее. Попытка же противопоставить этатизму этноцентризм непродуктивна в связи с тем, что этноцентризм приведет к полнейшему распаду нашей государственности.

Итак, думается, что перед нами стоит следующая альтернатива: или большевизм и этатизм без демократии, или демократия и этатизм без этноцентрализма. Этноцентрализм толкнет большинство людей в объятия того режима, который здесь правил до 1991 года. Поэтому необходимо отделить интересы этнические от интересов государственных. Соединение же этих моментов бесспорно оттолкнет все остальные народы от русских, и никакого государства мы не только не возродим, но даже не сохраним то, что имеем.

**В. Д. СОЛОВЕЙ.**

В сегодняшнем обсуждении я хотел бы остановиться только на трех вопросах: что такое русскость, совместимы ли русские национальные ценности с ценностями демократическими и каковы политические перспективы русского национализма. Сразу хочу оговориться, что в термин «национализм» я не вкладываю априорно негативное содержание. Национализм я понимаю как объективно существующую тенденцию, характер и направленность которой могут быть различны.

Несколько месяцев назад я в составе группы коллег, куда входили историки, этнологи, социологи, готовил специальный доклад о русском национальном сознании в современных условиях. Кстати, я могу сказать, что эта тема практически не разработана. У нас нет ни одной серьезной научной работы на этот счет. Я не буду приводить всю систему аргументаций и выкладок, а просто остановлюсь на конечных результатах.

Мы пришли к выводу, что русское национальное сознание базируется на трех китах, которые можно определить так: религиозный характер идеологии, государственническое начало и собственно этническое начало. (Собственно этническое начало — это лишь одна из составляющих.)

Теперь более подробно о каждом из них. Религиозный характер идеологии. Я категорически не согласен с распространенными в последнее время утверждениями, что советское общество было обществом атеистическим. Оно никогда таковым не было. Оно было обществом квазирелигиозным, где роль религии выполнял марксизм. Обрушение марксизма, обрушение очень неумелое, дало мощнейший

социокультурный шок и привело к образованию ценностного вакуума. Из этого следует, что образование новой русской или российской идеологии должно базироваться не только на интересах, но и на ценностях, естественно, ценностях надрациональных, а не на иррациональных. И это потребует выдвижения надрациональных целей и задач, глобальных по своему характеру и, возможно, мессианских оттенков.

Единственное, что не только не пропало за годы советской власти, но и укрепилось, это государственническое начало, причем оно во многом приняло, я бы сказал, гипертрофированный характер. Социологические исследования показывают, что для русских государство является не просто базовой, фундаментальной, но именно сакральной ценностью. Причем крайне любопытно то, как это державное сознание локализовано. Если до перестройки русские в большинстве своем называли своей родиной СССР, то сейчас из этого понятия выпадает Средняя Азия. Вот что любопытно. Остается славянская триада, Казахстан, отчасти Прибалтика. То есть локализация державного сознания меняется.

С этим державным сознанием напрямую связан стереотип авторитарно-харизматической власти. Интересы не транслируются через партию. Русские хотят видеть во главе государства сильного лидера. Не важно количество партий, важно, чтобы во главе государства стоял сильный лидер.

Наконец, собственно этническое начало. Парадокс России заключается в том, что даже в предреволюционные годы русское этническое сознание как таковое не сформировалось, не приобрело отчетливых, законченных форм. Русские были нацией имперской, они были православными, но собственно русскими они себя ощущали в меньшей степени. Это, на мой взгляд, огромная беда России. Сейчас, конечно, этническое сознание обрушено до предела. Поэтому бояться вспышки этнонационализма, на мой взгляд, не надо. Чтобы был этнонационализм, нужно, чтобы существовало какое-то этническое сознание. Оно сейчас существует на уровне инстинкта, этнической солидарности со своими соотечественниками. Инстинкт такой прослеживается.

Если же говорить о противопоставлении этатизма этнонационализму, то надо признать, что невозможно пробудить этатистское государственническое чувство, точнее направить его в какое-то русло, не обращаясь к национальным инстинктам, которые могут сыграть мобилизующую роль.

Вопрос другой: совместимы ли русские национальные ценности или, скажем, русский национализм с идеей демократии и либерализма? Почему бы и нет. Конечно, совместимы. Ведь демократическая традиция присутствовала в истории России. Она ослабевала, усиливалась, но она была. Парадокс же заключается в том, что наряду с демократической традицией не было традиции либеральной, то есть Россия, если хотите, была страной демократической, но страной внелиберальной, не антилиберальной, а именно внелиберальной. Либерализм лежит как бы вне плоскости русского сознания, вне плоскости русского менталитета.

Исходя из этого, представляется маловероятной задача формирования гражданского общества сейчас, в ближайшее время. Это проблема очень отдаленного будущего. Я не знаю, разрешима она в принципе или нет. Я думаю, что политики должны ставить перед собой более реальные задачи. Какие более реальные? Формирование здорового, нормального патерналистского государства, которое должно включать элементы демократии, либерализма, парламентаризма и зиждиться на корпоративизме и сильной центральной власти при широком самоуправлении. Вот что должно быть, на мой взгляд, задачей сегодняшнего дня в плане политическом, в плане государственного строительства.

Как будет складываться дальнейшая политическая судьба русского национализма? Русские националисты оказались сейчас во внесистемной оппозиции. Уже это определяет логику их поведения. Они понимают, что прийти к власти самостоятельно они не в состоянии — для этого нет сил. Значит, необходим блок. С кем? С Жириновским? Они на этот блок никогда не пойдут. У них остается только один потенциальный союзник — это необольшевики. Хотя использовать этот термин «необольшевики» глупо — в этих «необольшевиках» большевистского уже ничего не осталось. Их экономические и политические программы здорово отличаются от того, что в принципе несли большевики и марксисты. Достаточно посмотреть, что они пишут, и послушать их на митингах.

Сегодня такой блок уже существует. Его цель — проведение всевозможных политических акций: демонстраций, общеполитической забастовки (политической стачки), референдума о досрочном прекращении полномочий президента и т. д. То есть вызов бросается уже не правительству, а политическому режиму как таковому.

Думаю, что наиболее плодотворным и благоприятным для судеб страны мог бы стать союз русских националистов в их умеренной части с демократами-государственниками. Но, на мой взгляд, сейчас он практически почти невозможен.

**И. В. АРТЕМОВ.**

Хочу сказать немного об исторических аспектах русской идеи.

Да, действительно в истории России и в истории русского народа государственное всегда доминировало над национальным. Но тогда возникает вопрос: если русский народ такой государственный и государственная идеология в нем доминирует, почему сейчас, когда это государство распалось, русский народ молчит? Говорят все. Говорят даже те народы, о которых мы раньше-то и не слышали. А вот русские молчат. Я думаю, происходит это потому, что в сознании людей, что бы мы с вами здесь ни говорили об СНГ или о чем-то еще, Советский Союз сохраняется. Но Советский Союз не как социалистическое государство, а как некое традиционное Российское государство.

Сейчас в сознании даже левых социалистических групп, партий и организаций все больше образ СССР сливается с образом великой тысячелетней Российской державы. Это бесспорно. Русские молчат, потому что они пока в своем сознании живут в СССР, потому что летают самолеты, ходят поезда, действует почта и т. д.

Единственный пример, который, казалось бы, мой тезис опровергает, это Приднестровье. Почему же поднялся народ в Приднестровье? Ведь там славян только 60 процентов, 30 процентов молдаван живут на этой стороне Днестра. Поднялся потому, что Молдавия собирается объединяться с Румынией. И как только возникла идея, что молдаване уходят в другое государство, уходят в совершенно иную систему ценностей, тут вот народ и восстал.

И еще о чем я хочу сказать. Русское сознание, даже если оно и государственное, остается таким пассивным, только пока русские де-факто правят, пока русские де-факто являются основой этого государства. Если этот момент будет исчезать, то русское самосознание проявит себя активно.

Русские как этнос государственный, имперский привыкли традиционно передавать функцию национальной самозащиты власти, государству. И по-прежнему, после того как уже исчез горбачевский центр, остается центр российский, который в сознании людей по-прежнему тот же самый русский центр. Русские во всех регионах ждут, когда этот центр скажет свое слово, когда он начнет нас защищать.

И вот сейчас в различных регионах русские произносят слово «измена». Русские произносят это слово «измена», хотя пока они сами этого слова боятся. Они пока сами боятся осознать то, что их предали. Но тем не менее это так, их действительно предали. И сознание того, что правительство совершило предательство, в первый момент кого угодно поставит в тупик. Оно и поставило в тупик. А что же нам, собственно, делать? Мы оказались в чудовищной катастрофической ситуации, когда все, во что мы верили, все, чем мы жили, все вдруг ушло из-под ног, его больше нет.

И здесь возможны два варианта. Либо мы идем к смерти, к катастрофе, когда нация просто теряет все, превращается в стадо и исчезает. Исчезает в десятках «суверенных и независимых» государств. Либо — второй вариант — появляется новая идеологема. Сейчас в России только одна идеология способна еще что-то спасти. Это идеология национальная, это идеология русского национализма. И я даже не стану этот термин смягчать. Именно идеология русского национализма.

Мы сейчас живем в мире, где у России практически нет друзей. Ни Запад, Европа и Соединенные Штаты, за исключением, может быть, нескольких небольших европейских государств, ни Восток России не дружественны. Как только исчезает сильная Россия, появляется масса желающих воспользоваться этой территорией, этим пространством и, наконец, духовными, эстетическими силами этого народа. И если враг с Запада осуществляет экспансию экономическую, культурную, то есть еще одна реальная угроза. Сейчас демографическая ситуация в России такова, что мы находимся у той черты, за которой может начаться просто физическое исчезновение русских как нации и замена ее на этом геополитическом пространстве среднеазиатско-кавказско-мусульманским этносом. Этот этнос реально может заменить русских на их территории. И здесь должен сыграть свою роль просто и инстинкт национального самосохранения.

Я не хочу сейчас касаться проблемы евразийства, должен лишь сказать, что, по-моему, русскую идеологию евразийство будет устраивать только до той степени, до которой не будет исчезать русская национальная доминанта.

В каких условиях возможно возрождение нации? Безусловно необходима элита. Элита должна быть чистой. Когда произошел распад государства союзного, СССР, мы с вами стали свидетелями феномена. Все нации, даже самые маленькие, оказалось, обладают своей национальной элитой. Да, эта элита имеет свое происхождение,

корни ее уходят в КПСС. Татарская элита, башкирская, грузинская, какая угодно, вышла из КПСС. Как только распались КПСС и государство, эти элиты стали отстаивать национальные интересы. Ну а русская — почему нет? Все те, кто мог бы составить русскую элиту, рассеялись. Одни ушли в лагерь западников, другие ушли куда-то еще. И, в общем, в значительной мере русский народ оказался в тяжелой ситуации.

Но нет худа без добра. Может быть, оно и благо. Элита, которая поставит себе какие-то высокие задачи национальные, я думаю, что она должна действительно быть чистой. Если, скажем, перед литовской элитой задача стоит очень узкая, как я себе ее представляю, я не хочу обидеть литовцев, я просто пытаюсь понять, что они могут получить — маленькое государство, которое будет посредником между Востоком и Западом. Это их дело. Если это их идеал, пусть они строят такое государство. Для русских-то этот идеал не подходит. Русским нужна великая идея, глобальная идея. И могла ли та наша элита русская, условно по паспорту русская, возглавить национальное движение? Нет, конечно, не могла. В результате, когда нас обвиняют в том, что вы были с коммунистами, должен вам заявить абсолютно, что мы никогда не были с коммунистами. Вообще патриотизм, русский национализм как таковой, он в истории имеет очень слабые корни. Когда началась перестройка, часть людей, которые сейчас являются национал-патриотами, просто сердцем почувствовали — что-то не так, не правы западники, которые говорят: все, что было у нас семьдесят лет и до того, плохо, давайте на Запад смотреть и ориентироваться. Не правы коммунисты, которые говорят: давайте оставим все как есть. Ни те, ни другие не правы. Но кто, собственно, прав? У русского национализма не было территории как таковой. Идеологии русского национализма не было. Ее и сейчас еще нет. Сейчас идет процесс формирования этого национализма.

Русский национализм будет строиться скорее всего на признании неких основ государственного устройства, языка, политической системы. Но ни в коем случае не будет уничтожать право народов, которые входят в это государство, на самобытность, на их самоидентификацию.

Я думаю, что тот вариант, который существовал в Российской империи, не был совершенным. Но политическое единство, единое государство, губернское устройство и культурно-национальная автономия всех народов — этот вариант нам наиболее близок. Наиболее близок нам в наших целях и задачах. Что касается вопроса территориального, то, я думаю, здесь можно подходить к нему и прагматически. Сейчас в России нет реальных сил, возможностей да и, наверное, желания осваивать юг. Я имею в виду прежде всего Среднюю Азию и Кавказ. Это не значит, что мы должны уйти оттуда, что это не сфера наших интересов. И тем не менее оставаться сейчас в одном государстве с ними нет никакого смысла. Физически мы должны оттуда уйти.

Ядро России — это три славянских республики, это Северный Казахстан. Я говорю Северный Казахстан, но эти земли традиционно были казачьими. Приднестровье. Что касается проблем, которые сейчас возникают с Украиной, я думаю, что конфликт этот возникает исключительно между администрацией Ельцина и администрацией Кравчука.

Когда кто-то сказал о том, что украинский национализм локализует себя пределами Украины, я должен вам сказать, что меня это очень долго огорчало. Но вот сейчас я вдруг стал замечать в идеологии многих украинских националистических организаций ту самую имперскую русскую идею. Вот русские не смогли, а мы, Украина, мы Русь восстановим, эту державу, и все земли юга России вплоть до Хабаровска — это наши украинские земли. Вы знаете, меня не пугает такая идеология. Она меня очень радует, потому что это то, на чем сойдутся русские и украинские националисты. Это великая идея, которая позволит объединиться нам, русским, в Великую Малороссию, в том, что мы — русские, украинцы, и мы — русские, великомалороссы, белорусы. Мы объединимся и создадим синтетическую идеологию, которая не будет ни восточной, ни западной. Россия — это особая цивилизация, особый мир. И вот та самая великая задача, наша сверхзадача, наверное, в этом заключается. В том, что эта идеология будет идеологией создания великой самобытной цивилизации, которая необязательно будет себя кому-то противопоставлять, допустим Востоку мусульманскому или технократическому Западу. Но это будет самодостаточная цивилизация, наверное, призванная привести весь мир к какому-то другому, более высокому уровню.

Это задача некоего духовного лидерства. Россия должна создать новый тип цивилизации в области и духовной, и культурной, и в том числе экономической, технократической.

**И. Б. РОЙТМАН.**

Для меня понятие «нация» всегда было связано с понятием государственности. И поэтому, мне кажется, тот процесс, который произошел в нашей стране, не сходен с процессами, происходившими, допустим, при развале Британской империи или других колониальных империй. Он сходен скорее с тем, что произошло в Германии после сорок пятого года. То есть, несмотря на большое количество этносов, населяющих нашу страну, мне все-таки представляется, что она на протяжении веков формировала и сформировала единую нацию...

Мне бы хотелось остановиться вот на чем. Если мы посмотрим на Россию, то увидим, что действительно Россия отличается от других государств тем, что здесь всегда первым было Слово. Когда образовывалось государство на рубеже XV—XVI веков, когда перед властью встала задача, как униженный веками народ, не осознающий себя единым и самостоятельным, превратить в нечто цельное и двинуть его развитие дальше, то здесь нашелся замечательный идеологический ход. Появилась замечательная теория: Москва есть третий Рим. (Хотя ей предшествовало известное сказание о князьях владимирских.) Это действительно было очень важным явлением.

Давайте себе представим, давайте подумаем на тему о том, что тому самому народу, который еще не забыл, как какие-то золотоордынские хулиганы захватили в плен великого князя и брали выкуп за него (это унижение, большое унижение), народу, который только что кое-как объединился в нечто целое, вдруг предлагается идея великодержавия, мистическая идея происхождения его государей от римского императора. И эта идея отныне должна определять его будущее. Очень интересный идеологический ход, который и обусловил развитие Российского государства. Кстати говоря, по логике вещей на основании этой идеи государство уже не могло строиться как моноэтническое, как узконациональное. Потому что генеалогическое древо его государей, которое они сами себе избрали, сразу предполагало, что государство должно и будет носить надэтнический характер. Оно должно выступать объединяющим центром всех населяющих его народов, которые и станут формировать единую нацию.

Этот процесс шел фактически на протяжении всех веков, пока не достиг своей критической точки, которая приходится на период Октябрьской революции и гражданской войны. Тогда начался распад. И здесь опять же я хочу сказать, что страна не погибла, переживая вот этот процесс, во многом похожий на наш; опять нашлась эта объединительная идея, которая восстановила единую российскую государственность.

Вся борьба, которая шла внутри большевистской партии и о которой так много говорят, борьба между Сталиным, Троцким и прочими,— это борьба, как я себе ее представляю, между большевиками — представителями идеи мировой революции и сторонниками воссоздания и формирования национального государства. Для меня идея бухаринско-сталинского построения социализма в одной стране и является вот этой самой идеей восстановления российской государственности, которая начала осуществляться. Я сейчас не беру все стороны, которые связаны с происходившим процессом, но я представляю себе, что эта идея построения социализма в одной стране была использована теми людьми, которые поняли необходимость восстановления российского национального государства. И эту идею осуществляли.

Проблема, преследовавшая нас на протяжении всех последующих лет, была проблемой идеологии, которая не совпадала с этой осуществляемой идеей. Идеологию взяли из зарубежных источников и так и не сумели приспособить ее к новой восстановительной идее российской государственности.

Вот это несоответствие идеологии и действительности в итоге привело к тому страшному внутреннему конфликту, который сегодня мы опять переживаем.

**В. Г. МОРОВ.**

Я бы хотел вернуться к докладу Бориса Андреевича Зубова. Там, с моей точки зрения, есть одна весьма плодотворная идея. Речь идет о том, что национально-культурное самоопределение, или, если угодно, национальное самосознание русского народа как народа, всегда формировалось на некоторой дистанции от того, что мы называем государственным строительством, государственным самоопределением, государственным определением этого же народа. Разумеется, связь существует. Но дистанция есть всегда.

И русская государственность никогда не мыслилась, не формировалась и не существовала как моноэтническая государственность. Совершенно очевидно, что Россия всегда осознавала и мыслила себя как империя. Это имело место до начала XX столетия, с этим никто спорить, я полагаю, не станет. Это создавало определенные трудности в процессе исторического бытия, исторического существования страны. Дело в том, что иной раз распад государства, государственности далеко не

сразу осознавался в России как национальная катастрофа, как национальная трагедия.

Собственно, именно это и произошло у нас в 1917 году, когда в феврале практически рухнула российская государственность, а как национальная катастрофа это более или менее широко в России было осмыслено и осознано только к началу 1920 года.

Первая попытка ответственного построения новой государственности, той государственности, которая вырастала, если хотите, на фоне вот этого больного, задетого национального сознания, имела место лишь в 1920 году во врангелевском Крыму. Все. До той поры государственные эксперименты, иной раз весьма жестокие государственные эксперименты, непосредственной реакции национального сознания, непосредственной реакции нации как таковой не имели. Кстати, за счет этой дистанции большевики сумели создать некий репрессивный аппарат, назовем его пока таким образом, и попросту удержаться у власти.

Когда в этом зале говорилось о том, что в 1917 году произошла революция, которая вскоре реставрировала традиционные формы российской государственности, то мне это представляется не более чем, простите, идеологией московских интеллигентских кухонь. Всякий человек, который элементарным образом представляет себе реальную историю России, я полагаю, не дерзнет отождествить традиционные формы российской государственности, существовавшей до 1917 года, с тем, что в этой стране произошло после.

Я не могу понять, о какой русской государственности после 1917 года можно вести речь, если в 20-е годы в стране были практически уничтожены все традиционные сословия и социальные группы в исконном, органическом значении этого слова. Обратите внимание, абсолютно все. В России перестало существовать крестьянство как крестьянство, пролетариат, или, если хотите, рабочий класс, как рабочий класс, ибо то, что появилось на его месте под названием рабочего класса, только в кошмарном сне можно считать реальным представителем рабочего сословия. Было уничтожено дворянство, купечество, то есть практически было уничтожено абсолютно все.

Более того, в 20-е же годы новый режим уничтожил практически все социальные слои, которые при случае, я подчеркиваю, потенциально были в состоянии на себя взять ношу и бремя государственной ответственности. Обратите внимание, что ведь это совсем не случайно, что именно в 20-е годы один за другим следуют процессы: лицеистов, правоведов, выпускников Морского корпуса и т. д. Разумеется, некие фрагменты сохранились. Но они функционировали уже в другой системе, в ином политическом, социальном, экономическом единстве.

Александр Иванович Герцен в своей работе «С того берега» справедливо отметил, что если некие фрагменты культуры переживают свой век, то они могут существовать и функционировать как фрагменты в некой другой системе. Но принцип сходного единства, животворящего единства утрачивается.

Ситуация трагическая по той простой причине, что русская культура как таковая в сущности оказалась уничтоженной. И русская государственность уничтоженной. В своем биологическом измерении русская нация еще существует. Но мы оказались перед лицом катастрофы.

Была сформирована система власти, тотальная система власти, которая в принципе постепенно разлагала любую органическую целостность, любое органическое единство, существующее в этой стране на территории прежней России. В какой-то момент этот опыт завершился успехом.

Сейчас я бы не хотел обсуждать проблему, почему коммунизм пал, в связи с чем. Это нас увело бы слишком далеко. Я бы хотел поговорить о грядущих перспективах нашего развития здесь вот, на территории бывшего Советского Союза. Перспективы весьма и весьма печальные. Собственно, каковы могут быть перспективы у демократии как таковой? Мы все прекрасно понимаем, что демократия возникает только там, где существует органически структурированное общество, когда само понятие представительной власти и представительных форм правления приобретает какой-то реальный смысл, когда человек, избранный в парламент, кого-то представляет. Сказать, что наши парламентарии кого-то представляют, я полагаю, очень трудно. Когда говорят, что меня избрал участок в 300 тысяч душ, то это демагогическая формула. Все мы прекрасно понимаем, что никакими реальными обязательствами перед своими избирателями этот человек не связан. Кого депутаты могут представлять? Они могут представлять, разумеется, осколки, остатки рухнувшей системы либо самих себя.

И вот любопытная деталь. Я не перестаю удивляться тому, что делается в нашей стране. Мы все прекрасно понимаем, что любая представительная форма правления

без права собственности — это фикция. И вот наш парламент, наш высший законодательный орган, проваливает соответствующий закон о земле. При этом утверждает, что он будет верен демократическим изменениям в стране, что он будет строить демократию, Бог знает что еще.

Дальше. Коль скоро не существует вот этих органически сложившихся структур, исторически сложившихся структур, то, вне всякого сомнения, о патерналистском государстве, о патерналистском правлении в этой стране тоже бессмысленно вести речь.

Всякий патернализм зиждется на серьезных традициях. Традициях, органически существующих и не прерванных. Где вы видите на сегодняшний день в нынешней России эти органические традиции не прерванными? Их нужно для начала каким-то образом восстановить. Эти традиции утеряны. У нас не существует не только традиций законодательствования, не существует и собственно исполнительной власти в строгом смысле этого понятия. В стране элементарным образом недостает чиновников. Чиновников в нормальном смысле слова. Не путайте их с теми, которые идеологически и организационно обслуживали прежний партийный режим. Я имею в виду не партноменклатуру, а государственных чиновников — их нет. Непонятно на сегодняшний день, где их взять.

Чем грозит и чем чревата попытка прямого установления демократических по форме схем управления обществом, управления государством? Когда человек остается один на один с исполнительной властью и с властью как таковой, он пытается так или иначе найти те звенья, которые будут амортизировать действия этой власти на него, на грешного. Естественно, что в условиях, где все органические, исторические общности разрушены, единственной формой этого противостояния является, собственно говоря, национальное измерение, взятое в его именно биологическом аспекте. И вот так называемая вспышка национализма, разбегание по национальным квартирам — это естественный процесс и естественный результат такого рода «прямого» внедрения демократии.

Ее перспектива весьма и весьма туманна на сегодняшний день. Что мы можем получить в результате такого разбегания по национальным квартирам? Ну, десять, пятнадцать, семьдесят сатрапий. Жизнеспособных демократических институтов, жизнестойких демократических режимов в этих регионах, национально обособившихся, вы, как правило, за редчайшим исключением, не построите и не найдете. Что является источником становления сколько-нибудь жизнеспособного демократического общества? Всем хорошо известно — средний класс. Чтобы он появился, нам необходимо опять зафиксировать право собственности. Дальше я не хочу проговаривать банальности. Все прекрасно понимают, что́ необходимо делать. Ситуация тем не менее трагическая. У нас нет основы для создания сколько-нибудь дееспособной законодательной власти, у нас нет сколько-нибудь жизнеспособного и дееспособного чиновничества.

Вот, собственно, то, к чему мы пришли к 90-м годам XX столетия. Можно, конечно, сочинять всякие ложные генеалогии, утешать себя мыслью, что СССР был правопреемником и продолжателем великой России. Но положа руку на сердце: если вы имели дело напрямую хотя бы с одним действительно русским человеком — носителем старых русских традиций, то без дополнительных словопрений станет ясно, что между формами государственного устройства, существующими в этой стране после 1917 года, и государством исторической России, вероятнее всего, не было ничего общего.

На этом весьма и весьма печальном результате я вынужден остановиться. Прогноз неутешителен. Хотя, конечно, единственная надежда на сегодняшний день, она есть. Простите, я обращусь к классике жанра, сочинению Алексиса де Токвиля «О демократии в Америке». Там, кроме суждений о необходимости исторически сложившихся, органических единств, исторически структурированного общества, есть еще одна элементарная, с моей точки зрения, мысль. Речь идет о том, что в тех случаях, когда средний класс в обществе слаб, приходится этот средний класс или, если это угодно, его слабость компенсировать усилением исполнительной власти. Увы, от этого никуда не уйдешь. Это естественная, естественноисторическая необходимость. Опять мы оказываемся в парадоксальной ситуации. Это то, что на русском языке в двадцатом же году называлось просто: левая политика правыми руками. Другое дело, что у нас, к сожалению, нет, я еще раз повторяю, исполнительной власти и традиций исполнительной власти, которая эту цивилизованную политику могла бы проводить.

Вот ситуация, с моей точки зрения, близкая к безнадежной. Но, как всегда, Россию может выручить какое-то чудо. Совершится это чудо или нет — вопрос открытый...

**А. М. МИГРАНЯН.**

Я хочу предварительно сделать несколько замечаний. Не могу удержаться, чтобы не прокомментировать некоторые выступления.

Почему развалился Советский Союз? Я категорически не согласен с тем, что сказал уважаемый Отто Рудольфович Лацис, что если бы Горбачеву удалось уговорить республики остаться, обещая им, что другой Союз будет замечательным, добрым и приемлемым для всех, убедить их,— они бы остались. Я думаю, это иллюзия. На самом деле когда мы, я не хочу здесь называть конкретные имена, разговаривали еще в 1989—1990 годах с политиками из Прибалтики и других республик, они однозначно стояли за отделение, ни больше ни меньше. Вообще в плане реформы Союза были допущены две очень существенные ошибки.

Есть некоторые законы, от этих законов вы никуда не уйдете, если вы начинаете трансформацию режима. Цель нашей перестройки, которую мы начали, это — изменение режима. И только потом переструктурирование страны. Ни одна из стран, в которой сегодня успешно осуществилась трансформация режимов, не имела тоталитарного режима. Однако для нашего случая представляет большой интерес переход от авторитаризма к демократии в Испании. Этот пример в политической науке хрестоматийный. Сперва, еще до начала модернизации режима, национальные элиты договаривались по вопросу о неделимости и единстве страны. После этого они достигли соглашения по второму вопросу — о способе организации демократических выборов. Они согласились с тем, что демократические выборы в провинциях и на местах могут пройти, чтобы легитимизировать новые власти, только после того, как на национальном уровне пройдут свободные и конкурентные выборы и высшая власть в стране будет демократическим способом легитимизирована. Нам не удалось до начала радикальной реформы договориться ни по какому из этих вопросов. Развал Союза начался не в августе 1991-го, а в конце 1989 — начале 1990 года. Как только республики пошли на свободные выборы и легитимизировали себя посредством своего электората, центр потерял легитимность полностью. Прибалтика начала свои выборы в 1989 году, а в 1990-м — уже Россия. Россия просто поставила точку.

Я, может быть, выскажу крамольную мысль, но когда Михаил Сергеевич задумал проведение референдума о единстве Союза в марте 1991 года, я подумал, что если вообще есть какой-то смысл в референдуме, то при получении как минимум 70 процентов голосов «за» (а может быть, и меньше), видимо, последует разгон всех Советов во всех республиках и на всех уровнях, введение чрезвычайного положения и установление прямого президентского правления по всей стране. Иначе я не видел никакого смысла в референдуме. После того как этого не было сделано, все пошло по нарастающей, и, конечно, август — это логическое завершение того, что должно было быть.

Большие государства существуют благодаря двум факторам. Первый фактор — экономические, органические связи и развитые коммуникационные системы. Второй фактор — это административно-политические структуры, поддерживаемые силой. В разные этапы своего развития большие государства делают упор то на одно, то на другое. Так, собственно говоря, авторитарный характер власти в России был не потому, что русский народ не хотел демократии или русская элита не хотела демократии, а потому, что эту страну демократическим способом невозможно было бы удержать. И сегодняшний развал, который мы наблюдаем, это результат того, что мы не имеем органических связей в экономической сфере и мы не имеем власти, которая может удержать эту страну. Сегодняшний распад России — это результат отсутствия обоих вышеназванных факторов.

Я с интересом слушал анализ Алексея Салмина. Что касается перечисления факторов, из которых слагается нынешняя ситуация в СНГ, он очень убедителен. Но у меня вызвала серьезное возражение одна идея. Сама по себе она интересна, но, на мой взгляд, совершенно несостоятельна. Идея о том, что Россия проскочила этап становления национального государства. И что этот этап был заменен становлением денационализированного коммунистического режима. Ничего дальше от реальности не может быть. Советское государство как раз было построено на принципе вытравления всего национального. Однако некоторые задачи, которые обычно решаются при становлении национальных государств, коммунистический режим все же выполнил: объединение страны, уничтожение сословных и прочих барьеров и т. д. Но на самом деле не удалось создать органическое экономическое, политическое и социокультурное пространство. Тот факт, что мы сегодня вступили в новый феодализм, говорит о том, что мы просто возвращаемся к нашим истокам. Просто процесс становления национальных государств был заморожен на этом пространстве. Тоталитаризм его заморозил. И поэтому с запозданием на семьдесят — восемьдесят лет мы возвращаемся к началу века. И конечно, меня поражает, когда приводят пример

Турции, а потом говорят: «Ну, вот это, конечно, хороший пример, это дает основание предположить, что мы имеем какие-то возможности ненасильственного разрешения этих вопросов». Есть замечательный анализ распада Турецкой империи, сделанный Арнольдом Тойнби. Его анализ и выводы мне очень близки.

Дело в том, что выход из империи сопровождается выходом из государства. И многонациональные этнические группы вовлекаются одновременно в становление собственных национальных государств, а все границы, разделяющие эти этнические группы до распада империи, оказываются нелегитимными, и разные этнические группы, большие или малые, претендуют на одни и те же территории. Так вот, при всем своем прекрасном отношении к армянскому народу, при том, что он написал и опубликовал книгу об армянском геноциде, Тойнби следующим образом объяснил то, что произошло между армянами и турками: «Печально, но факт, что два этноса — турецкий и армянский — претендовали на земли для своего национального государства на одной и той же территории. Победил более сильный этнос. Это трагично, но, увы, это так».

После этих предварительных замечаний я очень коротко остановлюсь на анализе текущего политического процесса у нас в стране.

Сегодня ни в каком смысле этого слова не существует государства на пространстве бывшего Советского Союза: ни в марксистском понимании и ни в более приемлемом — и для западников и для нас — веберовском функциональном понимании роли государства, представляющего собой единственный институт, который на данной территории имеет легальное право на применение силы. Мы не имеем новых эффективных институтов власти. В отличие от старого Советского Союза в России мы имеем уникальную ситуацию. Два момента отличают российскую ситуацию от союзной при Горбачеве. Первое то, что не удалось сделать Горбачеву в масштабах Союза: легитимизировать себя, а через получение этой легитимации удержать целостность страны, удалось сделать Ельцину. Ельцин получил легитимацию, получив мандат от народа России на выборах, и сегодня он превратился как президент в некий институт, в котором сосредоточено и государство, и властные структуры, и его границы.

Второе, что, конечно, отличает Россию от Советского Союза: если я не ошибаюсь, около 83 процентов населения России — это этнически русские. Этого не было в Союзе. Некоторая часть проживающих в России армян, грузин, евреев, украинцев и некоторых других, принадлежащих к прочим национальным группам, в рамках России не претендуют на создание своих национально-территориальных образований. Фактически Россия становится чуть ли не моноэтническим государством. Но даже моноэтническое государство, и мы знаем это из опыта истории человечества, особенно феодализма, нельзя удержать, если нет силы. Силы сегодня мы не имеем. Есть авторитет президента, всенародно избранного, который держит это пространство. Вертикальную ось власти ему не удалось восстановить. Я бывал на местах и в областях. Так вот, люди, которых он назначил в качестве наместников, это просто карикатура. Эти люди не имеют ни власти, ни полномочий, ни аппарата — ничего не имеют. И, понятно, местные структуры делают все, что они хотят. По этому пути региональная дезинтеграция идет и будет идти дальше. Если Ельцину не удастся дезинтеграцию остановить, то его попросят, и другие восстановят вертикальную ось власти.

На мой взгляд, национально-территориальный распад России не угрожает. России угрожает распад региональный. А на региональный распад всегда была одна испытанная мера — сила, которая его предотвращала. Мы должны признать, что мы вступили в новый феодализм с его раздробленностью, и мы должны выйти из этого нового феодализма, как выходили из старого. Никогда в истории человечества государства не создавались и тем более не удерживались ни заклинаниями, ни резолюциями, ни уговорами.

И последнее. Я думаю, что сегодня ярые сторонники воссоздания империи оказывают очень плохую услугу России. Империю в нынешних условиях, когда нет самого ядра, просто будет невозможно консолидировать. И здесь центральный вопрос, по поводу которого мы спорили последний год и с Александром Ципко и с Игорем Клямкиным, заключается в выявлении той национальной идеи, вокруг которой можно консолидировать Россию. В рамках этого вопроса требуют переосмысления такие понятия, как «российское государство» и «русское государство», «русский менталитет» и «российский менталитет». Эти национальные факторы и их правильное уяснение и использование могут стать основой для консолидации нового российского государства. Я думаю, примерно 90 процентов этнически однородных людей вполне достаточно, чтобы на основе не российскости, а русскости и русской национальной идеи консолидировать это огромное государство. А в какие отношения

это государство будет вступать с другими — это особая тема. Есть различные геополитические интересы, и на основе этого разные конфигурации могут возникнуть.

Мне кажется, что принятие новой конституции может сыграть очень важную роль в двух отношениях. Первое. Конституция, конечно, абсолютно чужда нынешней ситуации: она не будет работать в такой стране. И ее принятие может иметь только символическое значение. Это будет означать, что мы кончаем с коммунистическим тоталитаризмом, со всей старой ценностной и институциональной парадигмой. И второе: что с помощью этой конституции, возможно, новая власть попытается все-таки использовать силовые структуры для консолидации самое себя и страны, для того чтобы не дать возможности политическим силам справа себя обойти и отобрать власть, чтобы другими средствами консолидировать Россию, а может быть, и все пространство бывшего Советского Союза.

Я думаю, что если будет принята конституция и власти двинутся вправо, они неминуемо должны будут распустить парламент, ввести чрезвычайное положение и продолжать ту политику, которую называют — по-моему, по ошибке — леворадикальным популизмом. Правда, я не знаю, на каком основании можно назвать политику создания рынка, частной собственности и движения в сторону денационализации и разгосударствления леворадикальным популизмом. Это я оставляю на совести тех, кто использует этот термин.

**И. М. КЛЯМКИН.**

Кто виноват, что все развалилось? Я думаю, что попытки найти виновника на рубеже, скажем, 1990, конца 1989, а тем более апреля 1991 года, это попытки несерьезные. Потому что если началась демократизация, а в марте 1989 года прошли свободные выборы, то тем самым все мы, кто выступал за демократизацию этой системы, мы несем ответственность за то, что все развалилось. Кроме А. Миграняна, который тогда не выступал за демократизацию, это я помню.

Для меня это хорошая иллюстрация того, что, в общем-то, можно было предположить, а именно — что демократизация страны, насильственно скрепленной по национальным границам, неизбежно приведет к стихийному демонтажу всей системы. И другое дело, что кто-то это понимал, кто-то не понимал, кто-то на это шел сознательно, считая, что иного способа выхода из данной ситуации нет. Это другой вопрос. Но началось все с демократизации, с объявления свободных выборов. После этого говорить о том, что что-то делается неконституционно, мне кажется, совершенно нелепо, потому что старая конституция сама держалась на насилии. Следовательно, как только вы убираете насилие, разговоры о том, что надо жить по букве конституции, теряют смысл, ибо вы сами моментально разрушаете всю правовую основу. Поэтому надо признать, что дальнейшее пошло уже вполне логично. Более того, когда Горбачев в Ново-Огареве пытался как-то остановить этот процесс и все-таки ухватиться за последний вагон уходящего поезда, то ведь и эта попытка была неконституционной.

Если мы вспомним союзный съезд после путча, когда первые лица республик вдруг неожиданно для всех оказались в президиуме, то это тоже было неконституционно. Тогда все эти лидеры республик, которые потом отодвинули Горбачева, от него же и получили свой новый статус. И говорить о том, что кто-то неконституционно его убрал, кто-то в какой-то точке подключился к этому процессу искусственно, в принципе неверно. Люди, которые голосовали — и В. Аксючиц и М. Астафьев в их числе — за суверенитет России, теперь говорят, что Союз развалили «они». Отнюдь не только «они». Все мы развалили, в том числе и депутаты России, а может быть, они-то и в первую очередь.

Я бы не хотел рассуждать по такой логике и говорить о том, что вообще этого всего не надо было делать. Я считаю, что у нас другого способа демонтажа старого типа государственности не было. Другой путь предполагал бы, что мы ждем до 1994 года, когда новоизбранные депутаты союзного съезда и нового союзного Верховного Совета предположительно договорились бы наконец друг с другом. Но ведь мы-то понимаем, что и тогда бы никто ни с кем не договорился. Союзные депутаты при любом ходе событий, разумеется, стремились бы сохранить старую систему. Иными словами, любой конституционный вариант был связан с тем, что мы просто отодвинули бы процесс распада в 1994 год. Однако и тогда удержать страну от распада иным путем, чем тот, который реализовался, все равно было бы невозможно. Поэтому то, что произошло, то произошло, и не надо сейчас задним числом искать виновных там, где их нет. Виновны все, кто, если уж так рассуждать, выступал за демократизацию.

Я не люблю всякие цитаты, но тут позволю себе сослаться на М. Вебера, который как раз говорил о том, что люди, которые к политике подходят с позиций абсолютной морали, склонны искать все время виновника в прошлом, а нынешний процесс их меньше всего волнует. То есть они рассуждают не как политики и не хотят брать ответственность за ту реальную ситуацию, которая существует сейчас. И оправдание этому ищут в сверхморальной, абсолютно моральной позиции по отношению к прошлому.

Теперь следующий момент — что с этой новой государственностью делать теперь? Мне кажется, что практически все возможные варианты связаны с применением насилия и огромной кровью независимо от того, признают их авторы эту позицию открыто или пытаются уйти от этого вывода.

Возьмем первый вариант — восстановление СССР. Начнете восстанавливать СССР, значит, везде получите партизанское движение, — наряду с существующими и еще не существующими армиями. Будет кровавое месиво — никуда вы от этого не уйдете.

Второй вариант — воссоздание докоммунистической империи. Допустим, что Россия выделилась и начала заново процесс собирания земель в традиционных границах. Предположим, хотя это тоже неочевидно, что в России есть сила, скажем армия, которая сейчас осталась единой, способной на всем протяжении бывшего Советского Союза навести порядок. У меня это вызывает большие сомнения, учитывая, что по сравнению с 1917 годом все изменилось и регионы могут оказать сопротивление. Значит, такое применение силы связано опять же с большой кровью, а результаты этого окажутся совершенно неочевидными. У меня вовсе нет уверенности, что эту войну выиграет нынешняя Российская Федерация. Скорее всего наоборот. При национальном подъеме побеждают те, где сильнее национальный подъем.

Вот следующий вариант. Он предполагает, что Россия выделилась в самостоятельное национально-государственное образование и берет на себя роль силы, наводящей и восстанавливающей порядок в своих собственных национальных регионах. Я думаю, что этот вариант опять-таки связан с большой кровью. Представьте себе усмирение Татарии или Чечни... Более того, я вовсе не уверен, что и в русских областях, в русских регионах не возникнет расширенный вариант того, что произошло в Грузии. Этого тоже исключать нельзя, учитывая, что региональная дифференциация, фрагментация уже началась.

Далее. Я совсем не уверен, что окажутся в стороне от этого те республики, которые окружают Россию, в которых огромное количество русских. Попробуйте выключить из этого процесса Казахстан. Ничего не получится. Все равно он войдет туда.

Я говорю только с точки зрения политической рациональности. Я вовсе не уверен, что на этом пути Россия в границах РСФСР сохранится, скорее всего развалится тоже. То есть это не только моральная, но и политическая проблема.

Последнее. Вот Алексей Михайлович Салмин говорил о том, что существует какая-то историческая и культурная общность как гарант стабильности в регионах. Мне кажется, что вообще такие подходы чрезвычайно перспективны. В принципе это очень привлекательно — идти от общности к частному, сверху вниз. Но дело в том, что этой общности нет. Есть такая чахлая, хрупкая реальность, как СНГ. Мне кажется, что мы с этим СНГ обходимся незаслуженно небрежно. Эта реальность возникла, с одной стороны, из невозможности не развалиться, а с другой стороны, из невозможности развалиться. Такое образование, как СНГ, фиксирует этот неотстоявшийся процесс, но тем не менее в рамках СНГ существуют государства, которые только и могут быть теми единственно реальными субъектами, о которых можно говорить как о субъектах. И, сохраняя СНГ, можно удержать Казахстан, можно предупредить фрагментацию и России и Украины, которая ведь тоже обречена на фрагментацию при возникновении национальных государств.

У нас есть очень минимальный, очень слабенький вариант демократического маршрута развития, и нам все-таки не следует исходить из логики XVIII—XIX веков, когда все перевороты совершались через возникновение в массах предельно идеологизированных движений, сплоченных какими-то идеологемами. Одной во время Французской революции, другой — у нас, коммунистической идеологемой. Но это всегда был идеологический вариант развития.

Я думаю, что мы вовсе не обречены в конце XX века на такой предельно идеологизированный вариант развития. Может быть, вообще человечество из этого периода вышло. Во всяком случае, я еще раз хочу подчеркнуть, что если не сохранится СНГ, если процесс возникновения абсолютно независимых государств из бывших советских республик пойдет дальше, начнет разворачиваться процесс дальнейшей фрагментации, то попытки создать авторитарные режимы станут неизбежными. Значит, развал СНГ неизбежно повлечет за собой возникновение пятнадцати (или

чуть поменьше) авторитарных режимов, которые попытаются заблокировать регионализацию. Однако и они не сумеют это сделать — хотя бы потому, что нынешние режимы не имеют никакой идеологической легитимности. На силовых структурах без идеологической легитимности это нельзя сделать, ибо слабы сами эти структуры. И тогда действительно будет возникать почва для победы сил с национально-популистской окраской.

Я уверен, что эти силы могут победить только в самом предельном, крайне правом варианте. И этот съезд, Конгресс гражданских и патриотических сил, который недавно проходил в Москве, показал, что попытки создать какое-то умеренное национальное движение обречены. Они тут же наталкиваются на сопротивление правой почвы. Я сам очень надеялся на это движение. Однако оно упорно пытается соединиться с правым почвенничеством. До тех пор, пока это не стало очевидным, я сам был сторонником того, что было бы хорошо, если б в нашей политической палитре возник такой новый оттенок и демократия объединилась с патриотизмом. Но когда я ознакомился с текстами документов, которые там приняты, я понял, что их лексика ориентирована совсем на другое. Думаю, что такой синтез не сможет победить в каком-то ином варианте, кроме крайне правого и совсем недемократичного.

**В. Г. СИРОТКИН.**

Начну с парадокса. Здесь все доказывают: СССР нет, СССР нет. А я утверждаю, что СССР остался. Понимаете, страны не исчезают только потому, что меняются гимны, флаги, символы. Старая государственность в кризисе, но костяк ее все равно остался. Процесс, свидетелями которого мы являемся, вовсе не напоминает распада австро-венгерской монархии. Когда в ходе распада Австро-Венгрии возникли страны Центральной Европы — Австрия, Венгрия, Чехословакия,— между ними сразу же были установлены твердые границы, внутри была введена национальная валюта, возникли собственные армии, то есть это был классический вариант распада в соответствии с четырнадцатью пунктами американского президента В. Вильсона. Есть это сейчас у нас? Нет. Мы находимся в ситуации, когда у нас сохраняется общее экономическое пространство, телевидение и все остальное. Я думаю, что это промежуточное состояние продлится еще довольно долго, если потом все не рухнет, как рухнуло в период от февраля до октября в 1917 году.

И второй парадокс, о котором я хотел бы сказать. Российская империя никогда не была строго централизованным государством. В отличии от Франции, в отличие от классических монархий она всегда была своего рода СНГ. Уж такой, знаете, самодержец, Николай Палкин, сказал однажды барону де Кюстину: «Вы думаете, я управляю империей? Управляют пятьдесят моих генерал-губернаторов»... Я вам приведу пример иркутского генерал-губернатора Рупперта (первая треть XIX века). Он ввел продразверстку у себя в Иркутской губернии, которая тогда включала и Чукотку и всю Якутию, то есть чуть ли не половину России. Настолько этот генерал-губернатор ощущал себя независимым, что вводил свои налоги. Семь лет с ним боролись. И безрезультатно. Семь лет он что хотел, то и делал. Потому что в громадной империи, простиравшейся на одной шестой части суши, где пять месяцев ни проехать, ни пройти весной и осенью, и не могло быть иначе. Курьер скакал из Петербурга в Иркутск три месяца на лошадке.

И вот здесь я бы хотел остановиться на втором вопросе. Понимаете, вопрос о менталитете и правящей элите. Вот недавно приезжал Ж. Аттали, директор банка реконструкции и развития. Так получилось, что мне пришлось его сопровождать. Поехал Аттали на Урал, чтобы посмотреть, как идет у нас конверсия и прочее. Его не хотели пускать на завод, которому он собирался дать деньги. Начальник режима с пистолетом: «Мы не пустим! Деньги давай, а пустить не пустим, потому что у нас режим, у нас закрытое предприятие». И ему Москва уже не указ, потому что он подчиняется не директору завода, а своей службе режима... Как говорили — система однопартийная, но многоподъездная. Каждый подъезд сам по себе. Очевидно, что это иная политическая культура, чем в Западной Европе. Там преобладают отношения партнерства, а у нас конфронтации, особенно сейчас. Причем эта конфронтация имеет исторические корни. Вся большевистская элита пришла к власти на основе конфронтации. Как-то недавно мне дали почитать — хотели публиковать — мемуары Шепилова (бывший министр иностранных дел, «примкнувший»). Там потрясающие откровения Хрущева. Я, говорит, не могу с западными деятелями состыковаться, у меня же образованьишка никакого, я же две зимы учился за пуд картошки у попа, поэтому я должен их закопать. Только на конфронтации он мог обеспечить себе авторитет путем угрозы применения силы. Это целая психология.

Вы вспомните, СССР еще один был, а уже в Конституции 1924 года записали: два лагеря, две системы. А весь лагерь состоял из СССР, Монголии и Тувы. И те только еще собирались прыгнуть из «развитого» феодализма неизвестно куда. А уже был лагерь. Вот эта идеология конфронтации, которая проявлялась и во внешней политике. Везде была конфронтационная структура. В любом посольстве, кроме официального посла, был еще и советник по партии и резидент КГБ — три посла. И между ними обычно складывалась такая же конфронтация, как между иными нынешними нашими президентами. И лишь в период перестройки у нас начали переход к дипломатии партнерства, к политической культуре, основанной на терпимости, доверии, договорном процессе и согласии...

Что происходит сейчас? У меня есть два предположения. Первое. Происходит возврат на круги своя. Конфронтационная элита, которая, скажем условно, доминировала во времена Хрущева, возвращается на региональный и национальный уровень. Для того, чтобы удержаться сейчас у власти, им нужна конфронтация из-за Нагорного Карабаха, из-за Приднестровья — из-за чего хотите. Иначе они не могут. Это отнюдь не упрощение, а вполне реальная механика. И это, боюсь, продлится долго. Второе мое предположение касается России. Перед ней два пути, судя по тому, что я слышу из разговоров, ведущихся вокруг деятельности Комитета по международным делам. Один исходит из того, что Россия — преемница СССР, что она получила ядерную кнопку, вошла в Совет Безопасности. Это более-менее ясно. По сути, это сохранение того межеумочного состояния, которое имеется в настоящее время, когда нет ни границ, ни власти, ничего. Второй вариант — который я называю вариантом де Голля, то есть формирование русской республики, русского государства. Короче говоря, Россия должна сказать своим партнерам по СНГ: идите все с Богом, но с вами мы будем торговать за валюту. Этот вариант очень похож на то, что сделал де Голль со своей империей. В данном случае я говорю об отношениях с бывшими союзными республиками.

И последнее. Мне кажется, что рано говорить о каких-то рекомендациях. Я боюсь, что, судя по всему, их не услышат сейчас в российском парламенте. Там другой уровень восприятия. И в этом вся сложность, потому что не читают они бумаг, не слушают, а идут «своим путем».

**М. П. ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ.**

Вопросы, которые формулируются здесь, мне кажется, очень сильно отдают социальной инженерией. Вот, например, как ставятся вопросы: что нам нужно — земля или унитарное государство? И с этой точки зрения, рассматривающей свой предмет как некий неодушевленный объект, всякая социальная инженерия предполагает использование силы. А есть другая философия, другой подход — взгляд на органические процессы, которые идут в стране, и такому подходу отвечает попытка действовать через интересы. Я стою на второй точке зрения. И мне кажется, что сейчас у нас есть две группы интересов. Я имею в виду Россию. Это, во-первых, центростремительные интересы, характерные для здешней, московской политической элиты, которая варится в своем соку и, с моей точки зрения, сильно преувеличивает свои возможности и опору в других частях России. Причем любопытно, что российские парламентарии, которые пришли из глубинки, практически уже омосковились, потеряли свои провинциальные корни и провинцию, глубинку, больше не представляют.

Вторая сила с подобными же интересами — армия. И эта сила уже начинает примиряться с распадом и начинает примериваться, как бы куда уехать, где бы пристроиться. Словом, эта сила свою центростремительную функцию начинает быстро терять. ВПК, конечно, тоже мощная центростремительная сила, но в тенденции и ВПК начинает размываться. В той мере, в которой действует политика конверсии и перевод оборонных предприятий на производство мирной продукции, ВПК по своим интересам начинает примыкать скорее к локальным элитам. И только те, кто сохранил специализацию на производстве оружия и торговле им, а значит, связан с государственным лицензированием своей деятельности, остаются на централизованных позициях. Но и они потихонечку размываются.

Теперь о центробежных силах. Здесь вспомнили про иркутского генерал-губернатора, оно, конечно, верно, но что же про секретарей обкомов забывают, которые нам гораздо ближе? Я вот в Магадане жила, была депутатом магаданского горсовета. Вот уж удельные князья где были. Они подчинялись центру до тех пор, пока зависели от политической власти. Но ведь сейчас идет конверсия власти. И, естественно, никогда в жизни от власти так просто они не уйдут.

Центральная проблема сегодня — это проблема модернизации. Действительно, это проблема, решаемая только в соприкосновении с Западом. В этом соприкосно-

вении у нас рождается компрадорская буржуазия, функции которой заключаются в посредничестве между западными технологиями и нашими ресурсами. Ресурсы все расположены локально, привязаны к месту, а контроль над ними находится в руках местных элит. Эти элиты, не представленные в московском парламенте, никогда в жизни от этих своих ресурсов как единственного источника силы не откажутся. Отсюда возникают и растут все эти иркутские, сибирские и прочие республики. Их источник — это борьба за ресурсы, которые являются для них единственным средством выйти напрямую на Запад. И тут вот происходит конверсирование богатства. Это больше не власть. Здесь идет процесс накопления реального денежного капитала слоями компрадорской буржуазии. Поэтому, мне кажется, сейчас актуальнейшая проблема — позиция локальных элит. Они и есть главная центробежная сила. И поэтому если это центральная проблема, то, следовательно, и проблему распада России можно решить только путем каких-то попыток интеграции локальных элит. Парламент их больше не интегрирует, не смогут такую роль сыграть ни Учредительное собрание, ни конституция.

Я боюсь, что уже вообще поздно искать какую-то рациональную схему учета интересов этих локальных элит, в принципе есть лишь один путь, по которому можно и нужно идти, иначе российское здание действительно будет разваливаться. Он состоит в органическом развитии межрегиональных отношений. Конституция предполагает форсировать этот процесс, ее авторы предлагают двум или трем бывшим секретарям обкомов, этим медведям, соединиться. Да не станут они соединяться при их огромной единоличной мощи. Чтобы это произошло, нужен длительный процесс экономических, социальных и политических изменений, столкновений, разборок, чтобы медведи между собой подрались, помирились, чтобы выявился самый сильный в регионе, и лишь потом этот регион сформируется как целое. Подобные процессы все время идут в Поволжье, на Урале и т. д. В любом случае, мне кажется, процесс интеграции будет долгим процессом балансирования. И только в таком процессе органического роста сформируются эти земли. А если мы сейчас скажем: вот здесь образуем землю, эту республику так и так подчиним,— все наши пожелания останутся на бумаге и только. Понимаете, нет правосознания, нет осознания того, что нужно следовать каким-то правовым нормам. Вот Конституционный суд предписал что-то такое Татарстану. Ну и что? Результат налицо: в гробу они видали эти бумажки и какие-то там постановления. Точно так же получилось с идеей общеэкономического пространства. В Казахстане Явлинский выторговал это пространство. И что? Никто эти соглашения, эти бумажки в расчет не принимает и принимать не будет. И даже если сейчас подавить силой этот процесс регионализации и формирования местных политических элит, он все равно пойдет дальше — за ним стоит не злая воля, а логика вещей. Так лучше с самого начала искать такие политические формы, которые будут объективный характер регионализации учитывать, а тем самым и создавать приемлемую форму для контроля этого процесса.

Я хочу сказать в этой связи, что наше увлечение парламентской системой, тремя властями и т. д. очень далеко от реальности. У нас складывается иная политическая система, которая строится на лоббизме, и начинают формироваться не только очаги лоббирования региональных интересов, но и центр лоббирования.

**С. Е. КУРГИНЯН.**

Больше всего меня лично беспокоит политология в жанре, который я называю «песня акына». «Что вижу, о том и пою». Вижу, например, что дом стоит на улице Горького, и говорю: «Дом — на улице Горького». Риск — нулевой. Прогноз — сбывается. Обвинить в тенденциозности — нельзя. И все — блеф! Когда сто процентов прогнозов сбываются, это плохие прогнозы. Слишком высокая частотность их осуществления так же плоха, как и малая.

Далее — беспокоит несистемность в подходе. Вот, например, спорят о том, что у нас будет доминировать — межнациональный фактор или экономика, как говорил Щедрин, «конституция или севрюжина с хреном». Но совершенно ясно, что будет доминировать и то и другое. Главное — доминировать будет положительная обратная связь, все будет происходить в режиме взаимоподстегивания. Экономика будет подхлестывать национальный фактор, национальный фактор будет подхлестывать экономический развал, тот опять экономику. Это именно тот принцип продолжительной обратной связи, на котором все построено в нашей сегодняшней жизни. Без его учета понимания реальности быть не может. Наши анализы (даже на кораблях Черноморского флота!) показывают, как работает положительная обратная связь: бесконечное недоверие к Москве как Совдепии, то есть как к той точке, откуда исходят антинародные и антигосударственные импульсы. Исходя из этого — стратегия ограждения, эффект осажденной крепости, когда люди пытаются оградиться

от «московской чумы». А чума от этого становится еще более бесстрашной. Все трещит по швам. И тогда еще большее желание отгородиться. Вот основная опасность. И понять ее можно только при системном подходе. Важно знать, как в совокупности факторы будут действовать. Важно учесть все связи.

Теперь о месте и роли политиков и экспертов в нашей нынешней критической ситуации.

Если сегодняшние ученые-эксперты поют «песни акына», то сегодняшние политики, конечно, исповедуют принцип конца истории. Ведь если разобраться, то в чем смысл знаменитой статьи Фукуямы «Конец истории»: «Истории нет, есть мы, и мы манипулируем процессами и людьми». И вот это тоже вызывает большую тревогу, ибо очень многое доказывает, что здесь, на шестой части земного шара, история продолжается. Здесь нет этой остановки истории, нет перехода в чисто манипулятивную игру. Но уже очевидно, и я это подчеркиваю, что у нас происходит манипулирование манипуляторами, то есть манипуляции высших рангов. Еще раз — я подчеркиваю это как к л ю ч е в о й  т е з и с. Сразу же после августовского путча я писал, что власть была не захвачена, власть была о т д а н а. Если в августе у меня могли быть какие-то сомнения по этому поводу, то теперь у меня нет никаких сомнений. Теперь я даю 99 процентов за то, что инициатива была отдана, поскольку объективно часть задач, которые должны решать демократические силы и их оппоненты, полностью совпадает. И вопрос заключался и заключается не столько в том, ч т о  д е л а т ь (тут были различия), сколько в том, к т о  б у д е т  д е л а т ь, то есть кто возьмет на себя наиболее грязную часть работы и отработает в ней соответствующую роль. Сегодня совершенно ясно, что эту роль взяли на себе демократические силы. Они ее последовательно отрабатывают. В чем опасность? В том, что в этой игре манипуляторами высшего ранга будет задето фундаментальное понятие демократии, а сделано это будет руками сегодняшних реформаторов.

Дальше. По поводу «песни акына». Яркий пример. «Акын», к примеру, поет о борьбе с административно-командной системой. Но это же видимость. И все серьезные люди уже понимают, что эта борьба есть абсолютная фикция. Что же есть сущность? Сущность — п р и в а т и з а ц и я  а д м и н и с т р а т и в н о - к о м а н д н о й  с и с т е м ы. «Акыну» этого не понять, но это факт. Я подчеркиваю — единственный вид приватизации, который был реально произведен в результате перестройки, это приватизация самой административно-командной системы. Информационный тоталитаризм на подходе. В самом деле, что такое биржи? Это бывшие информсистемы типа Госснаба. Что такое новые переплетенья банков? Это альянсы внутри прежней финансово-информационной инфраструктуры. Что означал лозунг «разрушим административно-командную систему»? Он означал призыв разрушить информационное поле, убрать информацию между поставщиками и производителями. Естественно, остаются записные книжки, компьютеры и т. д. Но ценную информацию убирают в тень, а через какое-то время достают — уже под другим видом. Что мы имеем? Точнее, что мы будем иметь? Отвечаю — новый тип информационной диктатуры. И это диктатура особого типа, которая на время крайне заинтересована в расчленении страны, ибо чем больше этих границ, непроницаемых для производителя продукции, тем более высокую ренту по координации в этом хаосе получает тот, кто держит информационный потенциал. Значит, в этом смысле мы будем иметь имитационный хаос столько времени, сколько будет надо для решения главной задачи, для того, чтобы один из мощных информкланов набрал критический объем информационных сетей. Судя по всему, сегодня в результате перестройки, которая и составляла собой борьбу этих суперсистем, критическое количество информационных сетей набирается не в демократическом лагере и не в отраслях хай-текнолоджи (то есть не у Вольского), а в т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и. Это и предопределит во многом политическое развитие событий, с моей точки зрения. Хотя не все еще ясно на сто процентов и многое находится в стадии становления. Но ясно одно — без учета суперструктур в самом базисе и без понимания их борьбы все наши разговоры — это журналистская болтовня. И еще. В начале перестройки примерно 50 процентов финансовых средств уже находились в теневой экономике и полностью вышли из-под контроля власти. В интересах в с е х сил, я подчеркиваю, было объявить перестройку. Не было ни одной силы, которая была бы против этого, вот почему перестройка так легко прошла. Словеса нужны были, кроме всего прочего, для того, чтобы подсобрать капитал. Он вышел из управления. Было еще много задач, которые носили абсолютный характер. Они известны всем, кто более или менее был в курсе дела. Управление в ряде регионов было потеряно. Объединение Германии, процессы на Ближнем Востоке, модернизация промышленности, прорыв на мировой рынок и многое другое объективно надо было решать. И вопрос состоял в одном:

кто возьмется решать эти задачи? Вот кто взялся, тот сейчас и оказался в ситуации, прямо скажем, прискорбной.

Теперь по сути тех проблем, которые приходится решать на более или менее глубинном уровне. Важнейшая проблема — растабуирование власти. Процесс этот идет очень быстро и во многом необратимо. По крайней мере в существующих парадигмах. Власть была растабуирована и в Сумгаите, и на территории Армении во время бегства азербайджанского населения, и в Фергане — словом, везде. И если к власти уже не относятся серьезно, если не работает прежний опыт подчинения, то этот опыт заново придется создавать. Это огромная проблема. Но проблема отнюдь не террора, не насилия, но идеологическая.

РСФСР, конечно, никакое не государство. Ни одна из бывших союзных республик не легитимна в условиях крушения целого. Это понятно. Нам предстоит новый этап государственного строительства. Осознаем ли мы, какого масштаба эта задача? Как строится государство? Государства не могут строиться на принципах Беловежской пущи. Они иначе строятся. И здесь вопрос заключается в том, кто первым выдвинет парадигму государственного строительства. До Ново-Огарева мы могли еще реформировать союзное государство, но... «пошли другим путем». Теперь возникает вопрос о строительстве. Этот вопрос неизбежно будет решен, но какой ценой? Страшно подумать!

Еще более глубинный вопрос об уровне травмы, нанесенной историческому сознанию народа. Кто пытался оценить масштаб этой травмы? Я утверждаю, что задет не только коммунистический пласт, что, по крайней мере в России, пленка коммунистической идеологии была достаточно плотно приклеена к веками формировавшемуся пласту исторического национального самосознания. И сегодня, после отказа от коммунистической идеи, травмирован именно этот глубинный пласт.

Вернемся к нашим «акынам».

Беда в том, что «политик-манипулятор» не видит фундаментальных социокультурных закономерностей. «Ученый-акын» не понимает языка цифр. Пример. Вся экономическая реформа Гайдара построена на старых и отдающих нафталином кривых равновесия спроса и предложения. Якобы рано или поздно спрос покупателя и предложение производителя пересекутся в точке равновесия. Ни у кого не возникает вопрос в российском правительстве, как и где они пересекутся. Потому что они могут так «красиво» пересечься, что мы потом будем двадцать лет искать выход из этого «пересечения». Но ведь еще и требуется доказать, пересекутся ли они вообще. Исследования показывают, что с каждым месяцем идет все большее и большее р а с х о ж д е н и е между спросом и предложением. Производство падает быстрее, нежели спрос. Спрос оказался почти неэластичным, а производство оказалось антиэластичным, то есть оно обладает обратной эластичностью. Да, это случай невиданный в истории. Но от этого он не перестает быть реальностью. Он таков, какой есть. Значит, возможность социального взрыва нарастает, и я просто ставлю крест на этой реформе заведомо, поскольку она надеется свести воедино спрос и предложение. Она их не сведет. Разве что при отрицательном производстве.

Вот тут я хотел бы отреагировать на понятия «социальная инженерия» и «органика». Это естественно, что большинство является сторонниками органики, что социальная инженерия мало кого устраивает. Но я бы хотел отметить одну странную «технологию»: это когда мы заявляем о революции, используем социальную инженерию в деструктивной части, а п о с л е э т о г о начинаем уповать на органику. Вот он, этот невиданный в мире гибрид, который является фактически формулой социального регресса. Подчеркиваю — специально вызванного социального регресса. Это первая позиция, на которую я хотел обратить внимание присутствующих.

Вторая позиция, очень тесно с первой сопрягаемая, — об элите сырья. В России якобы элита складывается из не связанных друг с другом региональных элит, являющихся держателями сырья. Они, естественно, борются за это сырье. Так вот, это входит в модель социального регресса, потому что помимо этих элит есть, например, элита машиностроения, которая заинтересована в межрегиональных связях и является интегрирующей.

Если мы сначала заложим спираль социального регресса и начнем ее раскручивать в социуме — до раннего феодализма, в экономике — вплоть до сырья и так далее, то мы, естественно, будем катализировать распад и деструкцию. Но если мы хотим действительно остановить процесс, то прежде всего надо сменить формулы и понять, что если уж мы воспользовались социальной инженерией по части разрушений, то не надо отказываться пользоваться ею и в том, что касается созидания. Или же изначально не надо было пользоваться этой технологией. Я был сторонником второго варианта.

Третья позиция. Этот социальный регресс неявно фигурирует и в проблеме модернизации. Теория модернизации — штука двусмысленная, а сейчас мало кто ее исповедует. Но если говорить о реальном процессе в Советском Союзе, то ведь он шел как бы именно по этой схеме модернизации. Подчеркиваю — как бы. Стимулировались национальные, я к о б ы вестернизированные элиты против элит коммунистических, с тем чтобы создать директивами из ЦК КПСС для коммунистических послушных элит невозможность действовать и за счет национализма вывести наверх вестернизированные элиты, которые потом-де, мол, подпишут общественный договор. Эта схема рухнула. Рухнула по очень простой причине. Дело в том, что этих элит было не две. Я устаю это все время напоминать. Их было как минимум четыре. В спектре — от красного до черного.

Кроме того, первая (коммунистическая) элита, поняв, какую игру с ней разыгрывают, естественно, обратилась к третьей (а то и к четвертой) элите. Сегодня Кравчук опирается на «Рух», но завтра он будет опираться на петлюровцев. Это неизбежно. Это объективно неизбежно, ибо это будет борьба за выживание, причем за выживание физическое, а не только политическое.

В результате элиты, образно говоря, «спутались». Тут говорят, что единственная центростремительная сила — это, оказывается, не машиностроение, которое реформами ближайшего времени будет пущено под нож. Ибо что такое конвертация рубля без конвертации товаров, понятно всем. Дураков нет. Говорят, что единственная центростремительная элита — это элита торговли оружием. Простите, но ведь торговля оружием идет отнюдь не через «Интерармику». Поэтому никакой заинтересованности элиты торговли оружием в лицензиях нет. Говорю о том, что знаю.

Сброс элиты машиностроения приведет к тому, что клубок региональных элит, стимулированный моделью социального регресса на всех уровнях — от философского до экономического,— сплетется в гигантскую мафиозно-криминальную кучу. Разгребать эту кучу мир будет не одно десятилетие. Тогда русская геополитическая воронка втянет в себя весь мир. Забудьте тогда о моделях объединения Европы и о новом мировом порядке.

Я призываю, пока не поздно, понять, что компрадорская буржуазия не есть уже единственная буржуазия в стране. Урал не заинтересован в регионализации в тех схемах, которые существуют. И если будут заложены модели социального регресса, то борьба пойдет между двумя буржуазиями. И борьба пойдет насмерть. Машиностроение мы не сдадим. Примите это как ультиматум.

Теперь следующая позиция. Постиндустриальное общество. Мы все время говорим о модернизации так, как будто она имеет постиндустриальный вектор. На деле же она, как я доказал, закладывает все формы социального регресса к феодализму или даже рабовладению. Может быть, кто-то и такие модели постиндустриального мира рассматривает, не знаю. Может быть, они существуют. Но я хочу обратить внимание, что постиндустриальное общество строится на балансе дезинтеграционных и интеграционных процессов, на очень сложном б а л а н с е, а не на децентрализации как таковой. Что такое транснациональные корпорации как не скелет этого будущего общества? Мы почему-то здесь этот момент опускаем и дальше пытаемся работать по постиндустриальным схемам.

Кроме того, в постиндустриальном мире нет такого враждебного отношения к фрагментам традиционного общества, то есть общества доиндустриального, которое мы пытаемся предложить сейчас стране. Постиндустриальный мир в каком-то смысле строится на неотрадиционализме. Он постлиберален. И именно потому, что мы не имеем возможности провести настоящие индустриальные преобразования, именно поэтому, подчеркиваю, надо беречь все то, что осталось, фрагменты оставшихся систем, чтобы, дополняя их суперновыми, готовить постиндустриальный прорыв.

Распад начался с того, что никто не понимал цели. Прежние цели ушли, новых нет. Как же мы хотим, чтобы система осталась? Еще в 1989 году мои армянские друзья меня спрашивали: «Сергей, скажи, Россия заинтересована в каких-то формах присутствия на Кавказе? Потому что она делает все, чтобы обозначить, что не заинтересована. Тогда (и только тогда!) мы уйдем».

Остановить распад нельзя в рамках либерального курса, поэтому смена курса и сдвиг вправо не имеют альтернатив. Поймите это. Не имеют... Вопрос заключается в том, кто их осуществит, в каких формах, как быстро, и все! Других вопросов нет. Когда завязался этот узел, а он завязался с момента выдвижения деструктивной формулы «союз государств», вот эта формула предрешила распад СССР. Здесь вопрос заключается в том, куда этот процесс пойдет дальше. И чем быстрее и консолидированнее будет осуществляться этот нормальный, цивилизованный правый сдвиг,

тем меньше шансов на «дикий» сдвиг вправо. Поэтому реальные рекомендации таковы.

**Первое.** Констатировать смерть СНГ.

**Второе.** Вернуться к вопросу о правопреемственности. Этот вопрос был попран беловежским актом, он был варварски им растоптан. Он был нарушен уже ново-огаревским процессом. И полностью попран — в Пуще. Надо вернуться к вопросу о правопреемственности. Это ключ к решению всех наших проблем.

**Третье.** Концепция России. Политическая стабилизация не может быть без стабилизации на семи уровнях. И в этом смысле мы не варвары, мы прекрасно понимаем, о каких уровнях идет речь. Речь идет сначала о концептуальной власти. Потом об идеологической власти. Это крайне важно для стабилизации. Скоро все идеологемы будут уничтожены. Демократический язык уже уничтожен, приелись слова. Патриотический с оплакиванием России будет уничтожен за три-четыре месяца. Нельзя все время лить слезы. Дальше какой язык? Идеология — это проблема языка. Третий уровень — это информационный. Четвертый — организационный. Все говорят: ах, Кравчук, ах, Назарбаев... Простите, но Кравчук и Назарбаев не разгоняли российскую компартию, не разгоняли именно потому, что на черта им партия была нужна, им нужен был аппарат. Они сохранили и укрепили аппарат, зачем-то разломанный и разгромленный Ельциным. И теперь говорят о сильной руке. Простите, какая крупная организационная структура, кроме армии, может быть опорой? Но армия в условиях России больше трех месяцев удержать положения объективно не может. Так какая же структура сейчас может удержать что-нибудь на такой огромной территории? Нет ее. Тогда нужно строить новую. И очень быстро.

Следующий уровень — персональный. Лидеров нет, значит, их надо готовить.

Еще один уровень — социальный. Либо реформа, которая будет обеспечивать интересы национальной буржуазии, машиностроительного комплекса и высоких технологий. Либо компрадорская реформа с опорой на элиту сырья и мафию. Тогда война. Тогда война во всех формах. И еще нужно оценить: на кого опора? Уже нельзя на тех и на других. Интересы разорвались. Мы так просто сырье не поделим.

И наконец последний уровень — финансово-экономический. Объективно уже сформировались центры финансово-экономической власти на территории бывшего СССР и России. Это надо объективно учитывать. И только когда все эти уровни власти будут восстановлены, только тогда можно говорить о с и л е. Вот почему концепция есть не пустые разглагольствования, а есть восстановление власти в полном объеме. Ни танки, ни дубинки, ни автоматы, а концепция — первый шаг к власти. И только после этого может начаться строительство России по всем основным моментам: армия, общество (никакого гражданского общества здесь нет и не скоро будет; а какой же тип общества мы здесь строим?), экономика, государство. Должна быть осуществлена однозначная поддержка русских во всех регионах. Альтернативы этой поддержке нет. Это не вопрос убеждений. Это вопрос реальной политики. Если эта поддержка не будет осуществлена сегодняшней властью, произойдет ее неизбежный сброс.

**Четвертое.** Необходимо перейти к политике зеленой линии при строительстве России. Кипрский вариант — это единственный мирный и сильный вариант, который отвечает интересам России.

**Пятое.** Необходим консенсус элит на основе российской концепции. Если Россия примет концепцию, ориентированную на деградацию и социальный регресс, все разбегутся. А если примет концепцию, ориентированную на развитие, за ней пойдут все. Включая регионалыциков и сепаратистов. Я отвечаю за свои слова.

Сейчас от России отпрыгивают как от зачумленной. Это главное препятствие. И, как видите, достаточно легко устранимое. Далее. На основе консенсуса элит новое евразийское строительство с ядром в России. Нам говорят о том, что можно замкнуться в национально-государственных интересах России. Боюсь, что сегодня этого уже мало. Боюсь, что этот этап прошел. И нам снова надо говорить о том, что нет единой магистральной дороги человечества, нет единого пути, нет единого направления европейской даже мысли, не то что мировой. И что Россия пойдет своим путем, проект ее государственного здания будет каким-то странным гибридом, совмещающим в себе технократию Королева и Курчатова и российское цивилизованное почвенничество. Вот этот гибрид и будет осуществлен.

**Ю. Л. ЛАТЫНИНА.**

Все мы постоянно слышим и сами ведем разговоры о нашем хаосе, о нашем катастрофическом отставании от Европы, о той хозяйственной разрухе, в которую погрузилась страна, и т. д. Всем нам свойствен синдром неудачника, который, собственно, и генерирует эти разговоры. Конечно, можно говорить о бедственном

положении в стране, об ее экономическом отставании от развитых стран, а можно вспомнить, что сейчас мы находимся, в сущности, по отношению к Европе в таком же положении, в каком накануне эпохи географических открытий Европа находилась по отношению к Индии и Китаю, а Греция в свое время по отношению к богатому Востоку. Накануне эпохи географических открытий в Западной Европе не было рынка и не было богатства. По сравнению с Востоком там царила нищета. Еще были авантюристы, кстати, весьма неприятного морального облика, даже хуже нынешних компрадоров. Еще была атмосфера поиска удачи и свершений.

Что из этого следует? То, что хозяйственные неудачи при определенных условиях могут стать залогом будущего хозяйственного успеха. Что главное в том, считает себя нация неудачницей или не считает? Я думаю, здесь очень велика роль интеллигенции, способной увидеть исторические перспективы и самим фактом описания этих перспектив способствовать их воплощению.

Итак, главная идея моего выступления заключается в том, что образование новой положительной российской государственности для нас немыслимо без содействия интеллигенции. И в том, что историю нужно не только анализировать и предсказывать ее дальнейший ход, но и творить ее. Интеллигенция участвует в делании истории мыслью и словом. При этом ее дело предлагать не только конструктивные модели будущего, но и конструктивное и позитивное описание настоящего. Интеллигенции надо нести ответственность за свои слова, ибо они, к счастью или к сожалению, способны воплощаться в действительность.

Сегодня звучит масса обвинений в адрес существующих структур. Вот наиболее типичные: все нынешние демократы — старые коммунисты; власть находится чуть ли не в руках тех же самых людей, просто люди перекрасились; нет рынка, нет классического рынка, на котором цена зависит от спроса и предложения, а есть различные зависимости от бывших бюрократических структур; бюрократия осталась такой же, если не стала худшей, поскольку новые чиновники, как говорится, не наелись; весь наш сегодняшний рынок — это разгул мафии и теневиков, и все нынешние предприниматели представляют собой либо легализированную мафию, либо полуприватизированные правительственные монополии. И главное обвинение — нынешние предприниматели пока ничего не производят, а больше продают и перепродают, норовят урвать и скрыться с ухваченным куском. В общем, наследники и преемники Чичикова или компрадорская буржуазия.

Нетрудно заметить, как построены эти обвинения. Существующим структурам ставится в упрек либо их преемственность по отношению к прошлому, то есть, попросту говоря, профессиональное владение теми существующими механизмами власти, которые составляют необходимую основу государственного строительства, либо их несоответствие некоему рыночному механизму, мифу о рынке. В последнем случае положение вообще неисправимо, так как действительность имеет свойство вообще не соответствовать идеалу. И уж если ситуация в стране не соответствует теории, то, наверно, пересматривать надо теорию, а не реальную ситуацию.

Итак, можно четко выделить три узловых пункта, по которым интеллигенция может и должна высказать свое отношение к существующей действительности. Это оценка и формирование образа национальной России, это оценка и формирование образа государства и отношение к существующим экономическим структурам.

Я считаю, что негативным является отождествление российского с имперским, которое очень часто сейчас происходит. Таким образом в национальном сознании формируется комплекс неудачника. Русский человек настраивается тем самым, что успех для России возможен только на путях возвращения к прошлому, восстановления империи. Нам же, напротив, необходимо осознать, что Россия освободилась от своей азиатской подбрюшины, морально, да и не только морально, компрометировавшей нас в глазах Запада. Ведь очень долго шел спор о том, что такое Россия: Европа или Азия? Я думаю, что сейчас, когда СССР действительно раскололся на Европу и Азию, когда мусульманские регионы отделились от нас, мы получили доказательство, что Россия — это Восточная Европа. То есть я хочу сказать, что, осмысливая один и тот же свершившийся факт, в нашем случае распад СССР, можно оценивать его как в отрицательном, так и в положительном контексте как процесс рождения нового национального государства.

Нам не удалось строительство империи. Я позволю себе провести историческую параллель. В свое время народы Западной Европы после развала Священной Римской империи очень долго пытались ее восстановить. И все-таки не смогли этого сделать. Ни Карлу Великому, ни Фридриху не удалось вновь воссоздать Священную Римскую империю. Но ее распад привел к рождению новых национальных государств, представительного образа правления и рыночной экономики. Причем, мне хочется

подчеркнуть, в ряде стран, в частности, прежде всего в Англии, процесс рождения национального государства и процессы создания представительного образа правления и рыночной экономики шли рука об руку. А вот государства (в частности, Испанию), упорно пытавшиеся возродить старые имперские модели правления, ждала неудача на пути к рынку.

Вторая проблема — это, как я уже сказала, отношение к существующим государственным структурам. Можно говорить о том, что наши нынешние государственные деятели — бывшие партаппаратчики и только. Это в одном случае. Конструктивная же оценка ситуации заключается в том, что в стране не окончательно разрушены властные структуры, существует некая положительная преемственность хозяйственной власти. И тут вообще стоит вопрос о том, какой образ государства надо создавать, потому что у российской интеллигенции, к сожалению, мне кажется, остался некий синдром марксистского понимания государства исключительно как инструмента подавления и насилия с главными атрибутами в виде полиции и армии. Я думаю, что этому существующему образу государства нужно противопоставлять другое, классическое понимание государства, которое, например, на заре политической мысли прекрасно высказал Цицерон: государство существует для того, чтобы сохранить у каждого его собственность, и для того, чтобы ее приумножить. Республиканское государство — это общее достояние, это все, что является общим достоянием, от портиков и общественных зданий до законов, привычек, обычаев людей. Общественное достояние как бы прирастает к частному имуществу граждан через усложнение и обогащение жизни путем объединения людей в государство.

Мне кажется, что именно эту роль государства как гаранта приращения общественного и личного богатства граждан, как гаранта сохранения и развития прав и свобод личности следует прежде всего подчеркивать и культивировать. И надо обращать внимание на то, что демократическая модель государства совпадает с моделью цивилизованного рынка как некой экономической игры, в которой постоянно за счет обмена между участниками, за счет их взаимодействия возрастает сумма общих благ.

И наконец третий, самый важный момент, необходимый для построения здоровой российской государственности. Речь идет об отношении нашей интеллигенции к существующим экономическим структурам. Как я уже сказала, они подвергаются жесточайшей критике с точки зрения их несоответствия мифу о рынке. Рынок при этом имеется в виду тот, который нам описывает Л. Пияшева, тот, который описывал Хайек, то есть некий идеальный механизм спроса и предложения. Говорят также, что в России нет почвы предпринимательству, нет условий для протестантской этики. Тут хочется заметить, что, очевидно, в Южной Корее тоже нет условий для протестантской этики. Или, может быть, в Южной Корее они есть?

Или возьмем такое чрезвычайно распространенное сегодня противопоставление неправедной наживы наживе праведной. Я уже говорила, что многие модели, которые создает интеллигенция, имеют свойства воплощаться в жизнь, генерировать самих себя. И простейший пример, как действует статья, в которой расточаются проклятия по поводу действий чичиковых. Самого чичикова она побуждает поступать еще более по-чичиковски, то есть быстро и любыми путями делать деньги и вкладывать их ввиду нестабильности ситуации в потребление, а не в производство. Иначе говоря, не создавать и не приращивать капитал, а тратить деньги в коммерческих магазинах, тем самым поднимая и без того высокие цены на товары и вызывая лишний раз недовольство пенсионеров. А человека, завидующего чичикову, подобная статья лишний раз убеждает в обоснованности его зависти и толкает на практические выводы. А практические выводы — это стремление любыми способами завладеть неправедно нажитым добром. В общем, грабь награбленное.

Интеллигенция тут может, с одной стороны, казалось бы, занять безупречную позицию, то есть осуждать неправедную наживу, противопоставлять ей трудовую собственность, действительно созданную тем самым трудом, который делает вещь твоим личным достоянием. А с другой стороны, может, наоборот, проводить и утверждать в сознании людей ту мысль, что, во-первых, если бы в стране с самого начала не существовало возможности отмывания партийных и государственных денег, то и перестройки в лучшем случае не было бы, а в худшем случае была бы революция. И надобно обязательно настаивать, что такое противопоставление выгоды и справедливости всегда кончалось очень печально.

Прекрасным примером может служить средневековый Китай, где купцов было очень много, где они были богаты и очень влиятельны. В то же время они как бы стояли вне общества и вне культуры. Они стремились к выгоде, а человек достойный, по тогдашним китайским понятиям, должен был стремиться к справедливости. Когда стремящихся к выгоде становилось слишком много, тогда вспыхивали народные восстания, усиленные идеологией противопоставления выгоды и справедливости. В

дополнение к люмпен-пролетариату появлялся люмпен-интеллигент, бравший на себя идеологическое обоснование восстания. И очередная династия падала в результате очередной революционной катастрофы. Вместо перехода к рынку постоянно происходило обновление идеи социальной справедливости.

Противопоставление честного и нечестного богатства, стремление к социальной справедливости всегда было двигателем регресса и, по моему убеждению, привело к разрушению очень многих культур.

И еще раз я хочу сказать, что если мы собираемся создавать здоровую и положительную российскую государственность, вообще нормальное государство, то интеллигенция должна нести ответственность за свои слова, то есть занять позицию «да» по отношению к существующей действительности, она должна не только прогнозировать и советовать, но и фиксировать, описывать перспективу происходящего. Эти модели описания будущего должны носить все-таки конструктивный характер, ибо они имеют свойство воплощаться в действительность. Что мы говорим, то мы и получаем. Интеллигенция в конце XIX века традиционно видела в государстве инструмент насилия и подавления. Именно такое государство после 1917 года и было создано. Если мы будем стремиться понимать государство как форму, создаваемую людьми для личного и общественного процветания и благоденствования, то это будет способствовать строительству именно такого государства.

**А. В. КИВА.**

Здесь говорили о власти. Да, я согласен, власть у нас, конечно,— это ахиллесова пята. Ну а интеллигенция, наша радикальная интеллигенция,— не ахиллесова пята? Кто сеет панику в средствах массовой информации? Кто заводит народ? Кто поднимает вопросы, которые работают против демократии? Леворадикальная интеллигенция. Я не говорю о правых и не говорю об ультралевых, что было бы понятно. Кто обвинял Михаила Горбачева в том, что он склонен к компромиссам, что он лавирует, не обозначает четко свои позиции? Тоже интеллигенция. На деле же он должен был идти на компромисс, должен был лавировать при том соотношении сил, которое было в стране. И правильно многие называют сегодня некоторых наших властных демократов необольшевиками. Да, получается так, что какая-то часть нашей радикальной западнической интеллигенции проникнута духом большевизма, как ни странно кажется такое сочетание.

Теперь несколько тезисов по существу обсуждаемых вопросов.

**Первое.** Сейчас много говорят о чуждой нам китайской модели. Она у нас изначально не проходила. Я уж не говорю о том, что в Китае ситуация многими своими чертами напоминает ситуацию периода нэпа. Базис в известной степени покоится на частной собственности, частной инициативе, на развитии рыночных отношений, а надстройка носит военно-коммунистический характер. Так долго продолжаться не может. Либо Китай пойдет по «европейскому» пути или по пути дальневосточной модели, в частности тайваньской (где тоже была одна правящая партия, жестко руководившая страной, а в экономике господствовали рыночные отношения), либо ситуация в Китае будет взорвана. Он может опять вернуться к какой-то новой модели культурной революции. Во всяком случае, такой вариант нельзя исключить.

У нас же ситуация развилась таким образом, что нельзя было, не опасаясь возврата к прежним тоталитарным временам, не разрушать прежние структуры, что, естественно, усугубляло трудности. Нельзя было проводить экономическую реформу, не подрывая основ командно-административной системы. И не получалось так, чтобы на смену одним экономическим отношениям сразу же пришли другие, без всякого зазора. Так не бывает. Но в этом корень многих наших трудностей.

**Второе.** На каком-то этапе стало совершенно ясно, что одних демократических сил недостаточно для того, чтобы можно было развалить коммунистический строй и «красную империю». Поэтому Ельцин — осознанно или неосознанно — обратился к национально-демократическому, национально-освободительному движению. И когда он говорил: берите столько суверенитета, сколько понесете, сколько сможете удержать на плечах, — за этим скрывался не просто расчет развалить горбачевский центр, хотя это несомненно тоже было, но и необходимость включить в общественный процесс совершенно новые дополнительные силы. Старые уже выдыхались.

**Третье.** Для меня мучительным был вопрос об отношении к Союзу. Я этого не скрывал, я был против того, чтобы так просто его валить-крушить. И все-таки я пришел к выводу, что Союз должен был развалиться. Сохранить его демократическим путем было нельзя, не сохраняя ту или иную форму тоталитаризма, потому что Союз цементировался насилием, мистификацией, ложью и т. д. Когда все это ушло или стало уходить, а экономического интереса, опосредованного рыночными отношени-

ями, нет, чем его можно было удержать? Боюсь, что ничем. Поэтому я думаю, что, во-первых, России надо быстрее определяться как независимому суверенному государству однозначно. Двусмысленность положения России, когда, скажем, армия вроде бы является инструментом СНГ, а на деле подчиняется Ельцину, все это прекрасно знают, только вредит СНГ, может ускорить его развал. Неопределенность губительна для самой России, она провоцирует и недоразумения внутри СНГ. Чего, скажем, Украина боится? Она боится России, считая, что реальная опасность ей исходит со стороны России, которая, дескать, не оставила мысли сколотить новый Союз. Кстати сказать, по-моему, политическая жизнь на Украине куда рациональнее, чем в России. В России идет борьба между президентом, вице-президентом, между парламентом, между правительством, всеми остальными. Часто борьба ради борьбы. На Украине есть правительственный блок и есть оппозиция, «Рух». Причем оппозиция примерно такая же, как у нас Движение демократических реформ. «Рух» занимает конструктивную позицию в отношении Кравчука. В нем два крыла: одно готово поддерживать политику Кравчука безоговорочно, другое, во главе с Вячеславом Черновилом, поддерживает политику Кравчука выборочно. Вот это есть более-менее нормальная оппозиция на этапе становления нового государства. Дай Бог нам в России иметь сходную ситуацию. Но нам, видимо, суждено действовать по русской традиции. Если у Ивана сгорела хата, то давайте не ему построим хату, а спалим хату Петра, Демьяна и т. д. Вот логика российского радикализма, логика российской оппозиционности.

Во-вторых, нужна ясность по границам. Безусловно, сейчас надо все оставить как есть. У африканцев хватило ума в 1963 году на конференции Организации Африканского Единства в Аддис-Абебе решить этот вопрос именно таким образом. И на этой почве у них не было крупных конфликтов. Конфликты, войны были по другим поводам и причинам.

**Четвертое.** Вопрос об автономиях. Я согласен с формулой о ступенчатости отношений «российского центра» с автономиями. Не надо впадать в истерику по поводу позиции Татарстана. Я считаю те шаги, которые недавно проводились вокруг референдума в Татарстане, ошибочными. Референдумом ничего еще не сказано, Татарстан никуда не денется. И в отношении Чечни тоже не надо торопиться. Не надо показывать кулак. Стоит нам влезть в эти джунгли, я не знаю, как это назвать,— мы оттуда скоро не выйдем. К тому же мы получим и деморализацию армии. Она у нас все еще многонациональная. Ее моральный дух невысокий. Использовать сгоряча армию очень опасно. Можно получить то, что было в Конго, Уганде, в других местах, когда армейские части, плохо снабжаемые, выходили из подчинения, превращались в банды, терроризирующие население. Не будем забывать, что армия потеряла идеологию, свою цементирующую основу.

**Пятое.** Много говорят об отсутствии у нас порядка. Это верно. Но настоящего порядка пока у нас и не может быть. Революция взорвала все существующие структуры. Коммунистический строй тоже развалился. Развалилась «красная империя». Надо дать этому процессу (а процессов, по существу, два — демократическая революция и революция национально-освободительная, национально-демократическая) логически завершиться. Не надо торопиться, не надо спешить. Я думаю, что гениальность Горбачева заключается в том, что когда его толкали, хотели, чтобы армия там и сям вмешивалась, он этому сопротивлялся. Заблуждается тот, кто считает, что недоработки Горбачева в том, что он не сумел силой решить проблему Нагорного Карабаха. Нельзя было решить эту проблему военными методами, убежден, нельзя. Тем более что проблема Нагорного Карабаха использовалась определенными кругами в Армении и Азербайджане для решения собственных корыстных задач. Для них Карабах просто разменная монета. Поэтому, подчеркиваю, этим процессам, двум типам сошедшихся революций, надо дать закончиться. Конечно, какие-то меры придется принимать, иначе Россия действительно может развалиться. Но торопиться применять силу я бы не стал.

**Шестое.** Ставится вопрос о том, что произойдет, если реформы сорвутся или начнется непримиримая вражда между исполнительной и законодательной властью. Чтобы предотвратить наихудшее, наиболее приемлемым может оказаться следующий вариант: Ельцин, делая ставку на армию, осуществляет с ее помощью переворот, подавляет деструктивный парламент, подавляет правую и ультралевую оппозиции, добивается стабильности и шаг за шагом идет по пути реформ.

**И последнее.** Демократы пренебрегали и пренебрегают государственностью российской, патриотизмом российским, это я считаю крупной ошибкой. И то, что демократы стали осуществлять цензуру в прессе, которая от них зависит, это тоже факт. Уже на моей памяти было несколько статей, которые «сверхдемократам»

показались правыми. Диктат самих коллективов средств массовой информации вещь, на мой взгляд, вполне реальная.

**В. А. ОРЛОВ.**

Я думаю, что новому нашему Содружеству суждена довольно долгая, хотя, может, и не слишком интересная жизнь. Гораздо более интересная жизнь будет протекать между государствами этого Содружества, или, точнее, государствами бывшего СССР, потому что наверняка к этому процессу подключатся и Прибалтика и Грузия по линии двусторонних соглашений и межрегиональных организаций. Я предполагаю, что именно двусторонние связи должны активизироваться в самое ближайшее время. Здесь совпадают вопрос желательности (это действительно выход) и вопрос возможности. Плюс к этому подключаются региональные организации, которые возникают как с участием России, так и без участия России. И на этом уровне механизм будет достаточно эффективным, естественно, во временном плане, то есть речь идет о его эффективности не сегодня или завтра. Я думаю, что это вопрос месяцев, и не стоит здесь излишне ситуацию драматизировать, тем более говорить о том, что нам очень скоро пригодится сила.

Что касается границ, то мысль о моратории на сохранение нынешних границ мне кажется сомнительной только в одном плане. Надо объявить не мораторий на какое-то время, а надо просто признать принцип, который существует и в африканских странах, и в латиноамериканском международном праве,— принцип «чем владеешь, тем и владей».

Зафиксировать его на уровне Содружества — это смешно, это не получится, учитывая позицию Армении, других республик, среднеазиатских в первую очередь. Надо зафиксировать этот принцип в двусторонних договорах между Россией и ее соседями.

Безусловно какие-то конференции в рамках Содружества, международные конференции с участием заинтересованных конфликтующих сторон внутри Содружества вряд ли могут быть сейчас эффективными. И единственным действительно эффективным механизмом может стать, и наверняка станет, если поторопиться, СБСЕ. Это прекрасный механизм, и от него ни за что не надо отказываться, тем более что он действует не только в рамках европейской части, но и гораздо шире — до Памира.

Мы выходим теперь на другой вариант отношений между республиками внутри Содружества. Это отношения, которые будут складываться уже после заключения двусторонних договоров. Если такой процесс пойдет и пройдет эффективно, так же как и двустороннее сотрудничество, в дальнейшем можно выработать механизм, чтобы удержать наши стратегические интересы, в частности на Балтике и прежде всего на Черноморском побережье, вплоть до создания анклавов с определенным правовым регулированием, хотя, я повторяю, это уже следующий этап. В правовом плане он возможен, в политическом — тоже, когда успокоится первая волна суверенизации. До этого такие механизмы будут неприемлемы.

О России. Федеративный договор кто-то здесь назвал надеждой и спасением. На самом деле Федеративный договор — это именно путь к развалу России, как это ни печально. Хотя люди, составлявшие его, работали совершенно искренне, с убеждением, что он имеет обратную цель.

Почему это путь к развалу России? Россия никакая не федерация, это унитарное государство со встроенными национальными автономиями. Таких примеров достаточно много в мире. Надо превратить Россию в федерацию реальную. Связи должны стать совершенно равноправными между субъектами этой федерации (как национальными, так и ненациональными, русскими субъектами федерации). Связи разные, исключая конфедеративные, только не они. Это могут быть различные уровни федерации с присвоением больших или меньших прав, как это регулируется, например, в Индии, где некоторые штаты имеют свои конституции, а некоторые не имеют и т. д. То есть здесь довольно много простора для свободного маневра, гораздо больше, чем нам сейчас кажется. Единственное, что должно быть сразу оговорено, это пресечение любой возможности выхода из России в любое время, при любых условиях.

Таким образом, я считаю, должна пойти децентрализация. Ожидать, что региональная децентрализация пойдет через пять — семь лет, я думаю, не совсем верно, она пойдет гораздо раньше, ее надо стимулировать. При сохранении активных институтов федерального вмешательства.

На одной чаше весов в этой системе сдерживания и противовесов должны находиться механизмы регионализации и децентрализации в политическом плане, равно как и в экономическом. На другой чаше — та интеграционная идея, которая будет выражена в ельцинской позиции по активной пропаганде идеи русского

патриотизма, русской идеи, которая может и должна стать цементирующей в России и удерживать в едином государственном пространстве регионы, стремящиеся к политическому обособлению. Плюс ко всему потребуется федеральное вмешательство, активная роль президента и, конечно, переход к жесткому президентскому правлению с опорой на исполнительную власть. Необходима суперпрезидентская, как это называется в Латинской Америке, республика.

Проведение каких-то парламентских выборов сейчас — это, пожалуй, была бы самая опасная вещь, потому что новые политические силы, партии и группы еще не вполне сформировались. Они действительно довольно четко размежевались, но пока они в стадии формирования. Зато довольно четко сформировались центры лоббизма в самом грубом, вульгарном, абсолютно не цивилизованном виде, которые будут задействованы на новых парламентских выборах, если вдруг они произойдут. Тогда к власти придут не те представители, которые отражали бы новое состояние элиты и новое состояние общества, а те деятели, которые менее всего соответствуют новым задачам и новой ситуации, вернее, соответствуют, но в вульгарном, не в государственном, а в лоббистском, узкоместническом смысле.

**В. И. НОВОДВОРСКАЯ.**

Насколько я могу судить, у всех выступавших здесь достаточно однородное отношение к государственности. Отношения эти строятся по выбору или отвержению той или иной формулы. Из чего следует, что я здесь единственный представитель тех национальных сил, которые в течение последних двадцати пяти лет сознательно и достаточно результативно разрушали государственность. Более того, они являются наследниками тех деятелей, которые предшествующие двести лет аккуратно и последовательно разваливали прежнюю российскую государственность на иных исторических этапах. Причем делали они это не из любви к искусству, не из отвращения к идее государственности вообще, а потому, что формулы государственности, которые у нас применялись на протяжении последних по крайней мере шести веков, были с их точки зрения крайне порочными. Я думаю, всем небезынтересно будет узнать, почему эти силы занимались разрушением государства и на каких условиях эти силы согласятся сложить оружие и признать какую-нибудь формулу государственности. Как ни странно это звучит, но нам тоже нужна государственность, потому что мы прекрасно понимаем, что этнос наш сильно настроен на государственность. И если не будет приемлемой формулы государственности, будет неприемлемая формула государственности и нам опять придется играть роль пятой колонны и последовательно выполнять свою функцию разрушителей.

Под историческим фундаментом Российского государства находится некая жаба, как в сказках братьев Гримм. И пока мы эту жабу не извлечем, никакой стабильной и устойчивой государственности мы не создадим.

В свое время мы восприняли не фаустианское христианство Запада, а магическую формулу восточного христианства. Потому мы миновали и протестантизм и Возрождение и, кстати, протестантской этики были лишены тоже, потому что магическому христианству абсолютно нечего было делать со всем этим. То, что мы называем этническим характером, по-видимому, является набором определенных традиций, сформировавшихся где-то в VI веке. Вот на каких-то из этих традиций и строилась государственность России, а какие-то традиции оказались невостребованными, неиспользованными.

Я выделила бы, с учетом мнения крупных авторитетов в этой области, в частности Ключевского, следующие наши традиции: славянскую, скандинавскую, затем традицию византийскую, потом великорусскую, ну и, безусловно, ордынскую, можно назвать ее еще монголо-татарской традицией. Я буду настаивать на том, что при создании государственности — русской государственности, даже еще не российской — были отвергнуты главные традиции, которые могли бы послужить основой для либерализма, работающего национального либерализма, который у нас, кстати, существовал в XII веке. Я имею в виду Новгородскую и Псковскую республики.

Славянская традиция и традиция скандинавская в этот момент полностью сошли на нет, они не были задействованы. То есть государственность начала выстраиваться на уровне Москвы, к сожалению, на великорусской, византийской и ордынской традициях. И мы получили соответствующие результаты. И дальше я вас могу отослать к Янову, который очень грамотно выстраивает цепочку перехода от автократии к абсолютизму, от автократии к тоталитаризму. Дальше все уже четко просчитывается. И становится понятно, почему не создано гражданское общество. Потому что формула государственности, создаваясь, уничтожила аристократическую элиту, вот те самые части дружины боярства и молодчих ребят. С ними было покончено раз и навсегда в 1379 году, когда на Москве впервые состоялась полити-

ческая казнь за попытку этой аристократической элиты эмансипироваться от верховной и великокняжеской государственной власти, я имею в виду казнь Ивана Веньяминова.

Надо ли мне вам говорить, что островная модель либерализма, то есть англо-американская модель, вся целиком и полностью была ориентирована на аристократическую форму получения политических прав, и если нет аристократии, имеющей политические права, никогда не будет народа, который даже поставит вопрос о политических правах.

Сначала имеет политические права аристократическая элита, далее политические права получает третье сословие. А одно без другого не идет. Более того, одно не идет поперек другого. Демос не может и не должен получить политические права раньше национальной аристократии. У нас, к сожалению, всего этого не произошло. То есть мы следовали историческими этапами, наступая на все грабли, на которые мы могли наступить на своем историческом пути. Помните формулу государственности, выраженную Иваном Васильевичем Грозным: мы, великий князь и государь Всея Руси, в своих холопьях вольны. Добро бы это о народе. Ладно. Ну, извините, это же было сказано и о боярах и о князьях. Это и о них было. Все, значит — мимо Великой хартии вольностей, значит — мимо общин, значит — никакой вариант либерализма на будущее не проходил.

И более того. У нас когда началось построение европеизированной государственности с первой перестройки (а, простите, наша первая перестройка произошла отнюдь не в 1985 году, а первую перестройку у нас осуществлял Петр I все-таки), обратите внимание на действия Петра, которые очень четко походят на действия нынешней власти, — на его отношение к оппозиции. У Петра оппозиции не было вообще, потому что борьба плохого с еще более худшим — это не оппозиция. У нынешней власти та же формула — борьба плохого с еще худшим.

Оппозиционеры — это не те люди, которые бегают в парламенте от микрофона к микрофону. Оппозиции там вообще нет, оппозиция туда не пошла. По моему глубокому убеждению, с идейными оппозиционерами вообще никто не пытался разговаривать. И Петр разговаривать не пытался. Судьба царевича Алексея — наглядный пример, что диалога не было, даже попытки диалога. То же самое и сейчас, правда без эшафота пока обходится, но нет попытки разговора. То есть те имитаторы почвенничества, которые сидят в каких-то структурах власти и в парламенте, это не почвенники, это псевдопочвенники. Более того, никто не заметил их отсутствия и вроде бы без них обходятся. Потом, западники ведь настоящие ушли. Куда ушли? Мудрецы в разные центры и институты пошли. Праведники пошли на площадь, стали проповедовать национальное возрождение помимо нынешней власти. Оппозиция справа и слева была отрезана при первой перестройке, оппозиция справа и слева была отрезана и при нынешней перестройке. Оппозиции нет вообще. Нет элиты. И гражданского общества здесь не будет долго и не может быть потому, что не было аристократической элиты. А начинать надо с нее. Здесь я полностью согласна с почвенниками.

Значит что? Патерналистское государство. Я вынуждена с этим согласиться, несмотря на то, что считаюсь крайним западником,— государство у нас сейчас может быть только патерналистским. Но патернализм должен идти на уровне просветительства. То есть опять же должна быть грамотная элита, и не только грамотная, но и чистая элита, на уровне жречества. Сакральное поле не может создаваться другими руками. Но где она у нас, эта элита? Такого рода элита должна состоять из неких «брахманов» и из бывших идейных нигилистов. Где вы видите их в нынешних структурах власти? Где «брахманы», которые сопоставимы, допустим, с Ганди, где бывшие революционеры, которые согласятся всерьез разговаривать с новой властью? Нет, господа, оппозиция — это не то, что у нас сейчас. Настоящая-то оппозиция с властью разговаривать перестала, но никто этого не заметил.

Значит, какой же выход, что делать с русским национальным сознанием, нужно ли оно? Я вам скажу то, что вы, очевидно, от меня меньше всего ожидаете услышать: национальное сознание нужно включать на полную мощность!

Что такое включение национального сознания? Это идентификация личности и страны. Если она происходит на уровне души каждого отдельного человека, тогда включается национальное сознание. Какой смысл я вкладываю в слово «идентификация»? Довольно простой: речь идет об ответственности каждого за все и перед всеми. То есть я отвечаю за все и за всех — и за Ивана Грозного, и за Петра Первого, и за Брежнева, и за Сталина, и за Горбачева; и перед Балтией отвечаю, и перед Украиной отвечаю. Каяться мне, искупать мне — вот это называется включением национального самосознания. Потому что здесь страна начинает себя вести как личность. Личность начинает себя вести как страна. И не боится каяться. А боязнь

покаяния свидетельствует о том, что нет полного отождествления. Когда пройдет это полное отождествление, страха покаяния не будет, так же как у порядочного человека на уровне нормальной праведности. Между прочим, мы сейчас находимся на нулевом уровне русского национального сознания. И мы можем вынуть некоторые кирпичи и заменить их другими. Элита это может, если этим займется. Элита должна, безусловно, оказаться во главе страны и на уровне праведной, чистой и благородной жреческой касты осуществлять власть. Совершенно безразлично, в чьих руках будет капитал. Но абсолютно не безразлично, в чьих руках будет власть...

Религиозный характер идеологии останется навсегда. Это национальный комплекс. Это было и это будет. Значит, нужно создать на государственном уровне сильное сакральное поле. На воротах государства не может быть надписи «Рынок», ну хорошо, пусть это на воротах Рижского рынка будет написано: «Рижский рынок». Государство же и страна — это не питательная среда, не бульон, где кишат бактерии. Это алтарь, понимаете, это знамя. На знамени не может быть написано: «Рынок»; не может быть написано: «Обогащайтесь!» Это вне интеллекта и вне человеческой души. Так не годится. Значит, какое сакральное поле мы можем создать? Мы можем создать такое поле, которое удовлетворит и почвенников и западников. Мы можем создать сакральное поле великой и в грехах и в искуплении страны. Да, мы грешили. Мы каемся. Никто не способен на такое покаяние. Вон в Штатах однажды повесили накануне 1 Мая шестерых анархистов. Ну, ничего живут, никто не каялся. Проехали. А вот мы будем каяться. У нас народ такой, у нас душа такая. Мы будем каяться, мы будем искупать — велики наши грехи, но велико наше искупление. Значит, что написать на знамени государства? Вот это написать: «Россия — как идеал, единственная Россия, единственная моя». Это наше, это очень сильно, без этого не обойдемся, и не надо без этого обходиться. Поехали, кто может, на Запад, а кто не может — здесь пропадет. Но есть приоритет чести и благородства перед выживанием. Выживание — не главное. Главное — во имя чего выживет страна. Пока страна не выяснит этого вопроса, неизвестно, нужно ли ей выживать.

Великая цель. Без великой цели мы не соберем никакую разумную государственность. Наша государственность может держаться только на идеологической цели. И вот прекрасный, благородный идеал — прогрессорство. То самое прогрессорство, о котором так остроумно написали Стругацкие: вот будем защищать политические свободы, честь, совесть и благородство во всех странах мира. Разными способами, где мытьем, где катаньем, где вооруженно, где невооруженно. Ну представьте себе Россию не как жандарма Европы, а как странствующего рыцаря Европы. Россию, которая будет щитом для слабых, которая будет обнажать свой меч для защиты слабых, причем совершенно бескорыстно. Когда-то это Римская республика делала. Это было в истории. Римская республика делала это на своих ранних этапах. И пока у них жила эта сакральная идея, до тех пор существовал республиканский Рим. Когда идея была выбита, республики не стало.

А на знамени общества что будет написано? На знамени общества будет написано: «Земля и воля». Как символ союза, наконец-то заключенного между почвенниками и западниками. Этого союза нам не миновать. Россия двойственна. И придется найти общую формулу, приемлемую для всех. Я полагаю, сильная, но благородная и возвышенная Россия, которая не ради богатства, а ради спасения идеалов действует и тот же Запад, кстати, защищает... Подождите, может, настанет время, мы еще и Запад когда-нибудь спасем. Вот такое знамя. А «земля и воля» — это национальный либерализм, революционный, подвижнический. Это Новгородская и Псковская республики. Это Тверь. Не забудьте, что формула российской государственности была выдвинута Москвой. Если бы она была выдвинута Тверью, князьями Михаилом, Александром и Федором, которые последовательно погибли так, как дай Бог каждому, у нас была бы иная формула государственности. Славянская и скандинавская традиции жили в Твери, пока Тверь не придушили.

Значит, мы отказываемся дальше следовать традициям, которые нас погубили, и восстанавливаем славянскую и скандинавскую традицию. Реформируем нашу историческую Церковь, включаем сильную протестантскую этику, основанную на национальной традиции,— и мы получаем то, что хотели: великое, благородное и неслыханное государство. Меньше чем на неслыханное Россия ставку сделать не может.

**Б. С. ЕРАСОВ.**

В чем причина того, что произошел нынешний драматический и пагубный для нашего состояния скачок из одного нежелательного состояния общества и государства к другому? Я думаю, что в самом общем плане причина такого скачка состоит в том, что помимо этнического и государственного начал каждое общество имеет то,

что называется цивилизационным началом. Вот и профессор Зубов говорил об антиномии этатизма и этноцентризма. Да, совершенно верно. Это два измерения нашей истории, как и всякой истории. Меня же интересуют цивилизационные измерения. Никакое государство и никакая нация (этнос — это доцивилизационное образование) не существуют вне цивилизации. Пагубность российской истории заключалась в том, что в ней не сложилась устойчивая, органичная, соразмерная цивилизация, как это было на Западе и на Востоке. Можно вспомнить Бердяева, который говорил, что разные периоды российской истории как бы накладываются друг на друга и не имеют преемственности.

Уместно вспомнить и о постоянной гетерогенности русской нации. Все говорят, что русские — самый государственный народ. Но вместе с тем, еще раз обратимся к Бердяеву, это самый антигосударственный народ. Понятие «свобода» он всегда подменял понятием «воля». Воля как свобода от права, от порядка.

И вместе с тем русские вели постоянные поиски цивилизационного строения. Что произошло в последующей истории? Развал русского государства. Он в немалой степени обусловлен именно слабостью цивилизационных начал. И вскоре после этого выяснилось, что народ не может выстоять в условиях развала государства потому что у него нет своей цивилизации.

Большевики, надо сказать, справились с двойной задачей. Они создали государство, сильное государство, тоталитарную систему, вместе с тем они создали некое подобие цивилизации. Неполноценной, бесчеловечной, карикатурной, антигуманной, какой хотите. Однако хоть как-то структурированной, организованной. И разрушение тоталитарной системы привело одновременно к тому, что рухнула и цивилизационная система, рухнуло то ценное и то необходимое, что обеспечивало и физическое и духовное выживание огромного количества населения. И конечно, трудно удержаться и не предложить какие-то пусть самые общие рецепты выживания. Здесь я, к своему удивлению, обнаруживаю, что нахожусь в большом согласии с Новодворской.

Необходимо создание новых цивилизационных основ нашего общества. До того, как будет задумано государство, до того, как будут создаваться новые, здоровые, эффективные государственные структуры, необходимы некоторые цивилизационные основы, хотя бы нулевые, хотя бы первого этажа. Из чего они будут состоять? Здесь много раз говорилось об этих компонентах. Это почвенничество. Столицы должны пойти на консенсус с деревней, с регионами, с провинцией. Эта программа была однажды очень ярко обрисована Солженицыным, и потому я не буду повторяться.

Необходима реформация нашей исторической Церкви, Церкви как социального института. Церковь должна не только возродиться, но и самообновиться. Ей надо научиться не только соотносить себя с историей, но и найти свое место в нынешнем обществе.

И безусловно, мы как-то должны решить задачу создания новой элиты, создания той духовной структуры, на которой только и может держаться цивилизация...

**Обработка и подготовка материалов С. НИКОЛАЕВА.**

## СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

*

# СТИХ О СТИХАХ ДУХОВНЫХ, или ПРЕНИЕ О РУСИ

Иордань, крещаемых радость,
глубина Херувимского света;
Алатырь, камень предивный,
многие таящий силы,—

вы от века на Руси воспеты
от калик, от слепцов бездольных,
в роды славимы и роды.

— Чего на Руси не поется
у людишек простых да бездольных
на просторах пустых да раздольных?
Иордан-то, река святая,
Писанием поведана ясно,
от паломников верных чтима,
что стала у вас Иорданью;
то алтарь есть честный Господень,
во храме уставно святимый,
что поется Алатырь пресловутый,
сиречь белый камень волшебный.
Ох, Русской земли человеки,
невегласы вы, недоуки:
крещением-то вас крестили,
а учением не просветили;
в вас и самая вера бессловесна,
бессловесна да беспонятна!
Ох, Русской земли человеки,
не попы вас учили, а калики;
уж не в лесу ли вы родились,
не древесам ли молились?
В умах у вас туман да ветер:
туман от топей непроходных,
где тешатся над путником беси,
где жаба на кочку выползает,
круглыми глядит очесами;
буйный ветер от бездорожья,
от степных немереных далей,
от дикого вашего поля.
Ох, Русской земли человеки,
не дались вам святые уроки,
вишь, звон Цареградский вы слыхали,
а где есть он, не познали,
сиречь ухом словеса прияли,
умом же их силы не пытали.
Не Отцам вы Святым прилежали,
а Книге, рекомой Голубиной,

волхвов премудрости смутной;
Писания вы не постигли,
в разум веры не достигли,
ведения не стяжавали,
из школы Христовой бежали,
от розги благих наставлений,
от лозы трезвых вразумлений
да скитались по пажитям и пущам,
без пути блуждали, без толку,
по воле вашей неразумной.
Что вы, блуждая, узрели,
что духу вашему открылось,
что ответите Церкви Вселенской?

— Нас обличил ты правдиво,
и воистину мы невегласы;
по грехам и расплата нам бывала.
Мы больнее клеймены судьбами,
явленными Божьими судами,
нежель гласом людской укоризны.
То правда, мы были ленивы,
не искали научения Агнца,
а после в черную науку
каким волкам не давались!
Напоследок дались мы в науку
лютейшему между волками,
рукотворного Рая лжепророку,
обоих отступнику Заветов,
изрыгнувшему хулу двойную
на Закон Моисеев и на Церковь.
А в час крушения Державы,
когда Государь благодушный,
последнею немощью долимый,
к земле воззвал и к народу,—
кто вышел на зов его царский,
из туманов вышел, из ветров,
от дальних Сибирских распутий,
и стал рядом со Престолом,
исполнен волхвования силой?
Страшно и вымолвить это,
а смолчать, так еще страшнее.

Но спросил ты у совести нашей
именем Церкви Вселенской:
вдалеке от школьных уроков
какие уроки иные
духу нашему открылись,
что мы зрели в блужданиях наших?
Помоги мне, Боже, ответить!
Пособи отвечать по правде,
к малому не прибавляя,
великого не умаляя.

Любомудрия первоучитель,
стези умозрения открывший,
всех наставников школьных наставник,
славный Платон Афинейский,
на чем утвердил он разум?
Не на том ли, что заповедал
словно зеницу ока
различение блюсти неусыпно
между плотским и бесплотным?
Плотское для ока зримо,

умное ж умом уловимо;
низко естество плотского,
бытию лишь отчасти причастно,
умного ж естество высоко,
благородно и многоценно
и зовется истинно-сущим.
И сей различения науке
выучил Сократов питомец
трезвомысленнаго Стагирита,
и свою Афинейскую школу,
и по всей земле любомудров.
И самые Отцы Церкви,
вселенские учители верных,
умы, просвещенные от Бога,
в делах мудрости внешней,
естественнаго разуменья,
брали у Платона уроки.
И то скажу не обинуясь:
без различений Афинейских
как еще оградить нам ум наш
от бессловесности плотского,
от дебелой вещества власти;
как над болотами бесов,
тобою помянутыми к ночи,
над топью и гатью Стигийской
отвес восставить разуменья?

Но вот о чем поразмыслим,
страхом Божиим ограждаясь,
поразмыслим да порассудим,
коли дашь ты свое согласье:
об оном свете новозданном,
в самый первый день сотворенном,
как о том Писание молвит,
в начале путей Шестоднева,
когда не зрелось и на тверди
ни Солнца, ни Луны, ни денницы,
ни славы полунощных воинств,
на земле же, пустой и безвидной,
тем паче огней не являлось,—
сей свет без источника света,
кроме лишь Божия: «да будет!» —
был ли свет плотской иль бесплотный?

В безумии моем вопрошаю:
естество премирнаго света,
что исполнило собою пространство
и тем пространство явило,—
не древнее ли, не первозданней,
нежель великая разность
между вещественным и умным?
Нет ли здесь толикия тайны,
что ее и мудрецы не познали,
разве чаяли, да не пытали,
силлогизмов своих не слагали?

В безумии моем вопрошаю:
не сия ли тайна открылась,—

не ответчиво и не словесно,
не в речи учительной и внятной,
не в уроке, какой возможно
от слова вытвердить до слова,
а вытвердив, умом осмыслить.

но в одном видении, столь бегдом,
что видевший изумевает,
изумевая же, немеет,
а после не ведает, что видел,—

нам, Русской земли человекам,
невегласам да недоукам?

И если вправду так было,
то было оно не по заслугам,
не по грубости нашей мужицкой,—
лишь по благодати Господней,
по щедрости Царя над царями
да по множеству слез материнских,
Нечаянной Радостию нашей,
Приснодевственною Похвалою
за нас на молитве излитых.

Что мы зрели, то зрели неясно,
как бы в зерцале иль гаданьи,
о виденном то соблазняясь,
то вовсе о нем позабывая,—
но всем естеством нашим зрели,
целокупным составом человека,
и плотским и вместе бесплотным,
где и самая плоть духовна,
от подвигов поста истончаясь,
где и ум в теле устроен.

Как немой, видения сподобясь,
знаками о нем возвещает,—
не так ли в немотстве нашем
святые мы писали иконы,
что нудят плотское око
во плоти зреть не по плоти?
Вот наша любомудрия школа,
вот и все силлогизмы наши!
Но и Римския Церкви посланец,
царем отринутый Грозным,
ни за что Руси не хваливший,
за одно похвалил нас правдиво:
за иконное художество наше.
А уж ты потрудись поразмыслить,
поразмыслить да порасчислить,
отколе и когда он пришел к нам?
А пришел он от земель Фряжских,
где в оное самое время
и не счесть было живописцев,
на всю вселенную гремевших.
О, как между ними величалась
та двоица изографов славных
с архангельскими их именами:
вишь, Ангелом един Михаилом,
другой же Рафаилом нарекся!
Помысли ж, коль многого стоит
похвала от Фряжскаго гостя.

Так: на Севере нашем скудном,
на просторе пустом и безвидном,
между топей наших и гатей,
и снегом занесенных весей,
и убогих могил позабытых
икона являлась молчаливо,

что свет, сокрытый под спудом,
что лал, рубищем окутан,
что дикий мед благовонный,
в дупле грубом утаенный,
или благоухание крина,
без слов излитóе на безлюдьи,
не примеченное прохожим.

Что мы знали, то и знали,
то и на иконах писали:

как от Плоти преображенной,
Полноту Божества вместившей,
свет Пребожественный сияет,
словом Паламы изъясненный,
для горних умов невместимый,
но зримый для плоти освященной,
для очес, подвигом омытых;

как угодника святого
постом истонченные члены
без речи тайну являют,
тайну Духовнаго Тела,
сокровище в нищей скудели;

какой вертоград заповедный,
Песнею Песней воспетый,
в Богородичном цветет затворе,
как радуются о Благодатней,
о тайном Рае словесном,
о слезной сладости нашей,
и Ангелы и человеки,
купно со скотинкою Божьей,
от Флора и Лавра стрегомой,
купно со всеми древесами,
лозами, травами, цветами
и с Матерью Сырою Землею,
горними крылами осененной.

Помнишь ли, как лев пустыни,
святого обоняя святость,
мирно пред оным простерся?
Для смеха ли скажу аль вправду:
мы, Русской земли человеки,
не у льва ли того учились,
не так ли благодать познавали
бессловесным чутьем звериным,
на дух различая духов
и Духа Святого приемля?

Вот придем мы ко святыне явленной,
в землю поклонимся по чину,
приложимся, прильнем с плачем,
припадем, как младенец к родимой,
целокупным естеством нашим,
из плоти составленным и духа.

А когда нас другие учат
словом разумным и строгим,
дай нам Бог внимать беззавистно.

Предлагать читателю разъяснение собственных своих стихов небезопасно. Впрочем, всем памятны великие примеры, санкционирующие такую практику; хотя бы Данте в «Новой жизни».

Мы остерегались портить графический облик строки цифрами или звездочками, отсылающими к подстраничным сноскам. Пусть многоуважаемый читатель, если ему любопытно — а если нет, тем хуже для нас,— сам распознает полуприкрытые стилизацией отсылки к известным местам из русских писателей, философов и богословов. Мы не хотели бы оскорблять его недоверием к его догадливости.

Во избежание недоразумений и соблазнов, однако, заметим следующее. Онтологическое различение, абсолютность коего ставится в стихах под вопрос, это не библейское различение между Творцом и тварью, но, как ясно сказано, философское, «спиритуалистическое» различение между нематериальным и материальным. Последнее некоторым образом преодолевается самим фактом существования иконы, как ее понимает Предание.

«Рукотворного Рая лжепророк» — разумеется, Маркс, укоряемый за двойную хулу на христианство, которому он принадлежал в силу крещения, и на иудейство, традицию своих предков. «Чтобы провести здесь последовательно антирелигиозную точку зрения, ему пришлось пожертвовать своей национальностью, произнести на нее хулу и впасть в своеобразный, не только практический, но и религиозный антисемитизм»,— заметил о нем С. Булгаков («Два града». М. 1911, т. 1, стр. 96).

«Римския Церкви посланец» — Антонио Поссевино.

С. А.

* * *

Жесткие навершия елей,
что кресты на холмах могильных;
дрема от пения хвои,
овеянной забвенным ветром;
над далями без предела
суровое рядно неба,

что веселий не сулит и не просит.

Россия, матерь Россия:

ни хвалы, ни хулы ты не слышишь,
оне до тебя не коснутся,
утонут в пучине великой,
молчания твоего пучине,
истают в твоих далях,
развеются твоими ветрами,
канут без следа и знака.

А Божий приговор неотменен,
неотменен да недоведом.

Ты руки мне на плечи положишь,
поглядим мы друг другу в очи
неотрывно и неотступно,—

и ни слова друг другу не скажем.

ИВАН ОГАНОВ

*

# ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ

*Эпос*

Главы из книги

Бог, ты родил землю,
Ты отец хлеба!

გარჩევ და გარჩევ, სიმინდო!
ბევრიც გაცურე წყალშია!
ბედ-შავო გლეხო, ტლუ ბიჭო,
ნუ დაეცემი ცდაშია.

მიჰყევი შენსა მარჯვენას,
ღმერთი არ გრიცხავს აროდეს,
მშრომელი მოჭირნახულე,
ერთ დღეს ხომ გაიხარებდეს.

Перебирать устал тебя, зерно кукурузное!
Устал и в воде отжимать.
Эх, горемыка и смерд непутевый,
Судьба, где пощада твоя?

Иди за своею рукой кормящей,
И Бог не оставит тебя.
Труженик ты многожильный,
Где ж радость твоя?

Часть первая

## ВЕЛИКАЯ МАТЬ КАХЕТИИ МАРО

### МРАВАЛЖАМИЕР

Эй!..
Древний народ! Эй!

От крестьян-виноградарей деревни Велисцихе Гурджаанского района хочет говорить древний, седой, но еще крепкий виноградарь и плотник Тархнишвили, с кахетинским медвежьим характером. Ведь он старейшина рода, земледелец, гудящий по всей Кахетии.

Эй!..

Увядающей лозой задушенный, хочет петь прощальную осеннюю песню опустевших виноградников этот глех-крестьянин. Смерд. Пахарь. Жизнь несется на него мутными волнами Алазани. Камни унесены в пучину. Валуны прибрежные растерты в зерно днями ушедшими, ржавыми от горечи. Валуны иссечены хмурой волной. В пыль ветхую как рваная одежда нищего выветриваются холмы Кахетии.

Эй, деревня!

Эй, дубы и чинары!..

Темные от ран и страданий дубы кряжистые вырваны ураганом.

Стонет лес гомборский.

Лес наших страданий и сгоревших надежд.

Эй, Тархнишвили, несется бурей жизнь! Обдает свежей речной пеной и брызгами сморщенное, почернелое лицо.

Великая река Кахетии Алазань окропила твои щеки холодными, бешеными брызгами.

Сколько веков тебе, старик?

Загибая окаменевающие, корявые пальцы, ты вспоминаешь умерших людей и павший скот.

Стада быков, коров и волов погибли давно. Закололи тысячи визжащих от страха свиней. Сдохли от голода свирепые пастушеские псы-мцеварни.

Люди-кахетинцы уходят во мглу пещеры. Там тьма. Там наше мертвое стадо. И возвращаются мертвые виноградари и пастухи. Слышите блеянье овец? Мычит одинокая корова. Корова наша мать. Стада вместе с людьми возвращаются и снова уходят во тьму. Виноградники желтеют, мерзнут, умирают. Лоза жизни сделалась камнем. Кровь лозы стынет. С чашей древнего вина стоит виноградарь. Виноградарь Тархнишвили глядит стадам вслед. Глаза слезятся. Горит свеча, одна на всю долину, съеденную сумраком. Небритые, в щетине, щеки старика дрожат. Ветер задувает свечу. Песня запоздалого пастуха плывет над долиной. Ночь слушает песню.

Эй, поколения, мертвые и живые!

Овцы Кахетии!

Мы — народ!

На отлетающих, кружащихся в воздухе листьях лозы мы пишем кровью великую Книгу

Книгу Жизни и Пота!

Тяжко и надрывно скрипит нагруженная земледельческой книжищей арба.

Поля поют книгу. Это страшная, пожирающая хлеб песня.

Люди! Народ! Похороните могучего старика Тархнишвили с Книгой на груди.

Пусть она раздавит в земле его кости.

Выпьем за такую смерть, кахетинцы!

Гаумарджос! Слава дышащему винограду!

Пьем за Алазанскую долину. Песню нашу поют перезрелыми голосами даже сентябрьские яблоки велисцихских садов. В чашах из глины горит светлый дух вина. Это наш пот. Наш труд. Вот колос пшеницы поет песню с нами. Здравствуй, бог осени и золотистой грозди. Здравствуй, Дионисэ зеленоглазый, печальный. Народ ждет тебя. Спелая гроздь в твоей руке наша книга.

Я, Тархнишвили, жду тебя.

Живи тысячи жизней! Мравалжамиер! Мравалжамиер! Мравалжамиер!..

Кто не помнит, как корова рожала чудовище, человекобыка?! Женщина Маро рожала своего сына, зачатого мрачным буйволом-исполином. Крича, жадно лизала каменеющую от боли землю. Кахетия с содроганием слушала этот стон. Кахетия сделалась роженицей. Кахетия — мать Книги Жизни и Пота. Я древний человек Тархнишвили, отец Книги. Буйвол родил буйвола. Книга родила Книгу.

Рот мой сводит судорога. На иссеченном неурожаями лбу холодная испарина. Пусть древний, трехтысячелетний дуб молится за меня, первочеловека виноградников! Мы приносим дубу жертву кровавую и поим вином.

— Я дуб гомборский! Я буря! Я предок леса! Кто зовет меня? Я — ваша Книга, крестьяне! Горящая листьями книга.

Старик Тархнишвили взволнован. Зеленый дубовый листок пылает слезой в зрачке крестьянина.

— Не вырваться мне из круговорота смертей! — горюет пахарь Вано. Вано слышит, как гудит Книга землей. Хочет вспахать Книгу плугом.

— Дымит мой очаг, люди! — ободряет крестьян Тархнишвили.— Не погибнем. Листья лозы — страницы народной книги. Эй, ловите, крестьяне, уставшие осенние листья. Слетаются ко мне дышащие солнцем и виноградным духом страницы. Я собираю листья и сжигаю их, и они слезятся голосами исчезающих крестьян. Горят и не сгорают листья. Слава огню возрождающему!.. В моем винном погребе марани, в глиняном кувшине-квеври, зарытом в землю, томятся голоса крестьян. За каждый голос я поднимаю рог с древним вином.

Мравалжамиер!

Эй, люди! Мироеды ненавидят народ. Они грабят нас.

Сойдутся в битве однажды Книга Жизни и Пота с Амбарной Книгой недоимок и долгов, кабалы. Страницы этой всепожирающей книжищи измазаны бараньим жиром, соусом, горчицей. Хотят раздавить нас мироеды-грабители. Погодите, хапуги и обжоры. Книга наша, кахетинский родовой эпос, опрокинет вас. Вашу Амбарную книжищу зла.

Слетятся страницы крестьянской жизни птичьими перьями в одно гнездо, и мы, кахетинцы, понесем это гнездо, судьбу виноградарей, по свежевспаханному полю с песнями вдоль Алазанской долины. Мы несем нашу плодоносящую лозу. Хор многоголосой Алазанской долины оглушает землю. Где Книга? Под каждой жаркой лозой дышит она.

Валуны, мокрые от туманов, камни прибрежные иссечены брызгами Алазани.

Камни раздавлены нашим горестным плачем. Желтеют на песчаном берегу голые бараньи кости. Буковые дальние леса валятся, дымясь гарью.

Кружится во мраке гомборского леса дуб трех тысячелетий. Отец дубовых рощ. Отец крестьянских вождей. Отец бога Дионисэ, в пещеру смерти осенью уходящего.

Слышит дуб стон реки Алазани, влюбленной в него. Стиснул зубы и сжал потемневшие веки одинокий дуб.

— Не бойтесь, люди! — хмурится Тархнишвили в разорванной на груди нищенской рубахе.— Мы приходим и уходим! Мы уходим в холод и мрак и возвращаемся снова. Каменная виноградина дышит кровью. Пьяные птицы Кахетии кружат над виноградиной.

Печаль горит в их немых, потрясенных взорах.

— Где предок рода, плотник Тархнишвили, женившийся на могучей Марокорове, матери земли с грустными глазами животного?..

— Где безумный Сторож виноградников Иеремия с всклокоченными волосами и разодранной бородой?..

— Где Бнело-Темный, неграмотный брадобрей и любитель лошадей, неуч!

Кружат в беспокойстве птицы, снижаясь и теряя перья. Ни одной буквы не различает Бнело-Темный, грязный коротышка с большой нечесаной головой, но вместе со всеми поет народную Книгу Виноградаря, пропахшую бычьим навозом и крестьянским потом.

— Эй, Кахетия! Еще не пьяна? Держишься на ногах? — вопит он как полоумный.

Здоровенный пахарь Вано поднял обеими руками над головой бочку с вином прошлогоднего урожая, что отдала земля. Вино рекой льется в запрокинутый рот. Пахарь Вано, пей за здравие дышащей большим, черным животом земли. Матери. Живот матери вспахан твоим многопудовым плугом. Человек!

Человек Праздничный!

— Кацо! Славословь землю!

— Слава кахетинскому винограду! Мужчины! Женщины! Гаумарджос!

— Мравалжамиер, братья!

— За нашу лозу! — молодые безусые парни сверкают глазами.

— За Алазанскую долину! За дышащую сентябрьским солнцем, идущую под нож гроздь!

— Пейте за погибающую деревню Велисцихе, уходящую во мрак!..— Тархнишвили склонил голову над глиняной чашей в старых, грубых сморщенных руках. Кружась, слетают в чашу теплые птичьи перья.

Морщины бороздят лицо старика. Дышит жизнью потемнелое лицо.

— Моя рука правая, кормящая, сотни лет давящая гроздь! Рука моя держит вас, дети и внуки и потомки мои! Рука моя ищет в ночном винограднике бога Дионисэ, бога солнца и умирающей осени. Эй, где Дионисэ?

— Мы ждем тебя! Ты — наша смерть и наше рождение! Ты — наш виноградник. ШЕН ХАР ВЕНАХИ!.. Слышишь, в твою честь грянул хор опустошенных виноградников. Эй, бичо, парень Дионисэ!

Враг и друг наш!

Я старик Тархнишвили, соперник дуба-великана, рожаю Книгу.

Корова рожала теленка. Со вздохом она оближет его теплым, шершавым языком. Пахнет от нее скисшим, свернувшимся молоком невинности.

Кровью и грязной соломой. Женщина Маро с печальными, темными глазами рожала несчастного человекобыка Иштара. Такое вы слышали когда-нибудь, люди?.. Волосы дыбом встают. Как она стонала. Сырая земля гудела. Сырая земля раскалывалась. Маро лежит широкой спиной на земле. Вся Кахетия забилась тогда в опавшие листья и норы от страха. Выла река. Немой крик блестел кровавым пятном на лбу каждого кахетинца. Помните? Помнишь дуб родовой наш?!..

Мрачный и одинокий. Отец бога Дионисэ, родившегося из желудя. Осенью убьют тебя, разорвут хищными зубами озверелые крестьяне. Сожрут твое мясо, как псы.

— Эй, смерд! — гудит дуб, взмахнув седыми крыльями.— Зачем кричишь обо мне всему миру? Я не хочу. Я жажду молчания. Я сам — Книга. Я — буря.

— А мы все жаждем вина, жаждем песен, жаждем смерти!

— Пошел вон, смерд! Черный земледелец! Глех нищий! Не касайся моей оглохшей от ваших песен души! Я — вождь! Я — дуб! Я властелин Кахетии, из желудя рожденной.

Плотник Тархнишвили поднял к дубу темное лицо:

— Не хмурься, великан! Слышишь, земляк, помоги мне родить книжищу. Как буйволу, рождающему буйвола! Книжища эта распирает меня и давит на плечи, на шею ярмом... Помоги, дружище. Я шатаюсь от груза. Мне не сделать ни шага. Эй, пахарь Вано, хоть ты помоги! Подхватывай! Понесем, согнувшись в три погибели, шатаясь от усталости, надрываясь, в смертном поту, горящую навозом и кровью, мычащую и орущую Книгу Народа.

Понесем ее по свежевспаханному полю, брат земледелец!..

— Эй, народ! Я Тархнишвили — Человек-Книга!..

Я слышу стон земли, скрип колыбели. В колыбели родилась земля. Земля тяжелеет костью.

Я буйвол, рождающий из приречной грязи буйвола.

Вано упал. Не выдержал тяжести. Вано охватил грязное, мокрое от пота лицо ручищами. Свалился здоровенными коленями на борозду.

Лицо пахаря посерело страхом вековечного труда. Барщины до самой могилы. Из Книги лезли цветущие хлебные колосья. Пахарь Вано нашарил дрогнувшим коротким пальцем окаменелое зерно пшеницы. Птица рассветная сквозь мглу метнулась и схватила зерно клювом. Клюв раскололся. Закричала от боли и гнева хищная птица Пашкунджи.

Она редко оставляла в полете за собой тень. Птица смерти подавилась каменным зерном. Смеялся угрюмо дуб над птицей, свившей гнездо на его седой, несчастной голове.

— Я Человек! — орал в небо плотник.— Я боюсь бездны! Я устал! Я боюсь людей.

— Я Человек-Книга!..

— Я — овца.

— Я Жертва!..

## РЕВ НАД АЛАЗАНЬЮ

— Слышите, слышите, земледельцы?

Хмуритесь, пастыри? Алазань, наша кормилица, вздыбилась. Могучий, чудовищный рев. Кто-то стонет, плачет. Я, плотник Тархнишвили, как и все велисцихцы, захвачен врасплох. Разозлившись, Алазань затопит поле и виноградники. Над рекой утренней кричали. Плотник Тархнишвили проснулся, прислушался. Он и не спал ночью, забылся ненадолго, провалился в яму. В смерть. Рад бы навсегда окоченеть в яме. Всем надоевший деревенский вождь и всеми забытый. Но смерть пока не идет. Хотя давно за забором поджидает, притаилась, жует хлебные крошки холодными, посмеивающимися губами.

— Я жажду мрака!

Долог путь к смерти древнего человека. В сумерки, прощаясь со светом, завозился всем телом, словно в выдохшуюся солому зарываясь.

Холодная старческая слеза блеснет на реснице. И вдруг гроза или мычанье напуганной коровы разбудит его. Плотник лежал с открытыми, тусклыми глазами в громадной кровати, сколоченной им из срубленного грушевого дерева, что росло во дворе. Кровать иногда, зацветая на спинке листьями, давала урожай

медовых, прогорклых груш. Груша жила во дворе. Медленно покачивая на ветру стволом, смотрела в нахмуренное лицо старика. Однажды старик рассвирепел и срубил ее.

Плотник лежал в дышащей мертвым грушевым деревом кровати. Он лежал недвижимо, вытянув руки. На мозолистые пальцы налипли пахучие опилки. Подрагивая ввалившимися, небритыми щеками, плотник слушал крик. Алазань, когда в ярости,— ненавидела бегущих к ней, чтоб успокоить воду, людей. Сердце Алазани билось. Ходили в мути рассвета, разваливаясь, волны. Волны, разъярясь, толкали на берегу валуны, волочили к себе и топили мокрые камни. Взбешенная Алазань разбивала камни. Эй, виноградари! Чего прячешься в норах, народ?..

Кто бьется в эту ночь о камни головой? Холодная, колючая вода накрыла вздохом одинокого кахетинца!.. Разве нет у несчастного матери или отца? Желтопенная, мутная вода душит Иштара. Кровавая вода набросилась на валуны. Тащит их во мрак. К валуну прижался разбитой головой Иштар. Юноша-бык, изгнанный из деревни, чтоб порчу не навел на урожай. Чудовище со съеденными тоской глазами хочет задохнуться в воде, пропахшей ржавчиной тысячелетий. В крупных, обезображенных зрачках животного остановилась кромешная тьма.

Люди! Кахетинцы!

Это мечется по истерзанному берегу последний из пропавшего стада человекобыков Кахетии. Человекобык Иштар с голым, стыдливо стынущим телом юноши и плачущей мордой молодого быка. От крика сына окаменел буйвол Або, отданный в рабство людям. Буйвол-первопредок, спаси меня! Но окаменевший буйвол продолжал жить и дышать. Мокрый от черного пота труженик. Горящий одиночеством глаз не мог одолеть тоски. Река не хотела душить юношу-быка Иштара. Река отступила. Злая от соленой крови крестьян и животных, река Алазань не могла утопить плачущего без матери юношу с бычьими рогами. Бездна не могла одолеть бездну.

— Смерти жажду! — хрипел он.

Он поплелся, хромая, в яму. В яме он задумался. Он накричался за ночь, а теперь, замирая, вслушивался в стеной плывущий над буковым светлеющим лесом крик. Юноша-бык вслушивался в собственный новорожденный крик.

— Алазань! Алазань! — звал он вспененную, враждебную воду.

Хочешь мое горе?

Хочешь моих окровавленных слез?..

Где ты, буйвол-предок?..

## ИЗ МРАКА РОДИЛОСЬ ЖИВОТНОЕ

А реке Алазани безразличен юноша-бык.

— Ненавижу пасынка плотника Тархнишвили! — рычит река.— Ненавижу убогое животное! Страшен ты народу! — с воем уносится Алазань.— Люди и холмы! Стада животных ненавидят тебя, Иштар! — поет Алазань.

Глаза реки сверкают радостью. А сначала она хотела спасти несчастного, воспаленного жаждой жизни. Теперь же не подпускала даже пить.

— Не давай ему воды! — кричат крестьяне.

— Пусть подыхает!

— Гони его прочь! — размахивали парни палками и дубинами.

— Он умрет! Умрет! — хохотали простоволосые крестьянки.

Испуганно вдавился в прибрежную глину бычьей мордой Иштар. Чтоб не видеть и не слышать эту бурю крестьянской жизни, готовую гнать, валить, бить всей деревней. Сверкают влагой острые кончики рогов. Он дорого отдаст им свою жизнь. Сжался. Захрипел судорожно, предсмертно. Погналась по берегу за взлохмаченными ветрами собака. Собака оскалилась пастью. Мечтала разорвать ненавидимое чудовище. Но вдруг застыла. Страшен Иштар! Собака, рыча, попятилась. Гудел вершиной песчаный холм, где во тьме веков стоял череп коровы с пустеющим провалом глаз. Гудела уже не гора, а Маро. Могучая женщина с глазами коровы. Пришлось плотнику вмешаться в хаос. Остановил толпу.

— Сама Алазань разберется! — проговорил он твердо. Набухли желваки.

Все слышали угрозу. Даже взбученная вода у плакучей ивы. Молча, напряженно сопели крестьяне.

— Мама! — плакал Иштар.

Река притихла, уходя в ночь.

Вот так из мрака рождается животное! — подумал устало плотник.

Плотник в своем сарае-мастерской. Он выдалбливает из ствола дерева гроб. Лодку. Бочку. Молчит старик. Прижался к гробу небритой, колючей щекой. Недостроенный гроб, лоно матери, лоно земли шумит зелеными листьями жизни. Но оглох старик, не слышит. Лоб плотника раскроила ножом громадная поперечная морщина. Сделавшись великаном, однажды он затолкает в гроб всю деревню Велисцихе и уплывет на этой лодке смерти в вечность. Жена плотника лежит в большой кровати, укрывшись рогожей.

— Тархнишвили! — зовет она неодетая, полуголая.

— Не мешай!

Глаза плотника остаются холодными.

— Оставь в покое живых односельчан! — качает головой женщина.

Плотник не откликается из сарая. Однажды он слышал, как она рожала сына. Привалившись спиной к дубу, женщина стонала. Рожала чудовище женщина, а может, рожала река. Кричала, захлебываясь черной кровью, Маро. Дымилась шерсть буйвола, первого ее мужа.

— Не женщина,— вздохнул плотник,— а буйвол должен родить буйвола.

Испарина на лбу плотника. Он отбил жену у горемыки буйвола, сам на ней женился, когда изгнали ее из соседней деревни жители. Плотник вздохнул.

— Дуб меня ненавидит! Ревнует к моей власти над народом!..

Вспомнилось плотнику, как крестьяне кидали в человекобыка камни, гнали его прочь.

— Мрак родил чудовище! — вспоминает плотник.

## ПЛОТНИК И ГРОБ

Бездомный юноша ночевал в овраге. Маро не могла его взять с собой, в чужой дом. Маро, женщина с глазами коровы, просила плотника Тархнишвили не давать ее сына в обиду. Приходилось старику с ружьем на плече ходить в сумерки по окраине деревни. Гнать прочь парней с камнями.

— А ну, прочь, дураки! — стрелял по ним солью плотник.— Контора мироедов Бежиашвили сама отправит его на мясозаготовку, на кварельский мясокомбинат. Не торопитесь!

Потом плотник возвращался в жилище, ложился. Но разбуженный изнемогающим, надрывным стоном юноши-быка, плотник уже не мог уснуть.

В одном исподнем, в истлевших дырявых кальсонах, в рубахе навыпуск, кашляя и закуривая, поперхнувшись и сплевывая, ковылял он, надев на босу ногу калоши, в свой старый сарай, плотницкую. Ворочал там на рассвете спросонья грязными, худыми досками. Гремел бревном, ронял из трясущихся рук взвизгивающую, тупую пилу. Ночь еще не стерта предутренним, подслеповатым ветром. На тусклое окошко сарая, на прожорливые щели, заткнутые рыжим, осыпающимся мхом, давил серый ночной мрак. Лез в разбитое окошко сырой туман с реки.

В одном белье, сгорбленный, на согнутых коленях, старик с седыми бровями гладил вздрагивающими, шершавыми ладонями доску. Постучал топориком.

Крестьяне уже кормили мычащую скотину. Гнали ее в стадо, кормиться на пастбище. Блеяли овцы, мычали невыспавшиеся, голодные, жалкие коровы. Визжали, словно их взялись резать, свиньи.

— Эй, Тархнишвили! — хрипло позвала, спросонья, еле поднимая набрякшие веки, Маро. Даже лежа в кровати она накрывалась рогожей.— Не спится? Ночью взялся доску доструживать?

В жилище пахло земляным полом, сухим тленным веником для подметания, комьями развалившегося, сырого от влаги хлеба. Углем в мешках.

Крестьяне просыпались и вставали. Зевая, скребли нехотя затылки всей пятерней, почесывали лохмы слипшихся волос, с чужими злыми лицами. Поджимали в неприязни к жизни и труду голодные рты. Исподлобья тускло светились недоверием к плотнику их тусклые глаза. Крестьяне не верили в гроб-ковчег плотника, на котором он уплывет с ними от голода в вечность.

— И лозу хочет взять с собой, чтоб насадить древо жизни!.. И коров, и лошадей, и овец. Даже голодную пастушью собаку!

Живо в велисцихцах недоверие сельских простолюдинов.

— Что это за гроб! Где они все поместятся? И скотина и люди! Перешибутся все, влезая в лодку смерти, потопят переполненную, сами задохнутся.

В открытую настежь дверь сарая несло свежестью дальней реки, смешанной с горящей рожью и кислым овсом из чужих амбаров. Пахло дымом варящейся похлебки. Брехали, потягиваясь, тащась за сгоняемым стадом, собаки с впалыми боками и тощими хвостами, с ободранной в клочья шерстью. Пастушок, поблескивая живыми и злыми от недосыпа глазами, нехотя бросил в собаку палкой. С немым, чахлым визгом отпрянув в сторону, собака снова потянулась за медленно бредущим за кормом стадом. Коровы брели, не вдумываясь в свое одиночество. Их ждало голодное, колючее поле. Каждый раз коровы съедали день жизни своего хозяина с изуродованным заботами лицом.

Бежала собака между грустными, бодливыми коровами, продолжая играть с жестоким подпаском. Она дружила с ним, пока не издохнет, радовалась собачьим, пропахшим мочой сердцем. Она знала, что мальчик-пастух ее бог. Счастлива была лизать руки в коросте, готова для его удовольствия сдохнуть, если он ударит палкой. Светлело. Бурьян тускло поблескивал изморосью. За покосившимися заборами прятались опустелые сады.

— Эй, Тархнишвили, опять за гроб взялся? — отбросила от себя рогожу Маро.

Тархнишвили помолчал, прежде чем тронуть визгливой пилой дышащую доску.

Замер с зазвеневшей в предутреннем тумане кривой пилой. Маро не унималась:

— Досок на гроб не хватит. Где доски возьмешь?

Лицо плотника сморщилось. Щеки давно не бриты, ввалились.

— Пусть спасется в моей лодке последний кахетинец! Не даст погибнуть лозе!

Снова застучал топориком, откалывая сырые щепки.

— Хоть один человек должен спасти лозу! — пробормотал в прокуренные, разрушенные долгой едой зубы. Провел большим, негнущимся пальцем по блеснувшему лезвию топорика.

Маро села в громадной кровати. Коренастая, тяжелоногая, с крупным и печальным лицом. Она поглядела в сарай. Смотрела на старика недоверчиво, обвисли как-то безнадежно углы холодного, изнуренного тяготами рта. Рот женщины словно принадлежал целой семье едоков, а не ей одной. Жесткие волосы она расчесала деревянным гребнем для чесания овечьей шерсти. Собрала сзади тугой узел, ухватила его веревкой. Равнодушно смотрели холодные глаза.

Мрачные глаза не осуждали людей. Матрас набит шерстью и сеном.

Маро перестелила постель. Руки женщины пропахли темной землей, кукурузным зерном. Ходила она грузно, валко, раскачивая широкими бедрами. Хотя могла и бегать в волнении, если искала пропавшего сына, искала его в обезлюдевшем кукурузном поле, с тяжко раскрытыми, остановившимися глазами.

Когда Маро шла, народ боялся, что она раздавит под собой землю и деревня Велисцихе провалится в бездну, в страшный мир теней и мертвых предков Джоджохети.

Храбра эта женщина.

Не боится в праздники, вызывая мужчин, бороться одна с накачанным водкой быком. Под пение дудок и грохочущий барабан-доли.

— Тархнишвили! — говорит Маро.— Продай доски. Оставь свой гроб. Давай лучше будем копать огород.

Тархнишвили нахмурил взмокший лоб. Убрал за спину руку с топориком. Вдохнул в легкие кисловатого, темного воздуха. Мокрых, преющих опилок. Капли крупного пота катились на доску. Над деревней стонал мельничный жернов. Над накренившейся мельницей стадо невыспавшихся и оглохших от скрипа жернова облаков. Со скрежетом медленно ворочается жернов, размалывая с наслаждением пахучий нетленный ячмень. Любимый корм короткошеих мулов. И быков тоже. Копытом ненароком раздавил вкусное зерно бык, слепо плача по ушедшему в землю ячменю, сыну урожая. Дергая жестким хвостом, плакал бык. Маро замерла. Жернов пробуждался от зимней спячки. И странно, не хотел жить сын мельника. Камень.

Камень не хотел жить! Только бычий горб мог вдуматься в эту жалобу.

Дернул хвостом бык. Маро чуяла быка. Ей стало тесно в низком жилище плотника. Все ей мешало: бревна задымленные, каменная старая стена, низкий потолок, даже глиняный холодный пол, что давил на ее большие голые ступни,

на большое тело одинокого домашнего животного. Вот она напряглась мощной шеей, дернула покатым упругим плечом, и похолодевшее солнце скатилось на рога коровы.

А может, Иштар сейчас не в яме зябнет, а уже греется на опушке букового светлого леса за ближним холмом? — подумалось плотнику. Плотник накурился черного табака. Слова Книги дымом летят в небо над крестьянскими жилищами.

Зачем мы поем эту Книгу? — хмуро почесывал затылок плотник.

Солнце согрело страницы Книги.

Ветер трепал на плотнике распахнутую, ободранную рубаху.

— Эй, Иштар! Отзовись! — снова звала в пустом поле женщина.

Но деревня, пробуждаясь, вставая и впрягаясь в будничные, тягловые работы, уже забыла про чудовище.

Где-то за оврагами, в пещере наскальный художник и каменотес Хуц высекал во мраке на стене голое тело несчастного Иштара.

Дробный удар камня о камень.

В жилистой, крепкой руке рубило.

— Иштар! Иштар! — плакала женщина.

## ЖЕЛУДЬ

Валуны повалены. Камни превращаются в пыль. Ураган повалил исполина. Немо стонала жертва. Погибло гнездо исполина. Заглохло семя. Сорвал рогожу дикий, с гаревой мутью, ветер. Ураган. Слышите, крестьяне? Сорвана рогожа с подземного дома великана густолиственного. Разодраны корни дуба. Камни становятся пылью. Дубы превращаются в камни. Пыль кружит. Хуц-Каменотес высекает на стене пещеры Смерть и Возрождение Кахетии. Люди рождаются из камня. Погревшись на солнце, люди уходят во мрак. Лоза чернеет. Кахетинцы пьют из каменной бочки окаменевшее вино. Вино отцов. Вино предков. Кровь их.

Сами они — застывшие навечно земледельцы. Лоза сходит в могилу к предкам. Зовет тростниковым, трепетным голосом на помощь — корову.

— Корова, съешь мое тело! Пей мою кровь! — плачет лоза.

Плотник ворочает доски возле недостроенного гроба. Дышит темной стружкой, поперхнувшись, кашляет. Закуривает свой горький, черный табачище.

Он слышит, как люди в громыхающих повозках медленно ездят по Кахетии. Все хотят бежать от очага, от земли.

— Идет распродажа земли,— вздыхает плотник.

А потом в стылые сумерки народ возвращается обратно ни с чем.

Бросает смерд свою бедную, разваливающуюся повозку. С опущенной головой, стыдясь, блудным сыном входит к остывшему очагу. Пахнет холодной золой, рассыпавшейся на земляном полу из прохудившегося мешка картошкой. Нет дров. Нет хвороста. Не разжечь печь.

Ложится оборванный бедный смерд на земляной пол и, дрожа от холода, в продрогшей тьме думает о Кахетии.

Люди, как погибающие, сырые желуди в земле.

— Я Тархнишвили — желудь!! Все мы дети всемогущего дуба.

Седая Эка рвет на голове спутавшиеся волосы. Лицо женщины разваливается комьями глины. Она стоит на коленях в грязи. Зовет пропавшего сына. Она разрывает грязными ногтями желуди. Ищет сына. Где он?

А народу в сумерках и не видно по деревне Велисцихе. Жмутся как слепые кроты в своих норах. Попрятались по хлевам. Скучно Тархнишвили-плотнику. Хоть со слепой, старой лошадью выпить.

— Стану умирать, лошадь эта ободранная с седой гривой будет поджидать меня, немощного всадника, в могиле. Я пью за здоровье слепой, беззубой лошади. С ней всегда можно договориться. Вези меня, кляча, во мглу. В подземный мир предков.

Лошадь понурая слушает тост.

— Выпьем, тощая кляча, за Книгу Труда и Навоза! Каждый кахетинец пишет ее. Вот нагрянет последняя для всех осень, тогда и повезем Книгу на скрипучей арбе в горящий, огнем плененный виноградник жизни. В землю зароем книжищу вместе с голосами поющих Книгу крестьян. Напоим ее перед смертью зеленым, пенистым вином. Или в гроб-лодку погрузим, переполненную мычащей скотиной и плачущими детьми. Но сначала под яростный барабанный бой пусть

борются в опустелом винограднике Книга Народа и Амбарная Книга мироедов. Пусть борются рядом с ними народ и бык. Сопят и задыхаются, истекают потом грязным, соленым. Стар и млад сражаются.

Чья возьмет?

Мой гроб — это тоже Книга. Но я устал писать ее плотницким ножом.

Кто станет читать ее? Одни мертвые. Они давно изголодались без слова, с которого содрана виноградная кожура.

А вчера в сумерки мимо опустелых садов на окраине нашей деревни провезли мироеды ненавистную крестьянам Амбарную Книгу недоимок и долгов.

Гудел колокол, подвешенный на дубе, раскачиваясь от ветра. Ехал верхом на Книге засаленной верховный бухгалтер, великий ревизор Кахетии Анания Ананиашвили. Сидел на ней, как на бочке, раскинув по сторонам толстые, жирные ноги. На страницах грешных этой книжищи наша кабала. Долги и хищения, недостачи, приписки, фальшивые отчеты.

— Что еще за Амбарная Книга? — недоумевает дуб.

— Это лживо-кровавая летопись Кахетии наизнанку! Торгово-хищнические картинки прошлого. Шиворот-навыворот. Где верх? Где низ? Книжища эта как бык, задушенный кабалой, тонущий в земле, уходящий вниз рогами, задирая вверх задние копыта. Возят книжищу по осенним дорогам на повозках и арбах, чтоб держать в немом страхе и одури темное крестьянство. Книжища мироедов похмельная, разевающая в сонной одури и зевоте рот, измазанный красным соусом и подливкой, пропахла рожа книжищи жареным луком и горчицей, рожа облеплена окровавленными гусиными перьями. В трухе жирные, зияющие дырами, изгрызенные мышами страницы. Пропахла книжища мироедов бычьим навозом, корешок подпорчен, кривые буквы валятся на спину, пьяные кукурузной водкой. Книга Позора нажралась сациви скисшего, вонючего лобио, тухлой рыбы, испорченного жаркого из баранины.

Жадными волосатыми пальцами лезет похотливая книжища в ткемали, чавкая жирным ртом, отрыгивает вареной требухой.

Великий ревизор и хапуга Кахетии Анания Ананиашвили расселся на книжище, как на раздавшейся вширь свинье, сидит в расстегнутом мундире и с разорванной ширинкой на штанах, босиком, лопнули башмаки без шнурков на толстенных ножищах. Один башмак свалился в пыль, другой вот-вот свалится, плывет в воздухе, касаясь каблуком жертвоприношений и даров подневольных крестьян: мешков с мукой и картофелем сизощеким, окороков.

Лениво погоняет дубинкой Анания дюжину нетрезвых, спотыкающихся в пьяной, сонной одури мулов. Повозка с книжищей громыхает на ухабах и неровностях дороги, застревая в грязи разваливающимися колесами.

— Эй, голодранцы! — орет, выпучив свиные глазки, великий ревизор Анания и ковыряет огромным пальцем в мясистом носу весом с корову.— А ну-ка подсобите! Подтолкните заднее колесо, бездельники! Плуты!

Целая орава, целая деревня оборванных крестьян сгоняется на помощь застрявшей повозке. Люди бегут к ней с лопатами, мотыгами, вилами. С шумными выкриками, песнями, хохотом толкают, пихают единым вздохом повозку в шею, тащат из грязи свалившегося в лужу Ананию-нахлебника, захребетника. Анания Ананиашвили весом с трех быков снова посажен на Книгу, оседлал и сжал ее жирными коленями, сидит на ней в штанах, лопающихся на ягодицах. Торчат в разные стороны пальцы ног с задубевшими, желтыми ногтями.

— Я тоже рожден из желудя! — вопит он. — Я тоже потомок дуба!..

## ИЗГНАНИЕ СВИНЕЙ ИЗ ХРАМА

В редком, насквозь просвечивающем, озаренном холодным солнцем буковом лесу Нодар Шашвидзе замер, завороженно вдыхая горьковатый и грустный, позднеосенний дух стылого, навсегда исчезающего леса. Хмуро зеленеющей влагой поблескивали мшистые камни.

Кахетинский лес! Наш лес!..

Пахучий, сам дышащий оплывшим ворохом сухих листьев, охваченный сладкой дрожью озноба, свежестью плывущей на нас большой, огромной осени. Сжались в разваливающихся, опустелых гнездах оставшиеся мерзнуть в одиночестве птицы. Птицы прислушивались к шороху зимы.

Лес чудился Нодару Шашвидзе окаменевшим. Но даже каменный и холодный, он продолжал с каждым кахетинцем разговаривать взволнованным шепотом. Если едешь по долине в эту пору, хоть и умирают, а все же продолжают звать к себе умирающие буковые и грабовые леса.

Озаряются кусты орешника. Это мелкие листья, слетаясь на погребальную землю, холодным огнем греют синий, одичалый лес. Набравшись за август позднего, медвежьего солнца, леса стоят гаснущими кострами. Прячется в берлогу засыпающее солнце.

Костры листьев — тусклые пожары.

Сентябрьский лес, обиталище бродячих богов и зверей, угасал.

Лес вырубали и расхищали мироеды. Им торговали. Распилочно и навынос. Каждое бревно. Человек природный спекулировал лесом жизни.

Ночь дышала черным огнем. Дуб задыхался угарным духом своего подожженного тела. Лесничих перебили. Бродят повсюду, по глухим тропам, дорогам и оврагам шайки воров и грабителей. Клейменый, разбойный люд.

Спившиеся, проворовавшиеся чиновники, озверелые торговые работники, вооруженные стражи закона, давно продавшие совесть на базарах, хапуги, грозные, безжалостные вымогатели. Дикие спекулянты черепами.

Безжалостные детоубийцы с хмурыми, невыспавшимися лицами. Кровавые бухгалтера совхозных касс и призраки убиенных святых. Матери с голодухи топили детей, как котят. Сыновья душили или вешали на дубах вниз головой ветхих стариков. Вырождались виноградники и люди.

В белом храме Алаверди резали свиней.

Алаверди — самый высокий храм Кахетии, что птицей летит над синеющей Алазанской долиной. Мироеды поселили свиней в храме, чтоб увеличить поголовье. Свиноферма в древнем соборе. Наняли сезонных батраков и подсобных рабочих, и пришлые люди из бродяг с радостью — за водку и мясо — взялись за устройство в Алавердском храме свинофермы.

Бродяги равнодушно побелили высокие стены со старинными фресками и росписями. Храм перегородили внизу досками. По каменным, разбитым плитам с комьями застылого, почерневшего воска с визгом носились хрюкающие твари. В разрушенном и выпачканном свиньями алтаре поставили корыто с вонючей жижей и отрубями. В алтаре денно и нощно истошные вопли и гвалт. Визги грязных, щетинистых животных заглушали холодный шепот задушенных богов.

Огромная, стонущая от сытости жирная свинья лежала в алтаре, окруженная детьми. Заплывшие салом свиньи готовы с радостью грызть храм.

Они могут проглотить его с потрохами, переваривая в могучих зловонных желудках даже купол. Хотелось стаду загрызть каменные исполинские своды с ободранной кожей глухонемых кахетинских великомучеников. Монах в изорванной тупыми, копытными животными рясе спрятался. Залез под корыто с смрадной картофельной жижей.

Лежал во тьме, распластанный, долгими ночами, глотал холодные слезы обиды. В шелухе и струпьях на голом теле, святой умолял страшных, обросших щетиной животных не пожирать его живьем. Он нанялся сюда рабочим-скотником. Носил ведра с помоями, мыл и чистил свиней, кормил стадо, убирал тряпкой и веником загаженный алтарь. Иногда с легким сердцем соглашался помогать резать хряка для ночного шабаша-разгула мироедов.

Распоясавшиеся хозяева жизни любили устраивать в Алавердском храме ночные кутежи с пьяными драками и убийствами, с человеческими жертвоприношениями. Трепыхались смоляные факелы. Под древними сводами раздавался нечленораздельный вой.

Монах в нищенском, истлевшем черном фартуке злорадно улыбался, бледный. Исхудалый. С запавшими сухими глазами. Кровь убиваемой для кутежа свиньи заливала стены. Свинья с визгом вырывалась, подыхая. Десятки услужливых рук держали ее сальную тушу. Мироеды пожирали ее живьем, иногда даже не жаря на вертеле. Наутро глаза грязных, измазавшихся помоями свиней тускнели, когда они обнюхивали стены в засохшей крови своих собратьев. Под копытами валялись куски обвалившейся штукатурки. Всех алавердских свиней угнетало то, что они не могли задрать кверху голову, чтоб полюбоваться на замазанного мелом, умершего мученической смертью и трижды опозоренного древнекахетинского святого.

Нервничали свиньи, когда мимо них шмыгал бледный, осунувшийся монах-скотник с затравленно поблескивающим взором. Долговязый тощий мужчина в рваном тряпье и босой. Стадо всегда пробуждалось ночью, когда он угрюмо затеплит среди корыт и ведер с навозом огарок обугленной свечки и дышал этим усталым, холодным пламенем.

Сдавленно пел сквозь холодные, искрошенные зубы, пытаясь разбудить замазанные кровью, выколотые глаза святых на стене. Свиньи боялись, как чумы, всхлипываний умирающего огарка. Огарок погибал от одиночества. Страшились волосатые свиньи тлеющего дыма воспоминаний. Вот стоял он, ничтожный подсобный рабочий, низкооплачиваемый скотник храма, в рваных сапогах или босой, в лохмотьях рясы, опустив неряшливую голову с длинными, редкими волосьями, и грел давно не мытые ладони струящимся синеватым дымом. Свиньи, мигая ресницами, завороженно разглядывали стыдливо наплакавшийся огонек умершей свечки.

Скотник с черным взором смеялся раздавленным ртом. Грязная его спецодежда пропахла дерьмом животных. Животные, почесываясь о каменные плиты, всем нечистым туловищем вслушивались в затравленную молитву дыма. Оборванец с медленно загорающимся взором дышал светом плавящегося воска. Точили вода и сырость камень высоких сводов.

Свиньи начинали взволнованно шептаться. Алавердский храм, гордость Кахетии, сделался их отчим домом.

Их расплодилась тьма.

Они пожирали все кругом в Гурджаанском районе, даже рабочих совхоза, их жен и детей.

Нодар Шашвидзе, молодой районный начальник, замер в светлеющем буковом лесу, устрашенный нечистым духом стада.

Он чужак, его перевели сюда из Марнеульского района навести порядок, якобы для смеха. Кто мог одолеть здешних феодалов, хищников вина!

— Чужак! — посмеивались крестьяне, почесывая пятерней колтун в лохматых волосьях на затылке. — Съедят его мироеды!..

Нодар Шашвидзе пытался сокрушить банду хищников, их вождя Янго Лазуришвили, директора гурджаанского винзавода № 1.

Готовилась с первого дня появления чужака кровавая над ним расправа. Это пустяк для мироедов. Исчез человек. Сгорел в лесу. Провалился сквозь землю. Сожрал его голодный волк.

В храме Алаверди хозяйничали боровы, хряки, подсвинки. Нодар Шашвидзе решил одолеть этот хаос. Подъехал к храму в повозке, велел кучеру остановиться. Смуглое, узкое лицо. Грустно смотрят внимательные, холодные глаза. Тонкий рот схвачен вынужденным терпением, горечью. Руки крепкие глубоко засунуты в карманы брезентового дождевика. Нодар в сапогах, замызганных засохшей грязью. На голове кепка. Ходят на лице желваки. Скулы грузинского, подавленного печалью страстотерпца. Упрямый, волевой подбородок. Хмурина в темно-серых глазах. Высохший от какой-то неизлечимой обиды рот сжат горькой складкой. Упрямство одинокого правдолюбца. Лес знал, что Нодар Шашвидзе родился для одиночества. Такой же одинокой будет его смерть. Упрямство разгорелось в тлеющих надеждой, страшных от отчаяния зрачках. Подергивается бровь. Настороженный, остывающий взгляд.

Жаждой смерти дышали его каменные скулы. Он был враждебен не только мироедам-хищникам, но и бродячим богам, а это ожесточало крестьян. Ведь боги давали урожай. Свергая древних богов крестьян, Нодар Шашвидзе не понимал, что обрекал на гибель и лозу. Лоза не могла зацвести в равнодушных, без бога, мозолистых руках крестьян. Гонителю дикого, осеннего праздника убийства Дионисэ нет уголка под солнцем Кахетии. Ртвели без крови Дионисэ — какой это праздник сбора урожая винограда!

Нодар Шашвидзе слышал о готовящейся над ним расправе и презирал наемных убийц.

Крестьяне удивлялись тому, что Нодар Шашвидзе не слышит, как засыхает лоза без осеннего пролития жертвенной крови в опустелом винограднике. Нодар Шашвидзе любил лозу, он хотел, чтоб она стала его матерью, но он был чужаком, приехал сюда из Марнеули.

Он поздоровался с рабочими свинофермы. Те, в грязной спецодежде, в грязных, разваливающихся от старости башмаках, измазанных жижей, молча

отвернулись. Сжимая в руках вилы и лопаты, они не хотели разговаривать с чужаком. Им было неловко. Перед ними стоял человек, которого поклялся убить Янго Лазуришвили. Скотники боялись, что, изгоняя свиней из храма, Нодар лишит их нищенского заработка.

Скотники готовы были сейчас же на месте молча заколоть его вилами и снова взяться за уборку помещения и уход за животными. Нодар Шашвидзе снял с головы кепку и проник во тьму загаженного храма, где поселились бесы.

Он стоял, пытаясь проникнуть взором в смрадную ночь. Он проваливался в бездну. Свиньи испуганно захрипели. Они только что сытно пообедали, нажрались картофельных очисток и отрубей. Наступал мертвый час свиней Кахетии.

Нодар засунул дрогнувшие руки в карманы дорожного брезентового плаща. Скулы темнели. Сдвинулись брови. Все голо и пустынно в душе и в храме. Наплывал сумрак. Не верилось, что совсем недавно, в разгаре лета, храм Алаверди утопал в зарослях пылающего гранатника.

Ветер врывался в затхлое помещение и, сраженный смертным духом, бежал вон.

Пахло грязной шерстью животных. Их навозом. Тошнотворным потом. Дрогнуло сердце Нодара. Может, взор замазанного известью слепого мученика смутил его? Нодар снова сделал шаг к бездне.

Отступать поздно. Нодар хочет смирить хаос. Снова отыскать свет в мерзнущем, сквозящем на ветру винограднике. Ветер набежал и распахнул настежь двери храма.

Свиньи испугались. Может, почуяли конец своему разгульному размножению среди мерзости запустения?

Рука святого, белая, в извести, благословляла изгнание. Святой терпеливо ждал, когда свиньи пожрут сами себя. Святой смотрел выколотыми ножом глазами. Кое-кто из подсобных рабочих раньше верил в бога этого храма. Рабочие стали незаметно вынимать из карманов ватников и халатов оплывшие, чудом сохранившиеся, обугленные огарки.

Огарки свечей робко затеплились. Стадо очумело от запаха горячего воска, задыхалось дымом. Святые со стен благословили убийство.

Немощная, костлявая рука мученика на стене породила среди свиней панику. Нодар Шашвидзе решился. Ветеринар составит акт. Объяснит непригодность культовой постройки для жизни свиней, где они простуживались, кашляли, чихали, болели ревматизмом. Испытывали головокружение в ночь позабытой людьми пасхи. Они умирали от сердечной недостаточности по великим праздникам. Их тошнило, рвало желчью и кровью.

Надо спасать свиней Кахетии! Спасать их жирные души для нужд населения. Питание народа под угрозой!

Нодар Шашвидзе молчал.

Могучие двери храма обиты ржавым железом, гремят. С вбитых в двери ржавых крюков свисали страшные цепи. Синеватый дымок от украдкой затепленной свечи курился кверху, к мрачному, вдруг словно раздвинувшемуся своду. Свершалось клятвопреступление. Казнь. Униженному богу приносилась кровавая жертва. Кахетия молчала, снова ждала конца света. В грозди винограда умирала жизнь.

Двери храма зияли ранами прошлых осад.

Поднял лицо Геронтий-свинопас.

Крепкий, мускулистый малый, здоровяк с задубевшим лицом, землистыми щеками, с крестьянской вежливостью на холодных, улыбающихся губах.

Геронтий стоял как столб, несдвигаемо, опираясь обоими увесистыми кулаками о дубину.

Повизгивающее стадо прижалось к его ножищам в разодранных штанах, зияющих дырами, и в раздавленных калошах. Широченные штаны, превращенные снизу в лохмотья, были охвачены в пояснице бельевой веревкой. На теле он носил бараний, изорвавшийся давно полушубок с рваными локтями. Хоть и крепкое, а костлявое лицо, ширококостое, обросшее рыжей щетиной, небритое. Геронтий усмехнулся большим, продавленным ртом, заиграл искорками засветлевших, глубоко запавших глаз. Шевельнулся короткий бычий нос бесшабашного кахетинского жителя и неунывающего труженика.

Задорно усмехаясь, Геронтий обнажил распятый могучим зевком рот с щербиной почернелых и обложенным каменеющим налетом от грубой пастуше-

ской пищи зубов. Рот Геронтия был изуродован редким, горячим варевом сельского праздника из большого общинного котла, а чаще стылым крошевом от разгрызания здоровенной кости сваленного бугая, перемола черствого, старого и крепкого, как холм, крестьянского хлеба из ржи.

Геронтий поздоровался с районным начальником Нодаром Шашвидзе. Алазань, сдерживая гул воды в сердце Геронтия, несла свою широкую волну среди пропахших недавней жатвой берегов. Дышала грудь здоровяка одиночеством полей, куда уводил он пастись свое стадо.

Стадо громкое и тяжелеющее мясом.

Геронтий стоял сейчас, опираясь кулаками о дубовую палку. Совхоз платил ему за труд, и питался он тем, что наливали в корыто его подопечным. А бродя по лесу и в поле, они вместе искали и грызли мертвые желуди.

Разодранный, с торчащими клочьями полушубок всегда распахнут на голой груди, здоровенная грудь никогда не мерзла, ему было жарко, захваченному заботами и буднями стада. Полушубок еле наполз на неровные, крепкие плечи: одно выпирало бугром, другое торчало костью. От крепкого лица его в землистых пятнах несло свежестью тронутого первым зазимком поля. Рот дышал давно павшими сливами, которые собирал он в чужих опустелых садах на земле.

С нерасторопным телом Геронтия сроднился животный, тяжелый дух загона, хлева. Руки крепкие и свисающие, живот, потная могучая шея темнеют сырой землей и гнилым сеном.

Нодар Шашвидзе протянул Геронтию руку. Пастух свиней застенчиво топтался на месте, дернул щетинистой жесткой щекой. Сельский житель сродни одиночеству выгонов и пастбищ. Но уже будущий старик, даже мудрый старец угадывался в нем, хотя глаза его с светлыми пятнами задорно, по-мальчишески блестели.

Он замер. Но вдруг снова испуганно дернулась холодная щека, разрытая ранней морщиной.

— Свиноматку зарежем! — обратился ко всем Нодар.

Нелегко далось ему это слово. Нодар Шашвидзе нахмурился. Вспухло от страшного усилия веко. В свалявшейся черной соломе возились поросята. Спина здоровяка Геронтия похолодела. Занесло землей смерти рот. Он опустил голову. Прошамкал что-то осиротелый рот. Свинья, разрывая кукурузные жмыхи, вдруг подняла голову и замигала розовым, утопающим в сале глазом. Вот и сторож свинофермы подошел, поздоровался. Снял с головы шапку. На нем чиненный на продранных локтях вонючий ватник. Неуверенно как-то, придавленно рассмеялся, стараясь держаться с начальством вежливо, старый сторож.

— Что скажешь нам, Геронтий? — отрывисто бросил Нодар Шашвидзе.

— Мое слово? — устало улыбнулся пастух. Казался всем громадным.

— Он боится потерять заработок! — хрипло, мелко рассмеялся старый сторож.

— Этого не боюсь! — нахмурился Геронтий.

— Одну зарежешь, другая родится.— поддакнул хитровато сторож.

Сам сторож прижился здесь, в загаженном Алаверди, хотя помнил, как в храме горели свечи и пели монахи, молился народ, выклянчивая бедную похлебку у всех святых. Сейчас он знал, что как свиней ни гони вон, они вернутся. Достатка своего он не утеряет Он мог махнуть на все не сгибающейся от старости рукой, наголодался за жизнь на полевых земледельческих работах, а здесь хоть дышит тошнотворным запахом животных и кормится, воруя у них картофельные очистки. Варево перепадает и ему, когда скотники втихаря объедаются, с отрыжкой, пахучей и сладкой, с икотой. Сейчас он вроде бы не против подсмотреть, как гибнет стадо, чтоб потом наябедничать обо всем и наврать мироедам, оправдаться: как мог он, маленький человек, бедный жалкий сторож, запретить Нодару Шашвидзе изгнание стада!

Пусть режут толстую свинью, ему тоже достанется жирный кусок. Старик уволок его в свою обшарпанную, низенькую сторожку; наедятся забитого мяса рабочие-скотники, наестся и он, нагрызется убиенного животного, блестя слюнявым, навечно проголодавшимся ртом. Нет! Не навсегда будет разворочено гнездо производителей жира!.. Сторож даже сделает запас на зиму с недозволенного, самоуправного кровавого побоища.

Ах, заранее благодарен сторож Нодару Шашвидзе за сладкую сытую тошноту на сердце.

Он сжал и разжал в предвкушении бойни глазки.

Давно пора свалить на душистый окорок парочку брюхатых!

Колоть их. Резать!

— Открывай загон! Идем! — вдруг рассердился Нодар Шашвидзе.

— Сейчас! — упавшим голосом, кивая, отозвался Геронтий. Небритые щеки его побледнели сквозь щетину.

Все трое двинулись за перегородку в смрадную тьму. Черная мгла ударила в голову. Жижа скользила под ногами. Нодару Шашвидзе почудилось, что разгневанные свиньи набросились на него, повалили на каменный пол и вцепились в горло.

Вот и алтарь. Брюхатая, жирная свинья обеспокоенно поглядела на людей. Неужели вот здесь, у самого алтаря, сейчас загаженного и мерзкого, стояло перед битвами славное кахетинское воинство?

Обуглились свечи. Под копытами темнели капли отверделого воска.

Нодар Шашвидзе зажал рот ладонью. Кто он и зачем родился? Он, казалось, медленно погружался в смрад. Он кричал, но его не слышали. Свиньи, чавкая, пожирали помои. Хочешь? Ешь отвратительное пойло, Нодар! Чтоб лучше знать, чем кормят отборных, племенных свиней твоего Гурджаанского района.

— Оставьте меня! — задыхался Нодар. Но святые на стенах не слышали его. Вопли пожирающих падали свиней все заглушали.

Святые Кахетии стыдливо протягивали им дрожащие руки. Ветер бродил в помещении, разбрызгивая клочья темнеющего света. Лицо святого исцарапано когтями судьбы. Сжалось растерянное, муравьиное низкое солнце. Спряталось в кустах ощерившегося шиповника. Ягода высохшая, плача по-детски, звала дикое солнце.

— Отчего так темно? — взволнованно спросил Нодар Шашвидзе.

— Темно? — смеясь, переспросил сторож.

Зачадила тухлым маслом плошка. Рваные тени искаженно метались по стенам.

Тень словно вырвалась из плена. Из гнезда.

Святые Кахетии все родились в бедных крестьянских семьях. Сейчас их с худыми, несчастными лицами вновь потянуло со стен к земле, к грешным, своенравным людям. К земледельскому труду. Они обожали запах горячего коровьего масла. Щеки их оживились. Захотелось им пожевать домашних ржаных лепешек. Эти старцы и юные послушники, отроки с напуганными ликами, пытались расслышать зовущую их души рожь в далеких, потемнелых полях, захваченных ночным морозом.

Они мечтали надышаться припавшей к земле рожью, чтоб не дать остыть своей бледной, известковой крови. Крестьяне-святые фресок молчали — с впалыми, овечьими лицами, забрызганными худосочными слезами.

Они давно уронили свои нимбы из сухих колосьев и погнившей, пахучей соломы. Геронтий стоял с хмурым, непроснувшимся лицом, похожий сам на раздраженного, растерянного хряка с хищными клыками. Свиньям никогда не утолить обуявшего их голода. Они сожрут долину, храм и все равно погибнут. Лицо Нодара Шашвидзе осунулось. Под скулами заходили желваки. В встревоженных колючих глазах зажглась печаль. Громадная, страшная свинья лениво уставилась на Нодара.

— Надо резать! — вырвалось у Нодара. Он отступил, сделал шаг назад.

Сторож и Геронтий стояли молча. Седой пух лез из оттопыренных ушей сторожа. Постаревшим ртом Геронтий сдавленно выругался. Глаза его нахмурились и слезились от горького, враждебного дыма. Вдруг свиньи разом заглохли. Тошнотворная сладость распада охватила людей.

— Эй, ты, Геронтий! — крикнул Нодар. — Давай нож!

Нодар Шашвидзе захлебнулся ветром, бьющим в разбитое окно. Скрежетала повисшая на ржавой петле покосившаяся дверь.

— Гони этих тварей вон и сам уходи! Проваливай!.. Убирайся!

Мгла насела на алтарь, переживший срам и одиночество. Храм Алаверди летел вместе с туманом над засыпающей долиной. Мечтал долететь до снежных гор.

В темноте Геронтий ударил свиноматку ножом в сердце. Руки его намокли кровью.

— Стадо вон! Гони! — задыхался Нодар Шашвидзе.

Холодная, поверженная туша остывала в луже крови. Облако ночи заглядывало в разбитый купол. Сторож распрямился и смахнул локтем испарину со лба. Старенький сторож жадно вдыхал жаркую, чужую кровь. Посмеивался губами. Свинья умерла. Она уже не мучалась.

Все было позади. Визжали свиньи. Мать их молчала. Лопнул красный пузырек слюны на обнажившейся десне. В освобожденном от четвероногих копытных тварей храме воцарилась рассеченная ножом тишина. Геронтий в резиновых, измазанных окровавленными потрохами калошах остановился над тяжелой свиньей с развалившимся надвое брюхом. Глаза пастуха темнели, остывшие. Молчало серое взмыленное лицо.

Сторож снова улыбнулся. Нодар Шашвидзе разжал руки. Рабочие отгоняли палками осиротелых, напуганных свиней. Они искали вероломно убитую мать. Может, хотели сожрать ее. Очумели от ее сладкой крови. Геронтий вытер нож о фартук, обтер и выпачканные кровью руки. Нодар Шашвидзе ударом ноги настежь распахнул двери. По глазам полоснула резкая свежесть студеного ветра. Мокла в бочке у двери солома. Нодар Шашвидзе пытался расслышать в дыхании стылых сумерек исчезнувшую кровь беззащитного животного.

Но тянуло умирающими, сухими колосьями хлеба. Темнеющие поля встречали убийц. Сторож палкой поднятой выгонял наружу свиней.

Свиньи жались, боясь холода. Геронтий вдруг страшным голосом, надрывая горло, заорал на стадо. Стадо вырвалось из привычного обиталища, униженного храма, и бросилось врассыпную по картофельному голому полю.

Крестьяне со сводов сверлили ночь слепыми взорами. Великомученики виноградников осторожно хлопали в стылые свои ладошки и неслышно, радостно пели скудными ртами. Рты провалились. Зияли землей. Геронтий как обезумевший гнал стадо. Присел на разбитые ступени храма Нодар Шашвидзе. Храм гремел пустотой и светился. Храм пел.

Светился кровью. Скотники-рабочие сгрудились у алтаря с погибшей свиноматкой. Все они почуяли, как тяжесть грузом свалилась с их плеч. И это несмотря на то, что им было жаль жертву. Наполнился глупой, чернеющей слезой глаз низкорослого, глухонемого уборщика.

Рабочие фермы устало улыбались. Нодар Шашвидзе, опустив голову, уселся в старенькую повозку, запряженную лошадью. Руки его крепко сжались. Потом он закрыл руками бледное, как мел, чужое лицо. Лоб был холодным от пота. Крестьяне с фресок били в барабан праздника. Ныла волынка. Святые дудели в дудки. Крестьяне водили на сводах медленные, свободные от векового сна хороводы.

Глухо, но все громче распевали кахетинские гимны. Славили виноград.

— Ты наш виноградник! — обращались они к богу-овце, блестя лысинами.— Шен хар венахи!..

Нодар Шашвидзе ехал в подпрыгивающей на ухабах повозке.

Кляча семенила, побаиваясь кнута. Сторож подарил кучеру для Нодара Шашвидзе отрезанную голову свиньи. На холодец.

Нодар Шашвидзе был угрюм. Свет над Алаверди разливался, согревая долину виноградников. Ночные виноградники медленно догоняли повозку. Лоза улыбалась растерянному Нодару.

— Я чужак,— бормотал он.

В повозке валялась, катаясь под ногами, завернутая в полотенце голова громадной свиньи.

Измазанная кровью.

С немыми, скучными глазами.

— Ты — Виноградник! — звонко распевал храм.

Храм Алаверди летел над ночной долиной.

## БОГИ ИДУТ В ВЕЛИСЦИХЕ

Вымученно улыбнулся Дионисэ, пробуждаясь от зимней спячки. Всеми и отовсюду гонимый, тяжело израненный на осенних праздниках, он скрывался потом всю зиму на складах гурджаанского винзавода № 1, где Янго Лазуришвили оформил его грузчиком-чернорабочим перетаскивать бочки и бутылки. Директору винзавода выгодно было спасать бога виноградарства и виноделия от смерти, ведь через Дионисэ, его буйства и праздничные жестокости и оргии, феодал феодалов держал в страхе и подчинении кахетинский народ. Хотя надвинулась уже последняя, наверное, смерть Дионисэ, он изжил свою судьбу.

В зеленых, многострадальных глазах грузчика с окладом в семьдесят рублей воском умирала надежда на спасение. На всех бутылках кахетинского вина, что продавалось повсюду, в станционных буфетах, лавках, столовых,— этикетка с

печальным взором Дионисэ, на вас всюду в застолье смотрели зеленые, несчастные от одиночества глаза. Лицо юноши с этикетки на бутылке обезображено тоской.

А что дружки его? Они поджидали его всю зиму, чтоб снова тронуть в путь по Кахетии, бродяжничать и бездельничать по деревням до глубокой осени. Панто-козлоногий трудился мойщиком посуды и пивных кружек в придорожном шалмане-хашной, где варили вкуснейшую похлебку из свиной требухи и копыт и подавали разбавленное водой мутное сигнахское пиво. Там толкался в любое время дня и ночи базарный воровской люд, в кепках и папахах. Квириа-бог после осенних кровавых расправ находил себе убежище в качестве убойщика скота на мясокомбинате городка Кварели, где его всегда ждали, он отличался силой, сноровкой и работал честно, в поте лица.

Третий божок из компании нанимался чучелом-пугалом на крестьянские поля, где недвижимо стоял в рваной шляпе и грязном пиджаке, раздвинув в стороны руки.

Ранней весной боги снова собирались все вместе и шли по Кахетии. Если же перехватывал их по пути капитан-взяточник Абесалом с сизым носом и требовал штраф за бродяжничество, сам в то же время трусливо отступая от опасной бражки, корчащей гнусные рожи, Панто-козлоногий или Агуна совали ему в нос грязную бумажку с размытой подозрительной печатью.

— Вот справка о трудоустройстве! — вопил Панто, тряся мочалкой-бородой.

— А ну пошел вон с дороги! Обирала! А не то поколотим тебя! — Агуна показывал капитану-вору кукиш.

И вот снова влажный март. Дождливый, сырой, с мокрым тающим снегом. Бродяги истомились без просторов.

Дионисэ забрел в хашную за своим неугомонным козлоногим дружком.

— Эй, Панто! Поторапливайся! Весна!

Март поджидал их за поворотом. Шумно обрадовался великому богу козлоногий.

— Гаумарджос! Слава нам! Мы будем объедаться требухой! Мы будем гоняться за девчонками! Пить и веселиться! Мы хозяева кахетинских гульбищ! Вот и дорога! Вот и свобода! — вопил Панто, прыгая на копытах с визгами и хрипом. — Мы оборванцы! Мы голодранцы! Эвоэ! Авоэ!..

Дорога сжалась от стука его громадных копыт. Тополя серебрились мокрым инеем. Тополя скучали без солнца. Ночь надвигалась. Замирая, под луной тускло синели умирающие полосы какого-то нездорового снега. В грязном сумраке Панто бежал впереди, бесшабашно поигрывая раздавшимися, заросшими густой шерстью ляжками дармоеда. Деревни окружали бродяг хороводом. Вон рябая курица с затянутой пленкой глазом, хромая, бегала по двору. Бульканье вырвалось из горла большого петуха с всклоченными яркими перьями.

В голом чужом саду бродил призрак сочного, яблоневого вкуса. Наверное, в июне разольется кругом аромат раннего, кислого кахетинского яблока. Далеко до июня. Алазанская долина стлалась низким дымом ближних и дальних деревень. Горы в снегу и льдах не плакали. Они ждали солнца. Ждали вина, хотя бы окаменевшего.

Вино предков оживотворит горы. Бедный крестьянин, упав на колени, просил у камней урожая. Агуна-пугало, пригорюнившись, стоял на чужом, влажном от талого снега огороде. Он устал ждать друзей. За медный грош он отпугивал своим безобразным видом и воров и птиц. В рваных штанищах на тонких ножках, гуляя босиком даже по снегу. В зеленой, мятой, с черными дырами шляпе. Дрозды уже шебаршили в намокшей, черной, прошлогодней листве. Дружки-бродяги нашли его. Голодарю Агуне дали пожевать корочку хлеба. Голодный, он чуть не падал. Панто подхватил его и посадил на плечи. Агуна схватился за его кудлатую голову тощими руками. Агуна кричал от радости петухом. Серое лицо из мешковины дрожало от счастья. Надеждой глупой захлебывался дырявый рот. Идут боги. Прядь желтого, мартовского снега повисла, задержавшись, на кизиловом голом деревце. В небе бродили застуженные тучи. В лужах поблескивали одинокие птицы.

Вот и Кварели. Мясокомбинат.

— Эй, Квириа! Боец скота! Убойщик живого!

В мрачных загонах лежали, отдыхая перед неизбежной, тупой смертью, быки и коровы. Толпились напуганные овцы с сумасшедшими глазами.

Вонь. Духотища. Смрад. Кровь.

Желтая пыль на грязной земле. Это старая, разваливающаяся скотобойня. Много животины здесь зарублено навсегда. Свертывалась холодеющая чужая

кровь. Много бараньей крови пролито. Много коровьих слез выплакано. Скот били нетрезвые люди с нахмуренными лицами, в мокрых резиновых фартуках и резиновых сапогах.

Запах черной крови страшил обреченных рогатых животных. Убойщики скота согласны были затащить в разделочный цех Нодара Шашвидзе и обработать его острыми ножами, если повелит феодал феодалов Янго Лазуришвили. Пусть надышится умирающим запахом ошалелого скота, смешанным с грязью и утробной вонью кишок. Квириа, здоровяк и крепкий, молодой бог, помощник Дионисэ, его наследник, трудился здесь нараспашку и ходил в ударниках. Туши зарезанных животных, разрубленные и обработанные, висели в темном, холодном подвале, на крючьях. Квириа побеждал стада.

Квириа — боец крупного и мелкого рогатого скота. Наш Квириа!

Крестьянский бродячий бог. Будущий директор совхоза. Здоровяк разудалый Квириа бил сплеча. Он не обрабатывал и не свежевал туши.

Он только убивал несчастную, мычащую скотину. За падалью, за отходами и вонючими остатками прибегали на свалку падальщики и шелудивые, одичавшие псы. Квириа убивал ради мяса. Он не заботился о душах погибших. Сердце широкое крепко дышало.

Он отодвинул засов, вытащил бревно, приоткрыл дверь. Бродяги-дружки толпились в ожидании. Квириа обтер о резиновый фартук заляпанные кровью мокрые пальцы. Сощурил свои внимательные, слегка погрустневшие глаза.

— Пора? — еле улыбнулся широкими губами.

Казался невыспавшимся и уставшим. После ночных убийств.

Квириа вдыхал осторожными ноздрями пот поваленного им копытного животного. Стены пахли привычной, надоевшей смертью. За перегородкой мычала голодная корова. Сына ее, теленка, тоже убили голодным. Зачем кормить перед смертью? Им не давали пищи уже целую неделю. Корова ждала смерти. Она звала сына. В глазах ее поблескивали крупные, пресные, мертвые слезы.

Шершавая нижняя губа Квириа похолодела. Он закурил горчайший табак.

Каждый раз после очередных убийств животных он, надвинувшись плечом, отодвигал бревенчатую дверь загона, и поражала встреча с Алазанской долиной. Долина боялась его.

Она сжималась. Порыв свежего, снежного воздуха опьянял, ершил волосы, блестел в страшных, одиноких глазах. Алазанская долина шумно дышала. Квириа наслаждался свистом молодого ветра.

Пробуждался от смертной дремы обреченный на заклание бык. Бык дышал кровью разодранной кольцом ноздри.

— Пора? — угрюмо спросил Квириа.

Дионисэ кивнул.

Тогда Квириа поднял с земли топор и подошел к мычащей корове.

— Никто не вернет ей сына,— пробормотал его широкий рот.

Корова молча плакала. Она смотрела на мужчину. Квириа размахнулся и заехал животному обухом в лоб. Корова тяжело повалилась. Но она была еще живой. Теплыми, в крови глазами она искала уведенного куда-то во мрак убойщиками голодного, как и она, сына. Все поплыло сладким угаром. Рабочие набросились на упавшую и, ловко орудуя длинными ножами, вырезали из неподвижной коровы все ее внутренности.

Она дышала.

Потом потащили в глубину подвала изуродованное тело и отрубили ей задние и передние ноги. Отсекли копыта. Корову мутило. Она хотела пить. Безголосо закричала. Она умирала долго. Квириа пошел навстречу богам-бродягам.

— Иду! — прохрипел горлом.

Слипшимся в грязи комом соломы вытирал долго руки.

Голова коровы валялась на земле, в стороне от грузного туловища.

Она забыла про сына. Застывал мертвеющим словом рот.

## МАРО И ПЛОТНИК В ОЖИДАНИИ ДИОНИСЭ

*Крестьянские будни*

В долгие сумерки, когда уже не дребезжало колесо проезжавшей по Старой дороге арбы и отшумела беспорядочная попойка у непутевого соседа и ушли наевшись и напившись его бестолковые гости, с грохотом роняя и опрокидывая

табуреты, а сверчок снова, в который раз принимался за свою скрипучую песню старого холостяка, старик и женщина молча усаживались на тахте, она вязала ему теплые чулки из бараньей шерсти, а он, надев старенькие очки на веревочке, с треснутым, мутным стеклышком, пытался, напрягая слабое, ухудшающееся зрение, вглядываться в желтый клочок истлевшей газетки, где бескровными, назойливыми, как мухи, умирающими буквами рассказывалось о количестве убитых на одной из последних войн.

Старик сжимал в кулаке газетный лоскут, закрывал голову и сидел, не двигаясь. Оглохший от криков всех этих одновременно убиваемых на разных войнах ополченцев. Щека с морщиной дергалась.

Старик не мог расслышать в зверином вое голоса своего сына.

Где его лицо? Плотник был уверен, что провалившийся в землю сын, будь он живым, не дал бы в обиду, жалел бы его старость. Шорох увядших виноградных листьев в одиноком, пустом доме разрастался, звенел. Тоску листьев нарушал яростный, неожиданный, капризный крик недавно купленного петуха со всклокоченными, сердитыми перьями.

Огненно-красный петух родился бесноватым. С мига своего рождения он алчно вел охоту на своего двойника, черного как дым петуха смерти. Крик этот внезапно обрывался, чтоб родить в тишине пыльную от дорог песню аробщика, едущего на скрипучей арбе вслед за катящейся ослепшей виноградиной.

Аробщик в унынии от вечно пылящей перед глазами кахетинской дороги обращался за помощью к самому богу. Бог прятался в винограднике. Скрывался от жалоб бедных крестьян.

Тархнишвили вздыхал и, чтоб поддержать песню угасшего в дымке аробщика, зачерпывал глиняной чашкой прямо в темнеющем воздухе вина, словно зачерпывая из небесного родника. И чашка его начинала греметь неиссякаемым тостом. Лоза Тархнишвили не хотела умирать.

Плотник молча сидел на тахте, подогнув под себя озябшие, больные ноги. Потом спускал их на земляной пол.

— Надень калоши,— отрывалась от вязанья женщина.

В жилище пахло глиняной посудой, свечами, пшеницей. Из сарая тяжко несло навозом. В хлеву блеяли овцы с жидкой шерстью. В соседнем жилище варили в большом котле на закоптелых очажных камнях похлебку с жирным мясом. Мясо давно разварилось. Плотник хмуро сдвинул брови. Он ждал прихода далеких, бездомных, бдичалых гостей. Богов кахетинских. Колесо деревенской жизни скрипело. Все уходил и снова возвращался год, темнели от ожидания скулы старика, и что-то навсегда разрушалось в груди. Он злился на свой детский, малодушный страх перед немощью, перед крестьянскими грубыми, вероломными богами.

Где они? Снова запаздывают. В Велисцихе они первым долгом шли в жилище старейшины Тархнишвили. Все валилось из рук у старика накануне весны. Загремев, покатилось порожнее ведро. Почудилось, что снежный тающий мальчик весны постучал в окошко костлявым, холодным кулачком. Смелый стук. Насмешливо поблескивают глаза.

— Непрошеный гость? — Плотник поднял скуластое, потемневшее, небритое, в седой щетине лицо.

Крестьяне деревни сердились, чего это он вздумал ввести в свой дом женщину с глазами печальной коровы. Дурни! Когда старик умрет, она станет ухаживать за его могилой. А где они будут пьянствовать и чесать себе брюхо?

Всякое говорили про Маро; поговаривали, что она легко может осушить одну за другой три чашки с чачей, ничем не закусывая.

А напившись, могла отдубасить всю деревню!

Тархнишвили встал, подошел к шкафу, сделанному им и давным-давно подаренному первой жене Анико к свадьбе. Старик, нагнувшись и напрягшись шеей, потянул к себе и выдвинул нижний ящик.

В ящике он долго шарил ослепшими, неверными руками. Вот они, эти почернелые груши. Осенний урожай того года, когда под его кровом впервые появилась Маро. Она нанялась поденщицей и кухаркой сначала, помогала осенью плотнику сбивать длинным шестом с погрузневших ветвей орехи, груши, яблоки. Груши рассыпались в рыжей, теплой траве. Женщина со смехом кинулась собирать их. Отталкивала старого хозяина бедром. Шутливо дралась с ним, вырывала свои руки.

— Отпусти,— прошептала, переводя дух.

Больная жена Анико уже не могла помочь мужу ни в саду, ни по хозяйству. Траурное письмо с фронта подорвало ее здоровье. Убило стыдливую душу. Страшное, легкое как одуванчик письмецо, всего несколько слов, нагнало на нее хворь. С того самого урожая золотистых груш она погасла. Не стала есть их и ласкать сморщенными, несчастными губами, когда работница молча принесла больной целую миску.

Лежа в кровати неподвижно, медленно, со стоном отвернулась к стене. В ввалившихся подглазьях темнели мешки смерти.

Сидела по целым дням в кровати, облокотившись о груду подушек, смотрела в окно на дымящийся сухим золотом осенний сад, во мглу ливня из вороха осыпающихся листьев, наблюдала, как зарождается любовь сумасшедшего, стареющего плотника к этой невесть откуда забредшей коровнице.

Стены в комнате больной побелены. На окошке накрахмаленная марля занавески. Две желтые бродячие бабочки угасшего лета наплыли на марлю. Сидели на ней, обнявшись прозрачными крыльями, просветленные легким ветром. Тленные крылья их из воздуха и осеннего солнца осыпались даже от голоса.

Две бабочки умирали.

Анико решила, что они давно мертвы и ветер принес их и посадил на марлю.

Анико смиренно смотрела в горящий сад. Плотник и коровница собирали в корзину рассыпавшиеся до самого забора груши. Почернел падающий забор. Медом любви дышали груши. Оба выпрямились и поглядели друг другу в глаза. Эта молчаливая женщина, свесив тяжелые руки работницы, пришла в их деревню с прижитым от громадного буйвола ребенком. Она нанялась поденщицей по дому, взялась за самую черную работу и копала огород, давала корм скотине, чистила и мыла лошадей, рыла землю, ходила за овцами, гусями и утками. Мыла и ухаживала за больной. И все за очаг и скудную еду. Она изгнанница. Куда ей деться? Глаза ее были глазами сбежавшей от хозяев коровы. Жена Анико болела, и плотник согласился принять работницу. Решил даже спасти от побоев и убийства всю ее семью, угрюмого буйвола-исполина с огромными, сокрушающими гору рогами и чудовище сына. Юношу-быка.

Анико молчала. Эта чужая женщина была вестницей смерти, вот что она сразу прочитала в задумчивых глазах скотницы.

Моя смерть,— подумала Анико, щурясь от света, и заслонила свое исхудалое лицо ладошкой.

Вот они, эти груши, сочные и дышащие горечью прощания. Легкие как забвение и тяжелые как камни, которыми торгует ползающая в придорожной пыли безумная, седая Эка. Плотник Тархнишвили держал их в крепких, мозолистых руках у изголовья больной и, разглядывая плоды осени, влюбленно улыбался.

Старый дурак!..

Надавил корявым пальцем и оставил на гладкой кожуре вмятину.

Блеснул сок.

Анико отвернулась к стене. Она долго лежала, не шевелясь. Осунувшимся лицом глядя в свежевыбеленную стену. В годовщину их свадьбы плотник побелил жилище.

Груши из сада — подарок в широких ладонях плотника. Когда-нибудь урожай сгорит, а сейчас плоды пьяно дышали хмельным, завораживающим соком счастья. Вот надкусит он грушу, и заблестят по-молодому глаза старика.

В тот поздний, далекий день груши в миске налились медом новой свадьбы. Светлым медом, смешанным с холодной ключевой водой, они заставили дышать от волнения сад.

Когда Маро и плотник поцеловались в первый раз, изодранный ветром, сквозящий сад оцепенел. Они молчали. Бронзовый жар согрел их немощные от счастья, шершавые губы. Женщина заплакала. Она стояла перед ним, не двигаясь, с низко опущенной головой.

Она любила. Это были груши поздней, похмельной любви. Плотник, пробуждаясь по утрам, шел неодетый в похолодевший, обрызганный медленно угасающей росой сад и, оглядывая прищуренным взором старую грушу с раскидистыми ветвями и темным, корявым стволом, радостно понимал, что ему

надо прожить еще долгую жизнь, если он не хочет погубить украденного у больной жены счастья. Счастья, что летело над притихшей долиной.

А где-то далеко ехали в медленных арбах из полей и виноградников крестьяне. День клонился к вечеру. Остывающее вино вечерней зари текло по уставшим лицам. Лоза сочилась кровью. Чудилось, что огромный пьяный спотыкающийся медведь идет на задних лапах к дубовому лесу и уносит на голове дымящее солнце. Медведь рычал от боли. Бессильно лаяли собаки, пытаясь трусливо догонять зверя. Ошалели от лени и пьянства птицы. Налетая со всех сторон, они клевали вино, блестящее в глиняных чашах. Птицы дрожали от наслаждения крыльями. Опять напьются кахетинские птицы и будут всю ночь шуметь и носиться над низким кустарником. Собаки были заворожены удаляющимся пением ночи. Предутренняя свежесть будоражила голодные собачьи души.

Шли годы.

Плотник сделался хмурым. Он начал бояться пришлую женщину.

Может, она корова? — ночами думал он напряженно.— Вот сошелся с коровой!..

По утрам он украдкой взглядывал на нее. Крупные как орехи глаза Маро. Глаза раскрытые блестели росой.

Старик Тархнишвили все возился с родовым гробом для деревни, а Маро иногда обмывала мертвых сельчан и помогала их обряжать. За это ей давали водки, немного еды и одежду умершего на продажу. Выпив водки, Маро протяжно кричала:

— Иштар! Сын мой! Где ты? Не убили? Не закололи вилами?

Плотник волочил ее в дом со двора, она вырывалась.

— Вот женюсь на ней! — упрямо говорил себе плотник.— Это победит в ней животное.

Жена Анико до самой смерти носила все черное: чулки, платье, жакет. Маленькие глаза ее ввалились с горя. Соседи шептались. Они думали, что ее давно нет. Анико не уходила из дома. Но иногда через сквозящий в бирюзовом небе сад до них доносился беспомощный, детский, задушенный плач.

Плотник ждал в сумерках, когда Анико заснет. Потом он шел, оглядываясь, в полуподвал к работнице. Ладонью давил на край двери, она поддавалась. Чадила керосиновая лампа в его небритое, усталое лицо. Он стоял в тесном закуте между шифоньером и старой кушеткой. Неровно, сдерживая волнение, дышал. Опускал тяжкую ладонь в ссадинах и порезах на холодный лоб женщины. Оба молчали. Потом садился на табурет напротив нее.

Спит? — молча, взглядом спрашивала Маро.

Тархнишвили хмурился. Лампа тускло светилась. Они смотрели друг на друга. На деревянной тарелке ломоть хлеба. Тархнишвили слышал ржаной запах этого хлеба. Дышал горечью свеженарезанного лука. От него слезились старые глаза. Едва дыша, плотник молчал.

Нахмурившись, строгим взором, говорил о любви. В мокром саду мерзли от старости сливы и яблони. Керосиновая лампа поперхнулась.

Лампа закоптелая — свидетельница поздней любви двух одиноких тружеников. Они целовались. Седая пелена застилала взор плотника.

Одурь. Мгла. Рождалась из мглы Алазанская долина.

Со стен смотрели из черных рам предки, а также убитый на войне сын. Черные рамы ненавидели тишину.

Омытая родниковой водой тишина в глазах плотника.

В марани, в винном погребе, словно чем-то пристыженное, томилось беспокойное вино. В марте к ним заглядывал несчастный бог Дионисэ. Совсем молодой. Зеленоглазый хозяин земных и небесных виноградников. В тот год, когда плотник и работница сошлись, им было не по себе от хмурого взора бродячего бога. Он внимательно поглядывал в стариковский, неспокойный взор. Ходил бог в рваных башмаках, облепленных сырой грязью.

— Выпьем водки за просыхающую грязь! За весну! — предложила вдруг Маро.

— Давай! — поддакнул плотник.

За это гость выпил. Зажмурился.

— Благословишь нашу любовь? — не унималась женщина.

Плотник испуганно сжался. Бровь гостя дрогнула.

— Вы сами боги! — улыбнулся гость краем усталого рта.

Женщина вспомнила, как Дионисэ однажды брел по дороге, а за ним, шумя, двинулись тополя.

— Замуж хочешь? — задумался гость.— Твои руки пропахли скотиной.

— Я скотница,— объяснила Маро.

Хрипло прокричал петух с насеста. Потом слетел в пахучий ворох соломы. Сердито царапал железным когтем. Плотнику захотелось пожевать свежей соломы, перемешанной с овсом.

— Мы хотим пожениться,— поднял он нетрезвую голову, схватившись руками о край стола.

Из миски с маринованными помидорами несло кислятиной. Гость посидел с влюбленными поселянами и ушел в стынущее, снежное поле. В поле будет трудиться пахарь. Всю жизнь шел пахарь за быком и плугом. Плотник глядел в ночь, вслед ушедшему. А потом отправился в свой сарай-плотницкую и, задвинув засов, лег спиной в гроб. И долго лежал в нем, не смыкая глаз. Пытался вспомнить лицо убитого сына. Не вернулся парень с войны. Осенью его забрали. Холодело.

Стоял на земле мешок с сухим хлебом. В открытой повозке куча новобранцев. Они все ехали на фронт. Пытались улыбаться, даже шутили.

Женщины плакали.

Плотник помрачнел. Он лежал в холодном гробу, среди стружек и молчал. Погасли слезы старика. Лицо высохло.

## КАМЕНЬ И КРИЧАЩАЯ ЖЕНЩИНА

В оборванной юбке стояла босая на дороге Эка. Седые волосы растрепались на худых плечах. Ветер бил в изможденное лицо.

Грязные, голые ноги. Женщина в подол насобирала камней. С холодного, мглистого рассвета она ожидала путников. Эй, купите груши! Эй!

Она думала, что родилась старухой. Костлявое лицо рано постаревшей женщины в кровавых пятнах. Горюя, она расцарапала лицо ногтями.

Стояла в пыли и кричала в небо. Она смотрела на далекие, синеющие горы. Горы не спасали от зла. Горы только дарили ей горестный урожай камней. Когда сына уводили на страшную войну, молчали горы. А сейчас она старуха и так и не выучилась разговаривать с ними шепотом. Она выла животным. Ждала назад хоть тень пропавшего сына. Женщина хотела спасти родную тень от пули. Лицо Эки ввалилось. Раньше Эка была безразлична к камням. Если случайно споткнется босой ногой о камень, потемнеет рот. И все. Кто мог знать, что она в недалеком будущем породнится с ними. Однажды весной, когда еще умирал желтый снег, она нашла у оврага мокрый камень. Она подняла. Свет темнел в оставшейся от него ямке. Эка молчала, остановилась. С камня смотрело на Эку чужое лицо кричащей от горя женщины. Эка отшатнулась. Темная вода предчувствия наполнила сердце.

Это была она сама. Глаза кричащей с камня были слепы.

Может, наскальный художник Хуц, живущий в подземной пещере теней Джоджохети, высек навечно беду женщины. Хуц давно обитал в нижнем мире Кахетии и высекал на каменных стенах поколения ушедших кахетинцев. Виноградарей и пастухов. Хуц жил в подземной стране мрака и оставлял в память потомкам на стенах, тянущихся в бесконечность, судьбы исчезнувших поколений. Стада людей, быков и баранов. Пасущих подземный скот пастухов с выколотыми тьмой слепыми глазами.

Селяне иногда упрашивали Хуца отнести предкам во тьму их дары: хлеб, коровье масло, кувшин с вином. Предкам, кричащим от голода и одиночества. А провожали покойников к оврагам, к пещере двое: Маро с глазами коровы и Тархнишвили-плотник, старейшина деревни.

Маро обмывала покойников и обряжала их в последний путь. Это стало ее ремеслом. Мертвеца везли на повозке, запряженной буйволом Або. Погонщик Ашот подхлестывал его сзади, но у оврагов останавливался. Дальше повозку провожали плотник и Маро. Ашоту полагался мешок муки. Ашот ленивый, с голодным, многодетным семейством.

Нечесаный, с мутными глазами. В штанах старых, зияющих дырами. За умерших родня кроме того расплачивалась медом, чтоб на том свете сладко было во рту покойника, оставленного навеки мраку на съедение.

Что станет с миром теней Джоджохети, когда исчезнут Маро и плотник?

Оборвется пуповина живых и мертвых. Жители Алазанской долины навсегда потеряют тропу в каменный мир, где с нетерпением их дожидаются отчаявшиеся увидеться с ними родственники.

Эка молчала.

Она слышала, вот идет через кукурузное поле к реке юноша-бык Иштар.

На водопой,— подумалось женщине.

Близко уже дышало животное. Темное дыхание. Стон. Ходил он голый, на задних ногах, иногда на четвереньках. Весь обросший шерстью, как животное. Только голова бычья с рогами и шея, а все остальное как у человека. Редко говорил, и всегда утробным голосом.

Словно никак не мог родиться. Рождался каждую ночь заново, терзая свою мать-роженицу, кричащую от страшной, надсадной боли. В сумерки он брел к ракитнику на берегу реки и оглашал ревом напуганную, быстро несущуюся от него прочь Алазань. Тревогой и печалью горели глаза зачумленного, отверженного человекобыка.

Отчаяние заволакивало взор слепой мутью. Он слепнул. Зоб раздувался.

Острыми кинжалами сверкали на низко опущенной голове рога.

Иштар пил только чистую и ясную воду Алазани. Обмелеет или высохнет река, погибнет и юноша-бык. Иштар прихрамывал. Вот он замер возле хилого колючего деревца и обнял его. Прижался к стволу лбом. Иштар целовался с несчастным, замерзшим деревом.

— Весна скоро! — бормотал человекобык.

Вдруг он заметил женщину. Эку с камнем в руке. Он побледнел. Отшатнулся. Эка бесстрашно смотрела на чудовище.

— Чего тебе? Иди! Иди! — он отвернулся.

Потом вдруг глухо спросил:

— Ищешь мертвого сына?

И снова отвернулся, сгорбился. Деревцо побаивалось своего любовника с рогами-кинжалами. На лбу юноши-быка горела звезда.

Это солнце рождалось в серых облаках. На миг показалась звезда и уплыла. Иштар напрягся всеми буграми своего могучего тела. Он был силен и упрям, с червоточиной на сердце капризного ребенка. Эка разглядывала найденный ею камень с кричащей женщиной.

— Это я? — пробормотала она.— Куда ж ты, Иштар!

Человекобык огрызнулся, раскрыв страшную пасть. Эка кричала ему. Он опустился на четвереньки. Он уходил. Шел, наступая голыми ладонями и босыми ногами на холодную землю. Уходил юноша-бык. Он плакал. Кружился над его рогатой головой кричащий от тоски стриж. Иштар полз к Алазани, весь вымазанный в сырой грязи. Вода близко. Ждала вода.

— Я родился в воде? — недоумевал Иштар.

В пещере, за оврагами, во тьме бил молотом по стене неустанный труженик Хуц. Работал со скреблом, долотом, зубилом.

Царапал каменную стену крючьями. Гасла лучина. Ходила по глыбам тень. Крошка сыпалась в подслеповатый от тьмы взор. Длинные волосы связаны на затылке в узел.

Он в громадной, длинной рубахе из холста. Рубище.

Велисцихцы и зимой и летом слышали непрерывные, глухие удары молота о скалу. Хуц обеспечивал им загробную жизнь.

— Хуц рожден женщиной от неизвестного бога! — в страхе, поеживаясь, говорили люди.

Летописцу деревни за пятьдесят. Весь из мышц. С широкой грудью и спиной. Но зрение слабело.

Каменотес жил с нахмуренным лбом и морщинами, с усталым лицом. Глаза темнеют. Седые волосы связаны сзади в узел.

— Зачем ты высекаешь из скалы голову Дионисэ? — удивлялись велисцихцы.

Хмурился лоб каменотеса. Сдвигались брови.

— Зачем? — усмехался он холодно.— Дионисэ кто? Бог наш.

— А мы — кто? — злились велисцихцы.

— Черви.

На лицах людей блестела раздраженная, злая тень.

Никому не изгнать из мрака Хуца. Он сам — мрак. Эка поскользнулась. В овраге ворох мерзлых, почернелых листьев. Обледенела обломанная сырым

ветром буковая ветвь. Распластана на грязном снегу. Мертвый, желтый снег. Холодным солнцем на миг озарилась гора.

— Хуц! — звала Эка.— Где ты?

В стылой тишине удары молота. Лоб мужчины взмок от холодного пота. Крупные капли.

— Я нашла обломок камня с кричащей женщиной! — звала Эка в разлом оврага, в яму. Молот заглох. Из пещеры раздалось:

— Это ты сама, обезумевшая с горя! Это твой урожай! Урожай камней!

Эка бежала босая по рыхлому снегу к реке. Эка швырнула камень в стылую воду.

## ПИСЬМО К УБИТОМУ СЫНУ

Много раз снилась плотнику война, которая его самого однажды сделала солдатом. Одна из больших войн, пожиравших Кахетию. Никто не был избавлен от убийств. Ни один землепашец. Или виноградарь. Пламя окружало виноградник. Задыхалась в черном дыму лоза. Плотник просыпался от воспоминаний. Ворочался на тахте. Вставал. Шел во двор. Тянуло сыростью предутренней мглы. Стыли озябшие ноги. Что-то озлобленно кричал ему петух. Вестник Сандро, подросток с рыжими вихрами, принес ему однажды страшное письмо. Жалкий листочек с ничтожными словами о гибели сына. Как железо холодным оказался этот листок. Кричал плотник, задыхаясь запахом крови и свежих опилок. А потом, в сумерки, он побрел к Алазани, хотел броситься в мутный поток, утонуть. Но вспененная вода тащила его назад к берегу.

Алазань хотела, чтоб плотник жил. Старик нужен пока селянам.

Черная весть убила первую жену Анико. Она отвернулась от плотника. Молчала. А он чем ответил ей? Отломал ветвь старой яблони и швырнул ей на белую подушку. И все. Не разговаривал. Потом ушел в виноградник, мотыжил. Сжав мотыгу потемневшими крепкими руками, работал, словно оглохший. Не отзывался на крики селян, на мычанье голодной коровы. Подбородок его мелко трясся. Лицо небритое темнело. Давила на грудь большая, забытая война, в которой он сам когда-то был воином. Убил там солдата другого народа. И за это, наверное, потом расплата пришла, смерть сына. Через тридцать лет и тоже на войне.

Плотник Тархнишвили с нескладным ружьем с ржавым штыком, одетый в жару в неудобную шинель, ведь ночи холодные. На ногах рваные, тяжелые ботинки. За спиной вещевой мешок. Лицо похудевшее, небритое и загорелое. Рот пропах табаком. Слеза вспыхивала в сжатых глазах. Он жалел лозу. Чужую кровь. Враги сначала отстреливались, потом бежали к сожженному ими при наступлении глинобитному селению. Теперь они сами прятались, залезали в ямы.

Все солдаты были смуглые от беспощадного степного солнца.

Враги тоже были бедными крестьянами, одетыми в истрепанную одежду. Они, беспорядочно отступая, превращались в стадо. В сброд. Если им улыбалась удача, они зверствовали над попавшими в плен. Люди давно озверели, позабыв про труд земледельца. Люди убивали людей. Кахетинцы собрали свои силы и, плохо вооруженные старыми ружьями, дубинами, саблями, ударили по неприятелю. Кахетинское народное ополчение с криками и воем бежало на врага. Дышала пустыня, степь, избитая сотнями ног. Но лица усталых, вспотевших бегущих были унылыми, скучными.

Смерть дышала в лица и в затылки с озорством. Все равно смерти — кого валить. Никто не думал о смерти. Просто бежали кто куда. Разболелась у плотника от яркого солнца голова. Бурьян сжался в пыли под башмаками воинов. Задохнулся оглохший от криков бурьян. Глаза бегущих сощурены. Воины слепнут. Солнце диким кабаном набрасывалось на взмыленных воинов. Плотнику чудилось, что он беспорядочно стрелял в желтый, пустой воздух. Сверкал длинный штык его тяжелого ружья. Вот и чужое глинобитное селение наплывает на ряды атакующих. Здесь нет воды, заброшен камнями колодец, сожжен яблоневый сад. Обуглился старый, одинокий сад. Повалились стены жилищ из глины. Каждого жителя враги привязали к стволу яблони и сожгли. Дымилась крона. Кружились в воздухе, сгорая, яблоки.

Чудом спасся только петух с обгорелыми перьями, с тревожно горящим брусничным взволнованным глазом. Война и петух. Не боялся войны петух.

Горловым криком разорвет ее в клочья. Откричал он свои последние, одичалые песни сожженным односельчанам. Пел, задрав высоко голову, мертвому саду.

Петух сторожил останки сада от налета кружащих неподалеку ястребов смерти. Могильщиков. Черепа мертвых с тревогой слушали шорох. Это раскрытые крылья царапали воздух.

Петух сидел на горе черепов, охраняя мертвецов родной деревни.

— Я хозяин деревни! — бодро закричал петух. Он не отдаст ни сгоревшего сада, ни человеческих костей.

Еще вчера эти кости кормили его жареным зерном. Отряд кахетинцев валил через степь к занятому отступающими селению. Из-под камней и из дыр уцелевших стен торчали дула крестьянских ружей.

Один из бегущих и спотыкающихся кахетинских солдат захотел было бездумного убить петуха, но тот взглянул мрачно ему в потное лицо и, слетев с кучи черепов, уселся на чью-то оторванную, окровавленную голову.

— Стреляй! — хмуро звал петух.

Но бегущий кахетинец промахнулся. Петух не дрогнул крыльями. Сидел, окаменев. Вспоминал зерно.

Вспоминал жизнь. Верный сторож исчезнувшего сада.

Плотник вместе со всеми добежал до селения, занятого врагами. Он бежал с длинным ружьем. Совсем недавно штык его, отдыхая от войн, был ржавым, а теперь уже ожесточенно сверкал острием. Плотник хотел пить, обожженное лицо взмокло. Лохмы волос липли ко лбу. Каменным голосом звал плотника петух. Из дыры в стене смотрело на плотника черное дуло чужого ружья. Кто-то ждал его смерти.

— Лучше я сам убью тебя, дружище! — гортанно закричал плотник. Сейчас штыком он заколет врага. В ковылях пересох соленый ручей. Звал плотника остановиться. Глаз плотника горел. Не хотел чужой крови. Небо оглохло от животного крика плотника.

— Не убивай! — отшатнулось от крестьянина с длинным ружьем и штыком небо.

Ботинки захватили горячий песок. Грудь плотника задыхалась. Плотник подвернул ногу и упал. Лицо его дрогнуло. По лицу уже ползла ненасытная черная муха смерти. Но плотник был жив. Он одолел свою смерть. Ждала плотника родина. Ждал неухоженный виноград.

Заунывно пел оглохший житель деревни, последний живой.

Петух не откликался на зов обезумевшего односельчанина.

— Хочешь спасти свою землю, убей человека! — пел старик.

Плотник вспоминал своего сына. Исчезнувшего навсегда из жизни новобранца. Как жадно ждал его писем на виноградных листьях, набухших кровью. Как подносил эти листья к солнцу, пытался сердцем вычитать в них весть, прячущуюся от отцовского сердца. Не слышал плотник голоса, пославшего такое страшное письмо. Тоскуя, плотник рылся в забытых ученических тетрадях сына. Искал его руку, его буквы. Но буквы все давно пропали, врезались в кровоточащее сердце старого плотника, измазались в ней. Плотник внимательно разглядывал виноградные, пожухлые листья встревоженными глазами. Сын писал ему о своей будущей смерти из забытого, обвалившегося давно окопа детства. Плотник прятался в сарае от худого, рыженького подростка, бегущего через ночь и страшный лес вестника Сандро с сумкой, малолетнего почтальона. Плотник не отзывался на стук в стену.

Постыдно спрятался от мальчишки, бежавшего к нему через ночной лес, и скользил на мокрых, чернеющих грязью листьях диких каштанов. Грудь его дышала состраданием к плотнику. Но он бежал. Не мог скрыть весть. Маленький листочек горел в его судорожно вытянутой вперед руке. Где Велисцихе? Где гроб плотника? Ветер посинел, раскричался. Плотник отшатнулся от двери. Плотник вслушивался потемнелыми глазами в крики ветра. Плотник вспомнил, как на старой войне он, виноградарь, убил другого виноградаря или пастуха — из ополчения врагов. Оба были в грязной от пота и земли солдатской, пропахшей кровью одежде. Где сын? Эй, сын! Вот вернется сын из смерти, убитый или живым, и плотник расстелет прямо в сарае на столе скатерть и нальет в бутыль потемневшее от лет и надежды вино. Две глиняные чашки сдвинутся, и они, оба, отец и сын, помянут всех воинов. Голый осенний сад с продрогшими от светлого дождя грушевыми деревьями будет заглядывать в маленькое, темное окошко.

Сын жив. А ведь рассказывали другие новобранцы, что он упал, крича, в ему, что руки ему оторвало. Надо отвести вернувшегося сына в виноградник. Пусть опустится на колени и плачет, уткнувшись головой в лозу. Сердцу сразу полегчает. Пусть заржавевшее на войне сердце напьется слез лозы.

В пустом винограднике плачет убитый на войне сын.

— Держи мотыгу! — скажет плотник.— Рыхли землю.

Из грозди в груди сына выжмет плотник страшное вино. Закопает каменный кувшин с этим вином в своем саду.

— Держи мотыгу! — кричал плотник, оглохший от своего крика.

Все побелело от летящего над долиной тумана. В глазах плотника увядал рыхлый, мертвеющий снег. Ранний дрозд уже прыгал в пожухлой соломе.

— Эй, вестник! — дрожал старик. Чего ж еще он хотел от вихрастого, напуганного мальчишки с черными, страшными письмами? Каких подробностей гибели?

Пьяно, жалко улыбаясь, Тархнишвили брел по двору, никак не мог обойти старую грушу с погнутым стволом. Груша не пускала его.

Не иди, плотник! Пусть Анико одна горюет в доме. Не ходи.

Не прислушивайся к ее очень тихому, беззлобному стону.

Куда ж мне идти? К ревущей, страшной, седой Алазани? Искать у разбушевавшейся реки спасения от боли? Грудь стонет.

Помоги, река!

Сад дышал голубоватым огнем рассвета. Ноги увязли в грязи. Он закрыл лицо ладонями. Опустил седую голову и едва слышно плакал. Лицо распухло, дышал плотник как животное. Грушевое дерево отвернулось от сраженного горем отца. Жена Анико лежала на полу. Смотрела в потолок. Плотник поплелся в дом, нашарил дрожащими руками ящик, искал в нем давно поржавевшее ученическое перо, которым сын его когда-то учился вспоминать будущее.

Плотник обмакнул перо в бутылку с красным вином и стал рассказывать что-то на сморщенном, увядшем листе груши. Это родилось легкое, как слеза, письмо отца к убитому сыну.

Плотник нацарапал их штук тридцать за всю войну. Ржавое перо сына скрипело. Плотник отправлял увядшие грушевые листья на большую войну, сердитый ветер подхватывал их и кружил по Старой дороге, а рыжий Вестник с худым лицом и большими, серьезными глазами ловил их по ночам, вел на них настоящую охоту, как на дичь, и приносил назад, в Велисцихе. Плотник молча забирал их. Их набился пахучий, душистый от листьев мешок. Плотник ночью подкладывал этот мешок под голову. Сиротливые письма пропахли столярным клеем и слезами старого человека. Вином жизни дышали они. Во дворе гнулось застылое грушевое дерево.

Снились плотнику новобранцы-крестьяне. Молодые воины казались плотнику овцами с глазами напуганных детей. Головы овец росли. Все чудилось огромным. Это был народ великанов. Кахетинский народ. Люди стали выше дубов. Только старый плотник оставался ростом с овечье копыто. Горе иссушило его тело. Люди ждали весну и пели.

Зимнюю тоску крестьян побеждал труд. Вот и пахота надвинулась. И Тархнишвили, как и все, пойдет, распрямив плечи и разогнув спину, в холодное поле. Поле ждало первочеловека. Он будет валить лес, корчевать пни, таскать камни. А под вечер, забавы ради, напившись водки, станет бороться с быком. И даже одолеет. Деревня дышала жаждой земли и пота. Повизгивали свиньи. Холостили мрачного хряка. Хряк вырывался, обливаясь кровью. Ржала кобыла.

Старухи, бесстыдно оголившись, грели на слабом солнце худущие, костлявые ноги. Серые лица их беззубо улыбались в табачном дыму. В хлеву на грязной соломе корова рожала теленка. Рот коровы блестит кровавой слюной. Где наш Дионисэ? Скоро придет?

## ПЕРВОБУЙВОЛ АБО ТВОРИТ КАХЕТИЮ

— Я родил эту страну! — хрипит взмыленный буйвол.— Это горячее дыхание моих ноздрей дало жизнь земле! — мотает он головой с могучими рогами.

— Эй ты, живая гора! — насмехается над ним плотник Тархнишвили.

Глаза буйвола налились кровью. Стон сдавлен в груди.

— Я был первым мужем Маро! Ты увел женщину! — Буйвол медленно ходил по кругу. Тяжко дышит. Копытом угрюмо рыхлит дикое поле.

— Пошел, буйвол! — сквозь зубы говорит плотник.— Волочи повозку и тяни плуг! Забудь женщину!..

Тархнишвили мял в твердых пальцах глину времени. Буйвол ждал помощи от земли и воды. Но родник молчал. Вода не отзывалась. Буйвол хочет вырваться из плена человека. Буйвол устал, надорвано громадное старое тело. Из пота рожал он Кахетию.

И было кругом темно от вечно стонущего стада. Из светлой капли пота рождалась земля. Что останется нам, потомкам?

Буйвол, его соленый пот и поле. Буйвол и его холодный пот.

Буйвол мучился тем, что нигде нет воды и он умирает. Пусть кто-нибудь обольет его водой из бочки. Спасите Або! Крестьяне!

Або подыхает. Сердце буйвола страдало. Страдание дышало в крови. Наверное, скоро он должен погибнуть. Но готов ли он к гибели?

Ждет ли вспаханная буйволом земля его смерти?.. Или маленький, голодный погонщик Ашот скрывал от своего подневольного животного скорую его гибель? Тогда и сам Ашот умрет вместе с изголодавшейся семьей. Даже Иштара-сына буйвол сейчас презирал.

— Выродок! Чудовище! — стонал он.— Тебя ненавидят и гонят крестьяне. Ты — порча их зерна и виноградников. Ты — раб!.. А я труженик. Ты, мой сын, сделался рабом.

Мы все рабы для нужд земледелия! — сдавило виски буйвола.

Буйвол низко опустил голову с устрашающими рогами.

Настанет день, и взбесится он. Сокрушит деревню. Страшен обезумевший, как народ, буйвол. В теле буйвола прячется хаос. Животное само вылепило себя из воды. А потом, родившись, Або напился воды, своего соленого пота. Самое невыносимое для Або — его одиночество. Пусть кто-нибудь поселится рядом с ним в загоне, в хлеву. Хоть на миг. Хоть на год. Пусть подружится с ним хозяин пастбищ и виноградников. Хозяин уходов и возвращений. Смерть — это рождение. Пусть бог-паук Дионисэ поселится в одиноком теле буйвола и разорвет его осенью. Вместе будем спать в черной земле голодными. Мы — черви. Мы — подневольная скотина.

От рева взбешенной реки Алазани оглох на века буйвол Або.

Дионисэ — паук, ткач пространств. Буйвол Або чуял, как гудит в его груди этот паук, его близнец, его неутомимый соперник.

Я буйвол, давильщик винограда! Я хозяин черного, умирающего вина предков!..

Я буйвол, сын одиночества в безлюдном поле!..

## ТАРХНИШВИЛИ ЛЕПИТ ЛЮДЕЙ ИЗ ГЛИНЫ

— Глина! — радостно кричал много веков назад Тархнишвили.— Глина жизни!

Тысячелетия уходят во мрак.

Первочеловек стоял у реки. Каменная рыба родила живую.

Слепая рыба рождает зрячую. Первочеловек Тархнишвили стоял босой у берега. Он коснулся глины неуверенной, робкой рукой.

Тархнишвили лепил человека.

Оглядывал хмуро новорожденного. Мертвые веки голого не шевелились. Чернела дыра рта. Маленькая тесная грудь, голова, кривые руки и ноги. Идол. Чернеющая страхом и голодом дыра рта. Лежал у самой воды новорожденный, свежевылепленный житель Кахетии. Будущий виноградарь и хозяин края. Валялся замерзшими ногами в набегающей волне, весь в иле и грязи. Мертвый и холодный. Не дышал.

Тархнишвили в отчаянии присел рядом. Он устал. Задыхался. Ноющие пальцы в комьях холодеющей глины. Тархнишвили нагнулся и осторожно погладил лоб лежащего. Идол пустыми глазницами смотрел в серое, чужое небо. Туманом светилось враждебное солнце. Плотник встал на колени, взглянул в небо, потом снова приник к идолу и вдохнул жизнь в его страшный, изуродованный рождением рот. Безразличные тусклые глаза лежащего потеплели.

Вот так народилась Кахетия.

Из глины.

Это потом, много веков спустя, кахетинцы, потомки идола, станут рождаться из огромной, расколовшейся тыквы.

Из овощей. Из мокрых от росы огурцов и дышащих августовским угаром сочных помидоров. Вода будет шуршать в овощах.

## ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ КАХЕТИИ

Хищная птица Пашкунджи вцепилась железными когтями в диск пылающего солнца. Птица вращалась вместе с диском в горьком, зеленеющем небе рассвета. Колесом арбы кружилось солнце.

Жарко крестьянину в винограднике. Жарко вспотевшему, мокрому лицу.

Арзуман-птицегадатель прячется от своей жестокой крылатой матери Пашкунджи. Птица Пашкунджи ревнует дуб гомборский к стонущей Алазани. Птица Пашкунджи ткет из небесной, желтой влаги Кахетию. Пора и буйволу Або выходить к голой земле. Бить ее тяжким копытом. Нападать на нее, выставив крепкие увесистые рога.

Вот луг. Буйвол Або ступил на него. Задумался. Потрава луга. Перебиты травы. Буйвол боится одиночества. Грузное тело его погибнет от одиночества. Он вспахал землю, стоял у края поля. Над обрывом. Холодом текли постаревшие глаза. Холод подступил к самому сердцу животного. Сердце и душа животного с копытами прячутся в потемках. Налился мраком встревоженный глаз буйвола.

Спасти буйвола может только женщина. Где она?

Где ты, великая матерь Кахетии?!..

Я жду тебя! Я буйвол-предок!..

### Юность коровы Маро

Она родилась в соседней деревне Мукузани. В семье батрака. Маленькая семья — отец, мать и Маро. Жилище их убогое, тесное, почерневшее от дыма, с земляным полом, котлом закоптелым на очажной цепи. Топили очаг наворованным в лесу хворостом, мхом. Иногда выпрашивали у мироеда корзину угля в долг. Стыли от земляного пола ноги. В жилище повсюду разбросана зола, от которой с детства у Маро першило в горле, выступали горькие слезы. Девочка-подросток по целым дням могла молчать, сидя в темном углу, глядя в низкое, мутное окошко. Жалобно молчала. Иногда мычала.

Может, она корова? — думал о дочери захудалый, голодный бедняк.— От кого она родилась?

— На меня не похожа,— злилась мать.

Мать приближалась к девочке-подростку, чтоб деревянным гребнем расчесать ее черные, смолистые, крепкие волосы, пахнущие золой, землей и холодным потом, заплести тугие косички. Но девочка Маро отчужденно отодвигалась от матери, испуганно отстраняясь и выгибая в сторону худую шею. Уходила, опустив голову, в огород, копать картошку.

Отец спозаранку нанимался рубить чужие дрова, волочить на худой, тощей спине бревна, возить в тачке бочку с водой. Мать стирала кучи белья у богатых. И все же они голодали. Маро с детства подружилась с голодом, голод был родным.

— Прибери в жилище! — кричала, уходя стирать, мать надорванным чужим голосом.— Свари похлебку отцу! Отнеси ему. Перемой всю глиняную посуду. Горшки и миски. И еще надо потрепать баранью шерсть. Слышала?

На земляном полу серели комья шерсти. Девочка Маро палкой взбивает ее. Она трепала шерсть, выносила просушить во двор, на раннее солнце, чтоб потом набивать этой сыроватой, плохо просушенной шерстью матрас отца из холстины. Или можно этот матрас продать другому бедняку. Девочка никогда не гнушалась труда, семья с зари до ночи надрывалась. Маро работала, как мать и отец, ничем не брезговала, голод гнал. Девочка собирала гнилые картофельные очистки по чужим дворам, шарила в помойных ямах, месила из отбросов корм единственной, худой свинье, которую держал батрак, соседи ругались и гнали ее прочь, пинали, она закрывалась от них руками, своими мозолистыми ладонями. Деревня Мукузани замечала странности в ней.

Маро понемногу превращалась в девушку. Едва завидев игривых парней, что шли по дороге, она сворачивала. И вообще сторонилась односельчан.

— Маро с глазами коровы! — говорили о ней в деревне.

И правда, было в холодном от одиночества лице что-то коровье. Недоумевающее.

Зачем у меня тело девушки? — как бы спрашивала она людей.— Я ведь корова. У меня с детства душа молчаливой, всеми забытой коровы.

Парни тащили ее на гульбища и песни под дуб на лугу. Она жалобно и глухо молчала, вырывалась, если кто-нибудь в шутку, охальничая тащил. Поденщица в доме своего голодного отца, бедняка из бедняков. В сумерки Маро, наломав спину, натаскавшись дров, с натруженной шеей и в бессилии повисшими руками, забьется куда-нибудь в хлев и мычит.

Я животное! — билась жилка на лбу.

Прижимается девушка к холодной, отсырелой стене и не проронит до самой ночи ни слова. Ходила всегда в одном рваном платье, босая. Не оглядывалась. Темные глаза дышали, присыпанные золой остывающего одиночества. Она избегала людей. Все чаще одна уходила в поле.

Шла по раннему снегу к дальнему полю, к опушке грабового леса.

Корчевала там худенькими руками, вырубала топориком разросшийся ольховый кустарник, разгребала лесную стылую землю, освобождая от мокрых, в матовом инее чернеющих листьев, мотыжила землю острой палкой. Сажала собранные в голом поле зерна. Дышала взволнованно над зернами, отогревая их. Деревенский люд догадывался, что девушка Маро, как их далекие предки, нашла хлебные злаки. Ей чудилось, что она первой в Кахетии вырастила пшеницу. Научила темное население деревень молоть пшеницу, а из просеянной муки выпекать хлеб.

— Эй, вы! Дикари! — кричала она удивленным мукузанцам, односельчанам.— Что вы собираете в лесу желуди и грызете их, как свиньи? — бросала она им с упреком, и лицо темнело от гнева.— Вы что, свиньи? Вот вам зерна пшеницы, держите! Выращивайте хлеб!

Маро избавила народ кахетинский от желудей, люди стали глядеть на нее настороженно, побаивались, страшились молчаливого, осуждающего взора юной немой коровы.

— Кто ей про землю и земледелие рассказал? — удивлялись они. Хмурились.

Поговаривали, что она даже дальняя родственница Дионисэ, бога разрыва.

Может, она умирала, как и он, много раз и снова родилась в бедном жилище мукузанского бедняка. Вместе с Дионисэ насадила первую лозу? Она дружила только с крестьянскими детьми землепашцев с тяжелыми лицами. Ведь дети скоро сами сделаются землепашцами, запрягутся в ярмо, потащат на себе плуг. Повозку. Надорвут спину на тяжелом поденном труде. Она собирала детей крестьян и водила с ними хороводы. Они пели наивные песни, рассказывали друг другу сказки, играли, творя полевые обряды. И звери дикие выходили из мрачных лесных логовищ их послушать. И волки и бурые медведи, когда она пела с детьми, не нападали на скот, не задирали овец. В гнездовьях замирали хищные птицы, птенцы Пашкунджи, хозяйки верхушки дуба, хозяйки верхнего кружащего неба. Замирало вдали черное поле, тоже слушало песни крестьянских детей. Во мгле шуршали мерзлым сном листья. Маро вставала с колен, бросала детей и бежала в деревню. А за ней, боясь отстать, тащились блеющие овцы, плачущие дети, мычащие коровы. Волки от тоски, без Маро, начинали одиноко выть, уходя в лес. Медведи, не двигаясь, долго смотрели вслед. Теперь она все чаще уходила в лес одна. Наварит похлебки отцу с матерью и уйдет потихоньку, спозаранку. Не боясь, что разорвет ее волчица. Или барс, спустившийся с гор. В жестких, расчесанных гребнем для овец волосах поблескивали белые нити. Откуда им взяться у девушки? Она сидела на пне. Враждебная чернота леса давила на горло. На припухлые глаза. Непрестанный труд сделался ее судьбой. Грузом, давящим на плечи. И вот она одна в мрачном лесу отдыхала от него. Пустота ныла на сердце Маро.

Подрагивали острые локти. С обрывистого берега Алазани стлалась над мокрым полем сырость. Холмы вдали во мгле казались нагромождением бараньих голов.

Мать девушки была распухшей от голода женщиной с водянистым, бесполым лицом, но драчливая, с визгливым голосом.

Она часто от голода впадала в истерику, била дочь, могла расцарапать лицо грязными ногтями. Она без конца жевала. Чем она кормилась, одной нищете известно: ела кожуру чужих яблок, подбирая падаль с дороги, искала скорлупу яиц, крала на чужих огородах горький лук, выдергивала и жевала с землей горечь, не гнушалась гниющих бараньих потрохов, коровьих кишок, глотала их и все никак не могла утолить алчный голод. Всегда голодная. С запавшими тусклыми глазами, с черными смертными кругами усталости. Ходила медленно, еле передвигаясь на распухлых, нездоровых ногах.

Отец девушки с маленькой головой, тоже голодный, чумазый, с отвислыми плечами, истощенным туловищем на слабых ногах, с большими, натруженными работой руками. Всю жизнь он гнул спину на чужих людей, батрачил, этот человек с потным, исхудалым, ввалившимся лицом, надрывался как вол, а из нищеты бескрайней не вылезал.

Маро ни разу не видела, чтоб он когда-нибудь обнял мать, сказал приветливое слово или погладил ей голову. Спали они все на земле, на рогоже. Мать даже во сне лежала с уродливой, глуповатой улыбкой на безрадостном унылом лице и как бы извинялась перед людьми за то, что она голодна. И никак не умрет.

А отец, батрак, поденщик, спал, словно сжав в кулак свое осунувшееся, смуглое, изможденное лицо, напрягая шею и продолжая и ночью с закрытыми маленькими сердитыми глазами трудиться на чужом поле, не в состоянии избавиться от ярма. Вот он спросонья замычал, заныл и дергает руками, пытаясь, не просыпаясь, взвалить на спину мешок с землей, украденный в дальней деревне, волочит его жене своей, которая жует эту землю и набрасывается на нее, безумная от голода, и пожирает ее вместе с мешком. Батрак спал, охваченный отчаянием, и гримаса обезобразила его чернорабочее лицо, зубы стыли от холода, но он не стонал.

Муж и жена лежали спиной друг к другу на рогоже.

Любят ли они? — думала девушка Маро.

Бедняки-родители рассмеялись бы над ней, над глупостью.

— Мы все голодны. Твои отец и мать. Всю жизнь. И хватит с нас!

Казалось, что тела отца и матери срослись. Вот они повернулись изможденными лицами друг к другу. Волосатые худые ноги мужчины коленками острыми вдавились в пухлый живот женщины. Живот жены, безобразный, грел жалкие колени мужа-бедняка. На стене жилища висел на гвозде мешок с давно выдохшимся луком. Валялось колесо от повозки. Корзина с углем. Пахло рогожей, плесенью, козлиной свалявшейся, протухшей шерстью. Несло хлевом грязным и кислой вонью. Свинья с впалыми боками бродила по спящему, ночному жилищу и тоже, как и люди, не могла заснуть от голода. Она рыла землю, обнюхивала ее, и свинью не гнали на холод. Это было почти единственное животное бедняков. Если сами начнут пухнуть с голода, заколют худую свинью, а пока держались, терпели. Свинья, сама полуживая и измученная, оставалась их надеждой на еду, избавлением от неминуемой голодной смерти. Худой жир жизни бедняцкой. Иногда мать варила лобио в глиняном горшке. Варево обдавало голодные лица дымом, от горячего лобио делалось радостно в желудке и на душе. Но батрак ел хмуро и скучно, изможденно. Он устал и не мог есть.

Маро черпала деревянной ложкой в горшке.

— А ты не рада еде? — с набитым ртом мычала мать. Холодный пот от жеванья выступал на лбу матери. Она женщина с лицом опухшим и желтым. Женщина, голодающая долгие годы.

Маро молча мыла миски после еды. Она молчала.

Иногда она смотрела на свое лицо в дождевой луже. Лицо Маро одинокое, с пытливыми, внимательными глазами. В нем что-то от отца и несчастной матери. Серое холодное лицо батраков, смирение и тупость во взоре. Холодный блеск впалых глаз. Глаза отцовские, тяжелые и загнанные от огромного вспаханного и много раз перепаханного поля. Под шеей затаилась и дышала у Маро крепкая жила жизни. Жила росла под корнем из широкого сердца. Сердце Маро сделалось тяжестью, как камень, зацепившись о который треснет и сломается плуг.

А что в Маро от матери? Упрямство, голод, подавленная жажда жизни. Жажда съесть землю, лук, красный редис с солью, грызть сухую речную глину. Лук перехватил дыхание. Заесть горечь ломтем черного, жирного хлеба.

Глаза девушки Маро пробуждались от зимней тоски. Пробуждение полей Кахетии от зимней тоски и спячки переворачивало душу Маро каждой весной. Солнцу, пропахшему полынью, рада она. Завидовала она птицам-самоубийцам, несущимся головой вниз, в бездну.

Маро медленно превращалась в женщину деревенскую, грузную, в кахетинскую крестьянку. Мозолистые руки в буграх. Маро любила в сумерки, после полевых работ, лежать грудью на земле, пахнущей будущей пшеницей, и жадно вдыхать грудью стон каменной слепой рыбы на самом дне Кахетии. Она слушала, как пробуждается в изможденной кахетинской земле остролистый колос. Она возбуждалась зерном, набухшим пахучим душистым гречишным медом.

Лицо ее глядело кругом с любопытством немой коровы, с расширенными от голода и любви глазами. Терпение ярмом село на ее крепкую шею. Маро чего-то ждала от жирного поля, вспаханного босыми ногами крестьян.

Губы Маро широкие и горячие, как свежевспаханная земля. Ей часто приходилось уходить в лес на сбор хвороста, чтоб отапливать им жилище. Никого не боялась. Одна в мрачном лесу.

Уходила за много верст в разросшийся в предгорье сизый, синеющий дымкой лес. Буковый лес, заснеженный у опушки, ждал ее.

Сиял навстречу предзимним солнцем. Поблескивали незамерзшие, коричневые лужи воды. Гудел настоянный на мхе и смоле воздух. Гудел на холмах ощетинившийся бор. Она одичала с корзиной хвороста в этом вероломном лесу. Лес вдруг сделался страшным. Лес-насильник. Лес-мужчина со злым, дремучим лицом. Рот девушки дрожал от страха. Мороз царапал грудь и спину. Шершавые губы потрескались от дыхания гомборского леса. Она тащила на спине тяжелую корзину с хворостом.

Голосила какая-то запутавшаяся в чаще и не улетевшая на зимовку, обезумевшая от одиночества, отбившаяся от стаи птица. На ветвях поблескивала намокшая паутина. Зарывался в берлогу бурый медведь.

Лесные слезы горели в похолодевших глазах. Она не думала уже об очаге, забыла о своих бедняках-родителях. Теперь она хочет уйти от них. Глухая глубина леса звала Маро. Капельки пота вздулись на лбу девушки. Девушка Маро готовилась родить землю. Начинали мучить родовые схватки. Она хотела родить. Но угрюмое кахетинское небо ввергало назад в лоно девушки безумное желание сделаться матерью земли. Маро чудилось, что у нее огромный, страшный, тяжелый, как гора, живот. Она, не забеременев пока, кричала от будущих страшных родовых схваток. Это были ложные роды крестьянки.

День в лесу на исходе тихо таял. Холодели схваченные судорогой губы. Девушка упала, скрючилась. Лежала на гнилых, мокрых, прелых листьях. Потом боль медленно уходила в землю. Маро пыталась повернуться на бок, стонала. Виском упиралась о камень. Сгорбилась. Окоченевшими руками искала подмогу. Желтопенная рвота подкатывала к горлу.

— Хочу родить землю! — захлебывалась криком Маро.— Хочу забеременеть! Пусть накроет меня бык, дуб или чудовище! Ведь все они вылеплены из земли.

Темной, дышащей землей медленно наполнялась грудь Маро. Гудела грудь.

Как родить землю? Тело девушки будет разорвано.

— Как мне родить гудящую гору?

Я повалюсь на камни, а рот будет звенеть жаркой кровью!

Я умру от родовых схваток, и не станет покоя моей тени в подземном мире пещеры Джоджохети!

Маро закрыла потемневшее, страшное лицо крепкими руками труженицы. В впадинах глаз темнели волчьи ягоды. Страшные и замерзшие. Отравленная ягода мечтала родить ягоду и терзалась.

Маро держалась руками за живот. Ныло горло, разбухло. Можно ли родить ребенка через горло? Земля с гулом плыла из груди, из горла. Сияла осина. Низкое солнце холодом опьянило осину. Где-то насторожился кабан. Плакала одичавшая вода родника. Вода жалела девушку. В съежившемся кустарнике остановилась ночь. Маро долго стояла на коленях. Искусанный рот высох и дрожал от обиды.

Она хотела, чтоб дуб седой надругался над девичьим телом. Бес бесплодия напал на девушку. Маро растревожила рощу своим немым, коровьим стоном. Даже волки боялись приблизиться к ней.

Маро вгоняла задумчивый лес в свой стон, тревожащий душу.

И вот эти родовые схватки оказались напрасными. Маро задыхалась, душила свое горло. Где ребенок? Где гора? Где земля?

Маро стояла на четвереньках, она бодала лбом ствол могучего дуба.

— Уйди с дороги, проклятый! — кричала она дубу.

Глаза девушки ослепли. Она не плакала. Она сражалась со зверем бесплодия.

### Буйвол Або бродит по лесу

Буйвол один в гомборском лесу. Жгла душу жажда схватки с дубом. Кто великан — я или ты? Жаждал чудовищной битвы Або.

Ведь если не буйвол властелин жизни, зачем жить в позоре под сенью седых, могучих крыльев дуба!

— Я, буйвол Або, бог или червь?

Он страдал. Не находил себе места.

— Люди! Сделайте из меня тягловую скотину! Я сдался.

Он угрюмо пробирался сквозь заросли, вытянув вперед тяжелую голову с копьями рогов. Это могучее оружие. Два меча.

Або шел напролом через ольховый, буковый, грабовый лес.

Весь задубевший в грязи. На боевых рогах, на острие блестел растерзанный животным папоротник. Листья убитого папоротника засверкали заходящим за холм бездомным солнцем. Громада вытянутых вперед, смерть несущих рогов гудела. Медленно скользили в мокрой опавшей листве копыта. Буйвол двигался на стену застывающего леса.

Он мечтал сокрушить его боевой дух. Свалить дубы.

Або шел, тупо и бездумно зажмурившись.

— Эй, люди! Где же вы? Я не хочу становиться рабом дуба! Сделайте меня вашей тягловой скотиной. Я согласен работать на вас даром, пока не издохну!..

Зрачок темнел горящей кровью. Буйвол опускал голову, нюхал и топтал желуди копытом.

— Будь проклято, потомство дуба гомборского! Я убью в зародыше будущий лес! — зверел он.— Я растерзаю желудь, из которого родился Дионисэ!..

Буйвол шел, пробивая густо-зеленую, чернеющую мраком стену леса. Буйвол нес на рогах круг устрашенного солнца. Солнце с буйволиными рогами — это бессмертие!.. Птицы напуганы бездной, что блестит из-под века животного. В груди буйвола томится хаос. Когда-нибудь разорвет хаос это упрямое животное.

### Буйвол и дуб

Что же легче?

Бороться с людьми или со слепой стихией?

Стоять не двигаясь или кружить одиноко вокруг леса?

Ведь оба погибнут. Свалят дуб. Настигнут и буйвола, всадят топор в загривок. Окровавят холмы и луга. Корни дуба лизали огонь и воду. Одна земля могла спасти гомборского седого патриарха с крыльями, и он лез в нее корнями, все глубже.

— Свалите меня! — звал дуб людей.— Сожгите!

— Вам меня не одолеть, кахетинцы! — хрипел буйвол Або.

Буйвол двигался. В этом его сила.

— Далеко не уйдешь! — завистливо стонал гомборский великан.

Кто несокрушимей?!

Тот, кто стоит и ждет врага? Или другой, кто нападает на него сам, рогами, кружа по кругу?!..

Плачет и смеется предсмертно родовое шумно-зеленое божество-богатырь!

Дуб-предок кахетинцев.

Буйвол нюхал окрашенную слабым солнцем мертвую траву. Искал воду. Хотел пить. Умирал от жажды. Буйвол сделается жертвой воинственного, остывающего леса. Солнце уходит в мерзлую землю.

### Встреча буйвола Або и девушки Маро

Исполин с рогами застыл. Замерло копыто. Девушка лежала перед ним. Спящая девушка. Або прикрыл веки. Сон? Не двигался пораженный буйвол. Кто она? Может, надо раздавить ее копытами?

Убить. Ведь она забрела в глухую его тайну. Або скрывал от всех страшное свое одиночество. Девушка лежала на спине, руки ее сжимали комья холодной земли. Рот задыхался от плача. Она дышала. Лицо девушки темнело, как земля. Она хотела стать матерью.

Она застонала. Гора давила на грудь. Лоб в черном, мокром поту. Худые скулы обтянуты серой кожей. Под скулами твердели желваки. Хмурился холодный лоб. Лоб прорезала печаль. Жалобно, в горечи обвисли холодные губы. Буйвола удивило ее нечеловеческое страдание. Она несчастна? Это валялась возле его передних копыт униженная, беспомощная мать земли. Мать, еще ни разу не рожавшая. Родовые бесплодные муки подорвали ее. Чрево оказалось пустым.

Мать земли! — рванулся в страхе назад, пятясь, буйвол.

Он стоял всю ночь, не двигаясь. Стерег ее сон. Боялся тела девушки.

### Буйвол и Хаос

Тысячу лет назад буйвол Або захотел победить Хаос.

Хаос жил в его холодной душе.

— Как мне справиться с ним?

Або думал, что на его спине стоит Кахетия. Он лежал, попытался подняться и не мог. Копыта беспомощно скользили в грязи у реки.

— Сначала победи свое сердце! — шумела река.

— Хаос! — рев вырывался из горла животного.— Я измучен!

— Загони себя в Хаос! — выл ветер.

— Нет! Нет! — захлебывался солеными слезами Або. В глазах поверженного Або налипшая кровь.

### Схватка

Вдруг первобуйвол захрипел и бросился в бой. Он воевал.

Отлитое словно из бронзы тело сверкало. Дионисэ ударил его кулаком под живот. Шерстью курчавился пах. Рухнули мощные кости буйвола-предка. Разорвались мышцы и бугры сухожилий.

Но нерв жизни под шеей пока дышал.

Або кричал что-то древнее и страшное на своем языке.

Дионисэ исподлобья поглядывал на униженное животное.

— Хочешь ярмо? — пробормотал он.

Дионисэ напряг мускулы и выставил вперед кулак.

Он снова готов к бою.

И ждет врага.

Но вот буйвол коснулся острыми рогами его груди, и Дионисэ вздрогнул.

Увидев устремленные к нему зрачки, наполненные кровью, подавил малодушный свой страх.

Дионисэ ждал.

Они схватились. Бог обхватил буйвола, туловище его крепкими руками. Стал давить, тащить к земле.

Оба страшно дышали.

Копыта буйвола отрывались от земли, дергаясь.

Хочет Або раздавить бога виноделия в прах.

Холодные губы буйвола посинели.

Не дышат.

Единоборство!..

Дионисэ, крепче и ловчее перехватывая туловище тяжелое, пытается бросить его мощным броском через голову. Вздулась жила на лбу.

Копыта сдающегося буйвола разваливали древний мир.

Дионисэ душил шею буйвола.

Ждал стона издыхания.

Тот вырывался, мотал мордой, отступал.

Рыл рогом землю. Хрипел.

Кровью из глаза заливал землю.

Страшной, черной кровью.

— Кто победит мое одиночество? — стонал бык.

Оба кричали от боли.

Они сражались.

Або выставил страшные рога. Рога блестели солнцем.

— Нет! — кричал Дионисэ.

— Нет! — кричал Або.

Мужчина сдавил шею буйвола.
От животного останется кровавый мешок с костями.
Единоборцы, сражаясь, растерзали землю.
Бог побеждал первобуйвола, и рождалось небо.
Маро в крови и в смертном поту готовилась рожать.
— Мать земли! — хрипел буйвол.— Маро!..

### Любовь девушки и буйвола

Опустившись на четыре перебитых колена, буйвол сторожил спящую девушку.

Буйвол умирал всю ночь. Ночь была растерзана дыханием борющихся соперников. Дионисэ сокрушил животное. Сделал из него раба крестьян. Низко над буйволом летали птицы большие и малые. Певчие птицы Кахетии вили свои гнезда из горячей глины и голубого неба.

Птицы усаживались на голову буйвола. Ждали его свадьбы. Птицы сделались живой, пестрой гирляндой на свадебной голове буйвола Або. Девушка лежала с опущенными веками. Она несчастна, не могла родить землю.

— Но ведь земля давно рождена? — удивился буйвол.

— Земля рождается каждую тысячу лет! — пробормотала девушка.— Как и каменная слепая рыба.

Всю ночь ей снилось сопение двух сражающихся чудовищ. Это была яростная схватка двух зверей. Бурые медведи грызли друг друга.

Ястребы сшибались клювами в небе. Возились в листьях черви.

Девушка не могла помочь раненому зверю. А сейчас кричала над ней утренняя птица. Девушка проснулась. Она вскрикнула от страха.

Один глаз буйвола распух и налился кровью, другой чернел смертью.

— Не бойся! — прошептала праздничная голова с рогами.— Я буйвол.

Девушка высвободилась от приснившихся ей трав, связавших ее руки и ноги. Освободила глаза и рот от сладких, мокрых, ярких цветов.

— Ты буйвол Або! — сказала она.— Но отчего ты весь в крови и в цветах!

— Я жених! — стыдливо ответил буйвол.

Кровавый глаз его слезился счастьем.

— Чей жених? — побледнела она.

Девушка поднялась. Темнело в лохмотьях гладкое, молодое тело, медом дышала грудь.

Она подняла к утренней звезде руки, пытаясь закрыться. Звезда розового рассвета подглядывала за ее счастьем.

Я совсем голая! — подумала девушка со страхом.

Светились пением деревья. Стволы деревьев казались прозрачными. Птицы носились и кружили над рогами буйвола и головой девушки. Они пели.

— Слышишь? — спросил буйвол.— Они поют о нашей свадьбе!

Солнце целовало листья грабов.

— Полюби меня! — хрипел буйвол.

— Такая гора! — удивилась девушка животному.— И такая одинокая гора.

Лес стоял живой. Лес дышал весной. Птицы влюбились в зеленеющий лес. Сердце великана ныло. Сердце Або дало кровавую трещину.

— Я завидую лесу! Я хочу стать лесом! Пусть любят меня пернатые птицы! — Мерцали глаза Або в сонной одури.

Клювы летящих птиц светились солнцем. Птицы захлебывались завистью к жениху и невесте.

— Свадьба! — верещали они на весь напуганный сжавшийся лес.

Глаз Або дрожал. Косо упала в высохшую лужу бабочка. Рассыпалась золотистым прахом. Дерево весны кружило, стыдливо закрываясь горящими ветвями. Деревья гомборского леса братья и сестры. С ветви на ветвь перелетали ревниво поющие птицы. Рев одурелого от счастья буйвола напугал лес. Зеленое сердце леса дышало судорожно. Девушка и буйвол кружили друг перед другом в свадебном танце. Но танец их не выплывал за солнечный круг. Цветы, закрываясь лепестками, ждали первого поцелуя влюбленных.

Влюбленные стыдились целоваться при божьей коровке. Божья коровка родилась из ягоды земляники. Ягода боялась чужой любви. Копыто буйвола раздавило ягоду. Капля умершей божьей коровки погасла. Шумели смертью ягоды, листья леса. Лес радовался пролитию крови и страдал. Земляника уже

никогда не выглянет из душистой травы. Возбужденные любовью исполинского буйвола, распаленные птицы не давали ему впасть в печаль. Туман, дышащий нагретой влажной сыростью, испарялся. Птицы в стремительном, головокружительном полете над бездной прижались друг к дружке нагретыми клювами. Солнечный диск кружился на земле. Солнце просило подать ему руку, спасти. Тянуло чистым дыханием можжевельника.

Бархатный шмель прилип к солнцу и кружился вместе с ним.

— Я хочу родить землю! — плакала девушка.

— Я раб! — стонал буйвол.

Девушка вдруг обняла могучую шею Або. Черный буйвол-предок молчал.

Мать земли целовала его.

— Зажмурься! — прошептала она жениху.

Кровавый луч солнца полоснул девушку ножом по обнаженной груди. Луч уходил в небо.

— Это мой путь! — дышал буйвол.— Моя дорога к свободе!

Ноздри его тяжко сопели. Толстые губы в кровавой пене. Девушка осторожно целовала его изможденный ожиданием рот. Черный буйвол ревел. Он встал на все копыта. Девушка оседлала животное. Животное ринулось вперед, напролом через отшатнувшийся лес. Животное разламывало мрак, как стену крепости.

Копыта влажнели грязью. Солнце ослепило лазоревый лес. Сожгло солнце растерянных, мечущихся птиц.

— Нас обманули! — визжали птицы.— Нас бросили. Где жених и невеста?

Грязный пот струился по буйволиной морде. Он хотел в водоем, во мглу зеленого, тенистого болота.

— Не урони меня,— шептала девушка Маро.

Лесу стыдно и страшно. Вдруг птица вырвалась из ежевичной чащи. Птица пыталась, умирая, взмахнуть сломанными крыльями.

— Буйвол терзает землю! — кричала птица.— Спасите Маро!

### Рождение Иштара

Буйвол молчал.

Снова превратился в ленивое, одинокое животное.

Маро, забеременев, забыла о нем. Он ей уже не нужен.

Буйвол лежал в луже. Зеленые, крупные мухи густо облепили щетинистую спину. Кусали и пили его застывающую, синюю кровь. Лиловые глаза буйвола дремали. Маро сидела на полянке неподалеку, опустив руки между колен. Она не замечала буйвола, мужа. Ей даже было теперь противно тяжелое, угрюмое животное, пропахшее потом и грязью. Буйвол на миг перестал жевать сухие листья. Дернул тревожно ухом. Маро не ответила на его подавленный, униженный взгляд. Только на три дня он сделался ее мужем. Теперь все позади. Она не хотела вспоминать дни и ночи их близости. Лес был раздавлен и смят, еле оправлялся от страха и унижения. Кусты сломаны, деревья повалены. В неистовстве и страсти буйвол Або хотел уничтожить гомборский лес. Буйвол поскользнулся, и родник остудил сначала копыто, а потом страшное сердце животного. Або без воды погибнет.

— Ты теперь тягловая скотина! — пожалела мужа Маро.

Скотина немая и лишенная языка. Раб древней тоски. Никого не волнуют раздумья, что тяготят тебя.

— Я гора! Я исполин! — жаловался он Маро.— Я отдал тебе свою мощь!

— Ты чужой,— ответила Маро.

— А любовь! — ныл он.

Маро усмехнулась.

Поляна осветилась солнцем.

— Ты отец моего ребенка! — ободрила Маро.

— Не хочу! — плакал он.

Над телом лежащего в луже буйвола горел платан. Платан усмехнулся. Глаза Маро тревожно блестели. Билось сердце. На щеках пошли пятна. Маро страдала. Каменная боль дышала в животе и в груди.

Рот стиснут страшным стоном.

Она задыхалась. Маро озверела от боли. Могучий напор буйвола бродил в ее теле. Искал освобождения. Чудовище билось, стенало в раздувшемся животе

женщины. Холодная гримаса отчаяния обезобразила лицо. Не дай небо сделаться буйволу отцом чудовища!.. Буйвол Або молча жевал сухую траву. Лениво щурил лиловые глаза. Лежал себе в луже, облепленный навозными мухами.

— Животное! — кричала женщина.— Помоги!

Но он не двигался с места. Оглох. Один глаз зажмурен, другой лениво блестит. Ягода земляники дрожит от его жаркого усталого вздоха. Або страшно становиться отцом. Это смерть его любви к женщине. Она возненавидит буйвола. Прогонит.

— Я одинокая гора! — тоскует он.

Маро сидела на земле, вытянув перед собой голые ноги. Она держалась судорожными руками за живот. На этой поляне она отдавалась буйволу три дня назад. Тело Маро раздавлено. Голова гудит. Глаза впали и темнеют смертью. Голова женщины запрокинута назад. Ей мерещится, как Або шершавым горячим языком лижет ее грудь, набухшую любовью. А сейчас он равнодушно лежит в луже.

— Землю хочу родить! — стонала женщина.

Лицо Маро осунулось, похудело.

— Землю! — рыдала она.

Напуганно ходил буйвол вокруг роженицы.

Птицы затихли. Маро плакала горлом. Шевелила отяжелевшими губами.

Або ненавидел живот женщины, принесший ей столько страданий. Новорожденный стонал, тянулся к буйволу. Буйвол сам прижался к стоящему на горестной земле на слабых ногах чудовищу с телом юноши и головой быка.

— Это мой сын? — пятился буйвол Або.

Потемнели глаза буйвола. Ноздри дышали. Хотелось бежать прочь. Буйвол не мог защищать его. Маро лежала на земле, подплывшая кровью. На голом, застывшем горле Иштара блестела кровь матери. Он глядел кругом дикими, тяжелыми глазами. Кровь пахла матерью. Запах ржавчины шел по оглохшему от стона лесу. Лес захватили сумерки.

— Разве буйволы равнодушны к своим сыновьям? — удивился дуб.

Мать лежала перед Иштаром бездыханная, в крови. Женщина грязная и побитая. В пустом, бледно-желтом воздухе таял холод.

Иштар обнял голову матери дрожащими руками.

— Жена и мать! — прошептали его шершавые губы.

Буйвол задохнулся от ревности. Он прикрыл глаза. Не шевелился. Солнце остывающим блеском озарило умирающие зрачки. Ранняя болотная птица укладывалась на ночь.

— Мне холодно. Я дрожу. Мама!

Копыто раздавило в грязи упавший дубовый листок.

Ветер у опушки в открытом поле озверело рвал кустарник. Маро пахла землей и смертью. Лицо распухло страшно. Желудь наливался тьмой. Горе человекобыка Иштара настигло в загробном мире ящерицу. Ящерица жалела чудовище.

Стада древних, погибших, провалившихся во тьму времен человекобыков Кахетии каменели в дубовом вечном лесу. Все они, одинокие, загнанные к оврагу братья, тосковали. Застывшее стадо слушало тревожный шепот дубовых листьев. Хозяин леса старался не замечать чудовищ.

— Мама! — хрипели холодной кровью губы Иштара.

Он опустился на колени и голодным ртом пил черное ее молоко.

Целовал живот.

— Лоно матери! — плакал он.— Пещера!..

— Ты не должен это делать,— слабо дрогнула она.

От родовых схваток она постарела. Лицо посерело. Морщины пленили лицо. Лес молчал. Ржавый мох обложил тишину леса.

Тишина леса-жертвы.

— Не надо,— просила Маро.

— Я сын твой,— виновато прошептал Иштар.

— Иштар! Иштар! — закричала она и рванулась прочь.

И смотрела устрашенно в его бычью морду!

А в деревне Мукузани батрак с женой, родители, прокляли ее.

— Пусть не возвращается! — сказали они соседям.

Батрак плакал, хотел убить себя. Двое крестьян, соседей, держали его за руки.

— Какой позор! — рыдал батрак.

У него отняли серп, которым он хотел перерезать себе горло. Рот от плача сделался железным. Батрак, не мигая, глядел во тьму.

Ему все рассказали про буйвола и человекобыка. Деревня Мукузани собиралась убивать их вилами, топорами и дубинами.

— Не надо,— шептал батрак.— Пусть живут. Прогоните.

Пчелы смерти жалили зрачки батрака. В норе жилища темно. А кругом ночь. Пахло подмерзлой, раздавленной ногами обеспокоенного народа дорогой. Холодным дыханием десятков озлобленных, потрясенных ртов. В жилище тьма. Душно. Смрад. Это не жилище. Это лоно пещеры. Маро протиснулась внутрь. Люди расступились.

Маро поглядела в провалившийся взор матери. Подбородок старой голодной женщины заострился, окостенел. Чернеющий рот залеплен хлебными крошками остывающего крика.

Она смотрела на всех с немой тоской.

Хотите, убейте ее! — говорило лицо.— Побейте каменьями.

Маро прощалась с задымленным, закопченным родным жилищем. Она ведь навела порчу на деревню. Отовсюду глядели злобные, нищие лица соседок.

Жилище! Очаг!

Это была пропавшая, изуродованная жизнь.

Мать превратилась в камень.

Она стонала каменным горлом.

— Люди! Убейте ее! — кричала мать девушки.

Теперь Маро — дочь слепой каменной рыбы. Плотник из Велисцихе принял беглянку под свой кров. Маро — корова. Женщина плодородия.

Плотник и Маро целовались в хмельном, позднеосеннем винограднике.

— Девять веков мой возраст! — объяснил женщине плотник.

— Это возраст винограда! — вымолвила женщина.

— Виноград всегда юный! — кивал старик.

Он забрал ее под свою крышу. Буйвола отдали внаем погонщику.

Иштар убрался восвояси к оврагам. Тархнишвили стругал доску в темном сарае. Маро давила на каменной доске зерно. Она замесила зерно в миске из глины. Смешала с зеленым, душистым вином. Добавила масла.

Плотник вернулся из сарая, вспотевший, в свежих стружках на плечах. Маро подняла тяжелую голову с забранными назад волосами. Лицо ее дрогнуло навстречу плотнику, улыбнулось неровными зубами.

Он крепко взял ее за рабочую руку. Увел в сарай.

Рука женщины пахла душистым зерном, землей. Жизнью. Лицо страдалицы нахолодало от ветра и странствий. Они стали есть. Губы обоих блестели бараньим жиром и кислым вином. На хищных зубах раздавлены зерна пшеницы.

— Я жена, ты — муж! — сказала Маро.

Старый плотник снова прижался к ее широким рукам своим холодным от пота лицом. Он сгорбился и еле дышал.

— Мы уплывем с тобой в гробу по реке! — бормотал он, блестя затекшим глазом.

— Мы с тобой жертва!

Маро вынесла ведро с водой скотине.

Громадный буйвол не шевельнулся при появлении женщины.

Грузное, щетинистое тело его лежало перед сараем с новобрачными.

Он молча, спокойно жевал сено.

## ЭКА

Кто-то кинул Эке милостыню, сухую корку хлеба.

Что ей с ней делать? С тех пор, как на войне погиб сын женщины, она грызла только камни. Другой еды не знала. Она ненавидела хлеб.

Кто выпекает хлеб, для чего? — недоумевала она. Люди из-за хлеба убивали друг друга. Хлеб был причиной гибели сына? Сумасшедшая забыла его вкус. Страшно думать сейчас, но она ведь когда-то, в самом начале войны, жевала его беззубым, холодным ртом. И кричала: ей казалось, что она живьем поедает сына. Хлеб — это родная кровь. Выношенный под материнским сердцем младенец. Она кричала. Захлебывалась кровавой слюной.

А люди кругом жадно ели, угрюмо оглядываясь. Она не хочет. Она не хочет есть мертвого сына. Дрожали седые лохмы распущенных волос.

Иногда на исхудалое лицо ее налетала больная, чужая радость. Лицо Эки светлело, дышало надеждой, хмурилось. Босые, грязные ноги в ссадинах. Эка хотела выкупить у смерти своего сына. Она в рваной мешковине сидит в пыли у дороги. Обняла тощими руками острые колени, торчащие из рваной юбки. Она ищет камень, тащит к себе, прижимает к груди:

— Эй, люди! Путники! Вот отдаю за хлеб прах сына! Куда же вы?!..

Она изголодалась, ненавидит еду. Птицы кружили над ослепшей от солнца женщиной. Птицы ждали, хотели растерзать тощую руку женщины, отнять сухую корку хлеба. Птицы давно догадались, что Эка потеряла рассудок. Эка подняла растрепанную голову, взглянула солнцу в красное лицо, а потом придавила сухую корку к шершавым, чужим губам. Она сидела в бурьяне, она плакала, обхватив голову.

Вспоминала убитого сына, по лицу которого наверное ползали желтые, равнодушные мухи.

Она кричала.

— Мой сын умер? — кричала она бурьяну.

Лицо мертвого осунулось. Слепые глаза женщины потемнели. Вот тени увядшего дня. Солнце остывало над Старой дорогой. Птицы в небе летали кругами над женщиной. Ждали хлеб. Птицы набрасывались на нее, рвали одежду, клевали, вцеплялись когтями в растерзанные горем волосы.

— Что вам надо, безумные? — пряталась от них Эка. Мешок с камнями гремел. Хищные птицы разрывали мешок. Эка с плачем собирала в пыли камни, закрывала их грудью от разъяренных клювов и когтей.

Грязные слезы текли по худым щекам.

— Птицы меня ограбили! — стонала она.— Мой урожай!

Женщина пела камням колыбельную. Слезы беспомощно блестели в обессилевших глазах. Навстречу ей шла Маро с глазами коровы. Обмывательница мертвых. Жена плотника Тархнишвили ходит в черном платье. Она шла с корзиной из ивовых прутьев на голове. Эка рванулась отощавшим телом ей навстречу. Померещилось ей, что у Маро на лбу маленькие острые рога, увитые шафрановыми цветами. Маро осторожно улыбнулась. Дрогнул сухой рот трещинкой. На голове она несла тяжелую корзину с одеждой мертвых, подаренной ей родственниками тех, кого она обмыла, готовя к дороге в нижние пещеры, во мрак. Солнце плеснуло в ворох страшной одежды. Маро шла с пылающей корзиной на голове. Эка тянулась к ней худым телом, звала. Но Маро исчезла. Эка смотрела ей вслед обессилевшим детским взором. От обиды горько обвисли побелевшие губы. Провалился рот.

Маро не взглянула на урожай камней! — сжалась голая спина Эки.

Мешковина сползла с ее костлявого тела. Эка разглядела на виске сына кровь. Родимое пятнышко крови. Юноша захлебнулся в бочке с медом. Смерть — это мед. В сына стреляли. Пуля разорвала ему висок. Сначала его убили из ружья, потом сожгли. Висок темнел когтем маленькой, напуганной птицы. Это разрывная пуля. Пуля мгновенно уложила новобранца. Новобранец долго просыпался.

Напоенный светлым медом воскресения, он должен был перенести страдание и боль. От страдания его освободила ранняя смерть.

Легкое, быстрое убийство. Слишком легко его подстрелили. Мало страдал мальчик, оставил все матери. Поэтому, проснувшись, пробудившись, он должен снова умирать с кровавой пеной на губах. Ангелы-пчелы живым венком горели вокруг его лица. Венок легкий захлебывался чистыми слезами из воска пчел смерти. Венок пел погребальную песнь.

Мать заглядывала в развороченное сердце мертвого солдата. Встречалась с желтой и душной полуулыбкой тонкого, измученного рта, и лицо ее казалось раздавленным.

— Я отдам за твою голову самый тяжелый камень! — кричала мать.

Пчелиное пятнышко крови блестело на виске.

— Надо напиться меда, чтоб снова родить сына! — ужаснулась она.

Камни рассыпались в пыли и умирали. Камни шевелили крыльями. Винная бочка жизни обросла трепещущими крыльями птиц.

— Эй! — насмехались над безумной крестьянские дети.— Продай нам мертвеца!

Мальчишки растоптали пчел и бросились от Эки врассыпную. Умирающий сын жалил женщину в сердце. Мальчишки с мясом вырвали у птицы крылья.

## БОРЬБА С ЗЕМЛЕЙ

Вот земля!

Пахарь! Протяни к ней руку. Погладь мозолистой ладонью бугор.

Опустись на колени, сдуй чужую пыль. Обнаженное мясо полей.

Это рана земли.

Не мог пятидесятилетний крестьянин, пахарь Вано, хоть на мгновенье оставить землю. Дневал и ночевал с ней. Не бросал поле. Ни зимой, ни летом. Никогда!..

Вано спит на земле, прижавшись к ней голой грудью. Вот-вот пробудится. Потянуло предутренней свежестью. Холодным ветерком разгорающейся зари.

Рождаются и гаснут первые отблески. Вано не двигаясь замер на одиноком поле. Тяжелы, неповоротливы ступни. На огромные бедра еле натянуты рваные, залатанные штаны, побуревшие от грязи.

Надел рубаху и штаны пахаря еще подростком. С тех пор огрубел, окреп, стал земледельцем. Крепким, как дуб.

Голова большая, с жесткой гривой нечесаных волос. Крупный лоб

Тело с мускулистыми руками, железными бицепсами и широкими плечами изнемогало от собственной тяжести. Могучая шея и торс борца на народных праздниках. Как многие в Велисцихе, ходил босиком. Глаза с холодными белками горели молодостью, задором. Глаза крестьянского, здоровенного парня темнели жаждой хлебопашества. На щеках колючая, жесткая щетина.

Тупая бритва ломалась об эту щетину. Вано был счастлив. Вано обрабатывал землю. Вано защищал ее от грабежа.

Если кто украдет общинную землю, набьет карманы и втихаря отправится продавать ее на воскресном базаре и вдруг столкнется с угрюмым взглядом выследившего вора пахаря, он, этот вор вероломный, сейчас же догадается, отчего у него начинают вдруг болеть руки, которыми он сжимал в карманах похолодевшую землю.

Грабитель, увидев Вано, который молча стоял под раскидистой чинарой базара, отвернется и, сгорбившись, крадучись и хоронясь под заборами, поспешит на Старую Кахетинскую дорогу. Вано стоял не двигаясь, ждал, что вор раскается в содеянном зле. Но грабитель поля спешил на другой базар, в соседнее село, торопился, не оглядываясь, спешил, обливаясь грязным трусливым потом, на незаконную торговлю, добравшись до дальнего базара, озирался у тесных рядов с кучами зловонных, назойливых зеленых мух, облепивших испорченную, несвежую баранину или плывущую желтым салом свинину под солнцем.

Вор земли прятался от капитана-мародера Абесалома, ныряя под длинные столы с горами вываленных из рогожных мешков зеленеющих, кислых пока яблок, негодной кислятины, вяжущей рот. Вечные спекулянты овощами и фруктами, не дожидаясь, пока яблоки нальются соком и дозреют, опасаясь соперников, которые навезут сюда в конце лета и в самом начале осени целые возы пылающих красных яблок, торговали падалью и кислицей, зазывая к своим рядам чернь, нищий, голодный люд.

Велисцихский похититель земли глядел исподлобья, довольный, что удрал от неуклюжего пахаря, и ждал, что вот сейчас окружат его шумной толпой покупатели, устроят осаду и давку, еще бы, ведь он в самый разгар сезона добыл для них редкостный дар — украденную землю!

Но только вор нырнул под столы торговцев и перекупщиков, как за ним увязался ослиным хвостом страж порядка, капитан Абесалом в засаленном мундире с потемневшими от пота подмышками и сжавшимися от предвкушения наживы бегающими, колючими, хищными глазками.

Охранник закона присматривался к подозрительному торговцу с бледнеющим от страха лицом и судорожно сжатыми в карманах штанов руками.

— Покажь руки! — оглушал вора визгливый окрик.

Прожорливый капитан Абесалом часто менял посты дежурства, стараясь раздобыть добычу пожирнее, мясистый кусок. Вор из Велисцихе вдруг начинал вопить от боли — это комья награбленной земли, осыпаясь, жгли ладошки, и он никак не мог освободиться от улики.

— Стой! — кричал потный, с мокрой шеей капитан, хватая нарушителя закона за шиворот.

Руки вора разжимались, в них копошились черви.

— Черви осквернят меня! — ужаснулся вор.

Вот стоит он жалкий, протягивая нечестные руки к солнцу. Мясники, торгующие давшим душок мясом, метнулись в сторону, они украдкой, сами хоронясь от капитана, поглядывали на проштрафившегося вора, что крепко был схвачен извергом с погонами капитана-исправника.

— Бери назад эту чужую землю! — бормотал вор.— Или отправь меня этапом в Велисцихе. Я отнесу ее на место. Не губи душу. У меня малые дети, капитан!..

Капитан Абесалом, насквозь пропахший гниющими черными овощами и базарными крысами, побаивался публично брать взятку. Старался не получать мзды в присутствии толпы зевак и спекулянтов. К тому же иногда надо было для властей, чтоб доказать служебное рвение, арестовывать и доставлять в Свободную Телавскую Тюрьму хотя бы одного нарушителя правил рыночной торговли за лето; он получит благодарность, грамоту о задержании особо опасного преступника или даже, чем бес не шутит, новую звезду на погон, что обгорел при жарении шашлыка, а также десять рублей прибавки к унизительному для офицера внутренних войск жалованью. Базарная толпа с сожалением глядела на вора с черными кровоточащими язвами на руках.

— Вот ком земли с червем! — шептал он умоляюще.— Бери, кацо!

— Мне твои черви зачем? — брезгливо поджал жадные губы капитан. И отстегнув кобуру на толстом кожаном ремне, свисающем с откормленного живота, достал давно не стрелявший, ржавый револьвер.

Базарный люд хрипло смеялся.

Пахарь Вано тяжелыми шагами пришел на базар.

Опустив грязную голову, он сумрачно искал по всему базару край украденного поля, рылся в сумках и мешках крестьян, отталкивающих его.

Вдруг раздался долгожданный выстрел. Вор с бледным, осунувшимся лицом валился ничком. Ржавая пуля вонзилась в печень. Разжаты скрюченные пальцы с копошащимися в ранах червями. Черви наелись сытно украденной земли. Лоб упавшего, застреленного человека в капельках остывающего пота. Зловонные мухи, жужжа, роем снялись, напуганные выстрелом, с говяжьей ляжки на крючке. Рой радостно облепил лицо убитого.

Заострился подбородок. Капитан прячет неожиданно для него самого пальнувшее оружие в потертую кобуру. Базарный люд угрюмо расходится по прилавкам и рядам. Вано соскребает с пальцев мертвеца черствую землю. Кричит осел. Мертвеца за ноги два пьяных сержанта и дворник волочат к мужской уборной и кидают в яму в ожидании санитарной повозки. Запрокинутая голова вора поблескивает лысиной. Он оставил жить после себя многолюдное семейство.

— А кому зеленых яблок! — кричат торговцы, не дождавшись осени и урожая.

Вано несет назад в Велисцихе горсть ограбленного поля.

Один Вано мог справиться с землей, которую он сам вспахивал плугом и на которой лежал ночью, ногами — к Алазанской долине, а головой — к могучему гомборскому лесу. Земля волновалась. Может, она чуяла спящую в ней слепую каменную рыбину, мать землетрясений и плодородия.

Вано пытался угасить страх земли. Хоть он сам врезывался в ее грудь плугом, но потом по-своему, как мог, утолял и лечил ее малые и большие раны. Он спасал поле от целой армии мародеров и грабителей.

Если поле стонало, Вано, переваливаясь, ходил по нему, старался разгадать этот чудовищный стон. Он разгребал ржавеющую землю крепкими пальцами, выдирал железную траву.

Пахарь ложился грудью на землю, где заставал его сон, и лежал не двигаясь, как камень. Ждал, когда угаснет жалоба поля.

И если поле никак не могло успокоиться, он принимал в свою грудь этот слепой плач. Пахарь насыщался им, как небо грозой.

Вано сам начинал плакать. Стон человека в рваной одежде, с крепкой шеей и здоровенными руками успокаивал погибающее от жажды поле.

Земля и пахарь оба хрипло дышали. Суровое лицо пахаря побурело от пыли. Чтоб освободить родную землю, он готов был рассечь ножом свою шею. Пусть земля пьет кровь. Голос Вано исчезал в потемках. Крик пахаря пробил дорогу в

недрах Кахетии. Стояла в яме и немо кричала мать земли. Женщина-корова. Обессилевший, с пеной на изодранных стоном губах, валялся Вано у плуга. Маро обмывала мертвых. Плотник сколачивал им гроба. Ашот-погонщик гнал буйвола с мертвецом к пещере.

Вано не двигался. Лежал на спине. Смотрел в ночное небо.

Смертным потом блестел лоб. Он гордился своим трудом. Еще бы!

Младший брат поля. Глаза его дышали любовью к колосьям хлеба. Широкие ладони вспотели. Однако не мог Вано навсегда породниться с полем.

Не давалось поле. Он сам побаивался. Не надо бы заглушать стон земли. Пусть она гулом разорвет себе грудь. Земля столько раз рожала зерно. Крестьяне не жалели землю. Даже зерно, омытое кровавым потом, они уже не подносили в горстях к солнцу. Земля видела, как крестьяне теряли с тяжко нагруженных арб урожай. На жаркой дороге рассыпанные зерна клевали жадные птицы.

Если велисцихцы осквернят поле своей ленью, пусть они погибнут! — думал Вано.— И я погибну!

Пахарь, сощурившись, глядел на ворующих зерно больших и малых птиц, но сам не гнал их. Не мог двинуть своей босой здоровенной ногой. Вано давно знал: вырви он из раскрытого клюва зерно, оно уже все равно не даст всхода. Не пробьется к воздуху острый, зеленый пахучий росток.

Поле ревновало пахаря.

Как ему разорвать с общиной?

— Не бойся, Вано, не умрешь! — жарко шептало поле.— Я накормлю тебя одного! Хочешь, ешь меня!

Однажды, когда велисцихцы снова досадили ему жадностью, он поддался на уговоры роженицы хлеба. Вано пришел, опустился со вздохом на колени и стал жадно рвать поле зубами. Лицо пахаря помутилось. Глаза запали.

Земля застыла, а потом стала медленно поворачивать к нему свою обнаженную грудь. Вано задыхался, его рвало. Во рту холодно и одиноко.

Крупные капли пота катились по крепким надбровным дугам, по заросшей переносице, по рыжим щетинистым щекам. Пахарь решил наедаться полем один и поэтому ненавидел его. И вот холодом свело огромный рот. Черное поле без людей — враждебно. Звереет. Поле в ржавчине и колючке надо высвободить из плена дикой травы и камней. Но не грабить. Не нападать. Не умерщвлять. Брошенному полю нужны люди, а не хищники. Поле знало, что Вано сам жаждет превратиться в землю, в прах. Отцом хлеба. И другие крестьяне, устав от работ, согласны на то же. Сделаться землей, кормильцами народа. Едой потомков. Но не каждому дано после смерти родиться землей. Стать полем. Началом начал. Лоб Вано, вздуваясь, догадывался: только смешавшись с прахом односельчан, пахарь станет полем. Это была жажда рождения.

Жажда младенчества. Пахарь-младенец. Сын поля. Великан, сын великана.

Вот когда родится величие в его лице.

А пока он просто лежал, ночевал на распаханной им земле, и на его груди росла деревня Велисцихе с садами, виноградниками, пастбищами.

Он боялся пошевелиться, чтоб не погубить деревню. Наступал рассвет.

Пахарь вздохнул, высвобождаясь, вылезая из-под яблоневых садов, что разрослись за ночь и шумели на его плечах. Звонкий ручей разлился на его груди. Вано поплескал ладонью в лицо, зажмурился. Стояла предутренняя тишина. Костры небесные медленно разгорались над полем ржи. Жадно щебетали пробуждающиеся птицы. Птицы уже неслись на тишину, раздирали ее ощеренным клювом. В сыром воздухе пахло солоноватой птичьей кровью.

Пахарь задумчиво огляделся, щуря похолодевшие, спокойные глаза.

Бросил взгляд на свежую дубраву, зеленеющую вдали, еще не захваченную летним гудящим зноем. Пашни и пастбища здоровались с Вано.

Солнце уже опалило облака, молоко утра. И вот сейчас оно готовилось коснуться верхушек лип, зажгло старую, умершую листву в траве.

Сейчас солнце с рогами оленя озарит продрогшую за ночь дубраву. Загудит на всю долину рог. Дрогнет и рванется к зеленопенной матери Алазани сын ее незаконный, бурный коротконогий приток Арх.

За сутки пахарь Вано проживал четыре времени года. Ночь — зима. Утро — весна. Полдень — лето. Сумерки — осень.

Счастлив здоровенный человечина с плугом!..

Кивнул, приветствуя лобастой головой дубраву. Безжалостное солнце еще не задушило темную тишину дубравы, шумящей растущими, клейкими листьями. Подпалило солнце паренька. Паренек этот молоденький, носящийся как горящий ветер. Вано почесал пятерней лохматую, кудлатую голову. Захотелось смерду-пахарю высушить свежим ветром широкое, мокрое от росы лицо, понестись громадными прыжками босиком к зовущей дубраве. Катиться с пригорка вверх тормашками, валяться на лугу, слушать перекличку родников в мелко шумящем листвой ивняке.

Лбом хочется прижаться к дубу! Обхватив широкий ствол ручищами, захлебнуться от восторга детской слюной.

Но ждал плуг. Хмуро. Нелюдимо.

Старший брат пахаря — плуг.

Окаменел плуг. Стонал.

Пахарь отшатнулся. Ужас перед трудом сковал его. Слепые тучи уселись на морщинистый, несчастный лоб. Вано зажмурился. Весь день стоя будет слушать губительные, поющие песни туч.

Они жалуются на судьбу. Бледные дети воздуха. Соперники света и духоты

Пахарь Вано утолял жажду плодородного сердца.

Он искал пальцами русло ручья на своей бычьей груди. Ладонью подрагивающей прикрыл свой взор от зовущей зеленым пожаром дубравы.

Дубрава за оврагом!

Ржавым мхом бередящая душу!

Плуг ждет. Не обижай старшего брата, человече!

Плуг и пахарь сроднились.

Только бы не помешали смерду бродячие боги-бездельники!..

Вот найдут логовище усталого пахаря возле разбитого дуба — и погиб земледелец.

Отец зерна.

Погибла честь труженика!..

Велисцихе знает его как пахаря, кормильца людей и скота, дальнего родственника сохи, младшего брата каменного плуга, а он, как надорвавшийся от жизни, оглохший дуб, прячется от пахоты.

Погонится за ним со своими подручными псами, лающими хрипло, Дионисэ. Вся бражка бросится догонять смерда. Квириа тяжелоногий и Агуна-чудище, а за ним на копытах козлиных, с козлиными ляжками, скалящий кривые, острые зубы Панто, шмыгающий приплюснутым, широким носом, загорелый, краснорожий, хохочущий во всю глотку. Панто оглашает дубраву воем. Могут разодрать в клочья бездельника сами бездельники.

— Эй, велисцихцы! — завопят лохматые лесные боги.— Пахарь Вано вас бросил!.. Испугался пахоты. Спит в дубраве. Зарылся с головой в листву, мать шорохов.

Надоело несчастному хлебопашество! Кидайте в него комья грязи! Подняли, согнали, как зверя, загнали сворой озверелых псов. Высоко вскидывая ступни, бежал от собак очумелых, от свистящих, улюлюкающих мальчишек.

Ископытил, раздавил дорогу своими ножищами беглец, и нигде нет ему спасения, никто не распахнет ворота. Вот на одного буйвола Або надежда, впрягал его пахарь в плуг, дружил с ним, вместе по-черному трудились, сгорая потом и солью. Буйвол взглянет на озверелых крестьян с тупой укоризной. Спасет смерда загнанного от толпы разъяренных богов и мужланов. Укроет буйвол пахаря своим черным, как ночь, и тяжелым, как гора, телом. Многопудовым телом, обросшим крепкой шерстью.

— К земле! Иди к земле! — орали в лицо пахарю разгневанные босые мальчишки.— К плугу!..

Вано, растерявшись, оглушенный, звал на помощь родовой дуб трех тысячелетий. Дуб седел верхушкой над темнеющим вдали враждебным гомборским лесом.

— Иди к плугу! — стонал дуб.

Вано брел к полю, отбиваясь от все реже наседающих пастушеских собак.

Вот он упал разгоряченным, страшным лицом в конскую траву. Дышал сухим лошадиным навозом, сморщенным от жары. Старый, задыхающийся пес-мцеварни большими, умирающими прыжками хотел догнать смерда

Голод давно изнурил пса. Сделал его тенью собаки. Тень пса молила пахаря о хлебе. Дряхлый зверь просил милостыню на Старой дороге. Лежал, выставив перед собой слабые лапы с тупыми когтями. Пес остановился, завыл хрипло, безголосо. Остывала в груди кровь.

— Ты гнался за мной, чтоб загрызть, а сейчас просишь хлеба? — усмехнулся Вано.

Широкие, в черных буграх руки пахаря похолодели.

Не бросай нас! — поблескивал взор собаки.— Мы погибнем от голода. Дай хлеба!

Рваные карманы пахаря пусты. Пес выждал, а потом глаза его поблекли равнодушно. Пес сжался, опустил морду на дорогу, нюхал ее, жалко, старчески скуля.

— Мои руки дышат черствой землей, а не хлебом! — дрогнул Вано серыми от пыли ресницами.

Пес мотал мохнатой большой головой.

— Пес! Мцеварни! Приди, когда мертвое поле родит пшеницу!

Пахарь, опустив руки, разглядывал землю. Комья сухой земли потрескались.

Жара вставала. Пахарь опоздал.

Нагрелся торчащий из земли не выкорчеванный отросток корня.

— Я забыл свой голод! — вспомнил Вано.— Целый год не ел. Хотя о каком голоде речь? — Мужлан-смерд усмехнулся. Мог ли думать о голоде холм, дуб или подъяремный, выдохшийся вол? Холмы и животные жили медленно, не дыша. Стонали каждый в одиночку, неслышно.

А плакать никогда не могли. Пахарь Вано молчал. Снова остыл лоб в холодной испарине. Вытер краем холщовой рубахи.

Вано брел заброшенным, забытым полем. Перепелки прыгали поблизости, возились, замирая в душных, нагретых зарослях. Охотник подстрелил одну птицу, другие в суете разбежались, а глаза их сияли наивным восторгом и неистребимой радостью. Их не напугал выстрел.

Перепелок не опечалила ранняя смерть собрата. Теплый запах безобидной крови слегка возбудил птиц. В пахучей, безжалостной траве валялась коричнево-серая перепелка. На маленьком одиноком теле расплылось пятно. Пахло кровавой сжатой рожью.

Немая тишина. Перепелка валялась, ощерившись грудкой. Пылью чернели вздрогнувшие безобидные перья. Она дышала. Вано коснулся босой ножищей похолодевшего комка. Пахарь отвернулся. Пустое небо, падая, хотело проглотить пахаря. Шуршали сухие, умирающие листья дуба.

— Может, пойти мне в лес-великан и поговорить с дубом?!

О чем?.. О своей судьбе? О плуге? О гибели перепелки?..

Три дня пути к дубу обернутся тридцатью годами. И окажется, что Вано кружил вокруг здоровенного ствола, не приблизившись к патриарху леса ни на шаг. Загубить свою жизнь на встрече с великаном леса? Холмы и небо, убитые быки исповедовались дубу, а почему же он, пахарь и труженик, не может добиться дружбы седого, крылатого хозяина?!.. Страшен и далек путь. Мертвые камни и пни будут бросаться под ноги. Каждый шаг — мука! А ведь как хочется провести хотя бы одну ночь у корней дуба! Выплакать там огромную обиду, давящую на грудь. Убитый бык мог жаловаться седому великану на судьбу, а пахарь Вано страшился идти в чащу.

— Кровью изойдешь! Ноги-руки обломаешь, а к дубу не подойдешь! — говорил один старый крестьянин пахарю.— Свинья под дубом давно поселилась. Землю с желудями роет, к корням подбирается!..

— Свинья есть свинья! — отвечает Вано, роняя пьяную нечесаную голову на грудь в седых завитках шерсти. С утра горемыка принял оглушающей даже барана стакан водки из овса.

Он весь исходил смехом, упал в канаву, дрыгая босыми, в коросте грязи ножищами. И смеялся до слез. До слепящей боли в опустелых глазах.

Потом Вано слегка протрезвел. Вано стоял на коленях посередине поля. Не вспаханная, в буграх земля чернела в зрачках. Пахарь с темным, как от побоев, лицом, словно захваченный в плен, не мог глядеть на встающий огонь полдня. Надо бы просить прощения у плуга за лень и малодушное пьянство. Вано хотел улыбнуться, но жалкая гримаса обезобразила его опухшее лицо. Пыль дрожала на бурых щеках. Щеки ввалились. Он снова обратился к полю:

— Где прячется вода? — Пахарь знал, что в толще земной дышала одна соленая капля его пота. Земледелец свалился на колени и замер. Поморщился. Коснулся широкой кистью руки своего взмокшего, бледного лица. Замер платан на краю поля. Ни одного вздоха ветра.

Плуг одиноко каменел у самой кромки.

— Я хочу пить! — глухо выкрикнул Вано слепому червю.

— Я тоже. Жажда мучает! — отозвался червь.

— Время — это змея! — бормотал пахарь.— Время — медлящая змея!

Пахарь полз за червем. Искал с ним дружбы. Хотел жить в земле. Останавливался. Ждал. Уголья солнца, падая вниз, опаляли поле. Вано не мог укрыться в земле. Пот клочьями пены блестел на висках. Поле оставалось пока нераспаханным. Вано припоздал. Поле захвачено врасплох диким солнцем Кахетии. Древним солнцем кочевников и зверей.

Свернувшись, вязли в лощине листья орешника. Пахло пылью, жарой и голодом.

Вано полез на коленях на огромный бугор. Это живот Маро, которая беременна и вот-вот родит снова Кахетию. Мать земли и человекобыков. Лицо пахаря нахмурилось в пьяной, сонной одури. Облако зацепило легкой тенью край листвы орешника и поплыло дальше над ржавым, заброшенным полем. Чужими, воспаленными глазами Вано следил за умирающим облаком. Луч солнца поджег остывшее, напуганное небо. Далеко, на деревне, мычала от одиночества корова.

Червь и пахарь ползли полем. Сожженная тень солнца пряталась от них.

Оба упорно искали каплю воды.

Соль!

Хоть язык шершавый смочить. Язык Вано разбух и отяжелел во рту.

— Я убью червя! — захрипел Вано.— Вдвоем нам не напиться!

Блеснула капля дождя в пыли. Погасла снова.

Вано с изнемогающим стоном бросился лицом в лужицу. Жаркий, иссохший его рот захлебнулся. И все глотал, глотал мерзкую, безвкусную соль.

— Ты раб! — поморщился червь.

Слепой, он видел и слышал. Потрескавшиеся губы Вано дышали соленой влагой.

— Сейчас он выпьет бедную лужу до дна! — Червь сжался.

Вано начало рвать. Неистовые от жара глаза помутнели. Его рвало желчью. Червь шевельнулся.

— Всю жизнь червь ползет к воде? — удивился побледневший, ослабший Вано.

Вано полз в поисках воды с утра до полудня, а для червя это жизнь одного поколения!.. Зеленая полоска воды умирала на солнце.

Скорей пейте, люди и животные! Вода испарялась.

— Поле простит мою лень! — нахмурил лоб пахарь.— Поле разверзлось и отдало нам каплю пота. Эй, червь! Пей и ты!

Вано толкнул пальцем червя к луже.

— Пей! — выдохнул Вано.

Червь сжался, упал в лужицу и пил жадно всем телом. Маленькое, в земном прахе тело его нервно сжималось. Слепые глаза червя засорены вытекшей кровью. Глаза червя исстрадались. Вода умирала. Червь успел напиться. Пахарь слышал в теле червя гул земли.

Гудела и грудь пахаря. Он замер.

Кто я? — в полудреме думал он.— Что за животное из праха?

— Эй, пахарь Вано! — звал лес. — Где ты?..

Вано любил гомборский лес. Земля в лесу перемешана с черными, гниющими листьями. В ней тощают желуди. Вано, бывало, ходил в лес загребать крепкими ладонями и эту землю, которая дышала в его лицо сыростью, перегноем, холодом, влагой. С этой темной, кисловатой на вкус землей можно было даже подружиться, еще все впереди. Но надо пахать эту землю, выкорчевать пни и кустарники. А просто быть с ней опасно. Лес загубит Вано, превратит его в пень. В умирающий колючий куст. Хищником он станет, покроется серой корой, отрастит когти. А потом погибнет. Новорожденный хищник погрязнет в лесных распрях. Волчица разорвет его молодыми зубами. Надо просить небо превратить Вано в холм. Холм должен отвоевать у неба пространство.

— Оставайся пахарем поля! — гудел дуб.— Возделывай!

— Да! Останусь! — обрадовался Вано.— Ведь пахотная земля рождена из моей груди.

Он орошал ее потом и кровью. Слышал в ней, распаханной и жирной, свой усталый, надорванный голос. Он отдал плугу и полю жизнь.

— Что я за животное? — тягостно кричал он, и желваками набухло лицо.

Отчаяние давило на грудь. Вано слышал гул в своем медвежьем, неповоротливом теле. Усталость сдавила ноги, он снова опускался на борозду, упирался в нее лбом. Он презирал себя и свою черную работу.

— Что ж, я мужлан неотесанный, грубый! — Холодная жила напряглась на груди.

Люди деревни возились с виноградниками, они не желали отдаваться пахоте, трудиться на черствой, упрямой земле, родящей хлеб, просо, рожь, овес. Труд виноградаря тяжел, но благороден. За лето кахетинский виноградарь три тысячи раз подходит к лозе, ухаживая за ней. Недаром каждой осенью перед смертью, перед срезом, кисти, налитые соком, плакали выступившими на грозди сладкими, прощальными слезами.

Прощалась с виноградарем гроздь винограда. Горечь томила запекшийся от боли рот кахетинского крестьянина.

Крестьяне выращивали виноград, а Вано боролся с землей. От его широкой, волосатой груди несло обнаженной землей народа.

Всюду за ним тащился этот пропахший дымом приречных кострищ запах бездны и комьев поля. Вано иногда брел в сумерках в корчму.

Крестьяне хитро поглядывали в его темнеющее буграми лицо.

— Вот и поле к нам на выпивку пожаловало! — усмехались в рыжеющие, прокуренные усы крестьяне и отодвигались, освобождая ему место за гладким, широким дубовым столом.

Вано-пахарь присаживался, придавливая задом погнувшуюся под грузными кахетинскими крестьянами лавку, ставил на стол широко разведенные, тяжелые локти, упираясь ими, и, хмурясь, собирая в глубокую складку переносицу, пил вместе со всеми задумчиво светло-зеленое холодное вино из глиняной чашки, мочил в ней широкие, обидой вздрагивающие губы.

Вино, сроднясь с огромным ртом, вдруг начинало источать дыхание просторов и полей, с которыми пахарь денно и нощно боролся.

Вано пил и, хмелея, исторгал из гортани чад земли, ее ненасытную, оголтелую жадность. Крестьяне на лавке переглядывались с тихими усмешками, отодвигались от него. Крестьяне побаивались, что древняя, разрезанная плугом Вано земля хочет удобрить себя ими, их костьми, чтоб дать зеленеющие, сочные всходы. Заколоситься золотой, молочной пылью спелости. Пахарь, не обижаясь на односельчан, мрачнел, ни на кого не глядя, все тянул вино недолгого забвения из отжатого в огромную бочку урожая. Урожай этот одарил своим дыханием бочку. Щедро насыщал сердце усталого крестьянина.

Вано налег грудью на деревянные доски грубого стола. Он забывал про людей, своих односельчан. Он для них чужой.

— Берите пшено и уходите с поля! — говорил он им осенью. После уборки.

Пахарь не хотел гулять вместе со всеми на осенних праздниках. За ним гнали подпаска, но он упорно не шел. Отворачивался от подпаска. Потом, завернувшись в полушубок овечий, ложился на голую, выжатую, все отдавшую крестьянам землю. Земля отдала им свою душу.

Что я за животное? — неотступно ломило лоб.

Пахарь Вано сидел, сгорбившись, в корчме, оглушенный говором и шумом. В желтом, одуряющем, тягостном дыму табака, со страхом ощупывал свои крепкие руки, широкую грудь.

— Я человек? — недоумевал он.— Я червь?

Не на шутку пугался он себя на пахоте. Рот забит прахом. Ноздри задыхаются. Пахаря самого мутило от первобытного запаха земли, которую он обрабатывал. Колени подрагивали, ноги подкашивались.

Спина стонала. Плуг отваливал глубокие пласты. Вано шел за плугом и буйволом. Это было пахтанье. Взбивка масла жизни. Жизни общины и кахетинского рода. Плуг тоже устрашен, страх Вано передавался и ему.

Пахарь не ходил на праздник осенних виноградарей. Земля осенью дышала остывающей кровью.

Отдавшее урожай поле кровоточило. Пусть же поле заберет навсегда велисцихского земледельца. Кости его и череп безглазый. Пусть сожрет хозяина. Не бойся, Вано! Стань землей и сам ешь кахетинцев-братьев!

— Не хочу есть людей! — Тяжелели веки. Бормотал про себя эти слова.

В корчме шумно. Пьяные возгласы. Шум. Пение бедной дудки.

— Эй! — кричал Вано содержателю винной лавки.— Ты подмешал в вино землю. Хочешь, чтоб лопнули у мужланов наших животы?

— Сам наедаешься полем? — с угрозой надвинулся корчмарь.— Пастухи видали.

Вано опрокинул на себя чашку с вином. Встал. Исподлобья глядел на сбившихся в кучу нетрезвых крестьян, размахивающих кулаками.

— Эх, с вами и водиться скверно!

Он один боролся с полем, как общинный бык, напрягаясь всеми жилами. Он уходил. Гордый. Всегда одинокий смерд. Земля с его помощью рожала зерно. Осень шуршала пожухлыми листьями. Пустым и пыльным казалось небо. Слабыми голосами перекликались отяжелевшие виноградники.

Еще без гроздей, но уже тяжелые думой о гибели. Скоро всхлипнет под блеснувшим крестьянским ножом гроздь. Поле рожало людей и хлебные колосья. Земля беременела. В животе ее томился бык. Жаркие испарения соли стояли над пустырем. Пахарь сам родит колос. Пустые глазницы черепа зеленели свежими всходами.

Это кровь Кахетии! — подумал Вано.

А давно ли, ранней весной, молодой Вано срывал с себя одежду и голым великаном бросался на грудь поля, пьянея от сладко пахнущей, черноземной близости. Крестьяне погибнут без Вано. Вано станет отцом зерна.

Эх, здоровяк, а дурачина! Тогда, парнем, он, подвыпив, шлялся по деревне, неся на плече плуг. Шатался из стороны в сторону, и люди выли, чтоб он не раздавил скотину или чье-нибудь жилище. Еще убьет кого плугом, экий дурень!.. Каких только богатырей и чудаков не родит Кахетия!

Вспахав землю как жену, мокрый от черного пота, он хвастал перед народом:

— Я — отец зерна!

Крестьяне чесали в затылках, посмеивались, но никто не шел к пахарю на подмогу в его нечеловеческой битве за колос пшеничный.

Даже бог Дионисэ с зелеными, свежими глазами, печалью отравленными.

Пусть сам Вано задыхается в кровавой пене искричавшимся, охриплым ртом. Один на один шел Вано на пахоту. Даже плуг и буйвол страшились его. Это подвиг. Он сеял, разрывал землю и бросал в нее горстями зерно. А потом, в сумерки, валился без сил где-нибудь на полпути к Велисцихе. Вано должен побеждать. Каждой весной.

Каждый год, чтоб не погибла от голода родная деревня, презирающая его низкий, черный труд. Вано сам воевал. Даже харкая кровью, он не подпустит никого из велисцихцев к каменному плугу. Еще бы! Родовое ремесло предков. Плуг кормил их до самой могилы. Плуг рыл могилу пахарю.

Накануне весеннего выхода в поле всей деревней народ сторожил его, подглядывал за ним из бойниц каменных жилищ, землянок, из-за заборов садов, чтоб он не сбежал от неимоверного труда. Выйти голым к голому материнскому полю чудилось ему срамом. Но он не мог бросить деревню Велисцихе лицом к лицу с голодом. Он еле дышал, задыхался, ходил по тесным улицам деревни как полоумный, никого не замечая.

Собаки шарахались от него. С кудахтаньем разбегались куры. Пятились козлы. Ямы на широком грязном лице пахаря.

Здоровенные руки его дрожали, он прятал их от народа. Крестьяне беспощадны. Они не дадут сбежать. Оставить их одних умирать от голода.

Одним виноградом ведь сыт не будешь!..

Провалились глаза Вано. Чернели впадины подглазий. По щетине постаревших щек катился липкий пот. Ворот холщовой рубахи разорван.

Босые ноги в ссадинах кровоточат. Даже плотник Тархнишвили не глядел на него из мутного окошка своего сарая. Хмурясь, отворачивался, стругал доску.

Где-то в пыли, возле пустой дороги сидела с камнем в поднятой руке Эка.

— Хочешь, я рожу тебе зерно? — ошалело, шатаясь как пьяный, выл Вано.

— Не надо зерна,— шептала она, нищенски протягивая руки.— Роди сына!

Пахло под солнцем пылью, бурьяном жарким. Коркой сухого хлеба, что ждала неба в земле. Солнце-овца горело над понурой головой пахаря.

Тень очумелого от одиночества солнца лизала мягким языком придорожные кусты. Петух несся прочь с дороги с горловым криком.

Ужас и солнце терзали петуха. Черным углем дымился хвост. Вано, бездомный и помраченный рассудком бродяга, чудился ему одичавшим петушиным богом. Исчадием неба. Красным гребнем пожара.

Озарились голубым блеском сады. Старухи шептались хрипло, глядя в спину спотыкающегося на каждом шагу мужлана.

— Проспал пахоту,— ругались они вслед.

— Я пьян воздухом! — сдавил виски пахарь.

Вано брел вдоль пробуждающейся Алазанской долины. Тысячью лазоревых голосов пела она. Древним многоголосым гимном встречала она земледельца-богатыря. Кряжистое тело Вано гудело.

— Кто я, человек или холм?

Пахарь столкнулся с горой. Это буйвол Або недвижно лежал у брошенного смердом поля. Буйвол ждал пахаря. Его избил палкой голодный погонщик Ашот.

— Плуг мой!

Вано страшился, что плуг родит не только жизнь, но и смерть.

Плуг — древнее орудие смерти.

Взрезая живот матери ножом, он убивает ее.

А потом зеленеет росток.

Плотник Тархнишвили стучал в сарае молотком, сколачивая родовой гроб. Хотел переплыть с женой Маро реку вечности.

— Эй! Тархнишвили! Плотник! Меня с собой возьмешь?

Глаза ослепли. Ничего не видел земледелец.

— Не бросай меня одного! Или я разобью плугом гроб!

Застонало поле под ударами босых ног. Вано бежал. Спасался.

Ему примечталась пшеница. Он дышал золотящейся пылью пшеницы. Пышные колосья искололи его жаркие, потные виски. Он бежал через смерть, утопая в хлебах.

Плуг ждал.

— Гроб полон мертвых колосьев! — застонал пахарь.

Малодушием детским кривился рот.

— Кто ж мне мать и отец? Чей я?..

Пелена легла на слезящиеся глаза.

— Сам я отец зерна! Эй, вы! Люди!.. Я всеми отверженный пахарь!

Рассерженный птичий свист продрался через ожидающее нож поле.

Не медли, Вано! Не погуби урожай!

Желтела хмарь душного неба. В пьяные, разорванные ноздри бил горький дух полыни. Земля еще не родилась, а полынь давно неистовствует. Пахарь не мог разогнуться. Дубом ныла спина. Стерты в черную кровь босые ножищи.

— Кланяйтесь козлу, крестьяне! — вопил из чащи серого леса козлоногий, козлобородый Панто.

Пахарь упал ладонями на землю. Горло его сделалось огромным.

Задыхалось. Пахарь Вано страшился плуга. Подняв плуг над собой, он раздавит свое тело. Буйвол понуро ждал. Вано мерещилось, что с буйвола живьем содрана кожа. Вано закрывался руками.

— Кто я?.. Зачем боги родили плуг?

Вано лежал на голодной, ненавистной земле. Сердце разваливалось.

— Встань! — выругался старик.

Это плотник, хромая, дотащился сюда с посохом. Вано поднялся и оттолкнул старейшину пятерней.

Отпихнул старика с морщинистым лицом, отшвырнул, как пустой мешок с горстью мякины из прошлых урожаев.

— Я один! — хрипел Вано.

И медленно, раскачиваясь валко, двинулся за тяжко стронутым с места плугом. Буйвол Або тянул плуг. А казалось пахарю, что червь это, старый дружище. Тень птицы угасла. Суше сделался воздух. Но влажная хмарь еще не рассеялась.

Гроб плотника слышал, как стонал плуг, истязая землю.

Гроб настороженно вслушивался в сдавленный плач взмыленной земли.

Но молчал родовой недостроенный гроб. Страшился вмешиваться в убийство. Стоял гроб недвижим в сарае Тархнишвили-первочеловека, вздыбленный.

Солнце дымило в нагретых ощеренных кустах. Вано шел полем.

Солнце царапало напуганный зрачок снижающейся в полете птицы.

Птица свирепо метнулась в сторону. Плуг ножом резал живот матери.

Маро пряталась в роще неподалеку. Среди чинар.

Эй, Вано! Не щади мать!

Лицо матери почернело. Буйвол и человек молчали.

Стыд терзал их. Кровь на животе матери. Пахота. А потом еще будет сев. Земля, крепкая на ощупь, застонала от боли.

Буйвол Або молча ждал. Идти дальше или не надо? Взор буйвола-исполина темнел безразличием. Женщина сама привела тягловую скотину, своего бывшего мужа, в помощь плугарю. Беременная, она стонала у кромки распаханного поля. Женщина с печальными глазами коровы.

Старый плотник остывшим голосом звал жену домой. Ночь вот-вот задымится. Маро не шла. Не слышала плотника. Она молчала.

Это были ложные роды. Женщина беременела, чтобы ободрить пахаря.

Не сдавайся, земледелец! Я — мать! Я рожу тебе сына! Ты — отец зерна!

Женщина орошала стоном пахоту, землю. Чтоб снова и снова рожать.

Она рожала в кровавой муке обреченного на одинокую смерть единственного любимого сына Иштара.

Несчастное от срама, распаханное поле отодвигалось от Вано. Вано шел за плугом зажмурившись и пел долгую, заунывную песню пахаря.

— А ну, давай! — кричал он буйволу.

Плуг проснулся и застонал.

Плуг убивал землю.

Поле жаждало оставаться диким, запущенным пустырем.

Пахарь думал, что понуро идет за гробом в нижний мир Джоджохети.

Чудовищный рев матери разбивался о холодный лоб буйвола с рогами-кинжалами. Пахарь уперся ножищами босыми в землю.

Солнце и земля сражались.

— Кто родил зерно? — кричал пахарь.

Маро со вздувшимся животом ползла по пахоте как слепая рыба...

Жабры ее задыхались. Беременная женщина корчилась в судорогах.

Рот набух черной кровью.

— Я рыба земли! — плакала она.— Помоги мне, пахарь!

Она ела землю. Она смотрела на буйвола распухшими глазами зверя.

— Я Мать Кахетии! — вырвался чудовищный стон из горла Маро.

Вано боялся глядеть на мать. Женщина, умирая, рожала человекобыка.

Тень смерти дышала во взоре буйвола. Грязное лицо пахаря вспотело.

Пахарь стоял спиной к израненному ножом полю.

— Кто я? — орал он.— Чудовище?

Загривок пахаря напрягся. Кровь чернела в глазах.

С бычьим усилием, харкая кровью, упершись босыми ножищами, с ревом Вано поднимал поле, а потом, шатаясь, понес его на придавленных неимоверной тяжестью плечах в сторону Велисцихе.

## ВАКХАНАЛИЯ МАРТА В ДЕРЕВНЕ

Агуна — замерзший, несчастный бог-бродяга. Бог-попрошайка.

Кто из кахетинцев о нем не слышал? Кто с ним не дрался шутя?..

Испитой, бледный, голодный. Прыщавые щеки. Ходит по дворам, нанимается пугалом. Подадут ему стакан вина — костлявое лицо озарится.

За кусок хлеба черствого и картофелину бездомный божок выстаивал под палящим солнцем и под зеленым ливнем. Отмахнется от прожорливых воровatых птиц и снова с унылым видом разведет в стороны изломанные ветром руки. Его долговязая, нелепая и безобразная фигура отпугивает всех птиц Кахетии и грызунов.

Агуна замирал в поле хлебном, уронив вдоль туловища длинные, холодные руки, опуская конское продолговатое лицо с запавшими, мертвеющими глазами. Пугало не слышало, что творится в его одичалом сердце.

Сердце вяло кружилось. Ветер кружил его листком сорванным.

Агуна — вестник марта!.. Бродячие боги всегда высылали его вперед.

Кахетия ждала. Алазанская долина кое-где синела рыхлым, сыроватым снегом.

Слабо поблескивая, снова тонуло в холодной мгле напуганное козье солнце. С первым шажком марта в Велисцихе появляется сутулый Агуна. Друг наш и забавник замерзший! Рановато в эту весну на весь сезон решил он предложить тело свое для полей, огородов и садов. Эх, всеми осмеянный виноградный божок и бродяга. Костлявая рожа.

Собаки погнались за оборванцем. Позади божка скрип колес.

Не к добру ранний Агуна! — подумал аробщик Ило.

Пахло кислым хлебом из его дорожной сумки. Синел вдали мокрый лес. Окутанный лиловым туманом, курился верхушками деревьев лес.

Дионисэ сам прогнал из леса Агуну на встречу с деревней Велисцихе.

— Иди, Агуна! Давай, пугало! А мы с Панто и Квириа посидим пока, обогреемся в придорожной грязной столовой!

— Это хашная! — облизнулся Панто-козлоногий с жалкой, вылинявшей шерстью на груди и ляжках.

— Горячего варева наедимся! Запьем водкой! Ах!

— Заведует хашной ворюга какой-нибудь,— усмехнулся Дионисэ.

— Надо думать,— кивнул широкомордый Панто, затряс торчащей бородой-мочалкой.

— Айда, братцы, погреемся в дымной развалюхе,— повторил Дионисэ.

— Ступай, Агуна! Чего жмешься? — хмуро поддакнул Квириа.— Пока мы придем в деревню, ты разбудишь народ от зимней спячки. Только не пей до нашего прихода. Слышишь? А то знаем тебя, морду костлявую!

Агуна возмущенно прижал к груди тощие руки, затрясся.

— Вот и иди! — толкнул его в худое плечо Дионисэ.— А то опять проспишь солнце бычье, притащишься в село не богом, а нищим, побирушкой. Подсобачником!

— Канавщиком с грязной рожей,— взвизгнул радостно Панто.— А потом устроишь свалку, кучу малу, чехарду! Оставишь за собой грязь и срам.

— Ругайтесь,— поджал тонкие губы Агуна, пугало в рваной шляпе, нахлобученной на маленькую головку. Колпак дырявый без верха, зияющий.— Мне одному через черный, мокрый лес ломиться, а вы, сволочи, в дымной, закопченной хашной горячей похлебкой из требухи станете объедаться! А может, и я хочу требухи, а? Хочу чачей крепкой вареные кишки коровьи запивать, а? Обжиралы и объедалы!

И обиженно зашмыгав носом сопливым, отвернулся от компании спиной сгорбленной и поплелся через лес к дороге. Буковые заросли встретили его недружелюбно. Хмурым, непричесанным и голым был мартовский наш лес. Стоял как большая, голодная и обнищалая семья.

Вздрогнул Агуна. Что это? Немой хор мокрого леса? Выбегали к бродяге замерзшему тонкие деревца, стыдливо улыбаясь. Деревца заглядывали в его голодное лицо, заигрывая. Агуна хмуро отворачивался. «Вот свистну вашего деда-великана! Всыпет вам седокрылый хозяин!»

Деревья стояли полукругом обнаженными, худенькими девушками.

Стена леса настороженно прислушивалась к каждому шажку бродяги.

Слышал лес от седого дуба, что даже один человек опасен.

Не даст пощады вековому хору зеленых листьев! Рыхлый, скучный снег еще не стаял. Поляна белела мокрым ковром. Лезла из-под ног мерзлая земля с поблескивающей на мокрых прошлогодних листьях каплей загорающегося солнца.

Льдинки таяли на сучках. Буковый умирающий лес молча раздвигался. Давал дорогу бродяге. Бродяга съехал вниз, к овражку с талой водой.

Кривое, чужое всем деревце тронулось было за ним к этой мутной, ручьями растекшейся, зовущей путника воде. Лес не жаловался на судьбу. Вон и синеющие ловкие следы пробежавшей по поляне лисицы с выгоревшим, ободранным хвостом. Из норы в нору перебежала Агуна. Жмурясь, взглянул на дальний

косогор, захваченный туманом. Жалел он когда-то непроходимый лес. Гомборский лес жил вместе с близкими и дальними родственниками. С рощами и дубравами. Изголодалась рыжая, юркая лиса. Нюхала дышащий умирающим снегом лес. Томил хвостатую пахучий, теплый дух разбегавшихся в подорожнике глуповатых дроздов. Яростью голода блеснул брусничный глаз рыжей. Несоленого пока птичьего мяса хотелось лисице гомборского леса. Она ведь законная жительница чащи. Махнув обнищалым хвостом, скрылась она в ельнике.

Одинокий чужой лес рыжел на горе, забрызганной каплями вялого солнца. Толпа буков молчала. Агуна спускался по склону. Разглядел за волчьими кустами стылую даль. Под ногами шуршала скользкая листва. Волны чужого леса валились на голову Агуны смолистым, дегтярным стоном.

Щеки посвежели. Агуна знал, что бодрит его душу запах раннего марта, ночного снега. Ведь Агуна сам — хозяин марта. Сизая чаща тянула едкой, выедающей взор гарью. На сердце становилось печально. Чуть было не провалился бездомный в яму с водой.

Через три дня и ночи Агуна вышел на дорогу где-то возле Велисцихе. В сумерки разглядели его дети.

— Агуна пришел! Агуна! — радостно неслись к нему мальчишки и девчонки.

Сторожевые псы, осатанев от лая, рвали штаны долговязого, тощего пугала.

— Агуна! — неслось эхом по деревне.— Весна!..

— Привет вам, крестьяне-смерды, от Дионисэ! — отбивался от собак гость.

Велисцихцы окружили голодного, тщедушного бога. Утром молодое солнце рысью продерется через щетинистый лес. Стояли люди молча, а посередине чесал голову бродяга. В разодранной собаками в клочья мешковине. Псы рычали, огрызались, крестьяне отгоняли их камнями. Вот Агуна уже раскачивается чучелом на одной ноге, другую поджал в коленке. Готов наниматься чучелом! А ну, на чье поле идти? Подайте хлеба. Накормите!

По меду изголодавшееся солнце дурманом низко плыло над деревней, задевая огороды и заглохшие сады. Умирающий снег слегка пьянил велисцихцев, кружил головы. Мельник Тевдоре, плут и мошенник, с шевелюрой в мучной пыли, мрачно отворачивается от пришельца всей приземистой фигурой. Чего доброго, еще скажет своему хозяину Дионисэ этот бродяга: вот, мол, плут! мельник, хапуга и жулик! Хватайте его и бейте! Гляньте, люди, серое лицо его нечисто, наворовал чужой муки, землицу в нее подмешивает, втридорога продает, народ дурачит, чего с прохвостом делать будем, а? Хватайте его, смерды-глехи, волоком к оврагу! Пусть повисит на осине вниз головой, вражина!..

На сиротском хлебушке руки нагрел, пес! Мешками в подвал таскал, спекулировал. Подкулачник. Прихвостень мироедов здешних. Набил амбар награбленной у народа мукой.

Народ, нанимайте! Я, Агуна, недорого с вас возьму! Вот вам и пугало за одну собачью похлебку.

Крестьяне помалкивали. Побаивались они посланца большого бога. Чего доброго, донесет ему про их нерадивость и лень.

Смотрите, велисцихцы! Дотащился-таки до нашей деревни, добрался, не задушил его мрачный лес своими лапами, не растерзали тощее тело голодные волки, не задрал бурый медведь. А мог ведь пропасть, заблудиться, сойти с ума от ущербной луны. Зверюга он!

Вся их бражка — звериные боги!..

Притворялся подслеповатым и беспомощным, бродяга, даже на помощь капитана-исправника Абесалома звал.

— Люди, отодвиньтесь! — прорычал капитан с неумытым лицом, Абесалом.

Про себя же подумал: Все равно я сожру тебя когда-нибудь! Явился ко мне без подношения и куша! — капитан блеснул глазом. Капитан сам тощий, если даром не жрал и не пил, навалится на другого тощего и проглотит его вместе с костьми. Прожорлив велисцихский капитан порядка, влезет в чужой огород, воровал он картошку и капусту, огурцы и лук, ел лук торопливо, слезясь страшными глазами, ел, весь измазавшись в земле. Мог даже влезть через окошко на чужую кухню и стащить прямо с огня жаркое. Сапоги капитана Абесалома дырявые. Новенькие, выданные на складе Свободной Телавской Тюрьмы, продал на гурджаанском базаре.

Хмурит низкий лоб капитан, не может содрать штраф с Агуны, побаивается его бездомных дружков, что вот-вот на деревню нагрянут.

Лица крестьян грубые. Молчат велисцихцы. Холодная весна утром подует на деревню, остудит их кости. Обогреет сердца голодные.

Весна! Девушка-подросток. В рваном, измазанном влажной глиной и песком платьице. Шла издалека. Без нее погибнет урожай, не родится. Как-то она решила обойти Велисцихе, не заходить к ним, нерадивым и жадным. Крестьяне перепугались, догнали.

— Уходит! — раздался отчаянный вопль.

Уговорили девушку, скрутили ей тонкие руки.

Догнали беглянку пахарь Вано и хулиган, драчун Лококина-Улитка возле самого оврага.

— Эй, люди! Велисцихцы! Давайте оседлаем, как раньше, свиней.

Устроим гонки на свиньях, выгнанных Нодаром Шашвидзе из храма Алаверди!.. Согласны? Повеселимся малость, очухаемся от серой, зимней спячки-дремы, а?

Встряхнемся перед тяжкими полевыми работами?..

Народ одобрительно зашумел. Свинопас Геронтий пытался было угомонить и отговорить крестьян, кричащую ораву, сверкающую глазами, злыми и возбужденными, мужчин и женщин, детей и стариков, но те и слышать не желали!

— Айда! Вперед! Молодчина Агуна!

— Люди! — надрывался Геронтий.

Куда там!.. Погнался весь велисцихский народ с визгами и ревом за бросившимся врассыпную хрюкающим, перепуганным стадом.

Догоняли свиней, ловили, хватали, оседлывали. Смеясь и ругаясь. Ехали и носились. Кто на хряке. Кто на борове. Кто на задыхающейся жиром, щетинистой свинье-развалюхе.

— Ай!

— Авоэ!

— Воэ!..

— Эх, погоняй!

— Эхма!

— Тпрууу!

— Эй! Эй! Гей!

— А ну погоняй!

— Догоняй!

Глянь-ка! Кеония очумелая, мать семи дочерей, жена Хачатура, Подавальщика Ножа, и любовница Бнело-Темного, цирюльника и брадобрея, оседлала громадного хряка с клыками и несется.

Кто хочет победить зиму?!.. Уничтожить смерть?..

Трижды надо объехать на животном Велисцихе, а в награду петух, сидящий на высоком шесте, с которым несется впереди всех, высоко задирая тощие ноги, пересмешник Агуна.

Петух мечется на шесте привязанный, хлопает крыльями, орет.

Даже солнце велисцихское, захваченное сопением, и гвалтом, и борьбой, кинулось в бега.

Солнце жаждет полакомиться красным, обгорелым и опаленным ветром петухом, горланящим на весь Гурджаанский район.

Столпотворение!..

Визг, крики, смех, плач.

Мычанье, ржанье, истошные вопли.

Ржали лошади. Мычат удивленные коровы. Мечутся быки. Кудахчут в смерть перепуганные, в толк ничего не берущие куры, слетевшие с высокого насеста. Брыкаются ослы, блеют овцы, бодаются злые, вонючие козлы.

— Козлы!!! — обзывает толпу, за ним бегущую, Агуна.

Даже каменная рыба исполинская, что лечила раны от ржавых крючьев рыбаков, заблестела чешуей. А сестра ее младшая, задыхающаяся в холодной Алазани, всплывала к солнцу, косясь ошарашенным глазом.

— Весна идет! Авоэ! Эй! Авоэ!

Кричат женщины с развевающимися позади, как хвосты конские, волосами.

Глаза женщин распухли и покраснели от ветра. Велисцихцы начинают новый круг сельской жизни. Агуна бежал впереди хриплой орды, скачущей на очумелых

свиньях. На плече волочит шест с дрыгающим когтями, полузадохшимся петухом, теряющим яркие перья.

Каждый год велисцихцы совершали это бегство от себя, от своей судьбы и хозяйства, от тяжкого труда. Кто на гусе! Кто на свинье! Кто на козе!

— А ну-ка! — орал Агуна.— Люди! Обгоним солнце, хрипящее кровью!

Солнце с петушиными умирающими крыльями! Эвоэ!..

— Слава весне! — гремело по лугам и холмам.

Упал, потеряв посох, свинопас Геронтий. Чуть не затоптали.

Даже плотник Тархнишвили, прихрамывая, пытался догнать взмыленную, задыхающуюся толпу.

Сморщенные руки старух, которыми они перебирали на чердаках яблоки, замирали. Мироедов вытаскивали из конторы, лупили, дубасили.

Эй! Все живые и мертвые!

Скотоводы и земледельцы! Рабы и мироеды!

Все впрягайтесь в круг в погоне за весной!

Гудели котлы, висящие на дубах. Кузнец, замахиваясь молотом, колотил в било. Стон гудел над Кахетией. Ныла волынка. Пели дудки бедняков.

Холмы, рощи и леса кружились вместе с ликующей деревней.

Ослы и коровы шарахались в стороны от несущейся толпы. Многоголосый хор несся над обезумевшей долиной. Кахетия вертелась колесом, втягивая в свой могучий круговорот крестьян-земледельцев.

Кружилась земля виноградарей гончарным кругом. Винной бочкой бытия. Дули в рог загорелые пастухи.

— Эй, кахетинцы! — завопил Агуна.— Раздевайтесь! Нагишом побежим за весной! За славой!

— Голыми встретим рождение жизни!.. Ай! Ай! Вай!

Тархнишвили на ходу, запыхавшись, рванул с себя старый ватник.

Грудь старика оказалась крепкой, железной.

Велисцихцы сбрасывали одежду, голыми братались. Старая дорога бросалась под босые ноги.

Из винных хранилищ марани дышало старое вино в кувшинах.

Огромные кувшины-исполины, ростом с гору, зарыты в землю. Кувшины слышали топот ног и тяжким, прерывистым дыханием подбадривали бегущий народ. Мятежный винный дух разливался над деревней небесным застольем. Облака подхватывали песнь. Эка нашла камни и несла их, как мертвых птенцов.

— Варится похлебка для сына! — дрожала костлявая женщина.

Руки ее взбухли волдырями. Дрогнула земля от рева буйвола Або.

Раб Картлос вместе с другими кружил вокруг деревни.

— Эй! Придержи лошадь! — кричали ему.

Картлос надеялся первым схватить Агуну с шестом и обрести свободу.

— Раб! Лови лошадь! Эй, парень!

В неистовой толпе металась сорвавшаяся с привязи чья-то лошадь, брыкалась задними копытами. Шарахалась от клубка людей, пятилась с растаращенными от страха глазами.

Лошадь несла смерть. Случайно могла убить кого-нибудь копытом. Толпа малодушно разбегалась. Несчастная лошадь скакала через ямы, овраги, кусты. Она плясала, кружила на одном месте, вставала на дыбы, ржала и неслась назад с разметавшейся рыжей гривой. Тень хищной птицы Пашкунджи напугала ее. Захрапела яростно чужая лошадь.

Желтый, сумасшедший зрачок пылал. Лошадь почуяла хищную птицу.

Пашкунджи плыла огромным облаком над полями. Несмотря на свою мощь, кровожадная птица была одинока. Народ боялся.

Наверное, из всех крестьян один Тархнишвили мог бы вступить с ней в поединок. Она ненавидела людей. Однажды кто-то разграбил гнездо Пашкунджи, разворовал детей. Одни птенцы умерли, другие превратились в крестьян. Отчаяние сделало Пашкунджи неприкаянной. Птенцов убили. Она мстила людям. Но крестьян, потомков птенцов, становилось все больше, и ненависть в душе птицы превратилась в одиночество.

Птенцы-крестьяне страшились железного клюва матери.

Горе Пашкунджи сделалось безутешным. Она не знала, кто для нее теперь люди — дети или враги. Если в нее пускали стрелы, она лишь взмахом бронзой горящего крыла умертвляла охотников. Даже солнце Кахетии страшилось редких

встреч с Пашкунджи. Птица-детоубийца. Кахетинцы гибли. Скольких она разорвала, мстя за неблагодарность.

Она рожала окровавленных птенцов из клюва. Не могла спасти их от ранней смерти. Кровь в сердце птицы темнела, остывая, Пашкунджи камнем бросалась вниз, чтоб разбить свою грудь об утес.

Но небо держало птицу, не давало смерти.

— У моих птенцов вырвали крылья! — стонала Пашкунджи.

Только лошадь не страшилась сейчас несчастной птицы. Лошадь неслась грудью на стену букового леса. Раб Картлос пытался догнать рыжую, опаленную огнем гриву. Глаза раба улыбались.

— Я буду свободным! — шептал он.

Ветер рвал и нес буковые листья. Раб, задыхаясь, ловил их руками.

Конь-солнце, кружась, уходил в небо. Выл в яме полудохлый, облезлый волк. О чем-то взволнованно шушукались зеленеющие под снегом талым травы. Голодная Алазань жадно лизала пенящийся, прибрежный ил. Реке хотелось горячего хлеба. Прачка принесла ей ломти в корзине, украла хлеб у своей отощавшей коровы.

Исхудалая корова мычала с голода в хлеву. Корова слепла.

— Верни мой хлеб! — плакала корова.

Алазань уносилась на громадные валуны.

— Хлеб! — звала слепая корова.

Но вода Алазани шипела и сердилась. Голод лишил ее рассудка.

Тархнишвили-первочеловек кричал над рекой:

— Я умираю от одиночества!

Горделивому, бойцовскому петуху стыдно. Кому он достанется?

Чьей жертвой станет? Глаз петуха — ошалелая виноградная косточка.

Захлебывалась тоской свирель козопаса.

Авоэ, петух велисцихский!

Вот оторвут твою голову с оранжевым гребнем, бросят в пыль прожорливым свиньям. Обезглавленный петух, разбрызгивая кровь, поскачет на одной шпоре по дороге, взметывая пыль. Кровинка петушья освежит щеку безумной Эки.

— Я снова рожу сына! — засмеется она.

Вот оторвут у петуха голову и отправят во мрак преисподней, а следующей весной воскреснет в поле черный петух, с черным гребнем и ночью горящим властным глазом. Кеония неслась на хряке, развевается и надувается от ветра белая ночная рубаха.

Иеремия, сторож виноградников, уселся на чужом заборе и высокомерно молчит. Он давно посыпал седую голову пеплом отчаяния и отрекся от общины. Дезертир Петрэ прятался в погребе. После войны он скитался по всему Гурджаанскому району. Народ ломился через плетни и огороды. Шел последний круг.

— Не растопчите землю! — выкрикнул пахарь Вано.

Он стоял недвижимо в поле. Поле дышало ломтем хлеба.

Камень — отец лозы!

Плотник отставал, задыхался, прихрамывал, опираясь о большое плечо Маро. Хулиган Лококина-Улитка стрелял из ружья по бросившимся врассыпную курам. Каждый выстрел разносил курицу вдребезги. Она рассыпалась. Глаза пчельника Михо блестели нектаром. Эй! Эй! Мироеды!.. Встречайте ненавистного вам Дионисэ!.. Нанимайте батраков-загонщиков!.. Травите бога полей пастушескими собаками!.. Рубите юного бога топорами — живьем!.. Встречайте его рогатиной, как медведя-шатуна!.. Дионисэ ломится к нам через сады и виноградники!

Катится на нас огромная винная бочка! Судьба наша! Кахетия!

Эй, берегись!

Задавит! Убьет!

Дурочка Светлячок-Цицинатела, грязная и лохматая, со счастливыми, зажмуренными глазами. Кружится, влюбленная в юношу-быка.

Мироед Бахчо, бухгалтер винзавода, один из братьев Бежиашвили, разбил очки.

Зверь в лесу давно пробудился. Ягода-кровинка будоражит дикого зверя. Ветер веселит кровь дуба.

Из камня Тархнишвили-первочеловек посохом высек воду. В недрах камня родилась кружащаяся виноградина. Виноградина дышит. В виноградине рождается мальчик с зелеными глазами.

Мальчик из виноградины — гений осени. Кахетия родилась в винограднне.
Кахетия утонула в здоровенной бочке с вином. Пенится вино.
Алазанская долина — мать виноградников дышит сладкой кровью.
Алазанская долина изнемогает в поту и кровавой пене!..
Осенью Алазанская долина раздавит гроздь!..
Многоголосье гроздей! Хор кахетинских виноградников.
Дуб-тамада! Дуб-запевала!
— МРАВАЛЖАМИЕР!!!
Авоэ! Воэ! Аба эй! Таш-таш!
Ари! Аралоооо!..

Со всех пригорков и холмов катятся на бегущих за Агуной велисцихцев малые и большие бочки. С тяжелым скрипом и стоном катятся, сейчас раздавят народ. Это плут Агуна ударом ноги высадил дверь винного погреба.

Мужчины и женщины бросились врассыпную. Бочки подавят народ.
Поберегись! Спасись! Кидайся! Ложись!
Вай мэ! Вай мэ! Вай!..
Шэн мам зэ!.. Мамадзагло! Лэкво! Борото!
Тонет, в бочке с вином плескаясь, Кахетия наша!..
— Лови петуха! Лови!
Драка. Потасовка. Мордобитие. Свалка.
Кулаками. Кулачищами. Ножищами. Пинками. Зубами. Головами. Рогами!..

Ветер прятался от дерущихся крестьян. Дубасят друг дружку палками и кулаками.

Петух рвался, задыхаясь, из десятков рук. Повалили наземь Агуну с шестом. Поколотили изрядно. Дышат тяжко.

Дуб в лесу своем молчал. Чуял, дуб родит сына дуба.
Сын дуба! Бог Дионисэ! Желудь горемычный!..

В медвежьей шкуре на голом, замерзшем теле Дионисэ.

Дионисэ улыбается крестьянам. С шеи свисает веревка с привязанной окаменелой виноградиной. Волосы бога длинные, блестят.

Петух несется по дороге. Петух готов отдаться в железные когти Пашкунджи, лишь бы вырваться из плена разъяренного народа.

Буйвол ждет в поле.

— Я подъяремное животное! — сопит он громадными ноздрями.— Я хожу кругами моей судьбы!..

Шершавым языком тянется к ягоде шиповника.

Петух тонет в пламени. Зовет на помощь свирель.

Агуна отбивается орущим петухом от наседающей, разгневанной, обманутой толпы. Хохочет дуб, напоенный весенней талой влагой. Горят в притихшей долине одинокие костры пастухов.

Капитан Абесалом едет на свинье в Гурджаани, на склад.

Крестьяне сгрудились у огромного, закопченного котла. Смотрят, как варится в булькающей воде петух. Раскаленные брызги летят на небритые щеки. Крестьяне жадно жуют мясо. Глиняная чаша с вином пошла по кругу. Агуна, связанный веревкой и побитый, лежит в кустах над рекой. Чашу с вином первым поднесли дубу. Хмурится зеленоголовый великан.

— Пей! — сердятся крестьяне.— Пей до дна!..

Дуб жадно пьет вино. Дуб хмелеет. Воет как бык.

Плотник Тархнишвили подпевает дубу. Оба поют.
Песня летит над Алазанью. От стона дуба гудит земля.
Гудит Книга Виноградарей. Книга поет вместе с крестьянами.
Крестьянский хор. Книга горит. Обгорелые страницы из телячьей кожи в дыму.

Вано-пахарь, спотыкаясь, идет к костру. На одном плече несет бочку, на другом холм.

Гомборский дуб слушает тяжелые шаги пахаря.

— Мы братья! — поет дуб низким, глуховатым голосом.

Крестьяне жадно рвут зубами петушиное мясо. Катится по лбам пот.

— Мравалжамиер! — гудит песней дуб-предок.

## ПТИЦА ПАШКУНДЖИ ДОБЫВАЕТ ОГОНЬ

Над бездной летела птица Пашкунджи. Ослепла в ночи. Гудит ветер. Где верх, где низ? Птица растеряна.

Где боги? Где быки? Где крестьяне?

Когти птицы впиваются в виноградину. Виноградина кружится в небе.

— Откуда она? — удивлена птица.

Мертвеет бледно-желтый рассвет. Холодный костер марта светит над полем. Птица, ощерившись перьями, клювом высекает огонь из каменной виноградины.

Это пожар над долиной в синем воздухе. Пожар последней, плывущей издали осени. Хаос томится в окаменелой виноградине.

Птица не может обуздать Хаос. Она мечется, кричит гортанным криком.

Летит во мгле на поиски задыхающейся от одиночества реки Алазани.

Падает птица камнем, вниз головой, в ночную реку.

Старая дорога сжимается от страха. Крестьяне колотят дорогу палками. Крестьяне приручают дорогу.

Жалуется дорога дубу.

— Терпи! — нехотя говорит Старой дороге седой, крылатый дуб.

— Меня бьют! — плачет дорога.

Ветер несет осиротелый, бледный листочек осины.

Терпи! — молча повторял дуб.

## БОГ ДИОНИСЭ В ГОСТЯХ У ПЛОТНИКА

Плотник задумчиво курит горчайший табак. В облаках тяжкого, ржавого дыма. Эх, все приходит в упадок в его доме!..

Нет желания и сил чинить и исправлять. Даже с огромным недостроенным гробом возился старик все реже. Надоело. Ковчег-лодка высился в сарае-мастерской до самого потолка. Накрыл его плотник холстиной и рогожами. Мрачное, нелепое сооружение. Надежда старика на личное спасение и спасение рода велисцихского. Увезет он однажды на нем деревню вниз по реке Алазани!..

Изнуренное лицо плотника побурело, в лохмотьях кожи. Шло лицо серыми, холодными пятнами. Щетина белеет на ввалившихся, неживых щеках.

Подслеповатые глаза слезятся.

Заброшен старый фруктовый сад при доме. Дичал, глохнул сад, утопающий в бурьяне и лопухах, мерзнущий сад прошлого. Как срубил грушевое дерево на кровать, другие груши осиротели. Из сада плотника, на рассвете поблескивающего сырой росой, все еще тянуло горечью прощания, горьковатым дымом одиночества, духом тлеющих, давних опавших листьев.

Обедал старик в одиночестве. Маро только подносила ему чашку и ломоть хлеба. Старик медленно жевал, задумавшись. Слеза поблескивала холодом на реснице. Старик задумчиво сидел за голым деревянным столом, смотрел на свои похолодевшие, ненужные вытянутые руки.

В кувшине вино, сделавшееся горьким и безвкусным от бесплодных раздумий плотника. Кусок ржаного хлеба. Влажный сыр в миске. Во рту запах холодной ночи.

Шаги бездомного ветра за изгородью одичавшего сада.

Плотник нахмурился. В марте он всегда ждал гостя.

Смотрел угрюмо в темное окошко. Тосковал. Даже ветер, чуя, что плотник не в духе, замирал на улице. Ветер добровольно гасил шаги гостя, бездомного Виноградаря виноградарей, бога Дионисэ, который с собратьями тащился сюда по рыхлому, умиравшему снегу.

От напряженного ожидания худое лицо плотника заострилось. Сделалось костлявым, птичьим. Плотник боится, что вот однажды уйдет Виноградарь навсегда и опустеет деревня. Лоза увянет. Шаги Виноградаря!

Родившись из весенней, сияющей радужной грязи, шаги бога-Виноградаря уже освободились от нее, вырвавшись словно из чрева земли.

Дионисэ шел задумчивый, медленно освобождаясь от первородной грязи.

— Смерть Виноградаря?! — вздрогнул плотник.— Где он? Пропал?

Кто тяжело дышит во мгле? Уймись, ветряка!.. Не слышу!

На голых ветвях деревьев темнели первые гнезда.

Он вернулся к столу. Глиняная чашка с недопитым вином задребезжала. Кто-то бил в дверь.

— Мир входящему! — вырвалось у плотника.— ВИНЦ МОВИДА, ГАУМАРДЖОС!

Дионисэ устало кивнул, блеснули зеленые внимательные глаза. Разметалась грива длинных волос. Нахмурился. Дрогнула переносица. За спиной дружки. Агуна, Квириа и Панто, охальник козлоногий.

Тревогой поблескивали одинокие, похолодевшие глаза Виноградаря-бродяги. Дионисэ осторожно улыбнулся дрогнувшим ртом и протянул стылую руку плотнику.

— Здравствуй, хозяин! Гаумарджос!

Гости-бродяги бесцеремонно рассаживались за деревянным столом.

Сколоченным из грубых, тяжелых досок.

— Проголодались мы! Еды давай!

Придвигали к столу табуреты. Оглядывая с радостью холодную закуску, свинину и ветчину, кружки и чашки для вина, кувшин, кислые помидоры, подмигивали хозяйке, потирали руки, улыбались, смеялись, блестели белками холодных глаз.

Они хватали еду руками, молча, сопели, жевали, рвали зубами, просили жаркого, еще сыра и кислых помидоров и огурцов, водки.

— Я хоть и сам козлоногий, а обожаю жаркое! — кричал Панто.

Въелся в стены жилища винный дух. Глина и вино. Древнее вино этого дома очищало, спасая любого гостя, даже самого последнего грешника. Грело сердце вино плотника. Стали пить. Перешли в винный погреб марани. Зажгли свечи. Ржавые крючья вбиты в стены.

На крючьях окорок, связки высохшего винограда, айва. Кожи.

Эх, хорошо этой ночью в марани плотника! Не один ныне старик.

С ним великие боги-бродяги Кахетии! Ночная трапеза. Шумно расселись вокруг бочки участники кутежа. Пьют, едят, говорят тосты. Славят землю Кахетии! Славословят Алазанскую долину. Обещают людям богатый урожай. Дионисэ благословляет лозу Велисцихе.

Жаль, вот скоро уйдут они навсегда. Дионисэ готов пропасть во тьме пещеры. А спутники кто куда. Квириа, к слову, обещали мироеды должность директора виноградарско-винодельческого совхоза.

Раздумывает пока Квириа, чешет в затылке. Но, видать, согласится. Куда ж деваться!.. Так идут и проходят дни наши, человече!

— Я хочу умереть! — вздохнул Дионисэ, отпив из чаши и опуская веки.— Надоело скитаться по чужим дворам и дорогам! Что толку? Мироеды везде! Власть их.

— Выпей за жизнь, дорогой гость! — привстал плотник, протягивая новую чашу, сверкающую терпким напитком.

Агуна сидел вялый, усталый после гонки на свиньях. Квириа, тот наперся и нажирался, объедался мясом.

— Нас гонят из Кахетии! — сказал широкоплечий здоровяк Квириа.

Маро стояла молча, сложив тяжелые руки на груди, прислуживая гостям. Женщина в черном платье, молчаливая, с темнеющими, тоскливыми глазами животного. Квириа жадно пил черное с кислинкой велисцихское вино, от которого не мутнела, а трезвела голова. Квириа — боец скота с Кварельского мясокомбината.

Убойщик!

Он пока с Дионисэ, а завтра может и вероломно предать, засадить нож по рукоять в его спину. Он боец скота. Его руками совершалось убийство. Он резал домашних животных.

Он подходил к жертве.

Сначала бил с размаха обухом по голове, а потом закалывал живое, переполненное кровью сердце здоровенным ножом базарного мясника.

Отрубал голову. Свежевал тушу. В резиновом фартуке. В резиновых сапогах. Каменный пол мясокомбината всегда залит чернеющей, остывающей кровью.

— Я зарежу бродячих богов! — усмехался Квириа, шутливо поглядывая на сотрапезников.

Панто громко сопел, жевал. Агуна пихал в голодный сиротливый рот громадные куски окорока, икал от жадности.

— Люблю дармовщинку! — повизгивал. Пукал.

— Я убью скотину! — сдвинулись неподвижно брови Квириа.

— Ешь! — насмешливо выговорил плотник.— Хочешь лобио?

— Жертва нужна Кахетии,— вздохнул печально Дионисэ.

— Это большая кровь,— покачал головою плотник.

— А как ты думал, старик? — раздраженно огрызнулся Квириа.

— Погибнет много народа и скота! — не отставал плотник.

— Пусть погибают! — рассвирепел Квириа.

— Пьем за жертву! — тоненьким голоском рассмеялся Агуна.

— Заткнись, пугало! — толкнул его в плечо Квириа.

Агуна чуть не свалился под стол, загремев костьми.

— Пьем за жертву! — встали бродячие боги и подняли глиняные чаши с велисцихским гостеприимным вином.

— А ты чего сидишь? — помрачнел Квириа.— А, плотник?

— Жертва! — пробормотал плотник, он сидел, низко опустив голову.— Жертва! — дрогнул его голос.

— Задиристое винцо! — В худой руке Агуны затряслась, заплясала чашка.— Горло дерет!

Обжора Панто, тряся бородой, уплетал за обе толстые щеки горячий, домашней выпечки хлеб.

— Петух, как мы стали отрывать ему голову, красный петух, родил черного! — вспоминал недавние события деревни Агуна.

Взметнулся за стеной и пропал голодный ветер. В соседском хлеву томился вол. Тархнишвили поскреб негнущимся пальцем небритую щетину на щеке. Гарью дымился испеченный на углях картофель. Золой дышали трапезничающие. Бродяги ели, обжигая рты, вскрикивая.

— Вот ты плотник, а я Виноградарь! Я хозяин лозы! — промолвил Дионисэ.

— А народ тебя хоть и боится, а ненавидит! — отрезал Тархнишвили.— Даже Нодар Шашвидзе, сам обреченный, а тебя грозится прогнать из Гурджаанского района!..

— Выпьем за врагов! — ударил тяжелым кулаком по столу Квириа.

— Я ухожу осенью! — Виноградарь зеленым одиноким взором глянул в седые брови насупившегося плотника.— Я клялся гомборскому дубу! Моему отцу!

Все замолчали. Стало тихо в марани. На окраине деревни зло выла собака. Ветер помчался к лесу, потом назад, принес с собой запах птичьих перьев, льдинок. Кисловато-острый, тяжкий дух медвежьей берлоги.

— Дуб гомборский! — еле ворочал заплетающимся от вина языком Дионисэ зеленоглазый.— Отец мой! Веришь, я пришел не погубить народ кахетинский, а спасти?!

Дуб молчал.

— Я отдам свою кровь Кахетии! — стонал Дионисэ.

Гости молча задумались, сидя за круглой бочкой, заставленной глиняной посудой, мисками, кувшинами вина. Что-то коровье шевельнулось во взоре хозяйки Маро, когда Дионисэ повернулся к ней.

Старый плотник молчал. Агуна заиграл на волынке. За грубую крестьянскую, мозолистую руку взял Дионисэ хозяйку и пригласил на бедный сельский танец.

Все гости и хозяин седой молча хлопали в ладоши.

Одинокий гость плясал с крестьянкой.

— Хочешь стать моей невестой осенью? — шептал ей гость.

Я корова,— испуганно думала женщина.

Ночлег плотник устроил гостям в сарае. На соломе.

Сам не спал. Сидел на камне, в холодном дворе, при синих отблесках зари, курил горький, тяжкий табак.

Маро лежала, накрывшись с головой тяжелой, рваной рогожей.

Она тоже не спала. Не могла закрыть запавших глаз.

Она пыталась расслышать в развалившейся ночи смятенное от ревности, задавленное дыхание буйвола-предка.

## ВЕЛИСЦИХЕ! ВЕЛИСЦИХЕ!

Ни один житель деревни, кроме, пожалуй, аробщика Ило, толком ничего не объяснит про местоположение своего родного Велисцихе. Где Велисцихе?!.. А бог его знает, как рассказать! И чешет в жесткой шевелюре.

Деревня хоть мала, а селянам здешним кажется огромной, как мир. Сколько раз ни пройдешь по ней, то в хлебную лавку Хачатура, то на воскресный базар, в баню или в контору мироедов, а вроде каждый раз что-то неизвестное тебе открывается. А поедешь по Старой Кахетинской дороге в Гурджаани, думаешь, назад уж никогда не вернешься. Пылит дорога, вгоняет в сон и одурь. Говорят, вот ушел человек и не может назад вернуться.

Не в силах отыскать родину!..

Ходит вроде рядом, а ноги заблудились. Страшно ушедшему.

Откуда холм посреди дороги? Вроде не было! А?

И вот овраг какой-то! Черт знает!..

Кто прав? Кто виноват?

В здоровенной нашей Книге Виноградаря записано, что Велисцихе испокон веку жило бурной, ненасытной жизнью, полной трудов, борьбы с неурожаями, недородами, смертью виноградников от града и ливней, драк и рождений, поножовщины и ухода за скотом — аж в глазах рябило! Одурь охватывала. Пелена во взоре. И казалось велисцихцам, все кругом их деревни каждое утро меняется. Все чужим становится. Говорят, один аробщик Ило кое-как во всем разбирается, да и не сам, сам бы пропал, а вол ему все подсказывает, только дернуть надо вола за хвост посильней.

Но случается, и вол путает. И сбивается с пути аробщик. Ругается долго, бранится.

— Я ни при чем! — вздохнет вол.— Рыжая муха сидит у меня за ухом. Она мне все рассказывает.

Эх, Велисцихе, родная деревенька!

Каждый камень родной.

Все здесь родное и свое. Даже козел с выбитым в драке глазом, бесцельно шатающийся по пыльным улочкам. Церковка, полуразрушенная мироедами, превращенная в борцовский зал, где по воскресеньям, под пение дудок и бой барабана молодые парни на сырых опилках пытаются свалить друг друга, пихаясь. Идешь мимо старой каменной баньки, слышно, как из ржавого крана вода бежит в лохань, по пятницам здесь моются мужчины, а по субботам наши деревенские женщины с крепкими грудями и большими животами, а в дыру глядят с мрачным волнением мальчишки вихрастые, босые, слышат, как дышат горячей пеной и мылом обнаженные телеса велисцихских матрон.

А от баньки улочка тащится, пыля, немощеная, к Старой дороге, упираясь в кривой дорожный столб со щитом, где криво выведено кем-нибудь из наших: «Велисцихе!»...

Эх, тропинки и проулки окрестные, заросшие жесткой, желтеющей травой. Все про деревню любимую в Книжище рассказано.

Пройдемся по Велисцихе, дружище! Не ленись! Давай-ка я расскажу тебе еще раз о нашем негаснущем очаге!..

Каждый уголок деревни имеет свое название.

Вот НАПУДЗВАРИ-КОРНЕВИЩЕ!

Камнем на груди это место. Гнездо наше родовое. Гнездо гнезд!..

Здесь сборища, гулянья, сходы. Быков закалывают. Суды над нечестивцами и ворами. Народ здесь может прогнать селянина.

На другом конце деревни — ХОДАБУНИ.

Это заброшенные огороды. Лежбище любимое заросших волосьями бродяших богов. Погибнет виноградник — здесь овощ отыщется, картошку сажают. Ходабуни — это последнее спасение от голода. На Ходабуни любят пастись козы, хоть палкой гони отсюда. Здесь на праздниках козлу и поклонялись, пели шутливые гимны. На Ходабуни девушки теряют невинность. Парни их сюда затаскивают по вечерам. Народ сюда тоже таскается. Здесь найдете и старика, что горюет по ушедшей молодости, ползая на искривленных ногах, девушки бродят с бледными, утомленными лицами, старухи колдуют на бараньих костях. Подростки прячутся в лопухах в сумерки, жадно хватают слово любви. что мужчина говорит женщине.

ЦАЛАМУРИ.

Цалами — ветка лозы, прутик.

Это овраг, заросший лозиной. На дне шумит мутный, засыхающий летом ручей. Прутья лозины срывают, насаживая на них куски шашлычного мяса. Поджаривают. В Цаламури пьют и пируют, наедаются мясом. Закусывают. Ведут неспешные разговоры, вспоминают былое, сплетничают. Эх, дружище, кахетинец! Мило сердцу моему незабываемое Цаламури! Вкусно закусишь, бывало, выпьешь из запотелой бутылки винца холодненького в жару, приятно сердцу и желудку.

ШАРЕБИ.

Шареби — прямая линия. Это ряды виноградников. Общинных и личных. Ведь все наши виноградники за несколько верст от деревни. Помню ровную стену винограда. Виднеется отсюда и село Чумлаки. Деревянные столбики, надолбы, прутья, лоза зацветает. А обрушится сюда град — и голодная смерть всему Велисцихе.

Вот спросите любого велисцихца:

— Для чего живешь на свете, человече?

Не задумываясь ответит и мальчишка босоногий, и глуховатый, с желтой бородой старец в лохмотьях:

— Живу для Шареби! Живу, чтоб увидеть могучий урожай лозы, кацо!..

Кахетинцы и за завтраком, и в обед, и за ужином пьют вино, всегда веселые и трезвые и бодрые, и никому и в голову не придет назвать их пьяницами. Древняя винодельческая культура крестьян-виноградарей.

Традициям виноградарей-виноделов несколько тысячелетий.

Виноград для кахетинца и хлеб и молоко. Еще ребенком он учится поднимать после сбора урожая заздравную чашу!

Говорят тосты и пьют вино все, женщины, дети, старики. Стар и млад.

— Слава лозе!..

Эй, путник! Прохожий! Остановись, подойди к нам! Зовем тебя сюда, поближе, в Шареби! Иди сюда, к нам, к нам, к пылающей золотым огнем влажно-сочной грозди! Вот тебе чаша, друг!

Пей за деревню нашу Велисцихе! Пей за уголок благословенный Шареби!

Эй, буйвол, давай к нам! Пей из чаши! Мы поддержим! Как тебе вино?

Не захмелеешь?

Опасаются люди пьяного буйвола, а еще страшнее бешеный, что несется, круша все на своем пути. Страшная силища! Никому не совладать! Обезумевший от ярма, побоев, палки, нужды и голода, крепостной буйвол! Кричат женщины. Бегут и прячутся мужчины.

Бешеный буйвол несется напролом по деревне. Бегите, люди! Спасайтесь! Пока не раздастся выстрел. И раненое животное будет падать и снова вставать, мучительно умирая.

Как-то Або увидал свою бывшую жену Маро. Она стояла возле колодца с уже наполненными водой ведрами. Собралась нести их.

Плотник приблизился к ней, хотел помочь. В выцветшей военной гимнастерке с чужого плеча — в ней хорошо работать,— в чувяках.

Но Маро пожалела седого плотника.

— Сама донесу! Иди!

Погладила тяжелой рукой, отставив ведро, голову старика. Седые, как бы неживые волосы.

Плотник зачерпнул кружкой из ведра, хотел напиться. Но не успел.

Поднес к зубам кружку.

Жажда мучила буйвола. Он тоже хотел пить. Кружил. Потом стал напирать на Маро, прижатую к забору. Она, поскользнувшись, упала перед громадным животным в мокрую грязь. На смуглом, скуластом лице темнели брызги свежей грязи. Стыд и раскаяние сжигали щеки Маро.

— Або! — закричала она.

Буйвол тяжко дышал, напирал как невменяемый.

Но остановился.

Маро хотела кричать неистово. Она не умрет раньше плотника.

Когда плотника не станет, она закроет его глаза рукой.

Она предаст его земле. А тут это неистовое животное жаждало раздавить женщину. Буйвол темнел крутым, выпученным глазом. Буйвол копытом наступил на вывалившийся от ужаса, онемевший язык Маро.

Она лежала у его копыт. Чего он хотел? Раздавить язык бывшей жены? Или просто заставить ее замолчать?

Это презрение или тупая память о любви, которую буйвол не в силах растерзать в своей душе.

Маленький, низкорослый погонщик Ашот пытался отогнать буйвола палкой.

## Я — ОДИНОКАЯ ГРОЗДЬ

Ушли виноградные боги. Плотник один. Лицо посерело, холодеют глаза и неподвижные губы. Земляная пыль дышит в жилищах. Никто с ней не враждует. Пусть себе живет столетиями!..

Каменеющая пыль раздумий сыплется с омертвевших лиц кахетинцев. Озябли лица, как птицы долины. Вековечная пыль не угнетает хозяев очага. Тяжко кахетинцу! Эх, напьюсь древнего вина!

Зеленое и черное вино рождалось в Алазанской долине и хранилось в плену у глины. Томилось в чане, зарытом в землю.

Камень, глина и вино — побратимы!.. Желтая выжатая виноградина — их пленница. Тархнишвили молча сидит на лавке. В глубине присмиревших зрачков дышит упрямство. Таял на столе, оплывая, огарок. Старое вино его жилища арестовано глиной. Негнущиеся пальцы старика крошатся глиной. Маро жарила на огне, на очаге кукурузу.

Дух горелых зерен примешивается к аромату вина. Плотник Тархнишвили опустился на колени возле очага и благодарил очажный камень за судьбу. В золе шевельнулась и вспыхнула искра жизни. Заворчал обгорелый хворост. Обугливаясь, треснула сырая буковая ветвь. Черный дым вылизывал морщины одинокого лица. Потускнелые глаза слезились.

Слеза наплывала мокрой золой. Плотник зажмурился, дрогнули опаленные ресницы. Закрыл лицо холодными руками. Где-то брезжил красноватый, стылый рассвет. На реке задиристо, резко покрикивали утки.

Плотник заперся в марани, угрюмый, в скверном настроении. Тяжко на сердце старика. Задвинул засов. Даже Маро не хочет видеть. Дионисэ с бродягами покинул жилище плотника. Вот валяются миски, ножи, объедки. Глиняные чашки. Сжался бурдюк с недопитым вином.

Гора обглоданных костей. Резко дымился запах чеснока, кислой травы джонджоли, остывшего, холодного мяса. Мяса недовычерпанного, не выскобленного из котелка. Несло застывшим жиром похлебки. И отовсюду тянуло духом прошлогодних, лежалых, забытых хозяевами яблок.

Вот огромная баранья кость, разгрызенная с чавканьем и наслаждением Панто козлоногим, козлобородым. Тяжко вздыхает плотник. Надоело ему сколачивать большой гроб для себя и Маро. А может, и для всей деревни. Маро ударила кулаком в запертую плотником дверь. Плотник молчал. Пахло здесь землей и орехами в мешках.

— Что ждет нас этой осенью? — зябко сжался плотник.

Отшумит зеленая весна, оглохнет от радости лето и осень. Прощание.

Угрюмо поблескивали глаза. На сросшейся переносице капельки холодного пота. Рот проваливался, дышал. Эх, выйду в поле один и закопаю в яму деревню, которую сам родил однажды. Первочеловек лепил когда-то из глины гнезда людей. А теперь эти гнезда осыпаются, подует ветер — и улетят, рассыплются гнезда птичьими перьями. Возле оврага стареет платан. Чернеют краями высохшие листья. Молчат.

Вот подбежит к платану ветер, зашуршит мертвой листвой. Платан не движется. Безоблачный холод низко плывет над ним. Тархнишвили насадил лозу, разбил сливовый сад. Боролся с градом и снегом, спасая виноградник. Долго жил старик. Помнит много войн. Вынес все войны на своих плечах. Отдал одной из них сына. Потерял сердце. Поливает седой плотник вином из чаши зябкие кости предков. Зазеленеют весенним ростком кости. Старик оплакивает себя и чужие кости. Каждый вечер он ложится в неготовый гроб.

И закрывает глаза. Он хотел забыть всех родственников и односельчан, освободиться от выступивших из мрака лиц.

— Я в гробу превращаюсь в желудь! — вздыхает он.— Это постыдное бегство от одного мрака к другому.

Вспоминаются кулачные бои-игрища с богами в опустошенных осенью садах. Босые ноги дерущихся давили павшие на землю гроздья.

Пылали зеленые глаза Дионисэ. Женщины со стонами радости, плача отдавались ему в виноградниках, забрызганных крестьянской и бычьей кровью. Женщины катались по земле, в пыли, громко, бесстыдно крича от судорог.

Любовь и плодородие земли.

Земля осени жаждала оргий. Младенцы, теряясь в луговых, желтеющих травах, с плачем ползут к распалившимся в срамных плясках матерям.

Панто-козлоногий, бог с рогами, бородой козла, загорелый, краснорожий, весь обросший белой курчавой шерстью, бронзовотелый, с горячим, широким лбом, звонкими и мокрыми от смачных поцелуев, шлепавшими губами.

Гоняется с шумным стоном за невинными девчонками-подпасками. Жнецы побросали серпы. Ленятся дурни, валяют дурака, борются в пахучих, дышащих мякиной и знойной соломой снопах. Задыхаясь и дрожа, поет свирель. Топот ног и копыт. Разваливается от пляски крестьянок и козлов земля!.. Обнаженные бедра и животы, мясистые груди, налитые вином и кровью, красные, взбухшие соски. Щипки. Укусы. Подзатыльники.

Жадные поцелуи. Зуботычины. Срам. Задирания юбок. Подножки.

Опрокидывание на спины. Обхваты. Змеями переплетенные голые тела.

Борьба и возня на соломе всем скопом. Свальный грех. Сладкий, шумный, веселый срам!.. Груды живых, воспаленно дышащих, обнаженных мужских и женских тел. Совокупление женщин с козлами.

Горячий пот листьев, смешанный с истощенным стоном земли, сладострастной, несчастной, изнемогающей. Кровью быков горит земля.

В этой крови рождаются свежие помидоры. Напиваются теплой, солоноватой кровью помидоры и огурцы. Разорвана девственная мякоть овоща. Плотник Тархнишвили зорко присматривал за гульбищем, играми загорелых крестьян и полевых богов, чтоб праздник не вырос в смертоубийство. Урожай! Урожай! Умирай, Дионисэ, зеленым печальным взором пылающий!.. Урожай!!!..

Пусть пьяные, захмелевшие крестьяне бросаются на бога Дионисэ с ножами, рвут его на части, поедают тело, ощерясь хищными зубами, пьют его девственную кровь и орошают ею свои огороды и сады.

Слава умирающей осени! Шени чири мэ! МЭЭЭЭЭЭЭ!!!..

Вай! Вай! Уф! Ух! Их! Ах! Ох!.. Вай мэ!..

Смерть осени в сердце крестьянина!.. Всем скопом навалиться на бога — малодушие! Плотник Тархнишвили хочет один одолеть Виноградаря в мертвой схватке. Никто не решится идти на помощь старику: ни древний дуб, пьяный и воющий, ни юноша с головою быка.

Ни Маро, мать земли.

Плотник курит. Тяжко на сердце после ухода гостей.

Мычал в хлеву теленок. Плотник вернулся в жилище. Плотник стоял на коленях у очажного, горячего от золы камня.

— Я один мог бы спасти Кахетию! — Дрожали протянутые к очагу руки. Ныли шея и спина.

— Молчи, плотник! — шептали голосом Дионисэ сухие листья. — Вот я превращу вас всех в диких зверей. Пусть вас перебьют охотники!

— Нет! Нет! — отвечал сдавленно старик очажному камню. Сгорбился старик. Сжались дымом выеденные глаза. Маро стучала в запертую дверь. Пока она ходила в погреб, плотник и в жилище закрыл дверь.

Маро колотила, гремел засов.

— Корова! — в сердцах кричал ей старик. Старик полез головой во чрево громадной пустой бочки. Орал там.

Я женился на корове! Люди! — гудела бочка.

— Корова! — кричал старик во тьму.

Маро опустилась во дворе в грязь. Молча плакала глухим голосом.

А из напившейся грязного снега Алазани высовывали головы с тупыми носами рыбы. Они жадно слушали плач женщины.

## МЕРТВЫЕ БАРАНЫ

Камень во дворе плотника. Готовясь к траурному застолью, он рубил здесь головы петухам. Приносил жертву бараном нашему богу. Закалывал барана или овцу. Обсыпал жертву солью и ячменем.

Свершалось ритуальное убийство. У мокрого от крови камня валялась рогатая мертвая голова с холодными, чужими, ясными глазами.

Животное после смерти продолжало спрашивать о своей судьбе.

Боролось с ужасом животное. Всегда их ждала вероломная, неожиданная смерть. Бараны и овцы могли не понимать, для чего их пасут, кормят, дают им пить воду. Загоняют зимой в теплый хлев. Заботятся.

Наверное, животные глупо надеялись, что за все заботы человека о них им придется расплачиваться только шерстью.

Когда же их неожиданно волокли к камню, они сразу угадывали родной и страшный запах смерти и метались, рыли копытами землю, мотались, пятились, кричали. Крутили яростно головой с отяжелевшими, не нужными уже рогами. Слабели, подламывались от страха их тонкие ноги. Но веревка крепко сидела на рогах, охватывая голову и давя детскую шею. Плотнику казалось, что это тащат на заклание его тело и душу. Обреченного плотника и младенца. Он жмурился. Глаза баранов блестели первородным отчаянием. Тархнишвили кричал вместе с ними от ужаса. Земля в хлопьях окровавленной шерсти. Мужчины весело разделывают бараньи туши. Обезглавлено солнце. Труд! Сдирание шкуры с подвешенного на толстом суке барана. Свежевание. Соление.

Мужчины ловко орудуют ножами. Лица их нахмурены, блестят солоновато-горьким потом. Мужчины бьют и режут ножами подвешенную изуродованную жертву. Мужчины, убившие барана, устали. Они пьют медленными глотками из глиняного кувшина воду. Вспененные губы, сведенные рты. Они устали от крови. Готовы свалиться прямо у камня и забыться глухим сном. Но голова барана с закрученными рогами валялась на земле, растоптанной копытами и босыми ногами.

Голова растерзанного барана давно плыла по земле в сторону плачущей зелеными слезами Алазани.

— Меня убили,— содрогнулся старый плотник.— Мою голову вымазали мукой из ведра.

Голова вожака покоилась на бренной земле. Какой покой разлился во взоре! Шершавые губы барана тронуты улыбкой холодной обиды.

Рот поверженного насмехался над черной тишиной. Блеянье угасало над разрубленным мясом. Деревня Велисцихе дышала темной жертвенной кровью. Дымом жарящегося животного. Неслась в ночное небо хриплая ругань пьяных крестьян. Крестьяне весело орудовали ножами. Но настанет день, и стадо мертвых баранов, принесенных в жертву, проснется и двинется ордой на сжавшуюся от ожога, попятившуюся деревню Велисцихе. Плотник кричал у камня. Плотник не мог остановить череду осенних убийств. Ведь если остановить смерть, исчезнет и рождение. Плата жизни — осенний баран с ярым глазом.

Славься, Дионисэ! Прими барана! Мы — крестьяне — твои убийцы и твои пленники. Гроздь набухла кровью. Дышала сладко. Тархнишвили хотел отвернуться спиной от резни. Он курил. Тяжко сердцу от черного липкого табака. Молчит долина. Не вступится за барана. Облако, как голый лошадиный череп, низко плывет. В винограднике звенят ножи. Ныла пастушеская волынка. Сизый дым маленьких затухающих костров в оголенных, позабытых садах. Горящие охапки виноградных сухих листьев. Столбом идет дым к опустевшему небу. На соломе плясали голые девочки-крестьянки. В чужом небе теряла последние обгорелые перья бездомная птица.

В пьяном саду возня. Крестьяне и обреченные овцы боролись. Овцы в миг заклания страшатся закрывать глаза. Овцы думают, что крестьянам легче резать тех, кто зажмурился. Овцы смотрят, как блестят ножи. Если дрогнет рука и выскользнет нож, овцы думают, что его уже не поднять. Прощай, нож крестьянина! Да здравствует жизнь!

Нет! Нет! Овца заблуждалась. Хмурится Тархнишвили. Смерть.

Пусть овца ляжет под нож. Пастухи сторожат стадо, чтоб отдать его прожорливой смерти. Лоб плотника сморщен. Виски сдавило. Блестят глаза старика. Овцы боялись этого блеска больше, чем ножа.

— Пасите нас,— чернели бараны и овцы.— Пасите и убивайте. Но ни о чем не спрашивайте!.. Вот вам наше разрубленное мясо, ешьте! Но только закройте платком глаза плотника.

Это Дионисэ придумал обычай — рожать живое в крови и убивать. Плотник помрачнел.

— Тогда и меня надо зарезать и съесть! Или я старый, задубевший вожак и мое мясо уже не годится?

Дионисэ явился в эти края самозванцем. Сам себя объявил богом, рожденным из желудя. Потребовал, чтоб в его честь резали овец и поили горячей кровью. Посвящали ему одному осенние многоголовые казни. Но он сам превратил себя в бога-жертву.

Убивали повсюду баранов и овец, резали в садах, горящих золотом листьев. В садах, горящих прощальными огнями.

Вот и старика убьют кахетинцы, пожертвуют им, дряхлым вожаком.

И Алазань выйдет из берегов. И на народ надвинется голод.

— Не смог накормить нас, умирай! — будут ругать его крестьяне. — А еще первочеловек! Вылепил нас из глины!

Этот страх камнем давил на сердце плотника.

— Спасай наши тела! Они пахнут приречной глиной!

Стадо мертвых баранов окружало деревню, погибающую от голода. Бараны с запекшимися в крови ртами.

## БЕДРО КОРОВЫ

Плотник ездил на гурджаанский базар. Ходил там среди рядов. Солнце оленей и диких коз давно перевалило через хребет над долиной. В земле напряженно дышала каменная рыба.

— Я стану после смерти рыбой землетрясений.

Плотник купил веревку, веник и глиняный кувшин. Пора ехать назад в Велисцихе. Почти опустели ряды. Вечерело. Крестьяне разъезжались. Вот на прилавке горка непроданных овощей. Помятые, подгнившие помидоры.

Жалкие, кривые, безвкусные огурцы. Просыпался из ивовой корзины репчатый лук. Уже не пахло влажной сыростью молодой, народившейся зелени. Крестьянка стояла недвижно у лотка, опустив тяжелые руки на свои непроданные увядшие огурцы. Пчелы пытались вернуть в свое лоно отнятый у них мед.

Мясные ряды опустели. Там в сумраке висело с самого утра на железном крюке и кровоточило, покрывшись розовой, засыхающей пленкой сукровицы, отсеченное бедро коровы. Под висящим куском пригорюнился неудачливый мясник в грязном халате с пятнами крови. Не хотелось уезжать ему в дальнее селение без барыша. Избавиться от последнего куска мяса — и домой!.. Эй, кому взвесить, а? Только чтоб не тащить назад это малость подпорченное мясо. Ждал мясник, не вынырнет ли из тьмы какой-нибудь случайный, запоздалый покупатель. Не снимать же бедро убитой коровы с железного крюка, подвешенного на гремящей цепи, заворачивать в мокрую клеенку, опускать в мешок и волочить на горбу за пятнадцать верст. Базар окутан зеленой, темнеющей дымкой Алазанской долины. Нигде не скрыться кахетинцу от долины жизни. Базар под открытым небом. Дальний ветер слегка пригибал к земле кусты смородины. Ветер рябил темно-зеленую, притихшую воду реки.

Кричал обалдело напуганный близостью вечера чей-то осел. В здоровенной винной бочке, стоявшей на боку, могла утонуть вся Кахетия. Торговец мясом взглянул в глаза плотника, усмехнулся.

Тархнишвили с предчувствием чего-то недоброго глядел на подвешенное на крюке коровье бедро. Озноб жег спину. Он молчал.

Пахло остывшей жарой и кровью. Плотника слегка затошнило. Небо пустело отгоревшей жатвой. Мясник почуял покупателя, стараясь не глядеть в его сторону, прикидываясь безразличным.

На голове грязная, измятая шляпа. Неопрятный торгаш в шляпе не уходил. Папироса в зубах чадила. Мундштук прыгал, ударяясь о гнилые, оскалившиеся зубы.

— Я здесь три дня стою,— бормотал его сдавленный рот, чуя поживу.

Рот как землей забит жадностью. Бедро давно зарезанной коровы все еще продолжало висеть на крюке. Ветер раскачивал цепь крюка. Черная муха сидела на ране. Дым чужих очагов собирался в остылом небе над пустым, брошенным покупателями базаром.

Бедро на ржавеющем крюке само хотело быть проданным, чтоб снова соединиться с многопудовым телом коровы, молча бредущей тенью в нижнем мире Джоджохети. Мертвая корова, уходя во мрак пещеры, уносила на своем хребте спящую Кахетию. Шла она через ночь с жалобным стоном, осторожно двигая копытами.

Корова на ходу продолжала рожать из своего обвислого живота поколения людей. Плотник смотрел слезящимися глазами на крюк с чернеющим, страшным мясом. Торговец в грязной шляпе, с обгорелой папиросой в мундштуке, иронично дрогнул мокрыми, слюнявыми губами.

— А какую корову он убил? — обеспокоился плотник.

Мясник выгодно продал всю тушу, ловко разрубив ее на большие, крупные куски. Чего ж не идет домой, жадина! Мало ему?

Жадюга не уходил, хоть кругом ночь, а сам шатается от усталости.

Посвятил бы говяжью ляжку богу Дионисэ. Сжег бы и возлил вина.

«Сожги и проси бога полей о сытости и счастье!» — помалкивал жадный торгаш.

Тархнишвили зажмурился.

Страшный крюк с холодным, изодранным мясом жены мерещился ему в черноте.

— Я сам жертва! — дрожали стариковские обиженные, напуганные губы.— Я баран-жертва с круто закрученными рогами!..

Пастушеский пес сторожил стадо. Если опасность заставала в пути, пес вместе с овцами и баранами мог простоять бдительно в овраге всю ночь, готовясь один принять сражение. Он отразит нападение волчьей стаи. Но даже пес побаивался старого, желтоглазого барана-вожака. Баран щипал себе травку, не обращая внимания на охрипшего в бессонном лае пса-сторожа. Баран презирал пастушескую собаку.

Вся деревня пастухов и виноградарей зависела от вожака-барана с трезвыми, внимательными глазами. А собаку никто не кормил и каждый мог прибить камнем.

— Я вожак!

И вот он, как и все жители села, сделался жертвой. Пес взволнованно дышал. Плелся позади стада. Хотя и морили его за преданность голодом.

Но грянет день! Барана-вожака предадут позорной казни на глазах деревни. Овцы молчали. Овцы должны учиться мужеству и терпению на его смерти. Пес завидовал такой смерти. Пса просто забьют и вышвырнут в яму околевшего, дохлого.

— Я умру,— шевельнул губами плотник.

Блеснул топор.

Голова барана с тяжело загнутыми рогами поникла. Голова лежала на земле. Остывала.

Остывал глаз.

— Что со мной? — задыхался плотник.

Пес безголосо выл.

Голову убитого барана насадили на кол.

Плотник возвращался глубокой ночью с базара.

Он не смог купить мяса с крюка. Торгаш, обнаружив смутное беспокойство во взоре старого плотника, заломил цену. И вот, уставший, ковылял в Велисцихе старик. На окраине деревни на него зарычал пес. Плотник хотел кинуть ему хлеба, но пес лениво побежал во мглу.

— Он чует во мне вожака,— вздохнул плотник. Он шел по деревне. Нес мешок с веревкой и колесо на плече.

Хотел продать колесо арбы, но не нашел покупателя.

На заборах повсюду белели черепа баранов. По всей деревне на колья забора насажены черепа съеденных крестьянами баранов.

— Маро! Маро! — звал плотник.

Крюк с бедром коровы висел, покачиваясь в небе.

## СОЛНЦЕ-ЛУНА! КАМЕНЬ-ПТИЦА!

Алазань бурлила. Дионисэ жадно целовал реку.

— Хоть ты полюби меня! — просил он.— Или я надругаюсь над тобой!

Жадно целовал воду, громко плача.

А что может родиться от мужчины и воды?..

Громадный камень лежал в поле. На камне высечена голова коровы.

Неужели это вечная корова? Наша мать. В глиняном кувшине молоко живое плещется. Пьет его юноша-бык. Ревнует свою мать к Дионисэ.

Юноша-бык жадно лижет камень с ликом матери. А потом на камень пала птица. Убита стрелой. Кровь птицы смешалась с кровью матери. Солнце и дожди жгут одинокий камень, что лежит в поле.

Когда Дионисэ погонится за женщиной Маро в вечернем винограднике, она окаменеет.

Дикой, безрассудной любовью гудело поле.

Камень-птица! Камень-корова!

Здесь, в поле, в пустоте, сиротливо бродит Иштар. Пахнет умирающей земляникой. Иштар зовет на помощь мать. Он боится превратиться в груду разрубленного мяса.

Солнце светит над долиной. Дионисэ — солнце в обрамлении горящих кленовых листьев.

В опустевшем кукурузном поле Дионисэ догонял корову.

— Ты — камень! Ты — птица! — кричали оба.

— Я солнце!

— Я луна! — отзывались горы.

Юноша-бык плакал в обгорелом кустарнике.

## СОХА И КОЛЫБЕЛЬ

Сначала орудием труда была соха. Много веков спустя Вано стал пахать плугом.

Соха досталась пахарю от исчезнувших предков. Сколько земли взрезала она!..

Земля всегда боялась ножа.

Быки ходили под ярмом. Свобода снилась. Надежда быков тяжелела.

— Я земля! Кровь моя — черные комья. Слезы загнанных в липком поту быков — комья земли.

Быки плачут в одиночестве. Не могут они напоить поле своим горящим семенем. Дионисэ накроет поле возбужденным телом.

Вано стоит на коленях и гладит соху.

— Ты живая? — спрашивает пахарь.

Соха наша кахетинская старая, исполинская. Она как женщина с глазами коровы. Смерть сохи — смерть поля. Зерна смерть!

— Вано! — шепчет поле.— Мне снится, как я снова возвращаюсь в детство! Я снова становлюсь молоком и маслом.

Это блаженство. Это легкое забвение!.. — Поле просыпается.

Соха видит кровь.

Это кровь родившей матери.

— Скрипит и стонет колыбель! — поет Вано, как рассохшееся дерево.

Колыбель — это ложе смерти.

Рождение — наша смерть.

Слышит стон колыбели соха.

Огромная и оглохшая.

Кто же появился на свет раньше?

Наша земля без сохи — мертвечина.

Кто в Кахетии родился прежде других?

Колыбель отвечает: — Я!

Земля стонет: — Я!

Ведь меня избивали палками и дубинами, как масло.

В великом пахтанье рождалась земля. Стонет земля.

Стонет кровать жениха и невесты. Кто из нас родился раньше?

Юноша или девушка.

— Раньше других возникла ночь! — поет Маро.
И вот колыбель стоит в поле. Вано с сохой движется на колыбель.
И вдруг в колыбели зеленеет и дрожит росток. Обвивается лозой колыбель.
Соха остановилась.
Бык не в силах одолеть ее.

В колыбели спит черствая земля!..

## ИЛО-АРОБЩИК

Никто в Кахетии не был так близок к Старой дороге, как те, которых она кормила. Вот она, арба, запряженная медленным, ленивым волом. Слышите, как задумчиво скрипит колесо?..

Аробщики!..

Это люди, кровно породнившиеся с дорогой. Для них судьба — это медленная езда на арбе. Завоевывание пространства.

Вот сгорбившаяся спина аробщика, а впереди задубелая спина вола, он тащит арбу неторопливо и нехотя, еле двигая тяжелыми копытами.

Еще одно древнее, наше родовое ремесло!..

И хотя в наших землях много передвигались и ездили (возили на продажу вино, водку, шкуры, мясо, шерсть), но все равно, для аробщика испокон веку Старая Кахетинская дорога была чем-то иным, более насущным, чем для остального народа.

Народ тысячу раз изъездил свою дорогу, и все казалось давно открытым, изученным, исхоженным копытами, раздавленным колесом.

Даже малый ребенок был хорошо знаком с каждой щербинкой на пути, с самым невзрачным, запыленным камнем.

Дорога вела кахетинцев из малой жизни в большую жизнь, полную горизонтов, сторон света, облаков и чистых, освежающих дождей.

Иногда Старая дорога вдруг пропадала, глохла, терялась. Она рассыпалась полынной, горячей пылью, разбивалась на ручьи и стертые, забытые тропинки. И тогда кахетинцам казалось, что дорога становилась для них чужой, она вела в бессмертие или в глухое забвение, что совпадало. Дети кахетинцев принимались звать назад свою дорогу, искали ее где-нибудь возле одичалых, влажных от тумана садов. Или блестела дорога солью, просыпанной с арбы.

Это была память о вечной жизни, проходящей через деревню Велисцихе.

Память шла через весь остальной, многоголосый, многошумный до хрипоты мир, где пахло виноградной кожурой, гарью кострища, задохнувшегося после принесенной жертвы, спелой кровью молоденькой зарезанной овцы.

Какой-нибудь мальчик из Велисцихе, ушедший в поисках счастья вслед за колесом, припадет к следу копыта ослепшей от старости, седой лошади; к этой окаменелой вмятине прижмется дрогнувшим ртом, услыша замерший зов движения. Дорога пробудится в его груди.

Старая Кахетинская дорога, одна через все стороны света, по ней испокон веков катится сверкающая солнцем и пылью зеленая виноградина.

Глубока река жизни, наша Кахетинская дорога. А столько их, дорог из деревень и виноградников, военных и спокойных, погибло, осыпалось, навсегда умерло, беззубых и ослепших, упав с обрыва в мутную реку Времени.

Старая дорога умирала.

В Гурджаанском районе она еще как-то дышала, по ней ездили, ходили, возили грузы, но давно презирали, не лечили ее чернеющие раны.

Однако никто не решался бросить на умирающую дорогу последнюю горсть похоронной земли. Ей еще поклонялись старики. Опускались на колени и целовали прах дороги уходящие на чужбину безземельные крестьяне с темными лицами. Клали к краю хлеб, рассыпали зерна, горячие от ладоней, которые тотчас склевывали налетавшие неизвестно откуда птицы.

Велисцихские старики помнили, что по их дороге шли толпами переселенцы, скитались беженцы от голода, войны и меча, двигалась горстка упорных людей с загорелыми, обветренными лицами, жители будущего славного, великого села Шилда.

Могучие предки жителей Шилды пришли сюда, по преданию, в заросшие диким орешником и терпкой, кисло-сладкой ежевикой с колючими листьями

предгорья Кавкасиони чуть ли не с Иберийских камней, и поход их, долгий исход, был поиском убежища.

Старая Кахетинская дорога привела суровых переселенцев сюда, на другой от Велисцихе берег ревущей молодым голосом реки Алазани, где они разбили первый виноградник.

Тащились волы с повозками. Пыль столбом. Смешалась кровь кахетинских виноградарей с дышащей порохом, усталостью и огнем кровью иберийцев-пришельцев.

Сам первочеловек, праотец края Тархнишвили, вылепивший Велисцихе и жителей деревни из глины приречной, стоял недвижно, крепкий, как дуб, и уже седой, с хмурым лицом, и глядел на опаленных голодающих беженцев и молча звал их ветхой рукой на свою землю.

Кое-кто из голодной, измученной исходом толпы останавливался, братался с велисцихскими виноградарями, женился на их дочерях, рожал потомство. Смешивалась кровь гонимых и оседлого народа. Густым черноземом текла в жилах тружеников земля.

Кахетинцы решили, что, породнившись и побратавшись с переселенцами, они уже давно освоили пространство вокруг своей деревни Велисцихе.

Победили его. Но люди здешние ошибались и сами смутно догадывались об этом. Недаром они боялись дороги в сумерки, когда она серела и звон тишины и тоски разливался над опустелыми полями и виноградниками, мертвеющая песня которых смешивалась с младенческими гаснущими голосами виноградин, рассыпавшихся из опрокинутых, раздавленных корзин. Виноградины пели светлыми голосами, но сами уже простились с жизнью и солнцем.

Это был каждому близкий с детства звон опустелой земли, уставшей многодетной роженицы.

Красная медь остывающего солнца тонула в притихшей, настороженной воде Алазани, так и не дождавшейся в эту осень, как и на других праздниках урожая, своего кряжистого жениха-дуба с седыми, размашистыми крыльями. Овцы, белея в сумерках, возвращались с летнего пастбища. Жаловалась кому-то тонкоголосая свирель. Крестьяне тревожились.

Это был страх не только ночи, но и полдневный, вечный животный ужас перед солнцем близящегося заката, тоска ослепшей рощи, застывших как бы в недоумении полей и холодных теперь, выгоревших пастбищ, где бродил с дудкой косматошерстный, козлоногий увалень Панто.

И чуяли крестьяне: вот скопища выросших деревень, виноградников, базаров и складов — а пространство Велисцихе никем еще не завоевано.

Даже когда, борясь с градом, морозом, ураганами, чумой и голодом, голодной смертью, мироеды устраивали безобразные, пьяные шествия по Старой дороге под бой барабанов, и крики дудок, и рев напуганной скотины с соломой, горящей в рогах.

Страх пространства ужасал кахетинцев.

А боролся с открытым пространством, пытаясь дружить с ним, только один человек в Кахетии.

Аробщик Ило из Велисцихе, деревни, плющом и виноградом обвитой. Вот бы перевить цветущей лозой весь мир!

Крестьянину, повстречавшемуся с медленно едущей арбой Ило, идти по дороге, а день будет тащиться; поэтому если он спешил на базар, или в дальнее поле, или в чужую деревню, то старался, чтобы ему на глаза не попадалась эта надоедливо скрипящая повозка.

А между тем Ило один взялся за неимоверно тяжкое ремесло, он осваивал дорогу, побеждая пространство. Хотя прекрасно знал, что победить не сможет никогда.

Колесо арбы скрипело испокон веку.

Пространство Кахетии рождало ночь, и напуганный крестьянин прятал от пожирающей ночи свою семью, накрывал рогожей старую, беззубую мать. хватался за мотыгу, отбиваясь от мрака. Отбивался мотыгой от смерти. Мотыга — орудие жизни.

Волчий голодный вой чудился страхом открытого всем ветрам и огню пространства.

Если крестьянин подсаживался на ползущую арбу, то недолго выдерживал. Соскочит на землю и идет, опустив голову. Улыбка трогала губы аробщика. Он словно бормотал:

— Давай, садись, поедем вместе, чего побледнел? Будем вместе бороться со Временем!.. Ведь как только выйдешь на битву с пространством, сейчас же нападет на тебя многоголовое, яростное Время.

Время тащит крестьянина в свой темный омут.

— Эх, вы, горе-виноградари! Никто из вас ни разу до конца так и не смог схватиться с открытым пространством.

Не сделался его хозяином.

Все держится на Ило-аробщике. Но ведь и он немолод, с голодной семьей на плечах, для прокорма надо ему вечно находиться в движении.

Не единожды пытались убить его в пути подосланные мироедами наемные убийцы: как только крестьяне с помощью Ило овладеют пространством, они сбросят ярмо мироедов-пауков.

Аробщика ударили топором по затылку, Ило падал с арбы, вол, лениво перестукивая на месте копытами, ждал его темной смерти, тяжкого выздоровления от раны. Ило валялся в закрутевшей грязи, задавленный настороженной тишиной, пытаясь, умирая, расслышать в горьковато-пресном воздухе спасающее его грудь дыхание земли.

Отцвели давно кучки засохшей травы. Ило жадно вдыхал близящуюся ночь. Убийцы поспешно бежали по грязи. Голая колючка смотрела в подернутый пеленой крутой глаз вола. Ило всползал на колени, хватаясь за грязное колесо. Грязь окрасилась каплями свежей, темной крови.

— С топором бросаться на пространство? — усмехнулся Ило, преодолевая в затылке тупую боль.

Они хотели убить аробщика. Но ведь без аробщика все кругом станет бездной.

Бездна утопит всех, и крестьян и мироедов.

А Время с лицом, ободранным в кровь, в ссадинах обид, вновь наступало на деревню Велисцихе, Время пыталось пожрать и перепуганных крестьян и их пищу, все скверно сваренные початки кукурузы, жесткое козлиное мясо в закоптелом глиняном горшке. Даже рев зарезанного быка с выколотыми ножом глазами не мог подавить, свалить наступающее отовсюду Время голодающей Кахетии.

Крестьяне устали от повторов, от сытости и голода, от лета и зимы, они давили босыми ногами в круглых деревянных корытах спелые грозди, крестьяне в черных расстегнутых рубахах падали грудью в эти тяжко и сладко пахнущие корыта, переполненные пьянящей, кружащей влагой, лежали так, завороженные духом молодого, вскипающего напитка, им давно надоели шумные, звериные празднества с убийством осеннего бога Дионисэ, резать его каждой осенью, как беспомощного барана. Но пролитая жаркая кровь бога-жертвы не спасала Кахетию от великого голода, от мора и чумы.

Все равно они все, труженики-виноградари, оставались вечной жертвой Пространства, родившего Время.

Истощенные криками и воплями крестьяне, ползая по земле среди опавшей листвы, залитой кровью животного, жадно слизывали эту невинную кровь горячими языками, а ведь даже смотреть на нее, пролитую, считалось злом.

Месть для них — вода, бушующие потоки, несущиеся напролом на поле, ломающие виноградники, уничтожающие ухоженную землю.

Или засуха.

Мычит издыхающая скотина.

Чума.

Мор человекобыков Кахетии, стада которых когда-то в седой древности паслись на берегах молодой, полной мощи и страсти Алазани. Женщины на коленях умоляли спасти их реку, обмелевшую и иссохшую от зрелища кровавых игр и жертвоприношений. Женщины кормили желтую, темную от глины речную воду последним куском черствого хлеба, отнятым у кричащего ребенка.

Крестьяне Кахетии устали. Они не могли больше отвоевывать свое древнее, родовое пространство.

Неужели опять пытались убить Ило-аробщика? — всполошились крестьяне.

Они гурьбой побежали к дороге.

Ило упал рядом с колесом, даже не вскрикнув.

Похолодел лоб. Затылок разбит. Лицо пожелтело и осунулось.

Он не мог вновь залезть в арбу, хотя и хватался за колесо слабыми руками.

Вол приподнял грузную голову и вслушался в перепуганный топот босых крестьянских ног. Вол пытался расслышать песню, которая рождалась в зеленых зарослях виноградников.

Где песня? — недоумевало животное.

Позабыл несчастный, загнанный вол, что сама движущаяся арба, скрип медленно ворочающегося колеса рождал дорогую его сердцу песню. Забыл вол, что он сам с длинными ненужными рогами был отцом песни, а матерью — дорога.

Падая и оступаясь, бежали сюда на помощь велисцихские крестьяне. Придорожный бурьян блестел кровью аробщика. Ило лежал неподвижно, грудью и лицом в пыли, подвернув под себя вытянутую руку.

— Как же нам теперь? — недоумевали крестьяне.— Кто выступит на битву с пространством?..

Крестьяне повернули аробщика на спину, приподняли. Возле самого колеса, не страшась ни запотелого крестьянского ножа, ни ружья неутомимого, упорного охотника, замелькали, прыгая, перепелки. На перьях их блестела размазанная капля человеческой крови. Это говорило о том, что перепелки своим настороженным серо-камышовым глазом с желтой круглой бусинкой видели, как подосланные мироедами убивали аробщика.

Птицы и звери не враждовали между собой, когда человек убивал человека.

Ило уложили в арбу. Исхудалое лицо его, небритое, осунувшееся, смотрело в пустоту неба. Он никогда не видел неба, смотрел только на изрытую, в ямах и ухабинах дорогу. Рот дрожал холодным потом, крошками черного хлеба, осадком табака.

Если арба выезжала в степь, степью дышала грудь.

Дикая степная горечь дымилась во взоре. Небо настороженно слушало песни Ило, страшилось, что однажды стая песен захватит небо.

Пленит пространство. Ило лежал в арбе. Арба поплыла. Вол двинулся в Велисцихе. Влажными виноградными листьями люди обложили лоб раненого.

Листья намокли от густой крови. Вол с трудом тащил копыта.

Заблеяло детскими, несчастными голосами стадо овец. Крестьяне понуро шли за арбой. Усталые лица их взмокли и посерели. Глаза ввалились. Страх пространства грозил погубить урожай.

Тянуло с берега реки глиной. Солнце заливало поникшие грушевые сады. Остановилось и подняло головы стадо коров.

Арба скрипела.

Запахло молоком и теленком. Теленок стоял, помахивая коротким хвостом, и глаза его сделались темными, присыпанными страхом.

Кровь раненого человека напугала теленка. Налетел горячий ветер и взъерошил щетинистую спину. Теленок взмахивал облезлым хвостом и мычал. Столько соленого, невкусного воздуха он испил, бродя со стадом. Подбородок Ило торчал кверху, темнея.

Перепелка бежала за стонущим колесом до самой деревни. Арба въехала в Велисцихе и остановилась. Ило медленно раскрыл глаза. Черная тишина давила на веки. Хотел было улыбнуться аробщик, но не смог. Привстал, опираясь на локоть. Все кружилось.

Тупая боль в затылке. Вышли к арбе крестьяне из жилищ и молчали.

— Прогоните перепелку,— выдавил он.

Ило боялся, чтоб никто не убил птицу из озорства.

Зашумели крестьяне, и перепелка метнулась в придорожную канаву, исчезла.

— Она спасла меня,— слабым голосом объяснил аробщик.— Не дала забыться.

Скрип колеса всегда волновал перепелку. Аробщик выжил. Снова поплыла в путь его повозка.

Крестьяне могут болеть, умирать, а труд ждет всегда.

Даже мертвые, в гробу, они лежали неподвижно, лица же их, изнуренные работой и тяготами, дышали мощью.

Рот в горькой складке, а само лицо труженика, освобожденное от насущных забот и будней, дышало гордостью земледельца.

Гордость эта уходила вместе с мертвым кахетинцем в землю, чтоб весной прорасти острым зеленым ростком.

В крепком, загорелом лице Ило, пока он ехал в арбе, понукая вола, жила родовая сила крестьянина. Но стоило ему слезть с арбы, как эта неимоверная силища покидала его. Освоение пути давало этому человеку власть и уверенность в себе.

Ведь Ило с младенчества сроднился со Старой дорогой ежедневной, ежегодной ездой по ней, по кругу, и именно в этом древнейшем ремесле семьи дышало его крестьянство. Недаром Ило-аробщик дружен с пахарем Вано.

Вано пахал землю вглубь, разрезая ее сохой и плугом, а аробщик объезжал ее по все расширяющимся вековым кругам.

Когда Ило возвращался через три дня, или шесть, или девять дней или месяцев, или даже годов, то всегда выяснялось, что сделан им был малый, средний или большой круг сезонно-земледельческой жизни, и круг одинокого, поющего в пути аробщика и земледельческий труд общины велисцихской совпадали и страшились друг друга.

Несчастья и стихийные бедствия в поле или на винограднике неожиданно останавливали далеко уехавшего Ило, а поломка колеса или недомогание вола поражало недородом землю.

Жизнь общины крестьян шла по кругу.

Когда аробщик Ило вместо Тархнишвили с повозкой, запряженной буйволом Або и подгоняемой погонщиком Ашотом, отвозил тело умершего крестьянина к пещере Хуца, он должен был ехать туда непременно по кругу, хотя есть туда и легкая дорога.

Пещера принимала мертвого только после обрядового круга.

И золотом горящая голова подсолнуха тоже плыла за солнцем.

И ежегодная схватка осенних виноградарей с богом Дионисэ, высеченная на стене пещеры Хуцем,— это тоже пылающий кострами вечный круг жизней и смертей.

Когда-нибудь настанет день, и соединятся сбор урожая, на камне выдавленный, и праздник живых крестьян в дышащем красным, пряным соком винограднике. Верх и низ соединятся.

А пока колесо тащится по кругу.

— Я иду вглубь, а ты вширь,— говорит пахарь Вано аробщику.— Но мы братья!

— Два брата,— кивает Ило.— Но каждый жаждет погибели брата.

Оба хотят вырваться из круга.

— Даже бог Дионисэ,— соглашается пахарь.

— Вся деревня хочет разорвать вервие рода!

— Всем надоело быть связанными одной веревкой!

— Народ хочет свободы!

— А свобода — погибель! Гибель колеса — хаос!..

Раз в год встречались у края вспаханного поля пахарь Вано и аробщик Ило. Здоровались, раскуривали крепкий, горький табак. Молча курили. Не глядя друг другу в темные от трудовой пыли, исхудалые лица.

Без орудия своего труда каждый беспомощен, как слепой червь.

Ило слезает с арбы ребенком. Снимает с плеча здоровенный плуг Вано и падает со стоном на оба колена, разваливая под собой землю. Глаза двух собратьев, воспаленные и темные от жажды свободы.

Жаждут вырваться из обрядового круга побратимы.

— Да будет проклято колесо! — орет деревня.

Гул растянулся над долиной. Дрожит земля. Гудит холм.

Шатается на холме от криков толпы череп коровы.

— Погубим колесо, убьем Кахетию! — волнуются крестьяне.

Каждый, кто хочет завоевать пространство, должен положить в медленно плывущую арбу Ило ничтожный дар: мешок картофеля, початки кукурузы, связку хвороста, бурдюк вина. И иди за арбой, сокрушай дали с серой коростой страха, ползущей по костлявому лицу. Ило усмехался. Ненадолго хватит смельчака.

Скрип колеса терзал его сердце.

— Хватит! Остановись! — кричал малодушно храбрец, побледнев, с бьющимся сердцем.— Дальше не надо. Не могу! Стой!

Легло на дорогу черногрудое, ветреное небо. Пахло ежевичным соком остывающей зари. Луга дышали холодом и одиночеством. Луговые травы синели в капельках росы. Звала одинокого путника ягода ежевики. Дышала пьяным соком. Вспоминал о домашнем очаге Ило-аробщик. Понукая вола идти в пустую ночь, не переставал слышать треск свиного пахучего сала в жаровне. Сводил с ума дымный запах угорелой древней картошки. Пеклась картошка.

Вол останавливался, вспоминая дух вкусного домашнего хлеба. Оба молчали. Ило бил животное палкой. Вол не трогался. Ило кидал в сторону палку. Вол затихал. Человек и скотина мечтали.

Вол чуял медленную дорогу и уже приготовился к ней снова.

Лицо Ило тоже застыло и, казалось, даже расширилось от предчувствия пути. Он страшился первого поворота громадного деревянного колеса. Капли тонкого, мелкого дождя засверкали в щетине смуглого лица. Ило опустился перед колесом, прижался к нему лбом.

Потом поцеловал грязное колесо искаженным от неслышного плача ртом.

Сумасшедшая Эка швыряла в ночи в арбу тяжелые камни.

— Отвези их моему сыну! — сквозь дождь и ночь, душистую от мокрого сена, кричала она.— Пусть он вернется. Эй, человек! Спой песню, как ездил за солью на свои раны!..

Ночь съела арбу. Арба скрипела.

Ило затянул глухую песню.

— Нас ждет убийство,— отвечала ему земля.

Колесо со скрипом, тяжко дергалось. Сопел вол. Никли его страшные, беспомощные рога.

Не спал плотник Тархнишвили.

Как и вся деревня, слушал хриплую песню родового колеса.

## СБОРЩИЦЫ ХВОРОСТА

В густой чаще стонал человекобык.

Маро-корова прислушалась к сдавленному стону. Столб света, дымясь, охватил стволы. Ветер нехотя выдувал завалы ослепшего, умершего снега. Маро пристально смотрела в серую глухоту разбуженного леса. Велисцихские женщины, ломая спины, собирали жалкий хворост. Человекобык Иштар отсиживался в яме.

Боялся охотников-мироедов с ружьями, ножами и топорами.

Страшился загонов, кольев, острых вил. С неприязнью и темным страхом поджидал мстящего бога здешних мест. Надвигалась судьба потомка древних исчадий земли, человекобыков. Хлынет кровь зверя. Мать моя была коровой, а буйвол-предок неистов и яростен, он покрыл ее!..

Лес жизни дышал мраком.

Ноздри чудовища опалены.

Тает кровь дубовых поленьев. Мироеды-хищники безжалостно вырубают лес. Юноша-бык задыхался от угарного, ночного ветра.

Иштар смолк, не стонал. Бычья морда его падала на грудь юноши.

Резко и страшно прокричала, кружась в небе над дубом, птица Пашкунджи.

Пашкунджи ревновала дуб к шумнопенной Алазани с зеленой, быстрой волной. А буйвол Або, тягловая скотина, которую нещадно колотил палкой голодный, тщедушный бедняк-погонщик Ашот, ревновал свою бывшую жену Маро к нелюдимому плотнику.

Встретив женщину, буйвол останавливался. Колесо надсадно повизгивающей повозки замирало. Ашот нещадно бил буйвола, погонял:

— Давай! Давай!

Або упрямо стоял, не двигаясь.

Буйвол-предок Або никак не мог смириться с тем, что он немое, копытное, забитое и подавленное животное, а она крестьянка, чужая жена и между ними пропасть в тысячу лет.

Он не двигался.

Слишком близко видел тягловый буйвол родные коровьи глаза этой изможденной трудом женщины с давно огрубелыми руками.

Глаза, задушенные любовью.

Эй, Маро!

Я — муж твой, я — буйвол.

Остановись!..

Думаешь, что сделалась женщиной и спасла род?..

Эй, корова! Мать людей, дикая мать, вышедшая замуж за древнего плотника. Погибло стадо человекобыков. Пора нам вернуться назад, в прошлое, сделаться глиной.

— Иди, дурень! — ругался перепуганный погонщик Ашот, сам в лохмотьях, размахивал палкой.

— Маро! — стонал буйвол вслед уходящей женщине.— Сними ярмо с моей шеи. Освободи от кабалы!

Спаси от вечного хождения по кругу!..

Вздыбился и гудел холм.

Буйвол-исполин стонал. Кровью черной налились глаза.

Могучее тело погибало.

— Оставь меня! — вдруг замычала Маро.— Я — женщина. Я — мать!..

Исполин тяжело наваливался на нее сзади, мог раздавить насмерть. Ашот-погонщик орал, убегая и схватившись в ужасе за голову руками.

Кричал на помощь народ.

Взбешенный буйвол горячо лизал женщину, терся лбом о ее шею, бил копытами о дорогу. Пахло опаленной шерстью, раной.

Маро пыталась обернуться к буйволу, оттолкнуть ослабшими руками его несчастную голову.

Бороться с ним, ухватив страшный рог, нацеленный прямо в ее коровье, одинокое сердце.

— Оставь! — мычала она.

В толпе крестьян бежал на помощь Тархнишвили с поднятой дубиной.

Мраком закрыло взор умирающего буйвола. Били его нещадно.

Предсмертная, первородная истома обезумевшего животного поперхнулась кровью.

— Не убивайте его! — плакал и носился в толпе бедняк Ашот.— Я подохну с голоду!

Опоганенная женщина лежала в грязи.

Раздавленная.

Маро звала сына.

Громадный буйвол в ревности раздавил ее сердце.

С криком пролетали в холодном небе гуси.

Почернела растерзанная трава.

Опухшими пальцами женщина гладила черную траву.

Маро приподнялась над оскверненной землей, прикрывая занывшей рукой голую исцарапанную грудь.

Крестьяне сгрудились возле дороги и хмуро глядели на измученную женщину.

Они собрались ее изгнать.

Маро, харкая кровью, ползла к своему жилищу.

Утро, стылое как ночь, не торопилось охватывать огороды, поле, влажный луг.

Ночные тени держались повсюду. Недовольно вскрикнул петух, встревоженный битвой буйвола и женщины. Из жилищ несло остывающей золой и пересоленным салом.

Буйвол глыбой замер на проселочной дороге.

Вот и он тронулся в путь, давя землю... Он шел, низко опустив голову с громадными рогами. Глаза его уже вылиняли и щурились. На душе — пустота.

Он не добыл желанной свободы.

Маленький, жалкий погонщик Ашот понуро плелся позади.

Буйвол медленно вспоминал.

Женщина пахнет глиной! — упорно думал он.

Горло тягловой скотины высохло.

Женщины собирают хворост.

Опустился на колени Иштар, юноша-бык. Стоял так долго, подняв лицо, смотрел в разорванное по краям верхушками грабов мертво-слепое, белесое небо. Шевелилась, замирая, ветка тиса. Грудь чудовища сдавлена немой болью.

Бычья морда темнеет.

Напрягся мускулами молодой парень.

— Спаси мою голову! — умолял юноша.

Сердце Иштара разорвано.

— Родители меня прокляли,— шепчет он.— Я — чудовище

Бычья голова с короткими, сильными рогами кружилась.

Иштар вздохнул, и почудилось, что развалилась гора, объятая ночью.

Кровавые слезы текли по морде быка.

— Иштар! — долгим, безнадежным криком зовет его Маро.— Где ты, сын? Ты замерз? Ты голодный?.. Сад хар, швило?..

Гудела гора за гомборским лесом.

Крестьянки, насобирав связки хвороста, в благодарность дубу-хозяину водили вокруг него хоровод и мычали.

Маро, коснувшись щекой железного дуба, зажмурившись и стиснув зубы, просила отвести погибель от сына Иштара.

Кабаны, напуганные горем матери, перестали возиться и шуршать листьями в логовище. Женщины взвалили на согбенные спины охапки хвороста. Сейчас женщины тронутся в дальний путь, назад. Лаша одноглазый погнался было за ними, да приотстал. Эка немо и хрипло голосила, выпытывая у насупленного дуба, где зарыт убитый на войне сын.

— Я хочу приволочь на его могилу камень!

Дуб не отзывался.

Она снова теряла рассудок.

Готовилась к охоте рысь. Холодные тени удлинялись.

Заухала с угрозой сова.

В гомборском лесу голодно и страшно. Велисцихские женщины в хороводе клялись дубу спасти лес. Дуб молчал. Тоска липла к его израненному сердцу.

Никому уже не верил патриарх. Стоял, закрывшись поседевшими крыльями.

Птицы из глины молча уселись на верхушку. А на ветвях раскачивались тени: это были мертвые люди. Мертвые кахетинцы.

Наши предки.

С кем же был многострадальный лес? С уходящими в туман собирательницами хвороста или со своим одиноким, умирающим вождем? Скоро он и сам двинется в сторону ползущего навстречу сырого тумана, на зов быстрокрылой и неугомонной Алазани.

К своей неутоленной, иссушающей любви.

Раз в тысячу лет седой дуб бредет к реке для омовения тела, а потянувшийся за ним осиротелый лес с тревогой ждет его, остановившись на обрыве.

Алазань несется с гулкими шумом и рокотом, волоча каменья.

Не может обернуться к возлюбленному. Реке стыдно. А дуб ждет.

— Лес — это костер оргий! — поет Дионисэ.

— Дуб умирает! Гибнет лес! — поют женщины, карабкаясь по склонам.— Уходят предки!..

— Исчезают тени! — подхватывают птицы глиняными голосами.

Женщины поют печально, с темными лицами, кружась в сумерках вокруг сжавшегося на ночь леса.

Шуршит за спинами хворост.

Кабан-вожак поблескивает в свете луны остро наточенным, беспощадным клыком.

## Я БЫК, ТЫ — КОРОВА!

Обняв лозу старой жилистой рукой, Тархнишвили плакал над погибшим на войне сыном, который мог бы превратиться в крепкого мужчину, настоящего кахетинца, продолжателя рода, любящего землю и виноград. Эх, жаль, что Алазань вышвырнула плотника обратно, к каменистому берегу, когда он бросился в бурлящую, страшную воду, получив черную похоронную весть.

— Где мой сын? — жаловался плотник темной воде. В седой щетине давно не бритых щек поблескивала стариковская слеза.

К воротам сельского кладбища иногда ходил плакать плотник Тархнишвили, один, в дикие для души дни, чтоб никто из односельчан не видел старейшину и древнего человека плачущим в одиночестве.

Но в ограду кладбища он никогда не осмеливался войти, ведь не было там могилы сына и тела, преданного земле, никто не имел права оплакивать непогребенного; старик останавливался неподалеку, опускался на колени, целовал бурьян, журчал в лощине ручей, плескался радостно, не замечая чужого горя.

Однажды к нему приблизился и коснулся рукой его спины Петрэ-дезертир.

Плотник не спеша обернулся, удивленный, нахмурясь, отряхивая пыль, тяжко поднялся с колен, отступил немного назад, в пыль идущей мимо дороги, побледневший, с жарким, потным лицом, и вдруг рот его брезгливо сжался, когда он разглядел всеми презираемого дезертира, лицо плотника потемнело от негодования: как посмел этот трус подглядеть его стариковское, глубокое горе!

Петрэ молча протянул ему пожелтевший солдатский треугольник с каплей выгоревшей крови. Фронтовое, не дошедшее, на тридцать лет затерявшееся письмо с выгоревшим штемпелем полевой почты.

Это было одно из целой стаи отправленных плотником из Велисцихе к убитому сыну на фронт писем, что, испачканные пороховым дымом и дымом пожарищ, неизменно возвращались обратно, их приносил назад печальный вестник деревни Сандро непрочитанными и даже никем из солдат на далеком фронте не распечатанными, солдаты не решались прочесть глухие слова отца к исчезнувшему в кровавом поле сыну, усталые воины боялись читать горячие, сумасшедшие буквы живого отца к мертвому, и вот фронт возвращал их, погружая в сгоревшие, простреленные пулями вагоны, измазанные человеческой кровью, а потом, когда вагон опрокидывался от взрыва, каждое такое не дошедшее до убитого ребенка письмо тащила на худой спине слепая лошадь, еле двигающая разбитыми копытами, но нюхом чуявшая дорогу жизни, валилась на бок с печальным ржанием лошадь, и сумку с мертвыми, не нашедшими мертвых детей письмами перехватывал деревенский вестник, житель Велисцихе, и бежал с ними, не останавливаясь и не переводя дыхания, искал хозяев в поле или на виноградниках, кричал осипшим голосом, звал хрипло, стучал в запертые, с задвинутым засовом тяжелые двери сарая-мастерской плотника, никак не мог достучаться, бил по сараю ногами, кричал, а потом засовывал вернувшееся письмо под камень у порога и устало бежал дальше, к другим родителям, зная, что плотник тихо, как мышь, сидел в сарае и не откликался на стук и крики вестника, прятался, обхватив горестную голову старыми, натруженными руками.

Страшился старик в тридцатый раз услышать про огонь, пожравший дорогое тело сына, не хотел брать в руки свой треугольник, привезенный издыхающей клячей, не желал, хрипло засмеявшись, ощупывать одеревенелыми, не гнувшимися пальцами капли крови на закопченном лоскутке, а потом, как всегда, забросить его к другим бродячим письмам, нашедшим дорогу к родному очагу, в брезентовый мешок, пропахший столярным клеем, табаком, стружкой и слезами.

В мешке хранилась целая стая этих почерневших голубей смерти с опаленными крыльями, погибших птиц осени, плотник подкладывал брезентовый, туго набитый мешок под голову вместо подушки и лежал ночи напролет с холодными, открытыми глазами, сочиняя ответные слова убитому, жадно, по-детски, наивно веря оправдательному шепоту нерадивого, жестокого сына, жестокой его медлительности и молчанию.

Может, сын хотел, чтоб старик простил его, хотя бы через тридцать лет после войны.

Плотник поднимал с брезентового мешка свою седую, несчастную голову, ждал, что скажет сын.

«Я молчал, отец! Я должен был привыкнуть к последней тишине, на встречу с которой ты отправил меня защищать землю».

Горько рыдал плотник в брезентовый мешок.

Стыдился, чтоб соседи не услышали его плача.

А вот это письмо, пропеченное солнцем и выбеленное морозами, наверное, обронил Сандро, быстроногий велисцихский почтальон.

Петрэ-дезертир подобрал его на Старой дороге.

— Где взял его? — помрачнел плотник.

— Нашел в дорожной пыли,— спокойно ответил дезертир.

И поглядел, не страшась, в сморщенное лицо плотника.

Плотник потемнел.

— Можешь ударить меня,— усмехнулся Петрэ с горечью.

Дезертир не собирался ждать от сурового плотника, от помрачневшего его взора слабой тени прощения.

— Уходи! — прохрипел старик и отвернулся.

Плотник, сутулый, пошел к берегу прохладной реки, лег у обрыва грудью, сжимая во вздрагивающей руке задушенное письмо, и разглядывал слезящимися глазами ярящуюся пеной, быстро несущуюся мимо зеленую воду и никак не мог расслышать своего задавленного в кулаке крика.

— Я родился раньше дуба! — стиснул зубы плотник.— Я старик, а дуб — юноша!..

Ночью в большой кровати, срубленной им из грушевого дерева для покойной теперь жены Анико, сраженной пулей, убившей их сына, плотник лежал и не спал, прислушиваясь к неровному, беспокойному дыханию Маро, она мучилась, хотела, чтоб широкое крестьянское, коровье лицо ее было завалено пахотной, тяжелой землей, чтоб усталое, застылое лицо женщины с несчастным взором рогатой коровы хоть на одну ночь, на два-три часа до самого первого крика подземного петуха погрузилось в забвенье.

Но ночи приходили и уходили, пахло сухими тлеющими кукурузными початками, а грудь, разболевшись, не давала покоя, и ныли руки и ноги.

Плотник надевал шлепанцы, шаркая, плелся в винный погреб, марани, заставал там петуха, застывшего как изваяние, как бы родившегося из глины и сидящего на бочке, мерцая замогильно глазом.

— Сидишь! — сердито кричал плотник и, схватив палку, бил с размаха по гордой голове с горящим гребнем, и петух на мгновение рассыпался сажей, дымом, чтоб воскреснуть из мертвых следующей ночью.

Век ли еще мне бродить по Кахетии, придавленным к земле внезапным тревожным криком петуха?!.. Застигнутым этим пронзительным воплем.

Маро даже во сне пряла пряжу, пряжа, свешиваясь с дуба, родила родовое время.

Дом плотника был пронизан сочащимся, вечным духом бессмертного вина. Терпкого и нетленного вина жизни. Дух этот горел белой свечой, согревая и освещая старое жилище, солому. Цветущим зеленеющим огнем сочилась Алазанская долина в каждую дыру низкого дома, ломилась через поваленный забор в заглохший сад, подстерегала каждого умирающего старика

Нет спасения кахетинцу от долины жизни, от долины тысячи поющих виноградников, даже когда он в одиночестве, забиваясь в самый глубокий погреб своего бедного убежища, измученный подневольным, тяжким трудом, голодом и смертями, над чашей глиняной холодеющими губами произносил тосты своих предков как заклинание от несчастья.

Алазанская долина, оставь в покое мою душу, не терзай кахетинца!

Плотник не мог, стыдился произнести в бездне ночи слово любви своей жене Маро, боялся признаться в слабости, дышал духом очага, чтоб признаться ей,

чужой для деревни женщине, которую все здесь звали коровой, пусть так, но он любит корову, он раб коровы, она спасает и греет его застывшие, одинокие кости.

Закапывает их в сено лежалое. Шумно вздыхая круглыми ноздрями, она лижет шершавым, теплым языком несчастную его руку.

Женщина! Любимая женщина с тяжелым, коровьим сердцем.

Она несла на своей спине род кахетинский.

Она была землей. Судьбой старого плотника. Старик ревновал ее к буйволу, которого избивал палкой низкорослый, тщедушный погонщик Ашот.

Велисцихские крестьяне поговаривали между собой, что плотник не в своем уме, впал в слабоумие и пора снять с него обязанности старосты.

Петух ночи сидел на бочке с вином. Никто не слышал его сдавленного крика, один плотник.

В дырявом ведре, в углу сарая, толпились сухие колосья.

Роса блестела на них.

— Я — мужчина, ты — женщина! — сдавленно выкрикнул плотник в рассеивающуюся, предутреннюю хмарь. — Маро!..

Резко ударил в нос запах тления, сухого прошлогоднего зерна.

— Я — бык, ты — корова!..

Алазанская долина распрямила грудь. Плотник, сердито оглянувшись на петуха, схватился за хлыст. Но петух только дрогнул перьями и, повернув голову с красным гребнем, равнодушно посматривал сонным глазом.

— Мне плевать на твою судьбу! — говорил петух.

Плотник отвернулся от жены. Вспомнилась она ему, едущая в Велисцихе верхом на громадном буйволе, а позади шел подросток-человекобык, крестьяне орали, выли от страха, кричали, бросали в чужаков камни, палки, комья грязи.

И поднимался из низкорослых, ржавеющих кустов ветер с осиплым лаем, как сторожевой, голодный пастушеский пес. Пес бросался на ночной, влажный туман, рвал его в клочья оскаленными зубами. От смешанного запаха снега и навоза мутило пса. Изголодавшийся пастушеский пес давился черным, мерзлым снегом. Буйвол задохнулся нахолодевшим налетевшим ветром. Продавленные следы от копыт темнели кровью. Глубже зарылся в землю слепой червь, страшась погибели. Буйвол понуро шел вперед, а червю чудилось — это землетрясение. Даже исполинская рыба из камня не дышала во мраке земли.

Набрякшее буйволиной кровью небо давило на поле. Далекие виноградники отступали, измученные дикой схваткой с ветром, с пастушеским свирепым псом. Рвал края далей острыми волчьими зубами взбесившийся пес.

Плотник бежал навстречу всаднице на буйволе. Лоб плотника дымился кровавой испариной.

Это судьба! — гудели виски.

Свора очумелых от лая велисцихских собак присоединилась к псу-ветру, и они, надрываясь и оглашая окрестности жутким, предсмертным воем, кидались на буйвола, равнодушно двигающегося на них по влажной от грязи проселочной дороге.

Летели в чужаков палки и камни. Юноша-бык сжался голым замерзшим телом.

— Оставьте их в покое! — выкрикнул плотник.

В одной ночной белой рубахе, босой, он бежал, утопая в грязи, навстречу буйволу с женщиной. Острым колом глухо ударила в грудь плотника ревность.

Она будет моей! — подрагивали голые колени плотника.

Петух взлетел над головой плотника, осыпая его облаком взлохмаченных перьев. Петух пытался заменить собой солнце, издевался над потерявшим рассудок стариком.

Солнце зимнее еще не пробудилось, сидело связанное в плену, в пещере, никак не могло въехать на громко визжащей повозке с огромными деревянными колесами в деревню Велисцихе.

— Негодяй! — задыхался плотник.— Вот я тебя палкой.. Подыхай! Живи впроголодь! Не дам зерна!..

Петух не кричал. Не будил долину. Что же делать?

Земля и виноград не могли ждать.

Тогда, задыхаясь от негодования и возмущения, в одной белой рубахе, чуть ли не в саване, босой, меся топкую грязь, бросился плотник на забор, влез на него, оцарапал старые, обнаженные ноги и, схватившись за колья и раздувая в бессилии впалые щеки, закричал как мог, подражая бодрому крику обнаглевшего петуха-нахлебника. Женщина сидела на буйволе. Буйвол остановился.

Плотник кричал захлебываясь. Растаращенными, выпученными глазами разглядывал свою будущую жену.

— Я — корова! Я — корова! — испуганно забормотал ее рот.

Ошалело глядя на нее почерневшим взором, плотник бросился к женщине, пытаясь обнять, стащить вниз, не страшась хмурого буйвола, лез к ней трясущимися руками, а она упиралась с обидой в его нервно дышащую грудь.

Плотник задыхался.

— Холм между мною и тобой свидетель, — дрожал его запекшийся горячий рот. — Я — муж твой!..

Солнце, улыбаясь, ехало на арбе по деревне. Арба подпрыгивала на ухабах.

Пахло просыпавшимся из рваной рогожи овсом.

## ОВЦА

В закуте по соседству блеяла овца, пробуждаясь от дремы и мрака зимы.

Шерсть грязными клочьями торчит в разные стороны.

Овца наголодалась за зиму, исхудала, бока опали. Но она была напугана обилием проснувшегося, теплого воздуха. Чернота кое-где крепко держала землю.

Две-три худые овцы испуганно прижимались к хмурому барану с кривыми, загнутыми рогами, пытаясь найти спасение от холодного и низкого, несмотря на брезживший свет, неба.

Плотник женился.

Большая овца шарахалась из-под ног пьяных крестьян, голодная и напуганная свадебным шумом.

Окружали ее крестьяне с небритыми, тупыми, невыспавшимися лицами.

Овца металась. Озноб продирал ее тощее тело, худые ноги.

Мерзла даже голова с короткими рожками. А круглые, всегда невинные глаза, постаревшие за зиму, уже отогревались, в них шевелилась овечья душа.

Легкое, молочное, бескровное от голода сердце сжалось детской тревогой.

Растущий свет дня пугал овцу.

Чужое похмелье.

Низко полз над полями горелый запах чужого мяса, что жадно раздиралось кривыми, торчащими зубами крестьян.

Овца пугливо, со стуком переступила по настилу копытами, попятилась.

Гомон, дым и веселые крики, чад похмелья напомнили ей другой праздник и пастушеский нож, которым зарезали ее младших сестер и братьев.

Она тогда уцелела, но исхудала, опечалилась бесцветным, стылым взором, вспоминала тепло их шерсти.

Острый, длинный нож блестел родной кровью. Никто не слышал смерти.

Кровь свежая струилась на радостно пьющую ее траву.

Теперь трава давно высохла, жестко торчала из талой земли.

Кровь сестер и братьев пахла ею самой, испуганно метнувшейся в сторону овцой. И вот теперь рыхлый, сверкающий на солнце снег, желтея, слепил усталые глаза пережившей зиму овцы. Взор ее сделался каким-то ржавым от предчувствия ранней смерти.

Правда, немного успокаивала душу бедная, глуховатая дудка слепца на свадьбе плотника, вздумавшего жениться на старости лет, при умирающей первой жене Анико.

Пение дудки напоминало овце стадо, шедшее лугом по вечерней, влажной заре. Овца зажмурила ржавые, пыльные глаза.

Подгибая тонкие колени, медленно улеглась она на грязную подстилку из рогожи и, задремав, двинулась вместе с приснившимся стадом к тому дальнему, навсегда забытому летнему пастбищу, обгладывая мелкие, веселые листья.

Она шла за вожаком с изогнутыми, тяжкими от старости рогами.

Овца была весела, шла себе бодро, упрямо и мелко перебирая копытцами, а сторожил ее жизнь лохматый, сиплый пес, всегда голодный ночью и днем, всю собачью жизнь; на коренастой лошади, колючая грива, ехал пастух с ружьем за плечом. Стадо растянулось по пологому склону, запылившему сотней копыт. Овца волновалась, торопилась обогнать клонившийся к закату, надышавшийся горьковатой, обгорелой полыни день и хотела первой добраться до дымного, остывающего круга солнца, пьяного кровью всех зарезанных за лето мироедами овец.

Овца лежала на рогоже у жилища плотника.

Овца не хотела сейчас думать о речном шуме, в котором утопали мокрые камни.

Ей хочется как через бездну плыть к багровому солнцу, опалившему ее душу. Овца лежала на рогоже, на земле, она побраталась с ней. Безрадостная земля уже не могла согреть овцу. Накричится она, зарезанная, превратится в бурьян, в жалкий, с капелькой крови комок шерсти, дрожащий на ветру, на колючке.

Вдруг кто-то взял овцу на руки и понес. Овца не стала разжимать желтеющих, одиноких глаз и вырываться.

Похолодев сердцем, она снова прислушалась к пению ослепшей дудки.

Овца пыталась обмануть себя, думая, что спит. Почуять на горле холодный острый нож легче во сне.

Слабая от потери крови, она так и не добежит до того лета, задохнется, не полижет мертвеющим языком солнце над глубоким полем. Без ласки несчастной овцы солнце не могло тронуться в свой возвратный путь, в осень.

Но овце пока везло.

Чем крепче ее держали в руках, тем радостней билось помолодевшее сердце.

Крестьяне смеялись, хлопали в ладоши. Это Маро, невеста, уговорила жениха-плотника принести и опустить овцу на свадебную скатерть.

— Не бойся! — прошептала овце на ухо невеста. — Пока ты здесь, тебя не зарежут.

Глаза овцы потеплели и очистились от ржавчины.

Счастливым взором овца оглянулась на Маро, прижалась лбом к грубой ладони.

От дубового, тяжелого стола, сбитого из крепких досок, шел кислый дух пролитого вина.

Кто-то из крестьян, шутки ради, опрокинул чашу с вином на голову овцы, оглушенную шумом свадьбы. Овце почудилось, что она доплыла наконец до одинокого и большого солнца.

— Отец!— сказала овца солнцу.

Свадьба шумела.

Теперь овце стало уютно с людьми. Она уже не боялась ни их острых и холодных пастушеских ножей с зазубринами, ни воя подвыпивших, загулявших мужчин.

Пусть ее убьют сейчас, пока она отдыхает в теплых, больших руках Маро, коровы. Матери всех коров Кахетии.

А отец овцы с давних пор — умирающее каждой осенью пьяное солнце.

Дудка пела.

Охотники стреляли из ружей в ветреное, сизое небо, славя молодоженов.

Солнце, рождающее вино, еще не проснулось.

Маро вздрогнула, выстрел охотничьего ружья мог наповал убить сына Иштара, человекобыка.

Невеста может умереть с горя,— испугалась овца.— Кто же тогда меня спасет?

Раньше овца надеялась на вожака, старого барана с круто закрученными рогами, но он тупо вел послушное стадо к манящей, съедобной траве. И все.

Стадо падало, исходя пеной усталости, изнемогая, а он равнодушно ждал, а потом упрямо снова шел вперед.

Пастухи за весь долгий переход дали собаке одну корку хлеба.

А вожак переставлял давно отяжелевшие ноги, хотя догадывался уже, что ближе к солнцу им не подойти, вот оно висит над их головами с рожками, краснеющее невинной кровью, над загнанным стадом. Пусть же бараны не глядят на умирающий огонь. Им идти и идти. Поздно возвращаться назад.

Вожак увел их от деревень и родного дыма.
Стадо устало брело, огонь гаснул в быстрых облаках вечера.
Дорога спускалась в долину.
А одна овца мотала головой позади всех, пытаясь достать угасающее небо, падала ничком, обливаясь кровью, сраженная ударом ножа какого-нибудь изголодавшегося пастуха. Очумело внюхивалась в горячую кровь истощенная собака.

Свадебная овца на столе вспоминала, как она пыталась найти спасение у дуба, у буйвола или придорожного камня.
Она соглашалась умереть зарезанная волками, пусть хищники режут всё стадо и оставят в живых одного ягненка.
Но все, и дуб, и буйвол, и камень, молчали.
Никто из них не решался назвать овцу своей дочерью.

И только крупные руки труженицы Маро, выходящей замуж, обогрели и успокоили взволнованную овцу, и овца благодарно сжалась, стала лизать ее солоноватую руку.

Невеста объяснила овце, что не надо бояться ножа и солнца.
На жениха и невесту надели гирлянды из оранжевых цветков шафрана.
И белой овце опустили на дрогнувшую голову маленький шафрановый венок.

— Отец! — сладко жмурясь, шептала овца пробуждающемуся солнцу.

Солнце пахло паленым хлебом.

## АНИКО

Плотник женился на корове, когда первая жена Анико умирала.

Дионисэ велел жениться.
Шла попойка. Анико лежала в грушевой кровати, закрыв глаза.
Плотник послал ей глиняную чашу со свадебного стола. Чашу с кисловато-терпким, погребальным вином.
— Скажи ей, что от мужа! — попросил плотник одного из крестьян. — Объясни, что я снова женюсь. Пусть выпьет за мое счастье!..
Анико увидела, как плывет к ней тяжелая чаша с расплескавшимся вином, и сжалась в кровати. Скрючилась, как умирающая гусеница. Она попыталась натянуть на голову ватное одеяло, спрятаться от напитка смерти, которая для одуревшего муженька, впавшего в детство, обернется свадьбой и забвением их погибшего сына. Лицо Анико беспомощно сморщилось. Слеза светоносная жужжала. Пчела не угасала в глазе, копошилась. Капелька меда кровоточила на увядшем сердце не нужной плотнику женщины в черном одеянии, сходящей в вечность.
Худенькая женщина с давно выплаканными глазами терпеливо ждала, когда погаснет огарок ее бедной жизни.
Сын, не вернувшийся с полей войны, погубил ее.
Известие о смерти солдата согнуло даже старую грушу во дворе. Дерево накренилось, скрипя треснувшим стволом, да так и застыло, касаясь земли почти облетелой холодной листвой.
Анико прощалась с жизнью, но не с горем. Ей теперь и во мраке пещеры вечно оплакивать сына.
Кровать, сколоченная плотником из умирающего грушевого дерева, казалось, вот-вот зазеленеет душистыми, счастливыми побегами.
Сына не было в живых, а супружеская кровать из печального дерева вдруг родила первый золотистый урожай медовых, вязких груш, их можно было срывать лежа, даже не поднимая головы с подушки, жадно и вкусно надкусывать.
А теперь, когда шумела свадьба рехнувшегося плотника — при живой-то жене,— Анико, всеми брошенная, лежала в страшной, одинокой, уже чужой

кровати, холодной как гроб, и вслушивалась в веселую песню, что доносилась из-за неплотно закрытой двери.

Здравицы и пожелания счастья сыпались на голову седого пьяного плотника и коровы с черными, мучительными глазами, все поздравляли мужа-изменника и пришлую женщину-скотницу.

Анико сжала в высохшей, еле живой руке увядшую грушу. Из прошумевшего урожая умирающей осени.

Холодная груша давно съежилась вместе с Анико и ждала смерти.

— Нас вместе похоронят, в одном гробу,— пообещала ей больная, прикрывая свое ввалившееся лицо черным платком.

Кроткая, но острая морщина страшно прорезала прозрачный лоб.

Все говорило о древней печали, изнурившей женщину. Хозяйку дома. Тишина холодной лентой легла на лоб. Глаза брошенной Анико остывали.

Комната от неизлечимого горя умирала. Здесь прибрано и нарядно. Молчала женщина. Она пыталась вспомнить сына.

— А вдруг и в пещере я с ним не встречусь? — Холодный камень надавил на еле дышащую грудь.

Теплое солнце, уходя, отсвечивало в окне. Блеск его отражался в постаревших, несчастных глазах. Анико устала и хотела заснуть, опустив веки, но шум свадьбы врывался сюда.

— Узнаю ли я сына в катакомбах тьмы?! — шептал сухой рот.— Израненного и покалеченного. Наголо остриженного, в ватнике, в зимней шапке и в тяжелых сапогах. Неужели мне придется долго искать, ждать среди других исчезнувших, обезображенных солдат?

А вдруг мать не разглядит его в потемках и равнодушно пройдет мимо? Не коснется его мертвой, растопыренной ладони своей маленькой сухой рукой.

Анико встревоженно приподняла голову с большой, измятой подушки.

— Поставь чашу с вином на тумбочку,— упавшим голосом попросила она заглянувшего к ней крестьянина.

Шаги осторожно удалились. Чашу поставили с глухим стуком. Вино в глине стыдливо молчало. Ждало своей неминуемой смерти.

— Ты воскреснешь! — молило вино. — Пей!

Анико отвернулась.

— Потом выпью,— прошептали сухие губы.

Холодно сделалось розовым грушам на спинке кровати. Роса выступила на них.

— Плотнику надо жениться,— вздохнула Анико.— Ведь я умираю.

А вестник Сандро бежал сюда, к плотнику, с очередным вернувшимся из заглохшей войны, не нашедшим мертвого сына письмом.

Люди пытались остановить вестника. Чего он так торопится? Подождал бы денек, другой, пока все здесь забудут войну.

Но вестник Сандро, с худеньким лицом и рыжими волосами, весь в веснушках, взъерошенный, сам взволнованный не меньше других, вырывался из толпы, всем старательно объясняя, с одышкой, что он, как и другие велисцихцы, будет счастлив повернуть вспять и не попадаться в день свадьбы на глаза счастливого плотника, но черное письмецо давно обуглилось в его кармане, прожгло угольком штаны, а если он, как вестник, станет скрывать от селян печальные новости, то тогда он не сможет бегать к ним и со словом радости.

Крестьяне расступились, и Сандро рванул к жилищу жениха-плотника. Он торопился освободиться от беды, гнавшей его в родную деревню. Во дворе свадьбы пахло навозом. Пеклась на углях баранина. Слепые бродячие музыканты в оборванной одежде играли на чонгури.

Хромой старик, нагнувшись, пил из дырявого ведра водку.

Волы и овцы с печалью и ужасом глядели на распоясавшихся пьяных дерущихся крестьян с ножами.

Мужланы дубасили друг друга палками.

Дионисэ задумчиво брел к Велисцихе, вытаскивая ноги из весенней, синеватой грязи. Грязь эта, влажная утром, сейчас высыхала.

Нес на плече палку с котомкой бог.

Он зорко, нахмурившись, смотрел через исчезнувшую ночь. В солнечной дымке горела овца.

Потянуло паленой шерстью. Пахло огнем. Хлебом.

Дионисэ вздохнул и остановился, поджидая дружков.

Овца была его дочерью.

## ВАНО-ПАХАРЬ

Вано шел за плугом.

Буйвол Або тянет плуг. Каждому велисцихцу стыдно смотреть в глаза этой живой, страдающей скотине. К переднему копыту буйвола прилепился червь.

Червь пашет поле вместе с буйволом.

Пахарь молчит. С зерном, с виноградом что-то происходит.

Может, устала земля? Надорвалось поле. Черные слезы в глазах буйвола. Вот и петух уселся нагло на его спину.

На вспаханном поле застывшая гора буйвола с дерзким петухом, гонителем ночи. Дождется наглый петух погибели, оборачиваясь то черным, то пылая красными перьями, закопают его живьем в землю.

Пусть в ней, задыхаясь, предсмертным криком кричит о рассвете.

Ночь — это хаос. Велисцихский петух борется с хаосом. Но ведь и буйвол — хаос. Мрак прячется в медленном теле. Спящее животное разбудит бушующий виноградной осенью пожар.

Свалится буйвол, свалится и Кахетия.

Вано жалеет усталое, рабочее животное. Говорит:

— Если обижу, пусть община вырвет мне глаза. Я стану слепцом. Я сделаюсь сыном ночи.

— Меня жалеют камень и даже вода! — отвечает буйвол.— Что мне твоя жалость.

— Вода нас всех родила,— шепчет червь.

Вано засевает поле ячменем и рожью. Когда взойдет оно?

— Что я за животное из крови и земли? — стонет Вано.— Кто я, человек или левиафан?

— Ты, Вано,— червь! — отвечает земля.

— Ты — брат мой,— согласен червь.

Вано припадает на колени перед плугом, обнимает.

— Плуг! Ты кормишь меня! Мой народ.

Ты кормишь живого, плуг! Ты же хоронишь и мертвого.

Вано при помощи своего плуга обводит границу села.

Это он должен свершать каждый год. Община взвалила на его плечи древнюю обязанность. Все в Кахетии должно иметь свою границу. Свой круг. Городище, поселок, деревня, дом, человек и Хаос, томящийся в нем. Иначе Хаос все спалит, сметет огнем и бурей.

Буйвол сдерживает Хаос в своем могучем теле.

Но буйвол устал. Хаос разорвет его.

— Буйвол — наш предок! — задумчиво говорит Вано и целует копыто животного с прилипшим червем.

— Все в мире имеет свою границу! — шепчет червь.

Тело кахетинского человека пожирается Хаосом. Один лишь бог Дионисэ не жалеет границ, разрывает себя. Дионисэ — бог разрыва.

Люди убивают его. Бог умирающий, ужаленный пчелами в окровавленные глаза.

— Буйвол — отец наш! — говорит Вано.— Эй, плуг! Вот отец крестьян!..

Вано боялся плуга. Плуг режет землю. Режет мать. Мать истекает черной кровью. Плуг режет грудь земли.

Плуг давал жизнь зерну. Вано рожден землей, чтоб обрабатывать поле. Знал, что сам скоро превратится в слепого червя.

Недолюбливал пахарь червей, братьев своих. Они пожирали землю. Пожирали мать.

Плуг режет живот девственницы. Буйвол не может шевельнуть копытом. Буйвол Або плачет.

— Я убиваю Маро! Мою жену и мать!..

Стон плуга разорвал горло Вано. Он не может сдвинуться с места.

Тяжко пахарю-кахетинцу. Рождается зерно из камня.

Люди, кахетинцы, грызите окаменелые зерна! Голод из-за злобы вашей идет на нас!.. Пахарь глядит в немое небо. В небе пустота.

Липкий пот струится по широкому лбу пахаря. Тянет оскудевшей травой и жарким солнцем.

Стыдится земли мужчина. Стыд перед обнаженной матерью сковал его шаг. Пахло спаленной солнцем буйволиной взмокшей шерстью.

Вдали дремала на дубе раскачиваемая ветром гудящим пряжа.

Пряжа росла. Вано опустился грудью на землю.

Пахарь лежал и бессильно мычал.

— Я голый,— дрожал он.— Земля! Мать! Маро! Одень меня пряжей!..

Пряжа с дуба закрывала Вано.

Чтоб ободрить пахаря, Маро каждую весну перед пахотой, притворяясь беременной, рожала прямо на поле своего голого сына с бычьей, страшной головой.

Она рожала человекобыка Иштара с раздавленным камнем сердцем.

Это обрядовые, ложные роды.

Вся деревня затаенно ждала их. Это урожай!

Из запавших глаз Маро катились сухие, чужие слезы.

Вот она стоит, обнаженная седая женщина с распущенными волосами, перед пахарем и плугом.

— Иди ко мне! — горячо зовет женщина-мать.

— Сейчас! — хрипло отзывается пахарь. Он жадно целует обнаженный живот женщины. Женщина кричит от боли родовых схваток.

Иссохший, искусанный, в крови рот.

— Я — мать земли! — стонет роженица.— Помоги мне, плуг!

Плуг напуган.

— Кто мои мать и отец? — стонет плуг.

На лбу Вано кровавая испарина. Земля ждет Вано. Голый живот земли. Женское лоно.

— Кто мои отец и мать? — плакал плуг.

Пахло обугленной буйволиной шерстью. Жаром изнемогающей скотины. Копыта буйвола дышали рождающимся ржаным хлебом.

Плуг двинулся.

— Опять я убиваю себя! — дрогнули плечи пахаря.

Прямо над головой стояло кахетинское медвежье солнце.

Лицо пахаря взмокло от соленого пота. Пахарь оставил плуг и, шатаясь, брел по вспаханному полю в поисках исполинской каменной рыбы с кровавыми глазами.

Вано сделал свое дело, но он не знал, как это ему удавалось каждой ранней весной, как мог он справиться с этой огромной землей, которая его родила и на которой он лежал ничком, как младенец, прижавшись к ней коленями.

Только громадная исполинская рыба шевелилась в земле, даря ей плодородие.

Каменная рыба все слышала. Скрежетом плавников она ободряла несчастного пахаря.

Пахарь Вано не мог идти, сгорбленный, с холодной от пота спиной в задубевшей рубашке.

Он падал на борозду, тяжко поднимался и вновь шел.

Искал слепую каменную рыбу, рожденную неукротимой Алазанью.

Но вместо рыбы он натыкался голой ступней на червя, сорвавшегося с копыта буйвола.

— Кто я? — в неистовстве метался Вано, проваливаясь в землю, страдальчески кривя рот.— Человек или левиафан?!

## ПЛОТНИК И КОЛОКОЛ

Плотник в туманном, рыхлом рассвете стоял возле двора и смотрел на ущербную луну.

Голодная ночь обгрызла хлебную пшенную корку луны.

Ночь все не наедалась.

— Эх, собрать бы сейчас народ!

Тяжко вздохнул плотник Тархнишвили.

Снова прошла бессонно и шумно ночь в сарае с заглянувшими бродягами-богами, с этой бродяжней беспутной.

Не смог уговорить их плотник уйти отсюда, из их деревни, вместе с Хозяином, жертвой садового ножа, убраться подобру-поздорову, раз и навсегда. Зачем деревне Велисцихе опять пьяные гульбища с кровавыми оргиями и убийствами?!.. Народ устал убивать своего загнанного, печального, зеленоглазого Зверобога.

Ударить бы плотнику в колокол, подвешенный к голому толстому суку старого ясеня на холме.

Мул соседа оглохнет от гудения колокола.

Перестанет жевать ячмень.

Первый придет сюда пахарь Вано, оставит плуг и землю, притащится здоровенный труженик и селянин, кормилец деревни и рода, в разодранной на широченной груди грязной рубахе.

Люди вглядываются в исхудалое от усталости и раздумий, серое, взмокшее лицо с темными мешками ввалившихся глаз.

Пахарь тяжко сел под ясенем.

Здоровенные ботинки давили. Он сбросил их, пошевелил голыми волосатыми пальцами. Оглянулся на сбившийся в кучу под колоколом народ, потом уставился на свои босые ножищи в вздувшихся волдырях и ссадинах.

Крестьяне оживлены. Шаги весны, тяжкие уже, будоражат народ.

Новое солнце греет землю, солнце лижет, мычит наголодавшейся скотиной.

Вздрагивает голая лоза.

Где-то позади всех, за спинами крестьян, замер неприметно раб Картлос с унылым лицом и чего-то выжидающими глазами.

Тархнишвили старейшина бил в колокол. Отвечая колоколу, глухо гудела гора.

— Люди! — хрипло кричит плотник.— Народ!

Настает наш конец!..

Велисцихе провалится в землю.

Кто хочет сделаться червем?..

## ГОМБОРСКИЙ ДУБ

Дуб глядел в обессилевшее небо. Никто не слышал его немого языка.

Дуб выл.

Ждал дуб каждую ночь нападения врага. Смерти.

Лес боялся седого патриарха.

Дуб всегда один.

Некому открыть душу. Готов жаловаться даже врагу.

Корни ушли глубоко добывать железную воду.

И ни души кругом.

Тело одинокого дуба мучалось. Все слышало.

Дуб слышал, как страдают крестьяне Кахетии. Боялся седой кахетинец их судеб. Бессилен он. Один во гневе!..

Сердце дуба каменело.

А с каменным, холодным сердцем недолго ему стоять вождем лесов Кахетии!

## ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

*

# ПРОЩАНИЕ С ПОЭЗИЕЙ

* *
*

Помолчи! Есть такие стихи,
как бездонные синие лужи
на пустынных дорогах весны.
И читатели им не нужны,
как березам фотограф не нужен.

* *
*

И дубы, и березы, и ели
надо мной равнодушно шумели.
В темноте я их слушать привык,
полюбил монотонные речи,
ни к чему их древесный язык
подгонять под язык человечий.
Оглянусь на холодный закат
и уютно устроюсь под елью,
а деревья шумят и шумят
над моей травяной колыбелью.

* *
*

Получились у Бога стрекозы,
одуванчики, и облака,
и бегущие с ветром березы.
Получились полоски песка
и озера Лапландии синие
с золотыми осинами,
с одинокими белыми чайками,
а люди не получаются!
И сияет на небе вечернем
угасающее отчаянье...

* *
*

Над лесами летят журавли,
я боюсь им вослед оглянуться.
Тает крик... Неужели они
больше в эту страну не вернутся?

* *
*

Италия, какое горе
навеял мне шумящий мрак
с Адриатического моря —
Помпея победил Спартак...

И вот он входит в Рим, в сенат,
диктуя гулкие указы.
И к ночи там уже разят
мочой классические вазы.

А в синем воздухе апреля
с утра уже торчат столбы,
спешат веселые рабы
повесить предков Рафаэля.

### Старость. Мираж

На ватнике моем в лучах заката
сияет золотом медаль лауреата,
и я иду в бесплатную столовку
и, спотыкаясь, бормочу стихи
про лопухи, про божию коровку.

* *
*

Заморосили тихие дожди,
и целый день стоят в окне туманы,
как с молоком сиротские стаканы.
Уходит лето, и щемит в груди.
Щемит в груди от свежести печальной,
песок на пляже холоден и чист,
и над пустой площадкой танцевальной
уже летает падающий лист.

* *
*

Моросит, моросит, моросит,
и прохладное солнце не злит.
Где-то музыка тихо играет,
близоруко моргают огни.
В эти грустные свежие дни
редко кто на земле умирает.

* *
*

Вот старость вижу я во сне,
огромной белой глыбой снега
она уже нависла с неба
и держится... на тишине.
Я закричать боюсь под ней,
а ты уходишь, ты уходишь,
и я боюсь тебя позвать,
от крика сдвинется лавина,
идти туда нельзя, нельзя,
но оглянуться ты не хочешь,
наивно к пропасти скользя.
И голову вбирая в плечи,
как в судорогах первой речи,
вдруг я кричу! И надо мной,
хрустя в холодной синеве,
уже ломается лавина,
чтоб оглянулась ты наивно..
Во сне старею я, во сне.

* *
*

Опять цветут кладбищенские сливы,
и вижу я — стоит отец счастливый,
и рядом с ним, просвечивая сумерки,
стоит и тихо радуется мать
и говорит:
— Как вовремя мы умерли!
Теперь не хватит денег умирать.

БОРИС ЕКИМОВ

*

# ВРАГ НАРОДА

*Рассказ*

## 1

Обед подходил к концу. Тарасов дохлебывал из чашки кислое молоко, когда услышали собачий лай. Чужой человек прошел через двор, к крыльцу.

— Можно войти? — справился он на пороге.

— Входите.

— Тарасова мне надо.

Гаврила покосился на вошедшего.

— Управляющий сказал, чтобы вы мне железки кое-какие отвезли в Мартыновку.

— Люди добрые! — всплеснула руками хозяйка.— Тарасова нет — и дела стали. Вы бы его и кормили там, возле кузни. Господи, когда же кончится эта казня? Нет других людей, кроме Тарасова. Шляпужок заболел — и вовсе оседлали.

Тарасов покряхтел и стал одеваться.

Несмотря на возраст, близкий к пенсионному, выглядел он на зависть: крепкий торс, тяжелые вислые плечи, с людьми здоровался с опаской — любая, даже мужская рука казалась детской, пропадая в жестком корье могучей тарасовской длани.

— Позасели баглай на баглае! — причитала Раиса.— Лодырюки! Краснодеревщики! А Тарасов из хомута не вылезай, белый свет обрабатывай!

Широкое лицо хозяина, темное от летнего загара да зимнего ветра, оставалось спокойным. На нем редко появлялась улыбка ли, следы гнева. Лишь в спрятанных под густыми бровями когда-то синих глазах что-то мелькало порой.

— Ни стыда, ни совести,— пела и пела свое Раиса.— Лишь присел человек, ложку поднял... Из шланга его заправляйте! На ходу!..

Под эту долгую песню вышли из хаты и зашагали.

Незнакомец был молодым, в модной, на меху, куртке. Чувствуя себя виноватым, быстро говорил на ходу, оправдываясь. Тарасов не слушал.

Люди чужие считали Гаврилу Тарасова пеньком бесчувственным. «Ему лишь с трактором гутарить»,— говорили о нем. И были правы, потому что Тарасов, летом ли, зимой, день напролет не вылезал из кабины. И огород свой пахал ли, боронил — тоже на технике, в давние еще годы собрав из железного хлама корявое, но ловкое чудище, которое не только землю пахало, но пилило дрова, ямки умело копать, помогало в поливке. А прошлой весной сын Виктор добыл в районном сельпо китайский тракторенок, чуть не игрушечный. Люди со смеху падали, когда взгромождался на этого конька-горбунка тяжелый Тарасов. Но «конек» был ловким.

Так Тарасов и жил, пересаживаясь из одной железки в другую. И с кем ему было говорить? И о чем? Лишь машины его понимали и слушали.

Когда уместились в тесной кабине трактора и выбрались на Вихляевский грейдер, Тарасов повернул голову и внимательно поглядел на молодого мужика:

— Чей будешь? Откель?

— Фермер я, фермер. В Мартыновке мы землю взяли. Технику не достанешь, собираем из хлама.

— Подсолнушек ваш в зиму остался над Калиновой балкой?

— Наш...— со вздохом ответил мужик.— Так и не нашли комбайн. Колхоз не дал, свое, говорит, убираем. Помыкались, а там — дожди. Вот и пропало все.

Тарасов понял, кого везет. В прошлом году еще заговорили про землю. Сначала слухам не больно верили. Но стали объявляться чужие люди, из города да района. Землю им давали худую. С весны, проезжая мимо, Тарасов видел, как пахали да сеяли над Калиновой балкой. Что-то росло там и в зиму осталось.

— А подсолнух был неплохой. В соседний колхоз ездили, в район,— жаловался мужик.— Все обещают, а помощи нет.

Тарасов покосился на спутника и стал глядеть вперед, на белую дорогу.

Крепкий парень рядом сидел, при обеих руках и ногах.

— Украл бы ты комбайн, раз такое дело. А потом пусть сажают. Не вышло — руками убирать, днем и ночью. На поле упасть и умереть...

«Таким вот в руки плывет,— с тоской подумал Тарасов,— а они...»

— А вам зе́млю дали на сезон или на два? — спросил он.

— Навсегда,— ответил попутчик.

— Как навовсе? Она, парень, колхозная.

— В пожизненное владение,— подтвердил спутник.— С правом наследия. Помру, значит — сыну... Не слыхал про фермерство, про новые законы?

— Законов, парень, за жизнь наслухались. Новое метло — новый закон.

Вихляевку миновали верхом, горою. Хутор лежал внизу, в снегах, словно покойник: ни людей, ни машин, черные сады да хаты. А дальше, за выгоном, стлалось и вовсе пустое зимнее поле. До леса, до Бузулука. Туманилась бель, сливаясь с белесым же зимним ненастным небом. Тарасов надолго задумался и чуть было не пропустил развилок дороги за старою птицефермой.

— Это, выходит, любому, положим мне, могут землю дать? — спросил наконец он.— Или тебе по блату?

— Тебе вот как местному по блату хорошую дадут, к хутору ближе. А нас засунули к черту на рога.

Тарасов замолчал теперь уже до конца пути. Что-то вспоминал он из слышанного от жены, от людей. В Ярыженском хуторе вроде объявился такой же вот хозяин. Землю дали, а он пахать не может и нечем. За ящик водки ему пахали. Уж вышло чего, нет ли... Что-то сын говорил про землю. Младший сын, Виктор, он в райцентре работал по сельскому хозяйству. Институт кончил.

Ничему не веря и досадуя на пустой разговор, ненужную для души заботу, Тарасов все же решил нынче спросить у Арсентьича: правду ли парень толкует или брешет? И, чего сроду не бывало с ним, Тарасов заспешил. Он знал, что к мастерской мартыновской можно проехать не только горою, в объезд, но и напрямик, через луг, но там мосток ненадежный. Сроду не рисковал, а здесь рука сама повернула.

Слава Богу, мосток он миновал, до места добрался, помог разгрузиться и в шестом часу вечера, когда округу уже полонили зимние сумерки, вернулся на хутор. Трактор его прогромыхал, прибился к кузнице, где колхозная техника под белым небом ночевала, и смолк до утра. Хозяин машины, спустив из радиатора воду и кабину заперев, не к своему дому направился, а к бригадирскому, который щедро светил огнями двора. У чужого порога Тарасов долго оскребывал валенки, а в двери входил осторожно, бочком.

— Хозяева дома? — спросил он, ступая через порог.— Здорово дневали.

— Слава Богу,— ответили ему.— Проходи.

В просторной кухне собирали ужин колхозный бригадир Арсентьич и жена его, невидная худенькая Лелька.

Тарасов у порога потоптался, шапку сняв, присел на табурет.

— Увез я его в Мартыновку,— доложил он Арсентьичу.— Ты же велел?

— Велел,— подтвердил бригадир.

— Вот я и отвез. Сгрузил... Вернулся...

Бригадир и жена его не могли понять, о чем речь. Отвез, привез...

— Раздевайся да повечеряй с нами,— предложил Арсентьич, разумея, что Тарасов зашел от скуки, хотя подобного за ним прежде не водилось.

— Спасибочки. Домой надо, Раиса ждет,— отказался Тарасов и вновь повторил: — Увез я его, сгрузил...— А потом разом, словно нырнув в холодную воду, выпалил: — В дороге гутарили про землю. Говорит, навовсе дали. Мне в голову влезло: либо брешет он, что землю людям дают? Вроде бесплатно.

— Гаврила Яковлевич...— рассмеялся Арсентьич.— Ты что, с луны упал? Газеты не глядишь, телевизор не включаешь?

— Когда?.. Работа... Скотина... Управиться бы... Там много брешут.

— Дают землю. Указы были. Наш колхоз тоже дает. А ты что, земли захотел?

— Не знаю,— честно ответил Тарасов.— Подумакаем.

Он сразу ушел. Проводив нежданного гостя, взвилась Лелька, ехидная баба.

— Подумакают... Они подумакают...— передразнила она.— Почуяла кошка... Ненажористый! Весь хутор готов заглонуть! Своя левада — немереная! Каждый год прирезает! Митревна померла, ее обережь захватил. За речкой — поляны, моргнуть не успеешь, Тарасов сбрил.

— Для дела, своими руками...— заступился Арсентьич.

— Колхозной техникой! На лесхозной земле! — кипела Лелька, зеленые глаза ее горели злостью.— Это вы такие начальники, простодырые! Скрозь пальцы на все! А Тарасов, молчаком, глоть да глоть. Теперь колхозной землицы ему забажалось! Подумакают... Я чую! Это Раиса премудрая. Трещат сундуки, а все — мало. Гардинами обвесилась — мало... И Виктор, сыночек, весь в нее.

— Хватит,— остановил ее Арсентьич.— Давай ужинать. Зашел человек, спросил, а ты поднялась.

И вдруг, глядя мужу в глаза, Лелька сказала:

— И мы землю возьмем. Тарасов берет, и мы не отстанем.

Арсентьич рассмеялся.

— Какой смех? — строго спросила жена.

— Да простой. Во-первых, Тарасов еще ничего не брал. Во-вторых, ну возьмем мы землю. В сундук ее не положишь.

— А Тарасов?

— Тарасов всю жизнь пашет и сеет. Виктор у него — агроном. Зять — шофер и на тракторе может. А у нас кто?

Единственная дочь бригадира была замужем за военным человеком.

— Значит, ему — в помещики, а я — в стряпухи к его преподобной...

Лелька не могла успокоиться, огонь ее жег. Бабьим лисьим умом она чуяла, что Тарасов затевает нешуточное. Она это чуяла, но не могла охватить всего.

В зимней хуторской тишине ясно слышимо прогудела и остановилась возле дома машина. Властный сигнал позвал хозяев.

— Кого еще несет?..— проговорила Лелька.— Гость на гость...

На крыльце уже слышались мужские голоса. Отворилась дверь, и на свет объявились нежданные гости: родной Лелькин брат Василий, колхозный главбух да главный же зоотехник.

— Братушка! — обрадовалась Лелька.— В кои годы Бог припутил! Забыла, какой ты и есть!

Гости были веселые, попахивало от них винцом.

— С района, на совещании провели день. Чуток выпили. Едем, еще захотелось. Куда свернуть? К Лельке, к родной сеструшке. У ней — на лимонной корочке да на перце настояно...— крякал брат, предвкушая добрую выпивку.

Лелька вихрем промчалась по кухне, чуланам, кладовкам, и в горнице на столе, словно на скатерти-самобранке, засияли под хрустальным люстровым светом золотистое и багряное питие в графинчиках, соленые грибки в белых кольцах лука, щекастые алые помидоры, пупырчатые пахучие огурчики, копченая гусятина со слоем жирка, горячие — только с печи — котлеты и прочее, чем богат был колхозного бригадира дом.

Гости ели и пили, нахваливая хозяйку. Лелька вьюном вилась, успев сменить платье будничное на яркий шелк. При гостях да рюмку-другую выпив, она молодела на глазах, подмаргивая нестарому еще чубастому зоотехнику.

Поговорили о детях да новостях. И тут Лелька вспомнила:

— Тарасов приходил. Землю требует.

— Не требует, а лишь спрашивал...— поправил ее муж.

— Не встревай, я лучше знаю,— остановила его Лелька и повторила свое.— На приступ идет, на ломок: дай землю!

Брат Василий спросил с интересом:

— Тарасов? Гаврила? Один или с Виктором?

— Не было еще разговора,— сказал Арсентьич.— До него ведь долго доходит. Нынче лишь спросил: правда, что землю дают?

Василий был старше Лельки, седой, лысоватый, на лицо еще приглядный. И умный был мужик. Всю жизнь просидел в конторе.

— Понятно...— протянул он и, значительно глянув на зоотехника, сказал ему: — Вот оно и поехало. Лопина есть, теперь горшку развалиться. Не склеишь его. Об чем я вам и говорил. Нынче — Тарасов, завтра — Шляпужок, за ними все, как овечки. Тарасов — это не Ельцин.

Было такое. Весной. Заявился в правление лядащий мужичок — метр с кепкой — и требует: «Дайте землю...» Его на смех подняли, он шумит: «До Ельцина дойду! Ельцин вам покажет!» И добился. Область приказала, дали землю. Земля эта все лето стояла в бурьянах. А «метр с кепкой» взял в банке ссуду и ездил теперь по райцентру на японской машине, грозя: «Ельцин вам покажет...»

Зоотехник, приглаживая пышный чуб, говорил неторопливо:

— Пока это разговоры про фермерство. Где техника? Где деньги? Где стройматериалы?

— Не враз...— соглашался Василий.— Пока будут колхозы за титьки тянуть: дай то, дай другое... Повысосут и отвалят. Надо быть готовым!

— К чему готовиться? — испуганным шепотом спросила Лелька.

— А к тому, что все рухнет! — отрезал брат.— Тарасовы лучшую землю загребут, технику, какая есть, поделят...

— А технику кто им даст? Техника наша, колхозная! — заперечила Лелька.— На колхозные денежки куплена...

— Положено, есть закон, с выделением пая,— ответил брат.— А колхоз останется с таком. Старики по миру пойдут, Тарасов им зернеца не даст.

— Да он последнее отымет! — встряла Лелька.

— Ни зернеца,— продолжал Василий,— ни сена, ни соломы от фермеров они не дождутся. Дров, угля кто привезет? Тарасов? Детские садики закрывай. Фельдшерский пункт — тоже. Всему конец...

Арсентьич ему не поверил:

— Рано ты слезы льешь. Кто ее будет брать, эту землю? Тарасов и тот говорит: подумакаем. На земле ведь работать надо, да не абы как, а горбатиться. В колхозе, не клят, не мят, легким духом живи. Вышел с утра на наряд, в домино поиграл, в амбаре пыль обмел — есть пятнадцать рубликов. А уж если руки чуток владеют — живи как пан, и черт крюком тебя не достанет. Зарплата, зернецо, сено — все будет. Свиней держи, коз. Пух по пятьсот рублей фунт. Платок — по две тысячи. Зачем она — земля! Музли набивать...

Но Василий свое гнул:

— Народ у нас закорыслый. Услышат, что Тарасов землю берет, да Шляпужок, да Алифанов с Мартыновки, вот и кинутся амором, побоятся отстать. Мол, рот разинешь, лишь азадки твои. Хватай, пока дают, потом думать будем.

Подвыпивший зоотехник приобнял его за плечи.

— Не точи слезы. Нас тоже в дураки не постановишь. Я свиноферму возьму. Выкуплю и буду жить. Разгоню лодырей, воров. Маточное поголовье буду держать, его с руками рвут.

Василий, тоже хмельной, в этих речах почуял намек. На свинокомплексе работала его жена, кладовщицей, корма были в ее руках. Намек он почуял, но отвечать на него не стал. Даже во хмелю он головы не терял, гнул свое:

— Всему конец... Пенсионеры — с протянутой рукой. Кто в силах — в батраки к новым хозяевам. Остальных — каламутная вода унесет.

Он сказал это раз и другой, в душе зная, что завтра же весь хутор повторит разнесенные Лелькой вести о том, что привычной жизни — конец.

Время в добром застолье летит быстро.

На воле посигналила машина. Это шофер, проведав хуторскую родню, подъехал и звал начальство.

Арсентьич вышел провожать гостей, а проводив их, в дом вернулся не сразу. Он пил вместе со всеми, но самогон не взял его. Хотелось спокойно подумать, отделив Лелькин вздор, хмельные Василия речи от путного.

Праздно стоять посреди двора Арсентьич не мог и потому пошел привычным дозором, обходя теплый коровий баз да козий, проверяя запоры да подбирая оброненное из яслей сено. Обычно такой обход, без трудов, лишь с доглядом, радовал. Сытно вздыхала бокастая корова; овечки да козы хрумтели крупным

сенцом; лениво похрюкивали свиньи; птица, ко сну угнездившись, голоса не подавала, лишь гусак гагакнет негромко — мир и покой.

В душе Арсентьича мира не было. Понимал он: не вдруг все сломается в его и колхозной жизни. Будет течь помаленьку. Но прав свояк Василий: треснутого не склеишь. А к чему приплывем? Страха у Арсентьича не было. Чего бояться? Руки-ноги целы. Но с другой стороны, как ни верти, полсотни лет прошло незаметно. Рос в нужде. В техникуме учился заочно. Вышел в люди своим трудом. Теперь дом — полная чаша. Казалось, все трудное — позади, впереди — лишь привычное, до пенсии, а там и до смерти. Не получилось... И кто знает, что в завтрашнем дне? Наново жизнь начинать?.. В пятьдесят лет?

Калитку отворив, Арсентьич выглянул на волю. Хутор дремал в ночи. Желтые окошки жмурились, гасли. Над белой снежной землей светило звездное небо.

А совсем недалеко, через три двора, Гаврила Тарасов заканчивал вечерние дела.

Тарасовский двор, от глухой стены дома до ворот, был обнесен, словно крепость стеной, цепочкой сараев, скотьих базов, амбаром да сенником, свиными кутами, птичником — все друг за другом, по-братски. Скотина и птица в обиде на Тарасова не были, потому что хоромы их гляделись не хуже хозяйских: тесовые стены, крепкие полы, шиферные крыши и даже пусть невеликие, но настоящие окошки с вязаными рамами. Правда, окна хозяйского дома украшали цветастые, в алых розочках, шторы. Но царским тем шторам не то что скотина завидовала, а — весь хутор. За них жена Тарасова Раиса щедро отдала заезжим торговцам-цыганам два пуховых платка. И не жалела об этом. Переступишь порог, и сразу словно в райском саду. Гардины от потолка до пола, зимой и летом алыми розами цветут.

Даже сам Тарасов их одобрял. Хотя особо разглядывать времени не было. Он до зари поднимался, с темнотой — прибывал домой. Здесь ждали его. В летней кухне на низкой печурке-грубке томилась в ведрах поросячья еда. В просторной кухне, в тепле, топотили малые козлята — недавний приплод. Завидев хозяина, они разом блеяли, кидаясь в ноги.

— Кызь-кызь! — отгонял их Тарасов.— Прокуды.

Ломкие ножки, в кольцах шерсть, горячие, влажные носы тычутся в руки — детва и детва.

Раиса заваривала корм для свиней, Тарасов кормил их. Пахучее месиво — дробленка да свекла с картошкой — дразнило даже человечий нюх.

Большие сытые борова, розовые, в белой щетине, похрюкивали словно нехотя. Малые поросята кидались к еде. Держали их для себя и детей, немного продавали. Пять-шесть голов, не более.

Задав корму свиньям, Тарасов разом почистил у них, постелил свежей соломы. А потом понес теплое пойло корове, козам — воды. Добавлял сена. Корова Ночка вздыхала тяжко. Днями ждали от нее телка. «Ноча, Ноча...» — голосом ласкал ее хозяин; корова отзывалась коротким мыком. Хоть и не первого ждала она телка, но тревожилась; рядом с хозяином ей было спокойнее.

Нынче Тарасов, окончив дела, дольше обычного пробыл на базах, во дворе. Пора было в дом возвращаться, но что говорить жене и что таить, он не знал. Даже самому себе не мог он сказать всей правды. Да и ведал ли ее.

Нужна земля, не нужна?.. Как знать?.. Молодой желторотый юнец жадно тянется к бабьему огню, но что знает он, кроме горячечных опаляющих снов..

Не так ли Тарасов? Что знал он, что держал в руках и когда? Что имел кроме клочка земли у порога? Да и этот клочок, пропахший потом его, не был своим, хотя с малых лет Тарасов пестался с ним больше, чем с детьми. Он ворочал его плужком да лопатой, рыхлил и пушил мотыгою да граблями, щедро кормил навозом, в летнюю жару поил.

Но как-то пришли, обмерили и отрезали пол-огорода, запахав, а вернее, испоганив. И Тарасов бегал, молил бригадира да председателя, на пальцах едоков считал: детей да старую мать. Уважили и вернули. Он эту землю потом два года в божеский вид приводил. Словно война по ней прошла, а не колхозный трактор.

Огородная земля скоро забыла беду. Тарасов помнил и боялся. Ведь что ни год, то новое: режут усадьбу, валят сады, покосы отнимают, ходят по дворам, считают телят, свиней, овец да коз, даже птицу, запрещая «лишнее». «Колхозная земля!» — вечный лозунг. А своя? Своей сроду не было. Но сколько помнил себя,

болел об этой земле. И теперь затомилась душа... Может, колыхнулась в жилах кровь покойных отца и деда? Колыхнулась и вспомнила.

## 2

С утра, еще затемно, первой ходкой Тарасов отвез транспортер на дубовскую ферму, а вернувшись, прицепил две тележки и подался на центральную усадьбу колхоза за семенной кукурузой. Он выстоял очередь у склада, загрузился и подъехал к правлению, надеясь застать председателя колхоза.

Колхозная контора размещалась в новом двухэтажном доме, украшенном по фасаду цветной керамической плиткой. Коридорные стены были обшиты деревом под дуб.

Тарасова из конторы заметили. В окна глядели, как он вылезал из трактора, как шел — тяжелый, в высоких валенках и долгополом стеганом ватнике.

День катился к полудню. В конторе всякие вести разносились быстро. Тарасова знали все. Говорили, что вручную он косит быстрее косилки, пахать может трое суток подряд, из машины не выходя, целого гуся за присест съедает и, словно колдун, наскрозь видит тракторы и даже говорит с ними на их языке.

— За землей прибыл? — председатель поднялся навстречу гостю.

Он был молодой, ровесник младшего сына, Виктора, но для солидности, а может, следуя новой казачьей моде, запустил он усы и бороду, смоляные, без седого еще волоска.

Тарасов шуток не понимал, отвыкнув от них в долгой одинокой работе.

— Поспрошать хочу,— сказал он.— Про землю. Гутарят всякое. Дают — не дают. Где правда?

— Захочешь, значит, дадим,— ответил председатель.— Согласно постановлению. Ты с Виктором хочешь брать?

— Ничего я пока не хочу,— вздохнул Тарасов.— Дело серьезное. Думать надо. А ты как советуешь?

— Припекло иль не очень? По правде...— спросил председатель.

— Ты в агрономах,— припомнил Тарасов,— в аренду нас сватал, в звено. Доказывал: первый круг да второй...

Было такое. Председатель вспомнил, как убеждал механизаторов: «Пашешь зябь. Первый круг сделал — это не на себя, на управляющего, второй круг — на учетчика, третий — на механика, четвертый — на агронома, потом — на председателя, на главных специалистов. А на себя, на свою семью лишь к вечеру».

— А ныне,— продолжил Тарасов,— правление в два этажа. В каждой комнатенке — столы в два ряда, друг на дружку лезут. Значит, не к вечеру я на себя начинаю пахать, а лишь — в ночь. В правлении — улей гудит, в бригаде — дым коромыслом, домино да шашки. По месяцу траки меняем. Забьет один палец — рабочему дню конец. Это — не казня? А живем колхозом. Значит, один — свободничай, другой его на горбу вези. Тут и будешь думакать: взять лодырей дальше или скинуть их в лужину.

Лицо Тарасова, обычно без тени улыбки, потеплело.

— С одной стороны, конечно...— сказал председатель.— Чем в колхозе сдохнет, лучше пусть у людей растет. А с другой... Куда без колхоза и как... Чего ни коснись. Любую железяку, горючее, семена. Кто подаст? Кому ты нужен? А с третьей стороны: волков бояться, в лес не ходить... Виктор знает, говорил с ним?

— Нет.

— Надо. Поговори. Съезди. А землю, если надумаешь, мы дадим. Но не какую пожелаешь. Колхоз — живой. И долго будет живой. Перейдем на акционирование. Значит, земля сподручная самим нужна. Где-нибудь на Вихляевских гранях, на Саранском... Поглядим. Где руки не достают, выделим.

На хутор Тарасов возвращался неспешно. Зимняя дорога торопливых не любит. Тем более с грузом: не одна, а две тележки тащились за трактором; заносило их на скользком корье наледей, на поворотах.

Тянулись навстречу и нехотя отступали, кружась, заметенные снегом поля, лесополосы, обдутые ветром маковки курганов: Прощальный, он же Слезовый, за ним — Попихин, Скородин бугор. Словно вечные верстовые столбы. Бело-

бочка, Кораблев... Пять курганов пройдут, будет Дубовский хутор, сворачивай к дому.

Земля... Вот она, медленно кружит, занесенная снегом. Чужая, своя?.. По левую руку — Лузаево поле тянется до Попихина кургана. Всю жизнь его пахал, боронил да сеял. Чуть дальше — Демкины поля, Большое и Малое. Даже сейчас, издалека и под снегом, видел Тарасов там каждый бугор и падину. На Большом Демкине — старый, заплывший ров в конце гона. Влез в него еще молодым, чуть комбайн не перевернул. На Малом Демкине — кусты шиповника в ближнем от дороги углу, под бугром — солонцовая плешина.

Сколько их вокруг, полей и полей. Козинка, Семибоярка, Дальний кут... Дневал и ночевал тут от весны до снегу. Бывало, и в хутор отпускали лишь по субботам: побаниться, бельишко сменить — и назад. Тракторный отряд, деревянный вагончик, жесткие нары... Саранское поле, Лузаево, Бобыли... С войны... Двенадцать годков исполнилось — на прицеп, на сеялку, на копнитель. Потом сел за трактор. Аниськино поле, Шамшово да Суходол... Год за годом. Менялись машины. «Колесник» да «натик»... «Дэтэшки»... Весна за весной... Тарасов старился, седел. А земля каждый год, на зиму замерев, просыпалась к весне, зеленела, и пахло от нее, словно от молодой, охочей до жизни девки. А уж цвела...

Но чья это девка? Колхозная шлюха или родненькая, своя? И зачем она теперь, на старости, когда подъелись зубы? Но сердце, не слушая ничего, болит и болит, потому что память человечья не в заячий хвост. А всю долгую жизнь, словно ржа железо, точит душу одно: «Господи... За что наказанье?..»

Вот весна. Еще сеять рано. Земля холодная. Трактор тонет в сырой паханине. Но кричит молодой уполномоченный Орешкин, из районного банка, в очках:

— Никаких отговорок! Есть решенье бюро! Саботаж не пройдет! Все — в борозду!

Доспевает пшеничное поле. Зеленый колос — в ладонь. Зерно наливается — в ноготь. Постоять ему неделю, и хлебом огрузишься. Но грозит уже поседевший, вечный уполномоченный Орешкин, из районного банка:

— Есть решенье бюро! Раздельная уборка! Немедля валить! Вызываю органы! Зеленый саботаж не пройдет!

Прошлый год на Лузаевском поле хорошая гречиха удалась. Две недели еще постоять ей, и под тридцать центнер бы взяли. Но какой-то новый орешкин из области поднял крик: «Затянули уборку! Белых мух ждете! Комбайны — в загонки!»

К хуторским амбарам он подъехал не в пору. Уже закрывались ворота. Кладовщик и его подручные уходили на обед. Тарасов выглянул из кабины:

— Может, сгрузим? Тут — скоро.

— Это тебе надо скоро,— ответил Петро Турченков.— Ты к новой жизни стремишься, в помещики. А нам некуда спешить.

«Понесли...» Тарасов потянул тележки к дому, поставив их перед окнами.

В доме пахло горячей едой. Раиса, в теплом пуховом платке на плечах, поставила миску с борщом, жаровню и солку. И сама присела возле мужа.

Она молчала, когда он хлебал. Но Тарасов почуял ее нетерпенье.

— Жалься.

— Нынче у нас, как в клубе, Тришкина свадьба, идут и идут. Как из мешка труханули. Дверь не закрывается, все повыстудили,— зябко поежилась она.

— И чего? — спросил Тарасов, добирая из миски последнее. Он не любил, когда ему хлебать мешали.

— Какую ты казню придумал, отец?.. Мало тебя дурили. Поманут, как девку красную, наплетут языками, ты всем веру даешь. Они потом — виль в сторону, а ты — в ярме. Цоб-цобе! Тебя же и погонят. Не ленись, Рябый!

— И чего?

— Какая тебе земля нужна? Нашей земли, отец, теперь три аршина на кладбище. Боле не надо.

Рано было ей о смерти говорить. На лицо и телом справная, седые волосы — лишь редкими нитями, по хозяйству хлопочет. Так что о кладбище — для словца.

— Нынче время пришло дорогое, можно жить. Свиней Рабуны сдавали живым весом, по три тысячи за каждую. В Урюпине, на базаре, шали по полторы, по две тысячи идут. И еще будут дорожать. Умные люди их не к базару везут, а в сундуки хоронят до поры. Ничего, отец, нам не надо, лишь покою.

— И я того желаю,— Тарасов поднял глаза на жену.— А кто приходил?

— Полхутора. Взаправду да взаправду... Земли да земли... Побесилися. Рабуны, Кузнечиха, Феня Чуркова... Мосевна, святая душа, на костылях и та приплелась. «Упреди, дело серьезное...»,— передразнила Раиса.— Тебе ее навязывают, землю-то?

— Никто не навяливал. Попытал интересу. Человека вчера возил, ты видела его. Он — при земле.

— И Бог с ним. Покой дороже.

— Того и я желаю,— тихо сказал Тарасов. Он закончил обед, но остался за столом, к стене привалившись.— Взять бы за речкой Панское поле и покойночко на нем работать. В своей воле, лишь об себе думать. Вроде своя левада. Как расхорошо.— Глянул на жену и понял: не убедил. — Не работаем — землю губим. Проспят день в кустах, потом как самолеты летают. А я после каждого круга из трактора лезу, лапки да сошники прочищаю. Ныне и вовсе. Алексей захворал. Чапайкин с дружками — в домино да самогонка. А Тарасов, словно молоденький, по четыре ходки в день. А уж весна подступит — и вовсе...

— Ногами потоптать эту работу,— твердо сказала Раиса.— Все кинуть, нехай сами.— И заботливо добавила: — Про молочко забыл, похлебай.

Тарасов ел густое кислое молоко, неснятое, с желтыми пенками. Хлебал его с хлебом вприкуску.

— На стариков глянь. Кто об них горится? В попросях живут. Сенца, зернеца, дровец... Все христа ради. И нам такая казня?.. Не дай Бог. А взять Панское поле и — жить. Панское нас до смерти кормить будет. Там зернецо, подсолнушек, а с краю картошку можно сажать. Полив из речки. Остарею, ребята подмогут.

— Ты Виктору звонил? — спросила Раиса.— Говорил ему?

— Нет.

— Надо бы...

— Ныне ли, завтра надбегу. Телефон этот... Надежи нет. Надо в лицо погутарить и подумакать вдвох.

На этом и порешили. Тарасов погнал трактор с тележками под разгрузку. Раиса принялась хлопотать о гостинцах для внуков. Но тут нежданно-негаданно заявилась к ней редкая гостья, жена Арсентьича — Лелька.

Раиса заметила Лельку в окно, еще издали, и сразу поняла: к ней идет. «Тебя-то уж поджигает...» — подумала Раиса и кинулась к шкафу за новой вязаной кофтой — недавним подарком сына.

Надела обновку и уселась с вязаньем в горнице, коротая недолгое ожиданье.

Вот залаяла собака. Стукнула дверь.

— Хозяева дома?

— Дома, заходи.

— Здорово живешь, кума. Зайду, думаю, попроведаю, как у ней здоровье.

— Какое наше здоровье... Проходи, кума, проходи.

Как и все давние жители хутора, Тарасовы с Арсентьичем и Лелькой давным-давно покумились. Но также издавна тлела меж бабами и дворами ревность: кто выше? Богатеи ли Тарасовы или хуторское начальство? И кто на гулянках краше: дородная Раиса в панбархатном платье или бригадирша в шуршащем крепдешине?

— Садись, кума. Может, чего покушаешь? Щи горячие, Гаврила лишь отобедал. Чайку заварю.

— Спасибо. Лишь из стола. Да и какой нынче аппетит? Здоровье-то...

— Не говори, кума.

О своем ли, чужом здоровье что Раиса, что Лелька говорить могли долго.

— Кофта на тебе богатая,— заметила Лелька.— Либо у цыган купила?

— Сынок подарил,— погордилась Раиса.

— Слыхала я, ковер ты новый повесила, немецкий?

— Какой новый, кума. Люди молву волочат. Пойди глянь. Он столетошный. Правда, невладаный. Купили, и лежал. Решила повесить, а то сопреет.

Прошли в спальню и вместе поглядели немецкий ковер с оленями и охотником на коне.

— Гаврила-то? Как здоровье? Не жалится? — начала плести свою сеть хитрая Лелька.

— То — слава Богу, то — в спину вступит. Годы, кума, да работа такая...

— Уж работник...— хвалила Лелька.— Первый на хуторе. Что в колхозе, что на базу. Себя не бережет...— поджимала она и в будни подкрашенные губы.— Хоть ты его, кума, береги. Говорят, он землю задумал взять?

— Брехни тачают. Какая земля? Кто ее даст и к чему она в наши годы?

— И я своему говорю! — горячо поддержала Лелька.— Он было бзыкнулся,— на ходу сочиняла она,— возьмем землю, будем владеть. А я ему укорот дала, напрямки стебанула: не желаю! Не богачество берешь, а — беду! — пугала она.— Да-да! С нашими людьми, с хуторскими, лишь горе от земли наживешь. Заскорузлые да закорыстные, на чужое добро глаз горит. Летось наши индюшки, уж большенькие, а в час легли. Я враз поняла — отравили. Сыпанули некую гадость и — все. А привалок сена сгорел? С чего бы ему гореть? Потому что завистных, кума, полон хутор. Ты это без меня знаешь. А уж на ваше добро... Тарасовы да Тарасовы... Рогали...— пересказала она горькие слова.

— В чужих сундуках умеют считать.

— Индюшек травят, привалок сена мешал. А уж земля...— Лелька понизила голос.— Труды вложишь, а они...— опасливо глянула Лелька за окно.— Они кругаля десять верст дадут, но скотины гурт по полю прогонят. Раз да другой! Ископытят все, испоганят! А то и подожгут...— прошептала она.— Хлеб поспеет, сухмель. Спичку кинут... Все сгорит в одночас! — В глазах ее засветил и вспыхнул желтый огонек.

Раиса отшатнулась в испуге.

— Так-то вот, кума. А мужики наши, что твой, что мой, об деле горятся. Не дай Бог чего!.. Вперенос ли? Это в каком году? — вспомнила она.— Под горой, под Бычком, кукурузу скотина потравила... Гаврила чуть умом не рехнулся. Это вроде колхозное. А свое? Я Арсентьичу напрямки,— плела и плела Лелька.— Нам ничего не надо, без богачества проживем, зато спокойночко спи, не полохайся по ночам.

Лелька отбыла положенное, свое отрапортовала и убралась восвояси. Раиса после ее ухода осталась сидеть словно чумовая. Все стало немилым. Даже гостинцы для внуков забылись. Вертелось в голове лишь Лелькино. Ведь и вправду, не Гавриле свою землю иметь. Он над чужой, колхозной трясется. Потравила скотина молоденькую кукурузу — его словно падучая била. Проклятый жук Кузька пшеницу изводит, с управа — как с гуся вода. А Гаврила с чужого колхоза самолет переманивает, больше всех надо ему.

Как всегда, утешенье пришло в делах. Пошла Раиса во двор, яички у кур собрала. Хороший курятник построили: теплый, просторный, с электрическим светом. В нем куры и зимой неслись. Корове пойло поставила, на теплую еще печурку-грубку. Заодно к малым козлятам наведалась, не сотворили ли какой беды. Достала из погреба солки да яблок. Свежими яблоки до весны сохранялись в просторном тарасовском погребе.

Понемногу голова свежела. Зря эта лиса не прибежит, не завертит хвостом. Видать, припекает. О Тарасовых, о Гавриле забота? Вряд ли... Свое боится из когтей упустить. Индюшки подохли? Такая, значит, хозяйка. У Тарасовых не дохнут. Некутахе не в руку все, то им глаз дурной мешает, то потрава. А сено сам Арсентьич либо и поджег. Заронил огонь от цигарки. Не о Тарасовых — о своем Лелька болеет. Нынче она вольной хозяйкой на хуторе живет. Траву Арсентьичу скосят и привезут. О дровах ли, зерне — нет заботы. Лишь ворота раскрывай. Несут, и везут, и кланяются. А если качнется жизнь... Тарасов уйдет, Шляпужок, другие. Кого держать под рукой? Кончится власть. А с нею — сладкая жизнь. Пух тебе тетка Таиса да Федотьевна не станут прясть. И катухи мазать будешь сама. Соседка Клавдия грядки полоть к тебе не придет. Скотину пасти, коз и корову, со всеми в очередь, надо приучаться. И продавщица на дом не принесет прихороненное И может, на старости лет придется в поле идти, вспомнить годы молодые. Вот что страшит бригадирскую жену, что ее поджигает... Поневоле начнешь языком плесть знамое и незнамое.

Думала Раиса, думала, потом отрезала добрый шмат сала и пошла к Солоничихе. Старая хуторская гадалка раскинула карты раз да другой. Но гаданье нынче не в руку шло. Лезли наружу трефовый валет да король, долгая дорога, разлука.

И решила она мужа не тревожить, про Лелькин приход молчать. Пусть едет к младшему сыну. Тот парень с головой и сидит возле начальства. Он как надо рассудит.

## 3

В райцентр, к сыну Виктору, Тарасов отправился в тот же вечер. Из троих детей младший был ближе других. Он позднее ушел из дома. Окончив институт, работал агрономом в родном колхозе, в соседнем, потом в райцентре.

Старший сын уехал далеко. Дочь была замужем в городе областном. Виктор — под рукою, тридцать верст всего.

Тарасов с хутора поехал по-светлому. Не любил он впотьмах блукать, тем более на «Жигулях». Машина с непривычки казалась игрушечной, до трактора далеко.

Тридцать верст отмотав, к сыну он подъехал в сумерках. Виктор был во дворе, управляясь с хозяйством. Отцову машину угадав, он отворил ворота, гараж:

— Как вы там? Живые-крепкие?

— Слава Богу. А вы?

— Живем помаленьку.

По обличью младший сын более других детей удался в отца. В тридцать с небольшим лет он раздался вширь, стал тушистым. Сейчас, в серой будничной стеганке, он был словно Тарасов-старший.

— В дело я...— проговорил Тарасов, подгоняло его нетерпенье.

Виктор знал, что по будням отец в гости не ездит.

— Про землю поголоски идут, вроде всем дают ее,— впрямую сказал Тарасов.— Брешут либо?

Виктор остановился.

— Кто как...— ответил он уклончиво.— Больше брешут. А есть и всерьез. Ступай в дом, отец. Кроликам дам и приду.

У младшего Тарасова при доме велось невеликое, но хозяйство: кур он держал, кроликов, занимался пчелами.

Старый Тарасов ушел. Виктор, оставшись один, у кроличьих вольеров управился, но медлил уходить.

В районном городке, словно на хуторе, темнело быстро. Редок был уличный электрический свет. По земле, по снегу, тьма еще не сомкнулась, брезжила бель. На улице слышались детские голоса.

Младший Тарасов отца своего знал и потому не удивился приезду. Будь отец хоть на десять годков моложе, Виктор недолго бы думал: брать землю — не брать? Он видел, что самое время — теперь. Потом, когда все кинутся, будет труднее. И сейчас, конечно, есть риск, а полная надежа — лишь в могиле, там лежи и лежи. Но и смелость города берет. Нынче землю можно еще выбрать. Техникой помогут, потому что сверху жмут: дай отчет; а храбрых немного. Обо всем этом уже не раз думал Виктор, видя, что жизнь качнулась и тронулась, словно в ледоход. В обратную не повернешь. Помаленьку, не вдруг, но колхозам придет конец. И кто землю сейчас берет, не прогадает, хотя бы потому, что она всегда и везде в цене. Тем более здешняя земля, чернозем. Ее лишь на вес продавать.

В свою пору работал Виктор агрономом в родном колхозе, потом — по соседству, в станице Староаннинской. В райцентр перешел он, когда обрыдла колхозная дурь, где начальников много, а хозяина нет. Он плюнул и ушел в контору. Но в тридцать с немногим лет заниматься бумажками, телефонными разговорами и кроликами на тесном подворье было нудно. Просила душа иного, тем более что был он Тарасовым, весь в отца.

А в доме невестка накрывала на стол, поглядывая на свекра. Женившись, младший Тарасов срубил дерево по себе: не больно говорливую взял, деловую.

Пришел Виктор, прибежали с улицы дети: Васек и Танечка.

— Дедуня, я книжки читать умею,— похвалилась девочка.

— Ученая...— одобрил Тарасов.

— Читает,— подтвердила невестка.

— Ей в школу идти,— сказал Виктор, поглядев на отца.

Старый Тарасов понял его, ответил:

— Дорогу до ферм дотянули. Восемнадцать верст — на машине добечь. Так чего ты мне скажешь? — спросил он Виктора.— Про землю?

— Не сепети.

И вдруг почудилось Гавриле Тарасову, что сам он — куга зеленая, а против него сидит старший. Тяжкий груз разом ополовинился, переходя на сыновьи плечи.

Словно молодой, забегая наперед, доложил он сыну:

— Председатель — к тебе велел. Обещает, может, Вихляевски грани, а может, Саранское, Хорсеево.

Обычно вечером, после долгого дня, сам Тарасов ужинал всерьез: щи хлебал, мясо ел, окисляя его помидорами да капустой. Виктор смолоду взял домашние привычки. И нынче жена его выставляла на стол полные тарелки. Но, против обычая, мужикам не лезла в горло еда. Лишь ребятишки уплетали за обе щеки. Потом дети своим занялись: книжками, телевизором.

А мужики остались на кухне, за столом. Они сидели друг против друга. На перекур ходить не было нужды, табаком не грешили. Виктор позвал Танечку, дочь принесла толстую тетрадь, ручку да малую коробочку калькулятора.

— Давай прикинем. Саранское поле — триста гектар. На Вихляевских гранях — почти семьсот. Двести на Хорсееве. Так? — проверяя память свою, спросил Виктор.

Старший Тарасов, подтверждая, кивнул.

— Тысяча двести гектар... — записал Виктор и стал прикидывать.— Два трактора «ДТ», два «МТЗ», «Кировец», два комбайна, машинешки и все остальное. Колхоз много ли даст? — спросил он.

— Дюже не растопорится. Но председатель обещал помочь.

— Что ж, если затеваться, то пятьсот тысяч ссуды надо брать,— сказал Виктор и уточнил:— Полмиллиона.

Жена Виктора, словно не поверив, подошла к мужу, заглянула в тетрадь. Там было ясно написано: пятьсот тысяч. Тогда она, понимая, что разговор пошел по-серьезному, отправила детей на покой и, выключив в комнатах свет, вернулась на кухню. Села она не к столу, а поодаль, возле печки, взяла в руки начатое вязанье, пуховой платок. Вязанье ей не мешало. Спицы ходили бесшумно.Слова мужиков она ловила легко.

Виктор поглядел на жену, промолчал.

До старого Тарасова доходило долго. Услыхав про пятьсот тысяч, он не поверил, но похолодело внутри. Ему казалось: можно обойтись малым. Что-то колхоз даст, пусть незавидное. Старенький «МТЗ» стоял во дворе под навесом, из утиля его собирал. В полмиллиона Тарасов не верил. Он сотнями рублей с опаской считал. Сто, двести, триста — понимал, это получка. Одна тысяча, две, пять — дополнительная оплата, в конце года. Но двадцать ли тысяч, пятьдесят — лишь зажмурившись. Сто тысяч — это страшное, словно в омут головой. А полмиллиона — в голове не умещалось. И потому не сразу, но остудил он Виктора.

— Богатун... Умом рухнулся... — Он хотел повторить сыном произнесенные деньги, но не смог.— Надо по-умному. Чем владаем. Конечно, потрясем гаманки.

Хорошо, что жена его, Раиса, была далеко. Да и сам Тарасов с трудом про гаманок сказал. Сберкнижку и потаенное берегли всю жизнь «на случай», на старость, на черный день. «Сбивали копеечку», отрывая порой от себя. Как ее тронуть теперь? Но, видно, пришла пора.

Виктор понимал отца. Поднявшись, он принес из горницы папку с бумагами, вынул одну, начал читать вслух:

— «Архивная справка. В материалах Михайловской особой комиссии по ликвидации кулачества имеется личное дело Тарасова Гаврилы Яковлевича...»

Старший Тарасов вскинулся и опешил, услышав имя свое.

— Не полохайся,— усмехнулся Виктор,— это не ты, до тебя дело не дошло. Это твой дед Гаврила, мой прадед, какого раскулачили. Мне из архива прислали, я запрос делал.

Старый Тарасов взял из рук сына бумагу. Но очков с собой не было, а без них буквы плыли.

— Я тебе дам с собой,— сказал Виктор,— дома прочитаешь. А теперь слушай дальше. «...Тарасова Гаврилы Яковлевича, жителя хутора Ветютнев Вихляевского сельсовета, в которой указано, что хозяйство Тарасова было раскулачено в 1931 году, а семья его выслана». Характеристика, слушай внимательно: «После революции хозяйство Тарасова Г. Я. имело посева 40 десятин, сенокоса 25 десятин». Десятина,— объяснил он отцу,— по-нынешнему гектар, слушай дальше. «Имело волов 4 пары, лошадей 4 головы». Пара волов — это нынче считай что трактор. Теперь опись изъятого имущества. «...Дом деревянный, крытый железом... амбары... сараи...— пропускал он ненужное и нашел, что искал, повысил голос.—

Один букарь, два плуга, две бороны железные, одна сеялка рядовая, одна веялка, одна косилка-лобогрейка, конные грабли...» Понял, какой инвентарь и какая тяга на полсотню гектар? А ты на тысячу замахиваешься с пустыми руками. Браться, значит, надо всерьез.— И словно не для отца, а только для себя стал он вслух считать, записывая на белом тетрадном листке и нажимая малые кнопочки калькулятора: — Два трактора «ДТ» — пятьдесят тысяч Два «МТЗ» — двадцать пять тысяч. Комбайны... Бензовоз...

Старый Тарасов открыл было рот, но Виктор повторил твердо:

— Бензовоз, а не с протянутой рукой. Пять тысяч шестьсот.

Еле слышно щелкали кнопочки калькулятора, нанизывая рубли на рубли. Молодой Тарасов писал в тетради цифру за цифрой. Старый же сгибался над столом все ниже и ниже.

— «Кировец»... Плуги... Сеялки... Культиваторы...— доносилось до Гаврилы Тарасова уже словно не от сына, а откуда-то с неба, били и били его.— Семена... Удобрения... Гербициды...

Захотелось на волю из тепла, духоты. Свежим воздухом продышаться. Тогда все пройдет. Нынче же пройдет, а потом понемногу забудется.

Он поднялся. Невестка, оставив вязанье, встала и пошла вперед него, зажигая свет в прихожей и коридоре. Старый Тарасов редко гостил у сына и потому не мог сыскать в темноте выключатели. Невестка помнила это. Она шла впереди. Тарасов приотстал и задержался в прихожей. Через неприкрытую дверь он увидел в детской комнате спящего на кровати внука. Увидел, остановился. Мальчишка был уже большенький. Крупные, отцовские ли, дедовы, мужичьи руки лежали поверх одеяла. А лицо было детским: румяным и нежным.

Невестка вернулась в прихожую, отомкнув запоры. Тарасов улыбнулся ей.

— Спит...— проговорил он.

— Спит...— Тоже улыбнувшись, невестка притворила двери детской комнаты.

На воле было темно. Клок электрического света падал на крыльцо, обрезаясь колодезной мглой. Глухая ночь сторожила поселок. Ни звука в ней, ни огня; ни земли, ни неба — лишь тьма, в которую глядеть и глядеть. Спящим себя Гаврила Тарасов не помнит и представить не может. Все работа, работа... Днем — трактор, земля кружит. Ночью — тоже трактор ползет по степи, ощупывая паханое выпуклыми рачьими глазами. А мальчонка там, на жестком сиденье, на тряском прицепе. А может, с быками: «Цоб-цобе! Цоб!» А может, просто с лопатой на своем огороде лунной ночью, после колхозных трудов. Или с косою, с вилами. Все — работа, работа. Мальчонка, парень, потом — мужик. Прожил век. Старался что-то нажить и не последним был человеком в хуторе, завидовали ему. А теперь, когда сын начал считать, словно открылись глаза. И на поверку вышло, что он — лишь не голый да босый, как в юности, стыд есть чем прикрыть. Хата с цветастыми занавесками да жестяной коробок — машина. Вот и все. Пощелкала у сына под рукой умная считалка и сказала: гол как сокол! На закате жизнь, а все словно в песок ушло. Козы — на базу, свиньи — в закуте, корова, в погребе — картошка. Вот и весь нажиток. Семен Гундосый весь век ноздрями мух ловил. Макариха цигарки крутила. А на руках те же козыри: коровенка да козы. Лишь цветастых занавесок на окнах нет. Машинка умная лепит свое: тридцать тысяч да пятьдесят, сто тысяч да двести. А Тарасов с медным грошом, как заславный купец Иголкин: лапти скинул, спешит за белой буханкой.

Студеная тьма густела, подступая к дверям. Когда Тарасов вернулся в дом, сын уже кончил свои подсчеты и глядел в темное стекло окна. Смятенье в отцовской душе он чуял и спросил мягче обычного:

— Голова кругом? А как же... Но ты дюже не горься. Как говорится, съел бы он съел, да кто ему даст? Анекдот знаешь?

— Какой?

— В зоопарке на клетке слона написано: «Рацион: хлеб — 50 кг, капуста — 20 кг, морковь — 10 кг» — и так далее. Подходит мужик, удивляется, у обслуги спрашивает: «Неужели все это он съест?» Ему в ответ: «Съесть-то он съест, но кто ему даст?» Вот так и мы с тобой. Планировать легко. Но кто эту технику нам продаст? Где она, продажная, и когда была? Конечно, кое-что можно добыть,— продолжил он.— Время такое. Постановление правительства есть, начальство побаивается. Кое-что можно купить и новое и доброе, где плохо лежит. Но технику нужно срочно брать. Ссуду и технику на нее.

— Не посадят на старости лет? — спросил Тарасов.— Такая страсть. Миллионы...

— Для тебя — страсть. Если возьмемся, то это мои заботы. У тебя сколько картошки? — спросил сын.

— Мешков под полсотни.

— Хорсеево, если дадут внизу, под картошку пустить. Сажалки да копалки в Борисах гниют. Привалов отдаст. Картошка — в цене. А на Гранях земля загубленная. Там при моей памяти осоту было полно.

— Нынче и вовсе,— подтвердил Тарасов.— Лишь колупали землю. Пчеловоды с других районов летят, взятком не нахвалятся.

— Там работы... Лишь берись. Вначале плантажными плугами. У Белавина в лесхозе можно взять. Да культивация. А на Саранском?

— Горчак одолел. А земля — золотая. В старые годы что пшеничка, что подсолнушек... шляпки — в тележное колесо, комбайн не берет.

— На Хорсеевом, как сейчас помню, в институте еще, на практике был... Ехал от Семибояринки через Прорву, где гать...

Житель городской, свою родину вспоминая, может без устали мысленно бродить улицами, площадями, тесными переулками: с бывшей Дворянской на Красный проспект, через какой-нибудь Сивцев Вражек ли, Канавку или Спуск, на Шанхай, на Соляную пристань.

На хуторе, в малом селе улиц нет, а тем более площадей. Какой-нибудь Петрухин кут, Забарак да Желтухин сад. Но на многие версты вокруг лежит, лежит родная земля: Саранское, Россошь, Большой да Малый Каланчики, Семибояринка, Щучий проран, Вихляевская грань, Татарские валы, Верхние и Нижние пески, Кораблева гора, Чибизов яр да Фомин колодец, Еруслань и Калинов — каждая пядь земли знает имя свое, как и все живое.

И теперь старый Тарасов и молодой бродили по своей земле из края в край, добираясь к далеким Зимникам, Кайдалу, Имбушкину ерику.

За стеной, за окном в мире лежала зима и черная ночь. Перед глазами Тарасовых красное лето цвело. Бронзовела, жаром дыша в лицо, пшеница-озимка на Вихляевских гранях, золотился подсолнух на Саранском поле, бело-розовая медовая кипень гречихи пенилась на Хорсееве, сочные по весне зеленя, серебристый ячмень, желтая стерня после жатвы, когда далеко видать, особенно с бугров, с Вихляевской горы и вовсе полмира.

— «Т-70» и сеялка специальная под гречиху — широкий ряд. По тридцать центнер можно смело брать.

— Знаю эти сеялки. На опытной станции можно достать.

— Плантажную пахоту и пар держать.

— При нашей земле пар — это деньги на ветер. Какие раньше травы сеяли? Коси и коси, сено — золотое. А после — пшеница, не въедешь в нее.

Текли да текли разговоры. Молодой Тарасов успевал в тетрадке писать: «Плантажный плуг — Белавин, сажалка — Борисы, сеялка — опытная станция».

Просидели почти всю ночь. И жена Виктора не ушла. Она неслышно работала спицами, к детям отлучалась, заваривала мужикам чай и внимательно слушала. Ее родина лежала здесь же, неподалеку, в станице Дурновской. Лишь речку минуй да приречное займище — выйдешь на грань Вихляевскую. Порой голова туманилась, клонило ко сну. Но спать было не время.

К утру будто обо всем договорились. Первые бумаги были написаны. Старый Тарасов уехал впотьмах. Сын провожал его.

— Начинаем,— повторил он, подбадривая отца на прощанье.— Я — здесь, ты — там. Двадцать восемь одних подписей надо собрать. Двадцать восемь начальников. Их лишь обойти — ноги собьешь.

До хутора Тарасов добрался быстро. В зимней утренней тьме в домах, на базах уже загорались огни. Сиял электрическим светом и тарасовский двор. Раиса, не дожидаясь мужа, кормила скотину, готовилась печи топить.

— Все живые-здоровые,— сказал ей Тарасов.— Танюшка книжки читает.— А потом добавил о главном, чего так ждала жена: — Решились. Виктор по начальству пойдет.— И кончил разговор, потому что не верил в бабий ум. Лишь заикнись о деньгах, о ссуде, тут такое начнется.

Тарасов помог жене и сел завтракать, когда пришел ранний гость, Шляпужок, тоже старинный тракторист, трудяга, почти ровесник. Не в пример Тара-

сову, Шляпужок был худощав, невелик ростом, носил мальчишеский светлый чубчик. Но клешнястые багрово-сизые руки лезли из любых рукавов.

— Про землю правду говорят? — с порога спросил Шляпужок.— Вроде ты берешь?

Тарасов уважал Шляпужка и ответил честно:

— Сбираюсь.

Шляпужок уже месяц хворал. Не снимая телогрейки, он сел у порога.

— Дело, конечно...— И запнулся, потому что не мог еще понять, какое это дело: доброе ли, худое? — Брат Михаил на пенсию пошел, на заводе, по вредным условиям. А бугай еще тот. Пятьдесят лет. Я ему говорю: может, возьмем, картошку посадим. А он напрямки: буду булку с чаем есть и на диване лежать и тебе тоже советую. Вот и все...— моргал Шляпужок светлыми ресницами.— А моя пришла, говорит: Тарасов землю берет. Зайду, думаю, может, брешут.

Тарасов отзавтракал. Вышли на волю вместе. Шляпужок направился к своему двору. Тарасов — к кузне, возле которой ночевали трактора.

Еще было темно. Лишь серело. Но хутор светил огнями. Возле кузни полыхала печь-водогрейка. Рано утром ее разжигал Рачков, колхозный водовоз. Вставать ему приходилось прежде других, зато рабочий день кончался с приходом Тарасова. Другие трактористы могли опоздать, проспать, Тарасов являлся в свою пору, первым. Рачков его приветствовал радостно: «С прибытьем! Живой-крепкий? Принимай вахту, а я пойду досыпать. Имею право» — и удалялся. Но нынче он не спешил. Закурил, глядел, как Тарасов воду пробует: горяча ли.

— Хоть чай заваривай,— похвалился Рачков.— Кипяток. Уж боле часа печка горит. А для чего ты все это затеваешь? — спросил он.

— Чего? — вроде не понял его Тарасов.

— С землей этой. На кой она тебе нужна?

Тарасов удивленно хмыкнул.

— Пусть еще миллион к ней в придачу дают,— твердо сказал Рачков,— не возьму землю. К чему она? Слава Богу, живем. Поверишь, вдвоем с Нюркой с осени уже кабана съели, десять гусей, двенадцать уток, не считая кур.

Поверить было нетрудно. Рачков и жена его на лицо и телом были сытые, красномордые, щеки лоснились.

— Лошадка и та кормит, а в твоих руках — техника,— убеждал Рачков.— Какая нужда... Вон амбар всю ночь стоит растворенный. Заходи...

— А чего? — спросил тревожно Тарасов.

— Да чего, напились вчера и все кинули. Ворота — настежь, всю ночь вози, не ленись.

— Семена...— угрюмо сказал Тарасов.

— И семена бери, и дробленку, и ячмень. Чего хочешь. Ночь год кормит,— засмеялся он.— Коммунизм построили. А тебе земля понадобилась.

Тарасов воды набрал и пошел к трактору заливать воду. Первый рейс его: школьников на центральную усадьбу везти, на уроки. Скоро ребятня набежит.

Но все же Тарасов не утерпел, сходил к хлебному амбару. Тот и впрямь стоял — настежь ворота. «Беда, беда...» — вздыхал Тарасов, их затворяя.

Он вернулся на хутор поздним утром. Солнце давно уже встало, светя белым неярким зраком. Возле кузни и тракторов народ не толокся. Значит, еще в конторе сидят. Тарасов пошел туда. Еще с крыльца услышал он крик. Видно, Арсентьич гнал на работу.

Отворив дверь, Тарасов осторожно, бочком протиснулся в нее; и разом в комнате смолкли. Смолкли и глядели на вошедшего. Доминошники — Чапайкин, Топилиных зять — про костяшки забыли. Петро Турченков с компанией, бабы, старики, что каждое утро на наряд приходили со своими заботами, Макариха, Василий Петрович, гундосый Семен глядели: кто на Тарасова, кто на Арсентьича. Повисло неловкое молчание. Арсентьич, разряжая его, кашлянул и сказал:

— Давайте-ка по работам. Расходись...

Но Макариха — высокая мосластая старуха со злыми глазами — шагнула к бригадиру и гневно вопросила:

— Тихомолом привыкли?! Под одеялкой смелые?! А я всегда напрямки, налицо...— повернулась она к Тарасову.— Упреждаю тебя: земли не получишь! Весь хутор — на дыбки! Не позволим! Колхозный строй, он страну кормит! Рушить его не позволим! — Макарихе слова не надо было искать, ветеран партии,

от младых ногтей она по собраниям вредителей да врагов громила.— Для чего мы колхоз создавали! Не щадя жизней! Чтоб тебе на блюдечке поднесть — владай! Не позволим! Простили вас с матерью, а ты прикрывался, вроде об колхозе болел. А теперь проявилось кулачество, земли ему!

Тарасов опешил, развел руками.

— Такое время...— пытался оправдаться он.— Новый закон.

— Нет такого закона! — костылем по полу пристукнул Василий Петрович, старик обычно беззлобный.— Я кровь проливал за эту землю, войну прошел, а моих детей — в батраки!

— К нему в батраки не пойду,— со смехом открестил Петро Турченков.— Он заездит и украсть не даст.

— За границу уезжай, в Америку,— посоветовал Чапайкин.— Там всем землю дают. А у нас — колхоз. Мы колхозом...— хохотнул он и спохватился, на костяшки домино глянув.— Доигрываем! Такая карта! А то Арсентьич погонит.

Бригадир, и впрямь о деле вспомнив, бодро скомандовал:

— А ну, по работам давай! Время — обед, а все сидим. Ни стыда, ни совести. Чапайкин, тебя где ждут?

— На том свете! Черти уже сапоги сбили, меня ищут.

— Ты не умничай, а заводи трактор и поезжай.

Дверь растворили настежь, понемногу выбираясь на волю. Тарасов в сторону отступил и стоял словно зачумленный. Мимо него проходили, кое-кто задевал:

— Ну и Тарасов...

— Умник...

Старая Макариха жиганула змеиным неморгающим взглядом:

— Ты — враг, Тарасов! Ты — враг трудового народа!

Лишь Семен гундосый свою беду не забыл.

— Придумал какую-то землю...— прогнусавил он.— Тут бабку бы какую найти подходимую, чтоб щи варила. И ничего не надо.

Всю жизнь Семен себе пару искал, блукая по окрестным хуторам и возвращаясь вновь. Да Василий Петрович, отходчивый, по характеру мягкий, уже остыл и по-отечески стал внушать Тарасову:

— Ты газет начитался да радио, телевизор наслухался. Забили тебе глузды всякие брехуны. В колхозе можно работать, лишь порядок навесть. Да помочь со стороны города. А нам, старым людям, без колхоза вовсе погибель: ни зернеца, ни соломки, ни огород вспахать. Тем более ты — трудяга, зачем тебе поперек всех идти...

Чужие слова, добрые, злые, лишь касались слуха Тарасова. Он стоял словно без памяти, а в себя пришел в тракторе, от хутора далеко, и не мог понять: где он и зачем?

Верный трактор катил по дороге, поднимаясь в гору. Одолев пологий изволок, Тарасов остановил его, заглушил мотор и выбрался из кабины на волю.

Это была Вихляевская гора, самая маковка ее. Впереди открывался просторный заснеженный распах огромной земли. Небо скрывала белесая невидь. Солнце порой выплывало мутным оловянным зраком. Рядом, на крутых склонах балок, желтела сухая трава-старюка. Чернели кусты шиповника и боярки. А вокруг далеко лежали поля. Они тянулись вдаль и вдаль, до леса и тонкой, еле видимой черты горизонта. Легкий ветер понизывал. Под ногами, на обочинной непаши — пахучий и в зиме сухой полынок. А во все края — поля и поля. Здесь, мальчишкою, бессильно плакал Тарасов, когда не мог завести заглохший в борозде трактор. Мальчишкой гордился, когда на прицеп посадили. А трактор доверили — вовсе голова кругом. С Раисой жениховал — тоже здесь, молодые... Потом мужиком работал и чуял: в силах — разве не радость? А теперь... Зачем ему земля? Станет ли она роднее, чем есть, и ближе? Здесь родился, здесь вырос и уйдет в нее.

Порошил редкий снег. Земля лежала покойно, от края до края, огромной просторной зыбкой, баюкая хутора, далекий лес, застывшее озеро в желтых камышах, Тарасова, что стоял на Вихляевской горе, над обрывом.

Всю жизнь — работа, работа... Некогда распрямиться, голову поднять. А любил весну, когда ярко зеленеет густая озимь и черная пашня парит. И летом, в уборку, прежде чем въехать на поле, мог глянуть и удивиться: озимка стеной стоит, вроде и не войти в нее, а дух — словно из печи. Потом — въехал, и работа, работа... Оглянешься: пустые поля, желтые, осень... Теперь вот зима. Не надо спешить.

С работы вернулся Тарасов необычно рано, по-светлому, словно чуяло сердце: дома ждут. Лишь ступил он во двор, Раиса вышла на крыльцо и сказала:

— Мать приехала.

— Мама? — удивился Тарасов.

Старая мать его жила со вдовой дочерью — старшей сестрой Тарасова — неподалеку, в соседнем колхозе. Но лежала меж ними река Бузулук, заливное займище, густая урема, для машин не больно проезжая. Лишь летом держалась прямая дорога, через легонький мост. Зимний путь был долгим, в объезд, добрые сто километров. И потому виделись редко, лишь по теплу.

— Жалкая моя сынушка...— встретила Тарасова мать.

— Ты как добиралась? — удивился он.

— Добрые люди... Попутно... Агроном к своим ехал, я напросилась.

Девятый десяток уже разменяла мать, усыхая от старости и пригибаясь к земле; телом была легка. Обнял ее Тарасов, целуя.

— Жалкая моя...— повторила мать.— А мы с Раей сидим, все жданки проели. Где наша колгота?

На кухонном столе, у окна, стояла бутылка вина в окружении еды и закусок. Тарасов выпивал редко, но нынче Бог велел стаканчик налить за встречу и за здоровье матери.

— Поголоски дошли, я всгалчилася,— объяснила мать.— Тарасов землю берет. Тарасов да Тарасов. А тут еще сны вижу: то папушку твоего дорогого, то Васю, то свекра, бабуню Машу — всех своих. По-хорошему приходят, всю ночь гутарят со мной. Михаил с Ольгой, Верочка, Коля, свекровь Устинья-желанница, дед Яша...

Тарасов вдруг вспомнил и, поднявшись, отыскал привезенный от сына листок. Он надел очки и за столом стал медленно и громко читать:

— «В материалах Михайловской особой комиссии по ликвидации кулачества имеется личное дело Тарасова Гаврилы Яковлевича...» Это не я,— прервав чтение, объяснил он бабам.— Это дед. Виктор бумагу дал, прислали из области по запросу... «Гаврилы Яковлевича, хутора Ветютнев Вихляевского сельсовета, в котором указано, что хозяйство Тарасова было раскулачено в 1931 году. Имел посева 30 десятин, покоса — 25, арендовал 25, сада 1,5 десятины...»

— Много, много было земли,— подтвердила мать.

— «Государству сдал разных культур до 10 пудов. Но упорно не сдает излишки. Облагался индивидуально и кратно, как кулак...»

— Облагался...— вспомнила мать.— Уж облагался так облагался. До скольку разов под метло. В амбарах и по базам шарили, все поизрыли.

— «Хозяйство Тарасова Г. Я. как явно кулацкое подлежит ликвидировать как класс...»

Он отвел глаза от листка, поглядел на мать. Старая женщина слушала жадно. В ней проснулась память.

— «Опись имущества, изъятого из хозяйства Тарасова Г. Я. Дом деревянный, крытый железом...»

— Под железом,— удостоверила мать,— под белым.

— «Два амбара, крытых железом. Одна летняя кухня, крытая соломой...»

— Взаправду соломой! — всплеснула руками мать.— Свекор собирался перекрыть. Бельмо, говорит, на глазу эта солома. Тут вот стояла, возле дулины,— показала мать.— Ты, Рая, еще помнишь ее?

— Помню...— подтвердила Раиса.

А мать глядела в окно и словно видела все: дом, конюшни, воловни, амбары и кухню под соломой и прежнюю жизнь.

— «Одни дроги — два хода, сани парные — одни, сундуки деревянные — два...»

— Мой и Олин, приданое,— объяснила мать.

— «Хомутов четыре, шесть уздечек с кнутами, три платка пуховых...»

— Свекрушкин, Олин и мой...— тихо проговорила мать.

— «Один фонарь «летучая мышь», один фунт шерсти черной, две полости, один полог, два полушубка старых, три пары валенок...»

— У бабуни Маши прямо с ног стянули. Гутарят, тебе на гулянки не ходить...— о далеком, но с горечью вспоминала мать.

— «Пятьдесят шесть штук яиц, один кувшин нардека, меду арбузного...»

— На бахче я варила...— Голос матери звучал все тише и тише.— Медный котел, дров привезли.

— «Одна занавеска, две пары чулок...»

— Свекор с ярманки нам с Ольгой привез...— прошептала мать.

Тарасов оставил бумагу. Раиса взяла ее, со вздохом: «Ой, господи Боже...» — продолжила чтенье, близко поднеся печатный листок к глазам. Она читала словно для себя, негромко, но явственно:

— «Четыре старых чугуна, две сковороды, три фуражки старых, один метр материала черного, три килограмма пшена, восемнадцать пудов пшеницы, два воза тыкв, одна кадка соленых огурцов, одна кадка арбузов соленых, одна кадка соленых помидор, десять пудов проса, десять кур...»

Старая мать каждое слово ловила, вытянув худую шею, но теперь радость встречи с далеким ушла, полонила боль. Это снова отнимали у ее семьи, у детей последнюю тряпку, последний хлеба кусок, обрекая на голодную и холодную гибель.

— «Одна клеенка, две кофты теплых, две кофты легких, один зипун, два мотка шерсти, четверо портянок...»

— Не портянки! Не портянки! Пеленочки Гаврюшины! Пеленочки! — закричала мать.

Она вскочила, тут же упав седой головой на стол. Покатился стакан. Разбилась тарелка.

— Пеленочки! Пеленочки Гаврюшины! — кричала мать и билась головой о столешницу.

Подняли ее и унесли на кровать. Раиса терла уксусом виски свекрови, водой ее поила, капала в ложку лекарство. Старая женщина тяжко дышала, плакала, а потом вдруг разом уснула.

Постояли над спящей матерью и ушли на кухню. Раиса прибирала на столе. Горький листок остался лежать на подоконнике.

Тарасов вышел во двор. На улице вечерело. К концу дня, перед закатом, проглянуло солнце; и словно почуяв далекую еще весну, на дороге, за забором, стайка хохлатых жаворонков пересвистывалась, ища поживу: ти-ти, ти-ти, ти-ти... Это были не трели весенние, до них далеко. Но и тихий переклик грел душу.

Тарасов, горестно вздыхая, жалел мать, в своей же памяти, конечно, не мог отыскать и следов тех далеких лет. Грудным его увозили на Север, в лагеря, на горькое поселенье, куда сослали всю большую семью Тарасовых, двенадцать душ. Живыми остались и вернулись на хутор лишь они с матерью да сестрой. Вернулись перед войной. На старом подворье не было уже ни дома, ни амбаров — все растащили, лишь старая мазаная кухня под изопревшей соломой доживала век. В ней стали жить, начиная все наново. Даже огород лежал, словно век не паханный, в диких травах. Сад и вовсе засох.

Что теперь осталось от прежнего? Лишь старая груша-дулина среди подворья. Тогда, в первые годы, она одиноко стояла посреди пустого двора. Кто сажал ее? Дед, далекий ли прадед?

Вековая груша мощным столпом поднималась от земли, легко держа могучую крону: огромный скирд суковатых ветвей и веток. Летом в доброй тени ее спасались от жары скотина и люди. Осенью груш хватало на всех; корова, овечки да козы вечером из стада, задеря хвост, летели, не надо и звать их. По весне пахучее белое облако вздымалось над подворьем, гудливое от пчел. Сейчас, в зимнее время, теплила взгляд соразмерная мощь ствола и могучей кроны, обнаженная, видная глазу от подножия, к старым дюжим ветвям, до легких нынешних выгонок с нежной ребячьей корою. Лишь понизу обугленными сучьями торчат давно сломанные ветки.

Чьи-то темные лики проступали в морщинистой коре, чьи-то тяжелые руки вздымались и тянулись к теплу человечьему, дорогому. И сам Тарасов рядом стоял, жилистый, темноликий, в морщинах. Казалось, если шагнет он сейчас, прижмется к стволу, то враз исчезнет в тяжелых, жилистых ветках, родной их брат. А мир, а жизнь покатятся дальше. Потечет дальше жизнь от зимы к теплому лету.

Тарасов невольно шагнул к дереву, прислонясь к нему.

— Отец! Отец! Чего с тобой?! — закричала с порога Раиса, спеша на помощь.

Тарасов от дерева отступил.

— Жизня, Рая... Вот она, жизня... Чего ж... Давай скотину правдать.

Подошел час долгой вечерней работы: кормить, поить и на ночь прибирать корову, свиней, овечек да коз, малую их детву. Носить пойло и сено, солому стелить, чистить и убирать навоз, вывозя его на черный баз в высоких, с коробом санях. И завтрашний день готовить: уголь, дрова. Все одно за одним, все привычное, но год от года тяжелее. Недаром все чаще ноют по ночам, особенно к непогоде, свинцом налитые руки.

Нынче вечерние дела управлять пришлось Раисе с дорогими сердцу помощниками.

Лишь только за дела принялись, загудела на улице машина и объявился нежданно сын Виктор. Во двор войдя, он с ходу отцу приказал:

— Собирайся, поехали. В правлении нас ждут, из района и колхозное начальство. Ковать надо, пока горячо. Переодеваться не надо. Доброго коня и под дерюжкой видать,— усмехнулся он.— А матери вместо тебя я привез подмогу.

Вслед за ним от ворот шагнул Вася, сын его, по плечо отцу, рослый мальчишка. А от забора послышалось писклявое:

— А я вот она! Спряталась! Баба, ищи меня!

— Дорогие помощнички! — обрадовалась Раиса.— Танюшка, ты где, моя сладкая? Иди к бабе!

Мужики пошли к машине. Раиса проводила их, не зная, что сказать, лишь напоследок промолвила:

— Глядите там...

Во двор она вернулась с внучкой, сказала ей и Васе, который успел сменить свое пальто на будничную стеганку:

— Будем ждать...

С ребятами было весело.

— Баба, я гусей загнала!.. Баба, коза меня не слухает!

— Ты ее шелужиной.

Вася работал молчком: дергал сено, носил его в просторных сетчатых вахлях, чистил у свиней, дотошно выскребывал дощатый пол, солому стелил, сыпал опилки.

— Помогите мне козленка донесть! — звенел Танечкин голосок.

Управились со всеми делами в темноте. В дом пришли, разделись. Внук прямым ходом отправился к телевизору.

— Там бабушка спит, не разбуди,— упредила его Раиса, орудуя у печи.

Танечка с кошкой занялась, потом уселась к свету, за кухонный стол, взяла бумажные листки с напечатанным и объявила:

— Буду тебе читать.

— Читай, моя внуча, читай,— похвалила ее Раиса, взбодряя огонь в печи.

— «Личная карточка раскулаченного Тарасова! — объявила девочка и принялась читать старательно.— В списках кулацких семей, следующих эшелоном в северные края, значатся: Тарасов Г. Я., 44 года, Тарасова А. Н., 44 года, жена, Тарасов Яков, 23 года, сын, Тарасова Анастасия, 23 года, сноха, Тарасов Михаил, 26 лет, сын, Тарасова Ольга, 25 лет, сноха, Тарасов Николай, 4 года, внук, Тарасов Василий, 2 года, внук, Тарасов Яков, 68 лет, отец, Тарасова Мария, 67 лет, мать...»

Раиса шагнула к столу и уж руку было подняла, чтобы остановить горькое поминанье. Но девочка споткнулась сама.

— «Тарасова Таня, 6 лет, внучка...»,— прочитала она и смолкла, подняв глаза.— Это я, бабушка? Тарасова Таня?

— Нет, нет, моя сладкая! — кинулась к ней в испуге Раиса.— Нарекешь еще, господи, не слухай ее... Это другая девочка, не ты. Это другая Тарасова.

Она забрала у внучки листок. Глянув во двор, в темноту, вспомнила разом все: Лелькины упрежденья, гаданье, плохие сны, бабкин приезд и слезы,— вспомнила разом, и сердце остановилось в испуге. Она обняла внучку, прижала ее, словно прикрывая от страшного, и, повернувшись к божнице, где Богоматерь Мария голубила свое дитя, попросила ее:

— Пресвятая мать... Сохрани и спаси... Не давай им, не давай эту землю проклятую!

Богоматерь с печалью глядела на детей человеческих. Что могла она?..

АСАР ЭППЕЛЬ

*

# НА ТРАВЕ ДВОРА

*Рассказ*

Я увидел ее опять недавно и внезапно. Траву моего двора. Той же травяной высоты, той же густоты и на похожем грунте — плотном, прохладном, но не сыром. Простоватый ее покров состоял из каких-то травинок, мускулистого подорожника, петушков-или-курочек и коленчатых проволочных стебельков с голубыми цветочными крапинками. Она не вытаптывалась, не зеленила одежду. По ней можно было бегать. На ней можно было лежать. Я лежал и бегал. Дозволялось все, но был один строжайший запрет: «Не бери дрова на траве двора!»

Ствол на удивление рано воздвигшегося подсолнуха (полоумная весна, обнаружив оброненную семечку, торопливо выставила к лету его из земли) был замшев и налит зеленоватым составом, как стебли мальвы, росшей невдалеке у терраски, точно возле малороссийской хаты, хотя тут была столица мира, возглавившая поход борьбы за мир.

Вздыбленный подсолнуховый ствол был толст и с набухшей вдоль зеленоватой жилой. От жары его разгоряченное устройство напрягалось, что вызывало некоторую неловкость, тем более что вверх по набухшей жиле старательно ползла божья коровка, тревожа, надо понимать, ножками тусклую кожицу бессовестного остолопа.

Еще к стволу, горизонтально гудя, подлетал и, стукаясь, отлетал тяжкий шмель, и мальвы у терраски, как маленькие локаторы, обнаружив в воздухе тихоходного этого бомбовоза, напрасно ждали, чтобы он заполз в разинутые их водянистого цвета нутра и мохнатыми лапками, свисающими с натужно вибрирующего внутренним гудом кузова, навел там сладкий порядок.

Однако полновесный, как медная пуля, сластолюбец упорно интересовался постичь подсолнуховый стебель, поражаясь торчанию из земли этого посоха, а всего более боковой вспухшей жиле, и разглядывал поэтому своими невесть как устроенными глазами невесть что на невесть отчего напрягшемся организме растения.

Сантиметров на тридцать ниже шмелиного тыканья приходилось изголовье деревянной раскладушки, обтянутой выгоревшим, почти уже не цвета хаки брезентом, а на раскладушке в белых пикейных трусах и в белом же бюстике лежала на животе загорающая Варька. Бюстгальтера, то есть его главных частей, надетых на притиснутые к брезенту обалдевшие Варькины груди, видно не было, но в доме, возле терраски которого ловили летний гуд хохлацкие мальвы, в комодном ящике лежала исполинская выкройка Варькиной чашечки, и возбуждающего средства сильнее люди тогда не знали.

Варька тоже — и тоже неотрывно — разглядывала подсолнуховую ногу. Голова ее была притиснута ухом к натянутому словно бы для акустических целей брезенту, и повернутыми к стеблю глазами она видела сколько надо по длинноте и толстоте, а вдольствольная жила напухала, можно сказать, прямо у ней на глазах.

Отчета в том, что́ видит, Варька себе не отдавала, но глядеть хотелось, и она глядела, давно уже прогревшись на солнце, но не раскиснув, а тоже по-девичьи набухая.

Думала она черт те о чем, вернее, о том, о чем она думала и ради чего лежала в самосшитом на ручной машинке «Зингер» белом наряде, она сейчас думать

перестала, а просто подсчитывала, сколько отверстий (по-Варькиному — дырок) имеется в человечьем теле. Сперва она со счету сбивалась, но в конце концов стало получаться десять. Между прочим, столько получалось всегда, но мать ее, Дариванна, говорила, что по-новому у нашей сестры считается на одну больше, а у мужеского пола оставлено, сколько было.

Варьке не мешал размышлять никакой звук, потому что тогда всегда была тишина, а загоризонтный рокот завода авиаконструктора Люльки, где круглосуточно гоняли совершенно засекреченные, впрочем, как и фамилия их создателя, двигатели, усиливавшийся обычно к вечеру, тишину эту лишь обосновывал и утверждал. В мире же Варькиного безмолвия тишину подчеркивало еще и негромкое, но густое гудение и настырный звук пилы. И ото всего этого тишина была вовсе мертвая.

Густое гудение, как мы знаем, исходило от барражировавшего на холостых оборотах упорного шмеля, которого Варька видеть не могла, потому что тыкался он в свои бомбовозные цели выше ее бессмысленного взгляда. Пилильный же звук, обязанный доноситься со стороны сарая, где двуручной пилой, но в одиночку, на скособоченных козлах всякий день пилил дрова Варькин отчим Василь Гаврилыч, сам себя обрекал на невнимание, потому что — то ли от жары, то ли из-за сонного Варькиного отупения — пилили, казалось, на ветке недалекой березы, возле выцветшего неба, а значит, долетавший не откуда положено звук оказывался недействительным и для Варьки поэтому не существующим.

На самом деле Варькино беспамятство было обманчиво. Да, она разжарела, прогрелась, единственно возможным образом вдавилась в раскладушку, но слух ее был настороже, ибо ждала она знака и звука с высот. Вжиканье пилы, почему-то доносившееся сверху, ею не учитывалось, ибо, как уже сказано, в качестве небесного звука было бессмысленно, а существовало лишь потому, что производилось сидевшим над своим скворечником в соседнем огороде скворцом.

Скворец этот прилетал ежегодно и все местные звуки знал наизусть. Птица, можно сказать, различала и понимала все здешние наречия, всю диалектальную разноголосицу слободы, но знание это не обнаруживала или же умышленно с ним не совалась, а просто, блестя по весне вороненым глянцем, выводила, когда положено, над скворечником, сооруженным подростком Леонидом, сперва путаные свисты, потом выводила скворчат, потом выкармливала их, дурашливых и пятнистых, натуральными насекомыми, в апокалипсисе которых фигурировали пока только всевозможные склевыватели, и грядущей Полынь-звездой, то есть ДДТ, их даже еще родная мама не пугала.

К моменту излагаемых событий птенцы с неделю, считай, как вывелись, скворец еще утром натаскал им всякого корма, скворчиха минут пять назад, заладив, что детям полезны водомерки с Останкинского пруда, умотала в этакую даль, глупая баба, а он покамест отдыхал. А поскольку, раз вывелись дети, петь не положено, а дарование требует своего, он и стал изображать пилильный вжик в варианте, когда двуручной пилой пилит один человек, держа полотно ровненько, чтобы не засело.

Вот какая была эта оставшаяся в безвозвратно канувшем мире птица, или т и п ц а, как потом станет говорить одно существо, которого пока не свете нету.

Зато всегда есть на свете какой-нибудь непорядок — без этого не бывает. На свете — да, но тут-то?

Какой тут может быть непорядок в горячий этот день, когда до времени воздвигся здоровенный подсолнух, когда мальвы одурели от жары и ожидаемого шмелиного вползания, когда лежит и ждет непонятно чего взмокшая Варька, а старинная сарпинка Дариванны, из которой пошита ее интимная одежа, старательно промокает безрассудный девичий пот?

Есть, есть непорядок. Скворец не поет, а пилит, а тот, кому полагается пилить, поет, вернее, напевает, сидя на имеющем быть распиленным полене и задумавшись на солнце, которое в сравнении с его родным вовсе не печет, а так себе греет — даже голая голова не очень-то взмокла. Напевая, созерцает он на низу заборной доски большое скопление жуков-пожарников: чего это они скопились там и сидят?

Скопились жуки-пожарники и правда непонятно чего. Сползлись на сыроватой прели доски в трухлявом месте, как бы обглоданном не то мышом, не то древоточцами. С виду они не такие выпуклые и эмалированные, как божья коровка, а длинненькие, тусклые и красноватые — точь-в-точь теплушки на Пресне, с путей которой Василь Гаврилыч, тишайший и деликатнейший человек, на полтора года выбыл из нашего житья-бытья.

А сейчас он снова сидит на здешнем дворе, пилить бросил — сидит себе и приятным тенором напевает. Лысина его все ж таки нагрелась, на босу ногу обуты стоптанные туфли, а ноги поставлены на траву. Трава, однако, засыпана пухлыми еловыми опилками, так что виднеются исключительно кончики самых длинных травин, поэтому Василь Гаврилыч ее не разглядывает, не поражается ей, а просто на ней живет. А трава его родимого двора, увидав которую он наверняка бы радостно взбудоражился, находится не тут, а там, где укромные куточки и левадочки, и они темные-темненькие, оттого что гопцуют с солнцем, которое светлое-светленькое и печет так, что аж просто дышать нечем.

В молодые годы, когда на месте не сидится и обязательно надо покинуть свой дом, будь то беленая хата или высокий замок графов Потоцких, когда человеку охота наладить жизнь, свою, чужую или всеобщую, снялся с места и Василь Гаврилыч, прихватив с собой приятную наружность, мягкость нрава, грустный тенор и удивительное разноязычье родимой округи, где с детства привык слышать и наречие богатых немцев из колонии, и понимать поляка-учителя, а заодно русина-ксендза, где торговался на базаре с Янкелями, играл с Моньками и Нахумчиками, пока те не исчезали во тьму трущобных хедеров, умел подшутить над туповатым молдаваном или, еще лучше, гагаузом, где могли появиться и мадьяр, и цыган, и даже китайцы с Китая. Но приятнее всего было изъяснять разные мысли на языке державных москалей, который победительно единоборствовал с местным,— даже не единоборствовал, а, как громадный заезжий борец, гнул вызвавшегося хуторского хлопца, сокрушительно ломая его на зеленом ковре всех этих левадочек, куточков, садочков, где мальвочки и Галиночки.

Напоролся Василь Гаврилыч в результате на слободу города Москвы, где сразу же поженился на домовладелице Дариванне, пленив ее, как встарь его земляк сластолюбивую императрицу, малороссийскими песнями и могучим хохлацким загривком, который якобы, как никакой другой, удобен для обхвата горячими женскими руками.

Попал Василь Гаврилыч в стольный город москалей, подставивший пришельцу одну из своих безнадежных слобод, где сплошь были хибары, хотя и не было хедеров, где все было похоже на большое несуразное село, возникшее ни к селу ни к городу, где в огороде была бузина, а в Киеве, во всяком случае у Василь Гаврилыча, дядька, причем единственный, причем с ним, кажется, что-то там такое, за что украинцы не любят кацапов, а кацапы хохлов, так что о дядьке в Киеве лучше не распространяться. Забудем его.

Дариванна была коренная, московская. Владела она большим домом и двором, и этот дом когда-то был дачей и был построен красиво, а во дворе росли две сосны, их еще Василь Гаврилыч, когда приехал, застал. Потом старинные деревья, не вынеся общения с переполнившими дом жильцами, не ужившись с человечьими помоями и чьими-то курицами, засохли и были спилены, а в войну Василь Гаврилыч выкорчевал на топливо их могучие, времен гетмана Разумовского, пни. Про то, что пни помнили графа Разумовского, Василь Гаврилыч не знал, хотя думы о знаменитом земляке на ярмарках слыхивал и сам, кажется, мог бы спеть нам кое-что; а о том, что императрица Елизавета Петровна, наезжая когда-то в останкинское имение, царственно опрокидывалась на траву возле этих сосен под огромным хохлацким певчим, обхватив удобный для упора загривок малороссийского мужика, он, конечно, и понятия не имел.

Ко времени корчевки пней Дариванна была уже жирной и старой, а обходительный, когда-то молодой и черноглазый Василь Гаврилыч тоже изменился. Фильтр слободы не пропустил его сквозь себя, жизнь повлеклась ото пня к пню, жена, как и многие здешние жены, не окрылила лететь дальше. А впрочем, куда — дальше? Дом ведь собственный. В Москве дом-то.

Василь Гаврилыч все же опускался не быстро. В праздник, скажем, когда случалось выпить, он по-прежнему сердечно пел на всю улицу, но одежка на нем бывала теперь только донашиваемая, головонька полысела, а жизненный интерес он находил теперь разве что в разговорах с соседями о всякой чепухе и несуразностях. Дариванна на его загривке для своих рук упора не искала, а если когда и привязывалась, то для него это было все равно что любиться с гагаузом.

Кстати, когда Василь Гаврилыч женился на Дариванне, у той уже была от первого замужества дочка Варька, и они прижили еще сына, но для него в рассказе как-то не нашлось места, так что ограничимся только сообщением. Подробнее, может быть, в другой раз.

Жизнь Василь Гаврилыча катилась-катилась под горку и — нате вам! — докатилась. Уже после войны, работая на Ярославском рынке кем-то, кто исполняет разные рыночные обязанности, каковым нет названия (например, собирает в тару краевой капустный лист, на продажу не считающийся), он то ли перед кем-то, угонявшим полуторку чего-то, неправильно ворота открыл, то ли, наоборот, неправильно закрыл, отчего угнать не получилось, за что совершенно неожиданно для себя заработал полтора года и с многочисленных путей Красной Пресни, где, если глядеть с моста, красноватых теплушек — как жуков-пожарников, был отвезен в лагерное узилище.

Сидючи полтора своих года, Василь Гаврилыч принял многие муки, потерял многие зубы, но зато несколько обучился татарской речи, которую на родимой стороне не слыхивал.

Отбывал с ним срок крымский татарин Сулейман Оседлаевич, с которым они по-человечески сдружились, и Сулейман Оседлаевич сперва рассказал Василь Гаврилычу, какая замечательная территория была Крым, откуда он возил шаланды, полные кефали, в город Истанбул, про который Василь Гаврилыч знал только по ярмарочным думам, в коих пелося, как его, то есть Василь Гаврилыча, предки и в Крым хаживали, и Богдана за Богородицу сватали, и палили город Константинополь, до какой-то там революции называвшийся Царьградом.

Территориальных претензий, однако, Василь Гаврилыч к Сулейману Оседлаевичу не имел никаких, равно как и Сулейман Оседлаевич к Василь Гаврилычу, равно как они оба к двум разнесчастным корейцам; тем более что Сулейман Оседлаевич, сам того не сознавая, спас жизнь и корейцам, и последние зубы Василь Гаврилыча, настойчиво желавшие от голода вывалиться, а сделал это путем старинного татарского корма, поедая который его предкам Оседлаям тысячу лет назад удалось установить и свой мир во всем мире, и достичь курортного Крыма, а заодно и Турции, чтобы в Турции стать турками, а в Крыму обеспечить проживание Толстому в Гаспре и Чехову в Аутке. Шамовка эта представляла собой белый порошок, и Сулейман Оседлаевич называл его салепом, совершенно не предполагая, что, прихватив с собой всего-навсего этот самый салеп и только им питаясь, а запивая кровью из яремной жилы, раскровыриваемой за ухом у лохматого конька и затем залепляемой глиной кочевий, предок Сулеймана Оседлаевича не знал ни голода, ни жажды, а скакал и завоевывал хоть багрянородных византийцев, хоть кого хошь.

Сулейман Оседлаевич заваривал порошок не лошажьей кровью, а кипятком, и получалась слизистая перламутровая жидкость, а Сулейман Оседлаевич печалился, что жаль вот нету корицы посыпать для вкусу беловатый густой напиток, как это делают на базарах Галаты или — бисмиллах! — там, где вообще ходят без конвоя правоверные.

Когда не было кипятку, порошок можно было навалить прямо на хлеб, а когда не было хлеба, просто собирать языком с ладони, и Василь Гаврилыч с удивлением замечал, что голод отчеплялся. Но почему? Этого же ж просто не может быть! Белый порошок с небывалым названием салеп оказался растертыми клубеньками растения, которого среди травы лагерного двора, то есть зоны, было завались и которое в науке называется ятрышник. Однако Василь Гаврилыч названия этого не знал, хотя самое травку знал хорошо, потому что на его родине она за сдвоенные свои тугие клубеньки, имевшие вид тверденьких мальчишечьих мудочков, называлась поповы яйца и якобы придавала мужескую силу, за которую так справедливо оценила хохлацкого певчего сама императрица и вознесла его высоко-высоко, а под останкинскими соснами — так раз по пять на дню аж даже над собою.

Парубки жевали поповы яйца, а дивчинам в левадочках полагалось для разжигания страсти скармливать любисток; Варька, лежа на раскладушке, иногда размышляла о популярной в здешних местах, но никем не виданной шпанской мушке, и только Сулейман Оседлаевич горя на родине со своими страстями не знал, а просто, если входил в раж, прикупал Зарем да Марий, а когда поостынет, уводил куда-нибудь подальше шаланды, полные кефали, и попивал себе горячий перламутровый салеп с корицей, которая, как коричневая пыльца лилии, лежит, не намокая, на перламутровой слизи горячего пойла свободы, а во тьме сверкает лампами своих кофеен или Пропонтида, или зигзагообразный Босфор, а надо всем этим — Аллах ли там зажег лампаду Аккермана? — нет, это всего лишь голодная и холодная лагерная луна.

Вернулся Василь Гаврилыч в наши места не то чтобы сильно изменившийся, но поскучневший. Петь он иногда пел, но хорошее громкое пение бывало

связано теперь с небольшим выпиванием. Сразу же по своем прибытии, не выходя из лагерного режима, он по правилам земляных работ расчистил уличную канаву, и всем стало ясно, что в лагере его кое-чему научили. Заросшая канава преобразилась в идеально ровный кювет и прекрасно отводила теперь дождевую и весеннюю воду, пока та, пройдя улучшенные Василь Гаврилычем тридцать человеческих шагов, не утыкалась в запущенное канавное продолжение соседей...

Пока Варька лежит и глядит на ствол подсолнуха и видит пятнадцать толстых его сантиметров, находящихся на уровне глаз своей головы, прижатой к акустически натянутому полотнищу, пока она ждет чего-то, за всякими огородными стеблями и палками, за высокими будяками, торчащими по огороду, где стоит раскладушка, что-то как бы торжественно шествует.

Варьке не видно, что там шествует, но по величавости хода можно предположить, что это направилась куда-то задворочная жиличка Софья Петровна — учитель математики и арифметики в школе пожарных, существо одинокое и еще раз одинокое, несмотря на проживание в задворочном домике с двумя сестрами, одна из которых — вдова погибшего на фронте художника-мультипликатора, оставившего после себя несметное количество листочков с гнущимися на ветру колосьями. Их обнаруживают целыми кипами, не предполагая, что экранного времени они заняли бы секунд двадцать, что, соответственно, немногим длиннее экранного времени непрожитой жизни их творца.

Вторая сестра ее, Тойба, производит что-то надомное, так что на хлеб и на что носить хватает; но живут три сестры в такой тухлости и под такими нахлобученными потолками, а окошки их бревенчатого жилья настолько не возвышаются над завалинкой, что это страшно подумать.

У ее сестер какие-то дети. Их надо выкармливать. А Софья Петровна, по ее собственным утверждениям, свободна, как птица: хочет — пойдет, а хочет — не пойдет. Что такое птица, она толком не знает и хотя видит эти летающие одушевленные предметы, однако сопоставить их свободу с гордой древней формулой «свободна, как птица» не умеет. Куда именно «хочет — пойдет», а куда «хочет — не пойдет», она тоже не очень представляет и сейчас, угадываемая за высокими сорняками, идет, скажем, в керосиновую лавку. И хотя толком не разглядеть, можно не сомневаться, что впереди нелепого ее облика движется большой нос, для красоты вместо пудры посыпанный белой мукой. Посыпать нос мукой — в этом она непреклонна, и хотя, по горестному утверждению ее сестер, она еще «не зазнала мужчины», Софья Петровна инстинктивно женственна, ибо самозабвенно пудриться мукой может только женщина. Мужчина пудриться мукой никогда не станет, потому что это или мерзость, или не надо меня убеждать. А если почему-либо все-таки станет, то будет понимать свой срам и так горделиво, как Софья Петровна, нос не понесет.

Идет Софья Петровна, оторвавшись от домашних дел, состоящих в приготовлении супа с клецками, в пришивании пузырящихся заплат на всю носильную одежу, в разглядывании тетрадок будущих пожарных, одну из которых она изъяла и спрятала, так как обнаглевший курсант изобразил на тетрадной странице пифагоровы штаны, то есть доказательство теоремы Пифагора при помощи геометрических квадратов, пристроенных к прямоугольному треугольнику, старинное и гимназическое, показанное ему дедом, сейчас из-за советской сношенности обуви сапожничавшим. Ее это изображение мужеских штанов возмутило не то чтобы методическим своеволием, а просто наглой неуместностью и бесстыдством; и нет чтобы выбросить ужасную тетрадку, она ее почему-то не выбросила, вероятнее всего, чтобы напоминать самой себе, как не следует себя вести, если ты — женщина, которая следит за собой и у которой, слава Богу, все, что должно быть заплатано,— аккуратно, хотя и пузырем, но заплатано, а если куда-нибудь не втянута резинка, так это место взято веревочкой. И всякий раз, неприязненно разглядывая прямоугольные пифагоровы штаны, она принималась еще сильнее посыпать мукой свой неимоверный нос, сизоватый орган обоняния ее женского лица.

Как могла эта чучелоподобная, лунатического достоинства женщина преподавать арифметику — цифирь, которую под алмазными звездами южных небес измыслили удивительные мужи древности, плевавшие на какие бы то ни было штаны? Рапсоды и стоики, окруженные учениками, славные и прославленные аж до берегов Хвалынского моря,— все эти тогоносцы и чалмоносцы, рабыни которых в минуты сладострастия, пряного и левантийского, были обучены не заслонять своим властелинам небо, так как, соединяясь с земными женщинами,

те глядели всегда в сверкающие яхонтами и хризопразами алгебраические ночные небеса, а змееподобные рабыни раскачивались и упояли господина своего так, чтобы силуэтом светящихся во тьме грудей или взмахом волос не заслонить повелителю ни Аль-Таир, ни Альдебаран, ни Пастушью звезду.

А здешнее небо, на котором пылало сейчас солнце, правда, не настолько жаркое, чтобы взмок знавший другие солнца загривок Василь Гаврилыча, и с которого раздавались звуки распилки кривого полена, и откудова ждала чего-то, известного ей, Варька, ничем особенным здешних обитателей не удивляло, хотя утверждать это столь же неверно, как неправильно доверять постным сообщениям Софьи Петровны в школе пожарных: «Углы бывают острые, тупые и прямые», ибо углы бывают еще и пятые (об этом даже Василь Гаврилыч знал), медвежьи, наемные, углы у родственников, углы с постовыми, а также шашечные — игра такая.

Неверно, что здешние небеса не удивляли обитателей. По ним, по небесам этим, уже многое летало, а перед войной — видите на той крыше вон ту трубу, а на ней покосившуюся жестяную верхушку? Знаете, почему она покосилась?

Потому что перед войной пролетал цепеллин.

Дирижабель пролетал так низко, что мы прямо думали, что он положится на всю улицу. А в нем сидели ученые германцы, так что на Втором проезде одна учительница на немецкий язык прямо запела «Широка страна моя родная», но по-немецки: «Хайматлянд, кайн Файнд золь дих гефэрдэн»!

И правда, в конце тридцатых годов, занимая несколько верст поднебесья, над травяной улицей висел цепеллин, совершавший какой-то знаменитый перелет во славу воздухоплавания. С цепеллина свисала веревка. Она и задела ажурный венчик на печной трубе, навсегда скособочив его. А цепеллин, устроивший затмение надуличного неба, обнаруживал пораженному и охваченному тогдашним энтузиазмом населению свое днище, и было впечатление, что померкнувшие небеса зачем-то обшиты еловыми досками, а к ним приколочена кабина-гондола, из многочисленных окошек которой вежливо выглядывали регулярные ученые немцы, пребывавшие в хорошем настроении, хотя цепеллинский штурман нервничал и шептался с тайным германским военспецом, ибо, огорошенный зрелищем лачуг, сараев и голубятен, не мог поверить, что отважный перелет успешно завершается, что внизу уже — цель перелета, Москва, хотя по косвенным признакам выходило, что это Москва несомненно, потому что уже долгое время под ними с портретом Карла Либкнехта старательно ехал на велосипеде представитель радостного населения, и дирижабельные синоптики, а на самом деле — переодетые немецкие контрразведчики, незамедлительно рассекретили в бинокли энтузиаста, признав в нем гепеушника высокого ранга Калевалу Вейнемуйнена.

Воспоминание о дирижабле не могли стереть ни куда более мелкие аэростаты противовоздушного заграждения, ни летательное изобилие военных лет. Зато всплывавшие время от времени на местный небосклон осоавиахимовские воздушные шары, нечастые мирные аэропланы, частые скворцы, воздушные змеи, утягивавшие в небеса по три катушки ниток тридцатого номера (причем от наблюдений за клочками «телеграмм», скользящих по этим ниткам в высокую голубизну, делалось жутковато), а также майские жуки и проживавший у нас до войны, пропавший потом летчик, ездивший на мотоцикле (но о нем и о его замечательной жене — в другой раз), потрясали воображение местных жителей и привлекали их любопытствующий взгляд, ждущий от осоавиахимовских небес гораздо большего, нежели не существующего уже в них (небесах и любопытствующих) Бога.

Скворец внезапно замолк, то есть небесная распиловка прекратилась, но тишина, однако, продолжала нарушаться источаемым откуда-то звуком, словно бы назревал помянутый нами только что аэроплан.

Подсолнух, так как солнце с помощью пары-тройки протуберанцев наддало зною, сразу напрягся и вырос миллиметра на полтора, у Василь Гаврилыча стала взмокать лысина, и он воззрился в сторону густевшего гула. Варька скинула ногу с раскладушки и рванулась встать.

Самолет явно приближался, но звук его шел почему-то понизу.

Варька вскочила, брезент раскладушки в момент ослаб, но вмятины от Варькиных круглых мест какое-то мгновение еще на нем просуществовали, а побывавшая под ней поверхность осталась темной от сырости тела.

Самолет подлетал, громко рокоча, однако видно его все еще не было.

Шмель, до сих пор настырно тыкавшийся в околоподсолнуховую прослойку, оттого что Варька вскочила, сипло гуднул, метнулся и безошибочно вдарился в нутро вовсе уж разинувшейся мальвы, где сразу завозился, захрюкал, словно бы уже часа два как в ней хозяевал.

От его влета мальва отшатнулась на своем водянистом стебле и на какое-то время осталась откинутой, чтобы, упаси Бог, не выронить мохнатое и ворочающееся счастье.

Самолет рокотал теперь как псих. Казалось, он может врезаться в забор.

Остальные мальвы, разинув свои розоватые нутра, повернулись к той, которая заполучила в себя шмеля, и завистливо разглядывали чужое счастье. У сарая встал с чурбака и подтянул старые свои брюки Василь Гаврилыч. Варька кинулась к забору, в который намеревался вдариться все еще невидимый, но уже безраздельно царивший на улице аэроплан. Из далекой экспедиции за водомерками как сумасшедшая мчалась к скворечнику испуганная скворчиха. Замолкший встревоженный скворец торопливо, но галантно пропустил ее в леток, потом юркнул сам, и было впечатление, что он что-то захлопнул изнутри.

Варька встала на цыпочки и раскинула руки, но так здорово, что груди ее в б у с х а л т е р е (с этой минуты я настаиваю только на таком произношении женского этого слова) выпятились, зад отставился, верх тела, то есть бусхалтер, отсыревший на раскладушке, обсох, низ тела взмок еще больше, все ее девичьи мальвы разинулись донельзя, а из некоторых домов повыскакивал народ, ибо травяную улицу уже накрыла тень. Выскочили, однако, не все. Кое-кто к воскресному небесному явлению приспособился.

— Коля! — истошно, но беззвучно из-за царившего метрах уже в двадцати, но все еще невидимого за сплошным забором сплошного грохота закричала она и, подведя ладони под груди, приподняла последние, словно пытаясь взлететь навстречу грохоту на собственных молочных железах. И она все угадала сделать вовремя — в тот же миг над двором оказался выцветший, как раскладушка, и заплатанный, как валенок, аэроплан «У-2». Летел он так низко, что прямо почти задевал провода на столбовых бревнах, и хотя шел на самой пешеходной скорости, грохочущий полет его над огородом и Варькой оказался обидно краток, однако оба самолетных седока так старательно и отважно свешивались из своих углублений, силясь что-то разглядеть, что их рвение и летное мастерство на летающем этом валенке очень захотелось отметить приказом по эскадрилье, ибо они успели засечь цель свою — Варьку, так как целью была именно она, хотя и уволокли половину уличного воздуха, а с ним и божью коровку с подсолнухового стебля, которая, приподняв эмалевые надкрылки, расправила аккуратно сложенные под ними коричневатые папиросные бумажки и повлеклась с уносящимся ветром вдогонку громоносным летателям, которым разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор.

Именно это и стал то ли от энтузиазма, то ли испугавшись, что аппарат врежется в дрова, петь на заднем дворе Василь Гаврилыч.

— Папа Василь Гаврилыч Бобыльчук! — кричала отчиму Варька, бегая по-кобыльи между грядок, то есть высоко вскидывая коленки, однако при этом не отпуская груди со своих ладоней.— Ща они снова!

Улетевший рокот и правда, где-то развернувшись, стал нарастать. Варька прекратила бегать, убрала на момент руку из-под правой сиськи, облизала палец, посушила его в воздухе, узнавая, откудова ветер, и взяла легла на грядку с салатом.

Рокот зверел. Воздухоплаватели явно шли на второй заход. Оба при этом пребывали в чрезвычайном возбуждении. Передний, который самолет вел, то и дело оборачивался, отрывал руки от рычагов, что-то одурело кричал и, жестикулируя, изображал на пальцах всяческие интимные идеограммы, тыча себя при этом в грудь, что означало, что практическое воплощение этих идеограмм безраздельно осуществляется только им. Второй седок, тоже бывший в ажиотаже, тотчас перехватывал дублирующие рычаги заплатанного учебного птеродактиля, ибо ни в коем случае нельзя было сбиться с курса и вместо огорода с полуголой Варькой пролететь, скажем, метрах в двухстах левее, над скучным свалочным пустырем. Передний был Коля, Варькин жених, классный летчик, находивший дорогу к Варькиным грудям хоть на земле, хоть в небесах безошибочно. Угостив предварительно комэска портвейном, он охотно возил друзей показывать свою невесту, которая к смотринам с бреющего полета тщательно готовилась.

Коля прекратил свою интимную жестикуляцию, сосредоточился на рулях и повел машину как по ниточке. Ориентиры — сосна на взгорке, потом продук-

товый магазин «Казанка», затем точно над коньком двускатной кровли многоместного казанкинского сортира и наконец антенна-метелка местного владельца детекторного приемника. Высота — минимальная.

Колька свесился, друг его свесился, и оба увидели, что Варька, лежа на грядке молодого салата, идеально изображала собою посадочный знак — букву «Т», но не на животе, как положено, а на спине и не по инструкции, падла, разведя ноги!

От восторга и благодарности Колька качнул над ней плоскостями, что на такой высоте было не сделать и Чкалову, и всколыхнул воздух всей улицы, так что качнуло и Василь Гаврилыча, и Василь Гаврилыч, как птица, поймавшая ветер, для равновесия замахал руками. От воздушной волны накренилась верхушка березы, и птенцы в скворечнике с породителями своими перекатились и смешались кучей. Мгновенно контуженный шмель ужалил ни в чем не повинную, но уже на все согласную мальву, жито на картинках мультипликатора вовсе полегло, а Софья Петровна, как раз торжественно и невозмутимо входившая в ворота, охнула и пригнулась от ветра, как хлеба на рисунках ее деверя, а когда выпрямилась, сделалось видно, что поднятые вихри смели с ее носа муку и он стал голый и пористый, хотя несуразным и большим остался.

И она увидела раскинувшуюся Варьку в белых полусъехавших частях самой распоследней на женщине одежды. Садись, пилот! разрешено! на! бери! ну пило-о-от же! — взывало Варькино тело к уже опустевшим небесам, с которых теперь где-то вдалеке свисал стрекот набиравшего высоту летательного аппарата «У-2», ведомого летчиком Николаем, которому опять, как всегда и как это еще не раз будет, не хватило времени натешиться одуревшей Варькой.

К сожалению, летательное средство не было оборудовано даже зачаточной в те времена аэрофотосъемкой, а имейся на нем какая-нибудь нынешняя электронная чертовщина, она бы наверняка распознала, заложив в компьютер Варькино чрево, что в чреве этом заготовлено все для будущих Колькиных детей: сперва для Верки, потом для Темки, потом для Петьки, потом для Кольки, потом для Лидки.

Заодно бы разведала она, что в рассказанном эпизоде участвовали, что ни говори, но две девственницы. Одна — Варька, она же честная! Она сохраняет себя для Николая и сохранит. Вторая — Софья Петровна, сохранившая себя неизвестно для кого и для чего и гордо шествующая в свое смрадноватое жилище.

Она прошла мимо Василь Гаврилыча, уже обретшего остойчивость, а тот сказал:

— Как вы полагаете, любезная Софья Петровна, а не по касятэльной ли к земному хоризонту пролетел этот аэроплан?

— Хотя это уже не планиметрия, но исключительно по касятэльной!

Вы заметили, что они одинаково приятно выговорили слово «касятэльная»? А все потому, что их скворечники находились когда-то не так уж и далеко друг от друга; не далее чем, скажем, город Сумы отстоит от Полтавы или чем город Лубны от города Тульчина.

Разговор с Василь Гаврилычем Софью Петровну, как всегда, несколько смутил, тем паче что она была голая, то есть с не обвалянным в муке носом, и очень этого стеснялась. Она вошла в свою комнатенку, за стеною которой в похожей комнатенке работала на оверлоке не обратившая внимания на самолет ее сестра Тойба, отворила створки окна, бывшие величиной с раскрытую тетрадку каждая, и еще раз поглядела на Василь Гаврилыча, который, любезно ей улыбнувшись, стал что-то напевать и с полтавско-тульчинской неохотой собрался потянуться к двуручной пиле.

Потом Василь Гаврилыч попилит.

Софья Петровна поварит суп с клецками.

Потом Василь Гаврилыч рассыплет по распоряжению жены Дариванны корму для кур.

Софья Петровна все еще будет варить суп с клецками.

Потом Василь Гаврилыч сходит на колонку по воду.

Софья Петровна все еще будет варить на керосинке суп.

Василь Гаврилыч посидит себе и попоет.

Софья Петровна сходит на колонку и принесет воды.

Потом Василь Гаврилыч после напоминания Дариванны начнет ходить на колонку и таскать воду и поливать огород, с которого давно уже ушла Варька, намерившаяся сходить на танцверанду Останкинского парка, где, сохраняя верность Кольке, танцевать не станет, а будет стоять возле еще довоенной

таблички «Танцовать стилем «линде» строго запрещается» и разглядывать танцующих. Она будет зырить, оставаться верной Николаю и завидовать.

Софья Петровна посадит заплату, которая из-за сложностей кроя этого места всегда выходит пузырем.

Потом стемнеет. Вернется Варька. Дариванна, мать ее, обзовет Варьку, дочь свою, потаскухой, а Василь Гаврилыч, сидя у черной тарелки радио, сперва будет слушать незабываемое по своей кретинской удали пение Бунчикова и Нечаева, потом судьба вознаградит его дуэтом Одарки и Карася из оперы Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем», а потом он долго и сочувственно станет переживать, как товарищ Молотов стойко и неуступчиво, неколебимо и последовательно, несмотря на происки поджигателей войны, четко и неуклонно проводит миролюбивую и последовательную политику, как мирную, так и оборонную, как защищая, так и отстаивая.

Софья Петровна тоже послушает радиофикацию, и ее взволнует песня «А ну, девчата, взгляните-ка на нас!». Ей слышится, что поют: «А ну, девчата, взглянитек-ананас!» И этот «взглянитек-ананас» получается непозволительно грубым намеком на что-то отвратительное, как подмеченные ею рыжие волосы на руках ее единственного ухажера, после чего она отказала ему приходить в дом, так как, по ее словам, она «чуть не пошла рвать». А поскольку Бунчиков с Нечаевым по целым дням одну эту песню и горланят, то «взглянитек-ананас» с наглым постоянством присутствует в ее жизни, и она всякий раз опасливо оглядывается, не заметил ли кто ее смятения, но Тойба гонит норму на своем оверлоке и еще на многих надомных машинах и знает, что делает.

Затем Софья Петровна слушает дуэт Одарки и Карася и предполагает, что Василь Гаврилыч обязательно воспроизведет ей завтра где-нибудь на дворе или на улице несколько музыкальных оперных фраз.

С неослабевающим интересом слушает она об усилиях товарища Молотова, самоотверженно отстаивающего одну шестую часть суши первого в мире социалистического государства от врагов, как внешних, так и внутренних. Часто повторяемые теперь слова «внутренние враги» Софью Петровну не слишком озадачивают, хотя на травяной улице, на всем ее стометровом протяжении, многие от этого выраженьица скучнеют.

Потом становится совсем темно, и все засыпают.

Дариванна, одетая в бязевую ночную плиссированную рубашку, пыхтя взгромождается на постель, где сдвинулся к стене напевающий дуэт Одарки и Карася Василь Гаврилыч, тушит огонь и повелительно протягивает руку к «взглянитеку-ананасу» своего супруга, но, ничего особенного там не обнаружив, сварливо шипит: «Исть, паразит, больше не получишь!»...

«Можэ, выду, можэ, выду на дороху...» — слышит, засыпая, в собственных ушах Василь Гаврилыч, и ему начинает сниться, что Вячеслав Михайлович Молотов последовательно и неуклонно просит представителя УССР на Генеральной Ассамблее Гулак-Артемовского поручить лично Василь Гаврилычу окопать Ассамблею от внешних врагов хорошею канавою и недвусмысленно запереть ворота, при этом обязательно и предварительно поставив на повестку дня уважаемую Софью Петровну.

Долго, конечно, не засыпает одинокая, как само одиночество, Софья Петровна.

Долго-долго — целых пять минут! — не может уснуть Варька...

Налеты Николая продолжаются. В эскадрилье только и разговору о загорающей невесте. Некоторые даже отваживаются и без Николая слетать на нашу улицу, но безнадежно запутываются в ориентирах курятников, слободских подсолнухов и просушиваемых на солнце перин, а пройти надо всем этим хламом на бреющем полете, чиркая колесами по голубятням, никто даже и не рискует, ибо только ошеломление молодой любви может вдохновить человека на такие выходки в летнем воздухе. Разве что один раз кто-то сообщает, что видел какую-то тетку с белым носом,— не твоя ли это, Коль?.. А?..

Вся эскадрилья, конечно, ждет свадьбы, и свадьба, конечно, совершается, однако из-за немедленного приказа куда-то вылетать все происходит так неожиданно и скомканно, что никто толком не успевает погулять, а только успевает вежливо прослушать долгую какую-то думку, которую Василь Гаврилыч самозабвенно поет, плача при этом горькими слезами.

Потом все летчицкие гости скоренько исчезают, тем более что начинается летняя гроза и средние слои атмосферы с таким грохотом валятся на нашу улицу, такие розовые молнии замыкают ее с небесами, что истошный Варькин вопль с

терраски не слышит, пожалуй, никто: ни двор, ни улица, ни осатаневшая она сама, ни пьяный Николай, как профессионал заметно подавленный нелетной погодой и спешным своим отъездом на заре.

Встает заря. Грозы как не бывало. Небо ясное, и — ясное дело — уехал Колька. Но куда — не ясно ни ему, ни его молодой жене, ни остальной улице.

Уезжает он куда надо. Куда надо командованию. И до следующего лета исчезает.

Время до следующего лета проходит как обычно. Из репродуктора поют Бунчиков с Нечаевым; Вячеслав Михайлович Молотов, как обычно, не идет ни на какие уступки американским агрессорам и здорово их клеймит; Василь Гаврилыч ежедневно наслаждается дуэтом Одарки и Карася, потому что Московское радио идет в этом смысле навстречу радиослушателям, и каждый день Софья Петровна припудривается мукой.

Но ведь Николай же где-то летает! Он жив-здоров, чего желает и нам, как стоит в его частых письмах. Жива-здорова и Варька, хотя чудовищно беременна, и когда, тренируясь ко Дню авиации, ведомые Василием Сталиным к Тушинскому аэродрому самолеты преодолевают над травяной улицей звуковой барьер — то есть от ускорительного взрыва лопаются небеса и все наши постройки приседают, а скворец, не успевший метнуться в скворечник, ибо не слышал приближающееся звено (оно ж свой звук обгоняет!), летит хвостом вперед,— Варька от страха не выкидывает, а, сидя на ступеньках террасы, наедается колбасой на случай, если умрет в родах. Но роды будут нестрашные, и на свет из Варьки появится Верка, и начнутся хлопоты материнства и нестерпимая тоска по Николаю, который теперь т а к необходим, что летняя пылкость на раскладушке, равно как и теоретические соития на бреющем полете, кажутся Варьке невинной грезою, правда, такой метафоры она не знает...

Что же поделывает Николай, сообщающий в письмах, что не спит чтобы крепким сном спала моя Москва?

Он летает в незнакомом секретном небе над незнакомой секретной территорией, а рядом с ним на расстоянии каких-нибудь полутораста метров летает незнакомая секретная машина, которая хоть и может летать быстрее Николая, но не показывает этого. По-русски Николай теперь не разговаривает, с базой же общается нерусскими словами и бессмысленными цифрами, потому что летающий рядом секретный самолет ни в коем случае не должен знать, что Николай — русский человек. Однако пилот с сучьего этого самолета все время заводит Колю, так как сам откуда-то по-русски знает, чему якобы научился от шпионских своих родителей; он даже знает, как Николая зовут. «Ник! — привязывается он по радио.— Лэтаешь ты вэри хорошо, но машина у тебя нот вэри хорошо! Ник! — продолжает он.— Что ты, эбьёна мазер, делаешь лицо, что ты желтый?» «Тень-тень-пинь! — для отвода глаз переговаривается на местном языке Николай с базой.— Тень-тень-фьють!» Но пилот с сучьего этого самолета подначивает как хочет. «Ник! — говорит он.— Ты вэри найс лэтаешь, но ты, эбьёна мазер, ошень боишься свой шеф! Мне надоело лэтат дайрект, и я буду сделат мэтвую петлу!» «Чинь-чинь-тюви-тюви-тонк!» — радирует Николай земле, а сам думает: «Смотри ты, приоритет присваивает! Петлю Нестерова мертвой, собака, называет!» — и безупречно производит сложную фигуру, идеально согласуясь с противником «Вэри найс лэтаешь, Ник! — радуется парному пилотажу неотвязный попутчик.— Май нейм из Зяма, так меня мазер и фазер называют!» «Во, сука, врет! — думает Николай.— Русским именем пользуется. Ну подставной же! Скажет «феллоу», значит, разведчик!»

Николая и его товарищей инструктировали, что, если летающий противник станет окликать их «олд феллоу», он наверняка шпион; «олд феллоу» его сразу и разоблачит, лишний раз подтверждая, что по-русски и пикнуть не моги.

«Будь здоров, Ник! До воскэсэне! По субботам я не лэтайт! Талмуд не разэшает!» «Цып-цып, тень-тень, бяша-бяша...» — стиснув зубы, тараторит Коля. «Гудбай, бьяша! Гудбай, олд феллоу!» — улетая на свою базу, кричит вражеский пилот. «Вот и раскрылся! Не заметил даже, как раскрылся!» — тоже поворачивает к своей базе сторожкий Коля.

Надо сказать, скучал он смертельно. И по Варькиной любви, и потому, что целыми днями приходилось барражировать в прикрытии, хотя боезапас на его штурмовике есть и ужас как охота отбомбиться или на бреющем полете пройти над здешними курятниками и голубятнями, прицельно сажая из бортовых пушек куда ни попало.

Но служба не велела, и Николай, страдая и без цели в жизни, и буквально «без цели», балдел. Если не летал, читал, валяясь на койке, брошюры, стрелял в тире из пистолета и, как все, изводился оттого, что нету бабы.

А у него вдобавок ко всему не было и Варьки. Так что редкие наезды местных артисток из народного ансамбля, которые под гундосую музыку медленно ходили в дурацких танцах по сцене клуба, потом пьянки с этими артистками, поощряемые даже начальством, потом растаскивание артисток по темным углам, чему, как и глотанию водки, артистки обреченно не противились, а потом срывание с них каких-то паршивых белых тряпочек и обнаруживание под шелковистыми этими или кисейными повязками всего-навсего двух нежных припухлостей на грудной ихней клетке, а они сами между тем словно бы растворялись в руках, эти маленькие женщины, ароматные, как веер, который заготовил в подарок Варьке Коля, похожие на тающий, когда его ешь, всюду продающийся здесь сахарный снег,— все это ужасным образом разочаровывало Николая, оставляя его в неутоленном и зверском пригородном хотении.

Да и ребята ворчали. «Это же все равно что пену для бритья е....!» — говорил кто-нибудь. «Точно! — подтверждал еще кто-нибудь.— Только пинь-пинь и кланяется! И ручки складывает! Вот бы тебе сейчас Варьку, а, Коль?» «Или Василь Гаврилыча! — добавлял еще кто-нибудь, потому что семейные обстоятельства молодожена были известны досконально.— Или Василь Гаврилыча тхань-тхунь бы!»

И до того ото всего этого хотелось отбомбиться, что даже награды за отличную службу не радовали. А вот разбомбить хоть ту же самую артистку охота была жуткая, хотя, когда такая, растворяясь в руках, прижималась, Николаю казалось, что притулился нежный благоуханный ребенок (о народившейся Верке он знал по письмам), и домой захачивалось еще ужаснее, тем более что последнее письмо Варька послала на выкройке чашечки нового бусхалтера куда, чем было, большего размера, что из письма и следовало:

«Я, Коленька, теперь стала товаристая даже больше, чем тогда в парке культуры и отдыха имени Дзержинского, когда даваться тебе не хотела, потому что была честная и терпела изо всех сил до свадьбы. А теперь грудь у меня женская, настоящая, даже лучше, чем тогда в парке; сам гляди по чашечке, которую приложила, а на ней отметила размер тогда чашечки, когда мы языками целовались и ты с меня платье жоржетовое двумя руками чуть не содрал. Коль, приезжай скорее, понял, чего я пишу?»

Начальство поставило жену Николая всем в пример, но его самого в особом отделе отругали за неположенную форму листа бумаги, на каком письмо было написано, потому что в сложных условиях международной обстановки противнику следует знать о нашем населении как можно меньше. А ребята были довольны и, когда приехали артистки, так вошли в раж, что весь их танцевальный коллектив стал проситься домой, и только одна уходить не захотела, а все набивалась, как потом рассказывал переводчик, что-нибудь своему обладателю постирать. Пришлось ее прямо силком уводить из расположения эскадрильи в расположение народного ансамбля.

И в небе Николаю не получалось утешения. Зяма, сволочь, баламутил его, рассказывая, что ихние ребята берут сразу по три артистки на каждого и тоже никакого толку, но зато, мол, на базе работают землячки из какой-то Миннесоты, радистки вольнонаемные, и миннесотчицы эти до такого исступления доводят всех олд-фелуев, что «знаешь, Ник, приборы потом таба-даба. Так что если я в твой квадрат лэтат, ты меня, эбьёна мазер, не сбивай, о'кэй! Я же не нарочно!».

«Бяша-бяша...» — радирует Коля на базу.

Чего уж тут говорить, как рвется он в отпуск.

Однако разные воинские обстоятельства так мгновенно коверкают долгожданную побывку, и, не предвидя их, так нелепо распоряжаются заветным временем Николай с Варькой, сперва разглядывая Верку, которая, несмотря на четырехмесячный возраст, с виду почти такая же, как секретные артистки там, откудова Коля приехал, затем в непонятных орденах отправившись гулять в парк культуры и отдыха имени Дзержинского, а вечером гости, теснота, винегрет свекольный — даже вспоминать не хочется. Василь Гаврилыч поет грудным голосом, и ночь хмельная, и все сбивчиво и на скорую, как говорится, руку. Правда, утром Дариванна вразумляет Варьку: «Вы бы потише кувыркались, а то брюхо он тебе опять наколотит!» «Мама! — говорит Варька.— Пускай чего хочет мне делает, хоть аппендицит пускай, кому же еще наколачивать! И не заставляйте потише, не твой черный чемодан!»

Вот как разговаривает с родной матерью одуревшая Варька, а к обеду прикатывает вестовой с бумажкой. Николая незамедлительно отзывают в часть.

Вот это горе! Вот это через два часа улетать!

Василь Гаврилыч поспешает за водкой. Дариванна уматывает к Юливанне за редиской. Верка орет неперепеленатая, и в последние считанные минуты, пока диктор из черной тарелки сообщает, что Вячеслав Михайлович Молотов последовательно и неуступчиво, Николай, уже одетый, впопыхах впечатывает на тахте все свои пуговицы, шевроны, портупейные пряжки и боевые награды в Варьку, распахнувшую халат и запутавшуюся сдуру в рукавах, так что мужа и обнять не выходит...

Нету меж них объятия, никак оно не получается, ни на скамейках в парке Дзержинского, когда Варька была еще честная, ни после торопливой свадьбы, ни сейчас вот. Правда, Софья Петровна, возвращавшаяся как раз домой, рассказывает своей сестре Тойбе (причем от страха с ее носа на Тойбино незаконное рукоделие спадает мука): «Там так кричат, что я думала — человека режут» — и без понятия ставит нос по ветру. А Тойба сочувственно глядит на неведающую сестру свою и про себя сожалеет — мол, она не виновата, что не зазнала мужа.

Софья Петровна, пребывая все-таки в беспокойстве по поводу необъяснимых криков, идет к себе и в смрадной своей комнатенке обсыпает нос, а затем разглядывает бесконечные листочки с колосьями жита, гнущимися на ветру, которые и у нее в комнате имеются во множестве.

Смысл их множества она не понимает. Ей кажется, что покойный деверь хотел нарисовать все поле как оно есть — столько-то гектаров, столько-то аров; но такой большой бумаги у него не было, а были блокноты — вот он и нарисовал по кусочкам, сколько там было колосьев.

Нечто подобное думает и вдова покойного. И сестры, все три, ужасно гордятся, что потерянный мужчина умел нарисовать поле, не пропуская ни одного стебелька.

Софья Петровна долго-долго рассматривает рисунки, но рассматривание как-то само собой доходит до пифагоровых штанов; Софья Петровна взглядывает на них и гневно багровеет, причем с носа ее сваливается крохотная мучинка. Отворенная величиною с тетрадку створка рамы позволяет видеть дрова, сваленные на траве, засыпанной опилками, сырыми сейчас, после какого-то вчерашнего ливня, и самое траву, прекрасно теперь между опилок и дров различимую. Софья Петровна глядит и думает, а смог ли бы покойный деверь нарисовать, скажем, все эти, сколько их есть, травинки, но, подумав, решает, что не смог бы, потому что трава — сырая, срисовывать пришлось бы совсем лежа, и у него бы промок живот.

От мысли о промокшем мужском животе она совершенно теряется, потому что ничего подобного Софье Петровне еще никогда в голову не приходило. Нос ее вспотевает, отчего мука на нем сразу превращается в тонкий слой клецочного теста.

В тетрадном окошке появляется мужская нога в подвернутой штанине. Это Василь Гаврилыч пришел горевать на дрова по поводу исчезновения Николая, потому что Варька дома ревет, изодрала на себе рубашку, и на белом ее теле все как есть отчетливо видны розовые оттиски петлиц, значков об окончании курсов высшего пилотажа и незнакомые вмятины орденов в виде колючих звезд.

Ни с того ни с сего Софья Петровна замечает, что штаны на Василь Гаврилыче поразительно похожи на пифагоровы. Сумма квадратов их катетов (Боже, каких еще катетов!) на глаз равняется квадрату штанинной гипотенузы (что же это? какая гипотенуза?). В довершение всего рубашка на его животе мокра и штаны спереди тоже.

— Нате вам две копейки,— говорит он, пользуясь вполне привычным для Софьи Петровны речевым оборотом.— Нате вам две копейки за такую жизнь! Вылила, кобыла, пускай будет на неродного отца, стакан воды, каковою я же ж и хотел ее обэрэжно попоить! Разве ж я Голопуз?

— Какое нахальство! — возмущается Софья Петровна, но не по поводу грубого поступка Варьки, выбившей из рук отца, хотя и неродного, стакан с водой, а по поводу мы-то знаем чего.

И между прочим, правда — нате вам две копейки за такую жизнь!

Ведь Николай убывает на целый год! Опять отчаянная скука в расположении летной части, где даже на травке не посидишь, так как в ней ползают жужелицы, ктыри, а также мокрицы, которые бьют сразу в два хвоста и просекают кожу

даже на пятке. Опять нестерпимая охота отбомбиться, а не летать целыми днями взад-вперед сбоку от заклятого противника. Хорошо еще, Зяма совпадает. Он, кстати, рассказывает, что теперь у них радистки во внеслужебное время бусхалтеры носить бросили назло одному олд-фелую из технарей, который сгрубил, что буфера, мол, у них подкладные и не шевелятся. «Это, Ник, просто крейзи стат!» «Бяша-бяша!» — только и может сказать Коля. А Зяма этот шпионский вдобавок травит, что его, Зяму, значит, как отличника боевой и политической вражеской подготовки посылают пилотировать личный самолет президента. Вот врет, собака! «Вэри жалко улетат, Ник. Так вэри гуд леталы. Но ты, эбьёна мазер, все-таки рашен, чтоб я так фазера видел! И не делай лицо, что ты желтый! Гудбай, Ник. Будешь Нью-Йорк, спроси Зяму с Бронкса, тебе каждая бладь покажет...» И он качает на прощанье плоскостями, отчего на какую-то малость сбивается с курса в квадрат Николая. Инструкция Николаю велит — немедленно сбивать, но Коля, забыв про все инструкции, кричит по-инструкторски яростно: «Ручку возьми на себя, падла! Тинь-тинь-теньк-теньк! Бери свой курс, эбьёна мазер! Ща собью, на хер, бяша-бяша-бяша!» «Сорри, Ник! Порядок, пожалста, и гудбай! Ты, таба-даба, вэри найс пайлот!»

А Варька пишет, что вот-вот снова родит, и точно — рождает маленького Темку. Легко и запросто.

Николай получает письмо с сообщением о мальчишке и звереет. Солистки из ансамбля разлетаются в белые брызги, растекаются лужею, испаряются туманом от его тоскующих по единственной любови рук, от его натиска не отбомбившегося человека, по глупости не разрядившего боезапас в Зямку с Бронкса, трепача, каких мало.

«Ну Коля,— пишет Варька.— Ну милый мой Николаша! Ну у нас уже двое, а мы так и не нацеловались языками. Я, Коля, еще больше товаристая уже, даже бюстика не ношу, так что выкройку не посылаю, а тебя не дождусь никак. Я вот как решила: когда приедешь, в парк имени Дзержинского сперва не ходить, крестную не звать и твою мать тоже. Мою мать послать в Казанку за консервами бычки в томате, папу, Бобыльчука Василь Гаврилыча, у ворот недалеко от терраски поставить, где я мылася еще тогда, а ты намыливал, если не забыл, чтобы никого не пускал. Он добрый. Если кто подойдет, убьет сразу, хоть твою маму, хоть мою мать. А мы, Коля, сразу Темку нашего на Верку оставим, она девка большая, считай, почти два года уже, а сами, Коль...»

А сами, Коль... а сами, Коль... а сами...— летят позывные из страшной дали. А рядом теперь летает вместо Зямы с Бронкса какой-то молчаливый по инструкции тип, и Коля слышит, как он передает на свою базу секретные цифры, а на своем языке не разговаривает. Такой, того и гляди, сбить может.

Мучнистый нос, убеленный мукой, плыл над высокими уже подсолнухами к колонке. Торжественная поступь плоской (будем считать, что из слова «плоской» выпало посадочное «Т» для летчиков), одинокой, как лишняя копейка, женщины только и определяла характер этого — такого бесхарактерного и бессмысленного — существа, о наличии которого в общей бытовой, культурной и социальной истории свидетельствовал разве что мелкий расход муки. Она так бесспорно ничем на земле не пользовалась, настолько ничего не съела ни вкусного, ни пряного (ни один чайный клипер ради нее не привез ни зернышка перца, ни один шкипер не лечил триппер, и никакой объективки не написал ни один опер), настолько не оставляла после себя следов, что если мы с вами ее себе не представим, значит, ее просто не было. Зимой она снег приминала — это бесспорно, но летом от нее не пострадала ни одна травинка — она же не сорвала ни одной покусывать, ни одной не примяла, потому что ходила по тропкам, ни одною не зазеленила девичью свою юбку; кислород, которым она пользовалась для дыхания, за день могли спокойно образовать в атмосферу четыре самых захудалых плети лебеды. Ела она клецки (опять же мука!), пила возмутительный чай, не знала, сколько ног у четвероногих и сколько у куриц, вернее, даже не задумывалась над этим. Зимою не топила — в ее комнату выходила стенка печки, топившейся у Тойбы; педагогическая ее экспансия, учительское воздействие на человечество были ничтожны, ибо преподавала она, как известно, в школе пожарных, да и преподавала науки строгие. Ну что можно добавить к таблице умножения или что можно сделать с медианой, кроме как провести по линейке от вершины к центру противолежащей стороны? Созвездьям она не удивлялась, дождливый день знаменовала ботами, гостей не ждала, даже пауки, выходившие на стенки, тоже бывали незамечаемы из-за скверного ее зрения. Что же это такое? Что это за бесподобное одиночество без отчаяния?

А вокруг между тем сплошь одинокие люди. Люди тупика. Тупик этот, бессознательно переживаемый всеми, не угадывается, не ощущается — просто наличествует, и все.

Что может человек, который не может плыть против течения? Только плыть по течению. Местный водный путь, как уже в литературе сказано,— канава, Копытовка, Яуза, Москва-река, Ока, Волга, Каспийское море. Внутренний бассейн. Тупик. Никаких сообщающихся океанов, никакой кругосветности, при наличии беспросветности. Никаких тебе чайных клиперов, шкиперов и триппе-ров...

И все вокруг одиноки. Василь Гаврилыч на дровах, сбитая с толку Варька; не забудем, приезды собственного мужа раз в год на пару дней воспринимаются улицей как нечто неслыханное, никто же не может понять, да и Варька в толк не возьмет, куда это он исчезает. Ужасно одинок и Николай со своим нерастра-ченным тупиковым боезапасом. Страшно одиноки артистки, которым велят ездить на концерты к летчикам. Все одиноки, но только не Дариванна. Здесь ее корни, здесь — в рассказе — ее дом, ее Василь Гаврилыч, ее жирность, ейный огород, подсолнухи, шмель, божьи коровки, жуки-пожарники — всё ее, и только мальвочки, посаженные от Василь Гаврилыча, не ее, но они тоже одиноки.

А как одинок я! Я-то как одинок! Ведь их у меня никого больше нет и не будет, а то, *что* на бумаге, это же всего лишь подобия. А одиночество с подобиями разве назовешь *бесподобным* одиночеством?

Обстановка в семействе Василь Гаврилыча, прямо скажем, обстановочка! Недоумение насчет отсутствия Николая, уже изготовившего двух детишек, мучительно. Письма его ударены московскими штемпелями, и получается, что он — в Москве. Правда, благоуханные веера и курительные свечки, привезенные Колькой, доказывают, что он где-то не в Москве, а там, где в ходу благоуханные веера. Полсловца про косоглазых, под рюмку оброненные Колей, наводят Василь Гаврилыча на мысль, что он, Николай то есть, участвует в воздушных облавах на предательских крымских татар, земляков Сулеймана Оседлаевича. Дариванна корит Варьку за мужа, который, считай, сбег и у него, пидораза, есть другая; на улице, когда Варька с обоими ребятишками идет за водой, даже не интересуются, мол, как ваш супруг поживает, и Варька сама в растерянности — замужняя ли она? А Василь Гаврилыч все чаще бывает пьяненький. Если не подсобляет газировщикам (теперь уже на Пушкинском рынке), получая за это мокрую мелочь, то сидит на дровах, иногда их попиливая, но все чаще общается с Софьей Петровной путем задавания в тетрадное окошко вопросов:

— Вы, любезная Софья Петровна, опять, как я погляжу, галушки варить воду кипятите?.. А что, любезная Софья Петровна, не пробовали ли вы досчитывать аж до миллиона? Я, любезная Софья Петровна, когда безжалостные люди подвели меня под судебное дело, бывало, и до семнадцяти с половиною тысячей досчитывал в темнице. Еще и с хаком...

Приятные эти разговоры, как правило, обрывались, когда лиходеи Бунчиков и Нечаев заводили скоромную песню «А ну, девчата, взглянитек-ананас!». Окошко сразу захлопывалось, а Василь Гаврилыч на пару со скворцом начинал пилить двуручной пилой еловые поленья, и белые мягкие опилки комками напухали на траве под козлами.

Но приехал Николай! Приехал *чадотворец* Николай — дождались его двое чад его, и жена его, и тесть его, и куры ихние. Только Дариванны дома не было — уехала в Загорск на богомолье и цыплят прикупить. И не сказался больше никому, что приезжает.

Приехал, прилетел, примчался, и ни в какой парк никакого имени не пошли. И Верка качала Темку, уже повторявшего за ней слово «типца», и Василь Гаврилыч стоял у ворот чуть поодаль от терраски и только крякал да начинал ни к селу ни к городу напевать: «Пэрэстань бо вжэ крычять!» А с терраски — «Коля! Бомби!», и терраска, чудилось, отползала от остального дома и, высунув язык, ходила по огороду на четырех лапах страсти, а скворец, как жаворонок, с вертикальной трелью зафитиливался в небеса, и какие-то бабочки-капустницы трепыхались возле друг дружки, и скворцу даже жрать их было некогда. А терраска ходила по огороду, иногда протягивая усталые лапы и валясь набок, но не лежалось ей, терраске; и Василь Гаврилыч с дубиною, наученный жизнью, когда следует, а когда не следует отпирать ворота, никого во двор не пускал и только ни с того ни с сего запевал в голос «Пэрэстань бо вжэ крычять!», потому что над летней улицей, ничего не понимавшей и проворонившей как приезд Кольки, так и ходьбу терраски по огороду, раздавалось не понятное никому,

кроме двоих понятливых, «бомби, Колюня!», словно включен был на терраске не изобретенный еще тогда телевизор, а по нему на полную громкость шло кино про войну. И когда раздавался крик этот, вопль этот военный, терраска приседала и, как бы обхватив себя заднею лапою, зажимала этой лапою дверь, чтобы дверь та не дай боже не распахнулась. А Василь Гаврилыч стоял с дубиной у ворот взмокший, со сверкающими глазами и не сводил взора с бегающей по огороду терраски, которая, как ему казалось, была в одной девичьей рубашке и заголялась, баловница. И зашумели в нем его левадочки да Галиночки, даже б Дариванну прижал он сейчас к козацкой своей груди и зашептал бы ей чего-нибудь, отчего б дивчина Дариванна закраснелась, как буряк, но не было Дариванны дома, уехала она в Загорск на богомолье, а заодно и цыплаков прикупить и даже не знала, что зять-то в терраске-то с дочерью-то, матерью-то его нынешних и будущих детей, зять ее Николай-чадотворец, от которого присутствия уже третий час аж даже гвозди ходили в досках мотавшейся по огороду терраски. «Бомби! Вот! Вот!» — неслось оттуда. А Василь Гаврилыч со своею дубиною стоял, готовый уложить каждого, который бы ни появился, вестового, но Софью Петровну все же пропустил, сказав: «Обэрэжно, Софья Петровна, это любов!» — а она невозмутимо прошествовала под взмывавшим, как жаворонок, скворцом и под взаимно болтавшимися бабочками, смахнувшими мучную пыльцу с ее носа, а терраска в этот момент устало дышала, положив морду на лапы и высунув язык крылечка, и только Василь Гаврилыч с дубиною, которого Софья Петровна после мокрых штанов сторонилась, несколько ее озадачил, и ей пришло в голову, что своей дубиною он хочет уничтожить на огороде сельскохозяйственных вредителей.

— Это любов! — почему-то еще раз сказал ей вслед Василь Гаврилыч.

А к вечеру на дровах сидели Василь Гаврилыч и Коля, бывший при полной парадной форме и в многочисленных колючих звездах. Темнело, и звезды эти, ордена то есть и разные знаки за отличную боевую и летную подготовку, яснели уже, как звезды здешнего неба, а босые ноги Василь Гаврилыча попирали тихую остывающую траву. Коля же сидел и хранил государственную тайну.

— Где ж ты блукаешь? Где пропадаешь, Мыколка? — спрашивал Василь Гаврилыч, наливая себе и Николаю, а для закуски сыпанув на черную корку татарского порошку.

— Не могу вам, батя, открыть, тем более как бывшему отбывшему,— отговаривался Коля, выпивая с тестем.

— Ермеклар капусы? — заев басурманским порошком, ловко сказанул по-татарски Василь Гаврилыч, полагая, что Коля расколется.

Но Коля даже виду не показал. Более того, ни одно из известных Василь Гаврилычу наречий, пока выпивали, не возмутило в летчике-орденоносце сохранения тайны.

— Я же вам, батя, привез галстук-самовяз, вот и спасибо, а тайны государственной я вам не скажу ни за что! А ну тихо будь! Товарищ Молотов по одному вопросу высказываются...

«...стойко и неуклонно...— вещала из открытого окна Софьи Петровны тарелка,— ...с полной ответственностью за судьбы мира... прямо и откровенно... агрессору придется в конце концов... Риджуэй... со своими горе-летчиками...»

— Точно, мля, про Рижидуя! — подтвердил Колька.

«Вон оно что! — стал соображать Василь Гаврилыч.— Вот он где, наш Мыколка, летает!» — и на чистом птичьем языке своих доходяг-солагерников, двух разнесчастных среднеазиатских корейцев, спросил то, что, беззлобно забавляясь, спрашивал, бывало, у них:

— Ссипхалька хочешь?

— А то!

— Коля! — послышался коровий зов с терраски.— Вы там хватит уже! Я их давно спать поклала! Ноги же зябнут!

— Ссипхалька, говорю, хочешь? — настойчиво переспросил постигающий тайну Василь Гаврилыч.

— Но токо с Варькой вашей! — торопливо раскололся Коля и побежал во тьму, и что-то белое, как в левадочке, выбежало ему навстречу, и Василь Гаврилыч обомлел от какого-то воспоминания, а поскольку кое-что на дровах было уже с Николаем выпито, то заплакал он горько и навзрыд.

И глаза его, застилаемые слезами, увидели засветившееся оранжевое оконце величиной с раскрытую тетрадку, и там появилась какая-то белая фигура. Долговязая и нелепая, она стаскивала с себя пыльное платье дня, чтобы

облачиться в заплатанную пузырями рубаху ночи. Жидкие слезы печали и улетевших молодых дней затуманили взор одинокого Василь Гаврилыча, и он пошел на розовеющее это в окошке хмельное его мужское счастье и, затаившись, пораженный, видел все воздымания рук и разбирания одежды, все смутные оранжево-розовые расстегивания и выпрастывания...

На самом деле зрелище, которое созерцал он сквозь сияющие свои горькие всхлипы, было настолько загробно и жутко, что только слезное хмельное марево и возбуждение от целодневного стояния у ворот любви могли застлать очи нашего созерцателя.

...Руки взметывались, темные волоса распускались и волнами бежали к ногам, в комнатке летала белая пыльца, розовеющая в оранжевых туманах абажура. Розовели груди, и бедра, и живот с ямкой пупка, и стояли очи, обращенные к нему, завороженному и зареванному...

— Бомби! — донеслось с терраски.

Он ступил к окошку и прямо уже постучал, но тут же отпрянул. Розовое зрелище поплыло навстречу, захлопнуло створку, замерло, а потом повернуло свет и выключило весь мираж.

— Ты закрыла окошко твое,— сказал быстрой темноте заплаканный Василь Гаврилыч.— Но ты не знаешь, что закрылись ворота! — И добавил на понятном Софье Петровне языке самые распрощальные слова, и розовеющий оттиск оконца, оставшийся в его слезах, закрылся какими-то створками, но все еще продолжал розоветь.— Ты слышишь? — шепнул он и сморгнул, и еще какие-то створки затворились, а потом замкнулись еще какие-то, темные и мрачные, и в рассказе моем наступила совершенная тьма.

Но на самом деле не сказал он ни словечка, а все это как бы беззвучно проплакал. Тихонько так проголосил все это, стоя босиком на прохладной уже ночной траве, Василь Гаврилыч Бобыльчук, не то неосмотрительно открывший, не то неправильно закрывший какие-то ворота.

Но не те, из-за которых сел.

А те, из каких ушел когда-то на траву этого двора.

По ней можно было бегать. И я бегал. На ней можно было лежать. И я лежал. Она не вытаптывалась и не очень зеленила одежду. С нее только нельзя было брать дрова. И я не брал. Долго не брал. И позабыл вроде бы и двор, и траву, и дрова.

Но вот я увидел ее снова. Узнал, как называется тонкопроволочная эта поросль с голубенькими крупинками цветков, что это за мягкие, не режущие рук стебельки, и это знание, как всякое другое, в который раз не принесло мне никакого счастья. Узнал я еще, что трава моего двора была целебнейшей, что стоило воспользоваться ее поразительной фармакопеей — и многое и многие остались бы жить и многое бы не умерло. Но тогда я не знал. Сейчас знаю. И беру дрова впопыхах, сбивчиво и торопливо.

1981.

## Д. А. ПРИГОВ

*

# МОЯ РОССИЯ

### Предуведомление

Моя Россия в смысле принадлежности к ней, но и в смысле моего персонального восприятия ее, как, скажем: мой Пушкин! мой Ленин!

Что же такого особенного в моем представлении о ней — да ничего.

Может быть, только легкий холодок содрогания от тянущихся ко мне по ночам на чужбине прохладных ее рук. Она тянет, тянет их — то ли обнять, то ли (опять-таки в удалении и в обмороке ночном что не почудится!) за горло ухватить. Так это что? — так это ее право! Я и не отказываюсь от подданности ее законам и вожделениям. Значит, так и есть.

* *
*

Ты помнишь край? — не помнишь края? —
Где был я молод, был я юн
И пело радио, играя
Про заплутавшую гармонь

И у вечернего порога
Обозревая нашу жизнь
Шептало: подожди немного —
И будет, будет коммунизм.

Но я уже другой отравой
Опоен был, мечту поправ.
Зачем, зачем, о Боже Правый,
Зачем я оказался прав!
И вот старый уже
И ты сама разуверилась
И коммунизма нет как нет

* *
*

Россия, ты как вертолет над полями
Безмолвного духа отец-вертолет
А снизу он видится — холод и пламя
Исполненный черт те чего твой полет.

И нет те закона, и нет те приказа,
Как ветру, как деве, как тьме Тоно́,
Ан нет — зацепилась за горы Кавказа,
За билдинг Нью-Йорка, но это оно
Временно

* * *

Я помню в поле под Орлом
Нечистая бродила сила
То все до времени косила
То просто вваливалась в дом
В виде такого старичка
Садилась, юбки подобравши
Работая под простачка:
А? что? не нравится? а нашим
Орловским, в смысле
Нравится

* * *

Я люблю подмосковные рощи! —
Любишь мои рощи? —
Люблю, люблю!
Легкий запах пруда над прудом! —
Тоже любишь? —
Да, да! —
Легкий запах пруда над прудом? —
Люблю, люблю!
Легкий запах пруда над прудом
И кровавый стремительный росчерк —
Неужто тоже любишь? —
Люблю, люблю его! —
Всесоюзного, скажем, притом
Значения
Каждого нового твоего маньяка,
Заносимого к нам по осени и
исчезающего по зиме! —
Любишь? —
Люблю!

* * *

Ох, нелегко быть честным
Когда ты весь ячеистый
Такой —
Одна ячейка губит
Как комсомольская
Другая слезы льет
Как христианская
А третяя их любит
Обеих
И одинокая бродит
В небесах

* * *

Я видел сон: сначала было
Ну все как есть, а после умер
Иль умерло, и все поплыло,
Все стало диким и безумным,
Что представлялось чистой маньей,
И я припомнил задней силой:

Ведь засыпал-то я в Германьи
А вот проснулся я в России
И я себя безумной силой
Заставил заново в Германьи
Проснуться
Пока

* *
*

Есть женщины родной земле сырые
Когда идут — то плачут провода
Высоковольтные
От той сверхпроводимости, когда
Уходит в землю все и навсегда
Сквозь них
Они-то вот и есть — Россия
Женщины эти

* *
*

Теперь поговорим о мыши
Коих в России миллиард
Или уже за миллиард
Перевалило — только тише!
Она одна приходит — мышь
И ты в лицо ее глядишь
Тоже один

* *
*

В России, помню, на краю земли
Тургеневские девушки цвели
Так приглядишься — а они цветут
И песни деревенские поют
Дотронешься — они цветут алее,
Бегут, бегут вдоль липовой аллеи,
Поймают, скажем, Шеллинга и вот
С ним водят нацьональный хоровод
И на меня оглядываются

* *
*

Когда Владимир Ленин наяву
Россию вздыбил и объял народ
И перенес столицу в Ленинград
То есть в первопрестольную Москву
Как Эхнатон, как Константин и Петр
То есть Москва и есть по сути Ленинград
Истинный
Недаром сейчас по праву хотят
отнять у Ленинграда неистинное
имя его

* * *

Вот из вашего окошка
Виден двор и видна кошка! —
Ну и что? —
Да нет, ничего! —
А у вас? —
А из нашего окна
Вечность вечная видна! —
А куда выходят ваши окна? —
На Мавзолей выходят! —
Понятно!

* * *

В песках азийских бродит лев
В снегах российских бродит заяц
О, как себя преодолев
Себе признаться не смущаясь
Я есть тот заяц
Который, кстати, и медведь
Который на поверку — рысь
Который на поверку ведь —
Тот самый лев, поскольку Русь
И пески аравийские объемлет тоже

* * *

О, милый мой, в России летом
Грибов и ягод — нету сил! —
Да, милая, но эполеты
Германских вооруженных сил
На моих плечах! —

Но, милый мой, ты видишь, шар
Метафизический над нами
Висит — так русская душа
И сумрачный германский гений
Беседовали

* * *

А мысленно вижу Москву
Столицу колымского края
Когда в придорожном леску
Как девушка молодая
Невидную миру слезу
Расшитым платком утирает
И северную стрекозу
Задумчиво так растирает
Между пальцами

Берлин, 1991.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

*

# ДОЧЬ БУХАРЫ

*Рассказ*

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилежал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машинку, распахнул вторую дверку — и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты, с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентиевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал...

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом — как это бывает с сильным ливнем — над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной — красивой и богатой — жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпенов, людей не от города и не от деревни,— и своей собственной, протекающей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара — так прозвал двор анонимную красавицу — не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты

прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете... И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение...

Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентиевича был военным фельдшером, дед — полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентиевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет,— мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии...

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в Военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

— Не знал, что ты верующая.— Покачал головой и строгим докторским голосом закончил: — Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирку — это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

— Ну, чего ты ревешь? — строго спросил доктор.

— Да чего там у вас убирать в кабинете-то. Мне там раз махнуть, и вся работа... А варит-то она как — ни борща сварганить, ни каши...— Паша вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

— Собирайся, Паша, поехали, и не дури,— приказал Андрей Иннокентиевич.

И они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

— Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро,— внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

— Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиятской... Одно слово, Бухара!

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А головешка азиятская, которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи...

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

— Бедная девочка,— размышлял старик,— трудно ей будет привыкать.

Но она разобралась быстро.

— Не свекровь и не служанка,— определила она старую Пашу. Подумала и догадалась: — Кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно-проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали... Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище...

Так Андрей Иннокентиевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».

С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантусом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентиевич отметил про себя гипотонус, мышечную расслабленность, и полное отсутствие хватательного рефлекса.

Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование уже после начала войны, специализировался по полевой хирургии, в педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия.

Назвали девочку Людмилой, Милочкой, и Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и даже на ночь все старалась устроить у себя под боком.

Старый доктор умер, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный.

Он отвез девочку в Институт педиатрии, где академик Клосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов артистически осмотрел ребенка. Он повернул кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз по тем временам редкий — классический синдром Дауна.

Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взявши под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга.

После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья,— такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспаления легких и как следствие ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия.

На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала, красавица мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего, и не решался ее об этом спросить.

Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания, и проклинаемый вейсманизм-морганизм направил его мучительное чувство к самым счастливым минутам его жизни, к первым дням внезапно постигшей его любви

к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из джанны, мусульманского рая.

Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо: «Имя Дмитрий было написано у меня на груди» — и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы... Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошлись и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома, или ее часть, отошла не в ту клетку, и эта микроскопическая ошибка определила существование порченого от самого своего зачатия существа...

Жена Дмитрия словно и не замечала неполноценности девочки. Она наряжала ее в цветные шелковые платьица, повязывала нарядные бантики на жидкие желтые волосы и любовалась плоской бессмысленно-жизнерадостной мордочкой с маленьким раздавленным носом и всегда приоткрытым мокрым ртом.

Милочка была улыбчивой и спокойной — не плакала, не обижалась, не сердилась, никогда ей не хотелось ничего такого, что было запрещено. Книжек она не рвала, огня остерегалась, подходила к калитке садика, смотрела в щелку, а на улицу не выходила.

Дмитрий Иванович, наблюдая за дочерью, с горечью думал о том, каким чудным ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в дефектной телесности.

Единственной неприятной особенностью Милочки была ее нечистоплотность. Она очень поздно, как и бывает обычно с такими детьми, начала проситься на горшок и совершенно не могла усвоить понятия «грязный», хотя многие другие вещи, более сложные, она воспринимала. Так, «хорошее» и «плохое» она по-своему различала, и самым сильным наказанием, которое допускала ее мать, были слова: «Мила плохая девочка». Она закрывала лицо короткими пальчиками и плакала бурными слезами. Этому наказанию подвергалась она редко и обычно как раз за грехи «грязи»: испачканное платье, одеяло, стул.

Любимой стихией Милочки была полужидкая земля, в которой она с наслаждением возилась. Долгими часами она сидела рядом с песочницей, пренебрегая чистым крупитчатым песком, специально для нее привезенным отцом, и из жирной садовой земли, поливая ее дождевой водой из бочки, месила тесто и лепила, лепила...

Дмитрий Иванович, воспитанный дедом по сухой и добротной нравственной схеме Марка Аврелия, усвоивший к тому же скучную материалистическую религию общественной пользы, допоздна просиживал в своем отделении, глубоко вникая в медицинские судьбы своих пациентов..

Возвращаясь домой, он испытывал привычное ежедневное отчаянье, и жена его, так сильно прилепившаяся к дочери, что черты Милочкиной неполноценности как бы проникали и в нее, становилась ему все более чуждой.

Все волшебство близости с этой прелестной и покорной восточной красавицей выветривалось куда-то, и даже когда он изредка звал ее в кабинет деда, давно им заселенный, он не мог освободиться от глубокого темного страха перед невидимым движением таинственных и непостижимых частиц, руководивших судьбой уже рожденного ребенка и того, другого, который мог бы появиться на свет... Страх этот был так силен, что порой вызывал физическую тошноту и в конце концов полностью лишил Дмитрия Ивановича желания обнимать это женское совершенство.

Операционная сестра Тамара Степановна, грузная и грубая, с умными и надежными руками, после производственной вечеринки по случаю чьего-то дня рождения на дерматиновой кушетке в запертом приемном покое освободила Дмитрия Ивановича от предрассудков пуританского воспитания, а красавицу Бухару от мужа.

Крупнопористая, круто завитая и толстоногая Тамара Степановна не рассчитывала на такой успех. Но она была ломовая фронтовичка, давно и наизусть выучившая сокровенную мужскую тайну: сильнее всего укреплять наиболее слабый участок. Интуицией многоопытного женского зверя она почувствовала его слабину, и на вторую их встречу, происшедшую через несколько дней по случайному совпадению дежурств, она посетовала на свое бесплодие, и Дмитрий Иванович с этой немолодой и некрасивой женщиной освободился от кошмарного миража мелких и гнусных движений хромосом, которые к тому времени

начисто отрицались передовой наукой. Но это уже не могло изменить совершенно разладившихся его отношений с женой.

Дмитрий Иванович сообщил жене, что уходит к другой. Она, не поднимая глаз и не выразив никакого чувства, спросила его, зачем ему уходить... Дмитрий не понял вопроса и дал разъяснение.

— Я знаю, я тебе надоела. Приведи новую жену сюда. Я согласна. Я сама родилась от младшей жены...— не поднимая глаз, сказала Бухара.

Дмитрий Иванович схватился за голову, застонал и вечером того же дня, собрав в чемодан рубашки и носки, ушел к Тамаре Степановне...

Деньги Дмитрий Иванович переводил по почте. Милочку не навещал никогда. В три дня девочка его забыла. С его уходом Паша окончательно переехала в докторский флигель, а Бухара пошла работать по своей почти утраченной специальности

Круто изменилась жизнь. Прежнее жадное любопытство соседей к Бухаре и ее дочери, подогреваемое высотой забора и их полной отчужденностью, теперь сменилось агрессивным желанием потеснить пришелицу, «уплотнить», как тогда еще говорили. Были написаны безграмотные и убедительные бумаги в райжилотдел, в милицию и в некоторые иные организации, не чуждые проблемам распределения жилплощади. Однако времена уже стояли прогрессивные, ни выселить, ни даже потеснить их не удалось, хотя участковый милиционер Головкин к ним все-таки приходил — посмотреть что там за комнаты у соломенной вдовы.

Дохлые кошки со всей округи постоянно перекидывались через высокий забор Бухары, но она не была брезглива, выносила кошек на помойку, а если дохлятину находила Милочка в мамино отсутствие, то она рыла в углу садика под большим дубом ямку, хоронила там кошку и устраивала на могиле секретный подземный памятник: под осколком оконного стекла раскладывала цветные бумажки, головки толстых золотых шаров, фольгу, камешки. Часами трудилась, устраивая красоту, и когда мать приходила с работы, сдвигала тонкий слой земли и показывала выложенную под стеклом над упокоенной кошкой волшебную картинку, тыкала в стекло грязным пальцем и объясняла матери:

— Киса там.

Толстая Милочка росла в счастливом одиночестве. Была мама, Паша, высоким забором окруженный садик и множество значительных и огромных по смыслу вещей: старая железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными запахами и мелкими движениями насекомых вокруг нее и внутри, старый дуб в углу сада, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, осыпающий красивые желуди в шершавых шапочках, жесткие резные листья и хрупкие веточки, беседка, куда Милочка уходила сосать короткие пухлые пальчики...

Ей шел уже восьмой год, и множество вещей она знала на вид, на запах и на ощупь. Только слов произносила немного, и произношение было странное, как будто гортань ее была создана для другого языка, нездешнего.

Старая Паша любила Милочку. «Жалкая моя» звала она ее, и когда Бухара уходила на работу, Паша подолгу что-то рассказывала своей питомице. Ум у Паши не то чтобы стал мешаться, но весь устремился в далекое прошлое, и она подробно, по многу раз пересказывала Милочке истории про своих деревенских родственников, про злого пастуха Филиппа, который ударил ее, девочку, кнутом, про пожар, который занялся по деревне от их бани, где сгорел ее старший брат, напившись пьяным.

Детство Милочки было нескончаемо длинным: целое десятилетие радовали ее «ладушки», «сорока-воровка», она прятала свое личико за носовой платок или в подушку и требовала, чтобы ее искали... Младенческий период этот стал заканчиваться к одиннадцатому году, когда она вдруг стала улучшаться в развитии, ее трехлетний разум стал взрослеть, она стала лучше говорить и очень заботиться о чистоте главным образом рук: подолгу мыла в горячей воде, как бы даже стирала их.

И еще она научилась вырезать ножницами из бумаги. Теперь мать приносила ей множество открыток, старых, полуизодранных книг, и Милочка усердно днями напролет вырезала какие-нибудь мелкие цветочки из жесткой открытки. Прикусив кончик крупного языка, она сопела над каждым цветочком и плакала, если случайно перерезала зеленый листик или стебелек.

Старание ее было серьезным и достойным уважения, а бессмысленная деятельность похожа на разумный и сознательный труд. Она приклеивала свои вырезки на альбомные листы, составляла какие-то невообразимые комбинации из лошадиных голов, автомобильных колес и женских причесок, по-своему привлекательные и дико-художественные... Слюна усердия заливала ее подбородок. Но некому было плакать, видя, как мыкается бедная творческая душа, загнанная непостижимой небесной волей в трудолюбивого уродца...

Радостно приносила она матери свои кропотливые изделия, та гладила ее по голове и одобряла: «Очень красиво, Милочка! Хорошо, Милочка!» — и девочка низенько прыгала от радости, и приседала, и смеялась: «Хорошо! Хорошо!» Видно, что и стремление к совершенству было в нее заложено...

Бухара тем временем резко и окончательно перестала быть красавицей. Она сильно исхудала, потемнела лицом, убрала в старый немецкий чемодан свои цветные платья, оделась в темное. Лицо ее обросло по щекам и подбородку неприятным черным пухом, ярко сверкающие зубы потеряли свой праздничный цвет

Сотрудники по поликлинике намекали ей, что неплохо бы показаться хорошему специалисту, но она только улыбалась, опуская вниз глаза. Она знала, что больна, и даже знала чем.

В конце зимы она неожиданно взяла отпуск и полетела с Милочкой на родину, впервые за многие годы. Отсутствовали они чуть больше недели, вернулась Бухара еле живая, еще более темная, с огромным легким мешком из сквозистой шерстяной ткани.

Мешок был полон травы, которую она долго перебирала, сортировала, перемалывала. Потом разложила все по марлевым мешочкам, завернула их в белую бумагу и стала по горсточкам варить.

Паша все принюхивалась, ворчала: «Ну, Бухара, ведьма азиятская!»

Бухара молчала, молчала, потом села на корточки в кухне и, прислонясь к стене, как она любила сидеть, сказала Паше:

— Паша, у меня болезнь смертельная. Я сейчас умереть не могу — как Милочку оставлю?.. Я с травой еще шесть лет буду жива, потом умру. Мне старик траву дал, святой человек. Не ведьма.

Таких длинных разговоров Паша от нее никогда не слыхала. Подумала, пожевала волнистыми губами и попросила:

- Так ты и мне дай.

— Ты здоровая, больше меня проживешь,— тихо ответила Бухара, и Паша ей поверила.

Бухара все пила пахучую траву, ела совсем мало, всегда только одну еду — вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины, очень жесткие и почти белые.

И еще одно дело затеяла она — стала водить Милочку в специальную школу для дефективных детей. Она и работу поменяла, поступила в эту же школу в медицинский кабинет и вместе со специалистами-воспитателями всеми силами пыталась научить Милочку жизненной науке: шнуровать ботинки, держать иголку в руках, чистить картошку...

Милочка старалась, терпеливо пыхтела и по трудовому обучению за два года вышла в отличники. С буквами и цифрами, правда, совсем ничего не получалось. Из всех цифр она честолюбиво узнавала только пятерку, радовалась ей, да букву «М» различала. Большой радостью было для нее выйти вечером из дому с матерью и посмотреть на красную букву «М», горящую над входом в метро.

— Мэ, метро, Мила! — говорила она и счастливо смеялась.

Среди разнообразных идиотов этой страшной школы дети с синдромом Дауна отличались спокойным и хорошим нравом.

— Даунята — славные ребята,— говорил о них заведующий по лечебной работе, начиненный самодельными шутками и прибаутками, старый Гольдин. — Жаль только, обучаются очень плохо.

Бухара внимательно рассматривала Карена, Катю, Верочку, сравнивала их со своей Милочкой, и сравнение было в ее пользу. Хотя физическое сходство этих детей было поразительное — все низкорослые, короткопалые, с монгольским разрезом глаз, близорукие, ожиревшие... но Милочка казалась матери лучше других. Может быть, так оно и было...

На семнадцатом году Милочка стала оформляться, на толстеньком туловище выросла грудь. Милочка стеснялась и немного гордилась, говорила:

— Мила большая, Мила тетя...

Попросила у матери туфли на каблуках.

Ножки ее были детского размера, и мать долго не могла купить ей туфли. Наконец раздобыла грузинские лакировки на толстом пробковом каблучке. Милочка была счастлива, вытирала туфли носовым платком и целовала Бухару в лицо, в руки, как маленький щенок без разбору лижет хозяина.

Милочка не сразу научилась ходить на каблуках, недели две все спотыкалась по дому. Когда научилась, мать отвезла ее в мастерскую при психоневрологическом диспансере, где с помощью трудового воспитания, а именно склейки конвертов и вырезывания фигурных ценников, из умственно отсталых людей пытались вырабатывать полезных членов общества.

Бухара уволилась из школы и поступила в диспансер, в регистратуру, чтобы находиться рядом с дочерью и помогать ей в трудовой деятельности.

Бухара разносила медкарты по кабинетам и целеустремленно изучала посетителей. Времени у нее было мало, она торопилась, как торопится обреченный художник завершить перед смертью великое полотно.

Дело в диспансере, как и в любом другом учреждении, было поставлено донельзя рутинно и бессмысленно. Каждый год вызывали на переосвидетельствование больных, это и была основная забота диспансера. Впрочем, по соседнему ведомству, в обычной районной поликлинике, на такое же переосвидетельствование таскали и безногих. Без этого не давали пенсии, а составляла она сумму немалую, у некоторых чуть не до сорока рублей.

Вот эти приходящие на комиссию люди и занимали Бухару. У нее было даже что-то вроде своей маленькой картотеки. Она интересовалась, что за больной, с кем живет, где...

Дичь, однако, сама вышла на охотника. Однажды на запущенной мраморной лестнице особняка, где помещался диспансер, к ней обратился маленький лысый старик в коротких полосатых брюках и с чаплиновской живостью глаз. Не отпуская руки упитанного головастого дебила с розовой улыбкой, старик спросил у Бухары, куда подевался врач Ракитин, который раньше был по их участку, а теперь не принимает.

Бухара ответила, что Ракитин ушел, на его месте теперь молодой доктор Веденеева, но, кажется, у нее сегодня нет приема.

— Ай-яй-яй,— закудахтал человек сокрушенно, как будто произошло невесть какое несчастье.

А Бухара незаметно разглядывала того, который стоял рядом,— тоже лысого, добродушного и толстого, в клетчатой, чистой, но не выглаженной рубашке и в сатиновых шароварах послевоенной моды. Было ему лет тридцать или около того, но Бухара уже знала, что больные люди живут и стареют как-то иначе, чем обычные, с их возрастом можно легко ошибиться: в детстве они часто кажутся моложе, но потом неожиданно быстро стареют...

— Ваша фамилия? — спросила Бухара почтительно.

— Берман,— ответил старик, а его толстый сын закивал головой.— Берман Григорий Наумович,— повторил старик, указал на сына, а тот все кивал и улыбался.

Оказалось, они пришли за справкой. Дом их шел под снос, и старик Берман хотел воспользоваться болезнью сына, чтобы получить побольше жилых метров.

Бухара быстро узнала, когда надо приходить, обещала сообщить, смогут ли дать такую справку для Григория.

Отец с сыном ушли, и Бухара долго смотрела вслед этой парочке, которая кому-нибудь могла показаться комичной. Но не ей...

Она долго изучала пухлую карточку Григория Бермана. Здесь фигурировала и врожденная гидроцефалия, и менингит, и поражение молнией в семилетнем возрасте — как будто провидение искало гарантий, чтоб этот человек был изувечен наверняка...

Судя по трудноразбираемым каракулям лечащих врачей, молодой человек обладал сниженным интеллектом, спокойным, хорошим нравом и не был подвержен припадкам.

На следующий день Бухара приехала в Старо-Пименовский переулок, где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый Берман со своим сыном.

На веревке, протянутой через маленькую комнату, висело невысохшее белье, старик читал одну из толстых кожаных книг, которые громоздились на столе, и сердце Бухары замерло от сладкого, знакомого с детства запаха старинной кожи.

Григорий сидел на стуле и гладил грязную белую кошку, которая спала у него на коленях. Пахло пригорелым супом и ночным горшком.

Старый Берман засуетился, когда узнал вчерашнюю медсестру, он вовсе не рассчитывал на такую любезность.

— Гриша, пойди поставь чайник сию минуту,— приказал Берман, и Григорий, взяв очень старательно чайник тряпочкой за ручку, вышел.

— Я пришла к вам по делу, Наум Абрамович,— начала медсестра. — Пока нет вашего сына, я вот что хочу вам сказать: у меня есть дочь, она очень хорошая девочка, спокойная, добрая. И болезнь у нее такая же, как у вашего сына.

Берман встрепенулся, что-то хотел сказать, но кроткая Бухара властно его остановила и продолжала:

— Я больна. Я скоро умру. Я хочу выдать дочку замуж за хорошего человека.

— Милая моя! — всплеснул руками Берман, так что тяжелая книжка грузно шлепнулась на пол, и он кинулся ее поднимать, откуда-то из-под стола продолжая бурно ей отвечать.— Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из него муж? Вы что, думаете, девушка будет иметь от него большое удовольствие, вы понимаете, что я имею в виду? А?

Бухара молча перетерпела все это длинное и лишнее выступление старика, потом вошел Григорий, сел на стул, взял кошку на колени и стал чесать ее за ухом. Бухара посмотрела на него острым и внимательным глазом и сказала:

— Гриша, я хочу, чтобы вы с папой пришли ко мне в гости. Я хочу познакомить вас с моей дочкой Милой. — А потом она повернулась к Науму Абрамовичу и сказала ему прямо-таки совсем по-еврейски: — А что будет плохого, если они познакомятся?

...По воскресным дням Бухара обыкновенно не вставала с постели, отлеживалась, берегла силы. Кожа ее сильно потемнела и ссохлась, лицо стало совсем старушечьим, и даже тонкая фигура утратила стройность, согнувшись в плечах и в спине. Ей не было и сорока, но молодыми в ней оставались только ярко-черные сильные волосы, которые она давно уже укоротила, изнемогши от их живой и излишней тяжести.

Милочка принесла матери чашку горячей травы, несколько размоченных урючин и села рядом с постелью на низенькую скамейку, обняв свои пухлые колени. Бухара погладила слабой рукой ее реденькие желтые волосы и сказала:

— Спасибо, доченька. Я хочу сказать тебе одну вещь. Очень важную. (Девочка подняла голову.) Я хочу, чтобы у тебя был муж.

— А ты? — удивилась Милочка.— Пусть лучше у тебя будет муж. Мне его не надо.

Бухара улыбнулась.

— У меня уже был муж. Давно. Теперь пусть у тебя будет муж. Ты уже большая.

— Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты была. Не муж, а ты,— насупилась Милочка.

Бухара не ожидала отпора.

— Я скоро уеду. Я тебе говорила,— сказала она дочери.

— Не уезжай, не уезжай! Я не хочу! — заплакала Милочка. Мать ей уже много раз говорила, что скоро уедет, но она все не верила и быстро про это забывала.— Пусть и Мила уедет!

Когда Мила волновалась, она забывала говорить про себя в первом лице и снова, как в детстве, говорила в третьем.

— Я долго, долго с тобой жила. Всегда. Теперь я должна уехать. У тебя будет муж, ты не будешь одна. Паша будет,— терпеливо объясняла Бухара. — Муж — это хорошо. Хороший муж.

— Мила плохая? — спросила девочка у матери.

— Хорошая,— погладила толстую круглую голову Бухара.

— Завтра не уезжай,— попросила Мила.

— Завтра не уеду,— пообещала Бухара и закрыла глаза.

Она давно уже решила, что уедет умирать к старшему брату в Фергану, чтобы Милочка не видела ее смерти и постепенно про нее забыла бы. Память у Милочки была небольшая, долго не держала в себе ни людей, ни события.

Все произошло, как задумала Бухара. Берман с сыном и сестрой, маленькой, одуванчикового вида старушкой, пришли в гости. Паша накануне убрала квартиру, хотя и ворчала. Бухара принесла покупной торт. Готовить она совсем не могла, к плите не подходила, настолько плохо ей становилось от близости огня и запахов пищи.

Пили чай. Разговаривали. Старушка оказалась необыкновенно болтливой и задавала много странных и бессмысленных вопросов, на которые можно было не отвечать. Старый Берман вдумчиво пил чай. Григорий улыбался и все спрашивал у отца, можно ли ему взять еще кусочек торта, и с увлечением ел, вытирая руки то о носовой платок, то о салфетку, то о край скатерти.

Бухара с сердечным отзывом видела в нем все старательно-деликатные движения Милочки, которая очень боялась за столом что-нибудь испачкать или уронить.

Милочка слезла со стула. Она была детски малого роста, но с развитой женской грудью. Подошла к Григорию.

— Идем, я покажу,— позвала она, и он, послушно оставив недоеденный кусок, пошел следом за ней в маленькую комнату.

Совсем без перехода, как бы сама к себе обращаясь, маленькая старушка вдруг сказала:

— А может, она права... И квартира у них очень хорошая, можно сказать, генеральская... — И зажевала губами.

Милочка в своей комнате раскладывала перед Григорием свои бесчисленные альбомы. Он держал во рту орешек от торта, перекатывал его языком, любовался картинками, а потом спросил у Милочки:

— Угадай, что у меня во рту?

Милочка подумала немного и сказала:

— Зубы.

— Орешек, — засмеялся Григорий, вынул изо рта орешек и положил ей в руку.

...Едва дождавшись совершеннолетия Милочки, их расписали. Григорий переселился в докторский флигель. Бухара через месяц после свадьбы уехала к себе на родину.

Первое время Милочка, натыкаясь на вещи матери, говорила грустно: мамин фартук, мамина чашка... Но потом старая Паша потихоньку все эти вещи прибрала подальше, и Милочка про мать больше не вспоминала.

По утрам Милочка ходила на работу в мастерскую. Ей нравилось вырезать ценники, она делала это почти лучше всех. Гриша каждый день провожал ее до трамвая, а потом встречал на остановке. Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая Милочка на каблуках, в девичьем розовом платье Бухары и ее муж, большеголовый Григорий с поросшей пухом лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им бесплатно,— не было человека, который не оглянулся бы им вслед. Мальчишки кричали в спину какие-то дворовые непристойности.

Но они были так заняты друг другом, что совсем не замечали чужого нехорошего интереса.

Шли до остановки. Милочка неуклюже влезала на высокую подножку. Григорий подталкивал ее сзади и махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа, энергично размахивающего толстой кистью...

Брак их был прекрасным. Но в нем была тайна, им самим неведомая: с точки зрения здоровых и нормальных людей был их брак ненастоящим.

Старая Паша, сидючи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам:

— Много вы понимаете! Да Бухара всех нас умней оказалась! Все-все наперед рассчитала! И Милочку выдала за хорошего человека, и сама как приехала в это самое свое... так на пятый день и померла. А вы говорите!

Но никто ничего и не говорил. Все так и было.

## ЕЛЕНА КРЮКОВА

*

# МАТЬ МАРИЯ

Выйду на площадь... Близ булочной — гам,
Толк воробьиный...
Скальпель поземки ведет по ногам,
Белою глиной
Липнет к подошвам... Кто там? Человек?..
Сгорбившись — в черном:
Траурный плат — до монашеских век,
Смотрит упорно...

Я узнаю тебя. О! Не в свечах,
Что зажигала,
И не в алмазных и скорбных стихах,
Что бормотала
Над умирающей дочерью,— не
В сытных обедах
Для бедноты,— не в посмертном огне —
Пеплом по следу
За крематорием лагерным,— Ты!..
Баба, живая...
Матерь Мария, опричь красоты
Жизнь проживаю,—
Вот и сподобилась, вот я и зрю
Щек темных голод...
Что ж Ты пришла сюда, встречь январю,
В гибнущий город?..
Там, во Париже, на узкой Лурмель,
Запах картошки
Питерской,— а за иконой — метель —
Охтинской кошкой...
Там, в Равенсбрюке, где казнь — это быт,
Благость для тела,—
Варит рука и знаменье творит —
Делает дело...
Что же сюда Ты, в раскосый вертеп,
В склад магазинный,
Где вперемешку — смарагды, и хлеб,
И дух бензинный?!..
Где в ополовнике чистых небес —
Варево Ада:
Девки-колибри, торговец, что бес,
Стыдное стадо?!
Матерь Мария, да то — Вавилон!..
Все здесь прогнило
До сердцевины, до млечных пелен,—
Ты уловила?..
Ты угадала, куда Ты пришла
Из запределья —
Молимся в храме, где сырость и мгла,
В срамном приделе...

— Вижу, все вижу, родная моя.
Глотки да крикнут!
Очи да зрят!.. Но в ночи бытия
Обры изникнут.
Вижу, свидетельствую: то конец.
Одр деревянный.
Бражница мать. Доходяга отец.
Сын окаянный.
Музыка — волком бежит по степи,
Скалится дико...
Но говорю тебе: не разлюби
Горнего лика!
Мы, человеки, крутясь и мечась,
Тут умираем
Лишь для того, чтобы слякоть и грязь
Глянули — Раем!
Вертят богачки куничьи хвосты —
Дети приюта...
Мы умираем?.. Ох, дура же ты:
Лишь на минуту!..
Я в небесах проживаю теперь.
Но, коли худо,—
Мне отворяется царская дверь
Света и чуда,
И я схожу во казарму, в тюрьму,
Во плащ-палатку,
Чтоб от любови, вперяясь во тьму,
Плакали сладко,
Чтобы, шепча: «Боже, грешных прости!..» —
Нежностью чтобы пронзясь до кости,
Хлеб и монету
Бедным совали из потной горсти,
Горбясь по свету.

# НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

## ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ

*

## СТИХИ 1970—1980-х ГОДОВ

### В некую зиму в некоем городе рабочие предостерегают прохожих, чтобы те не присоединялись к ним

Мы идем Не присоединяйтесь к нам
Не присоединяйтесь к нам
Вы у которых не все еще забрано
Не присоединяйтесь к нам
Пока вам хватит хлеба и надежды
Не присоединяйтесь к нам
Ваш огонь греет Наш грызет и глодает
Не присоединяйтесь к нам
У вас кипит каша У нас клокочет отчаянье
Не присоединяйтесь к нам
Ваш порог спокоен Наш кричит поруганный
Не присоединяйтесь к нам
Вас хранят ваши стены Мы приперты к стене
Не присоединяйтесь к нам
Вы которым руку из плеча не вырвали
Не присоединяйтесь к нам
Из горла последний кусок не вырвали
Не присоединяйтесь к нам
Брата средь братьев не вырвали
Не присоединяйтесь к нам
Кровавый язык из гортани не вырвали
Не присоединяйтесь к нам
Пока вам больно но не так еще больно
Пока вам мерзко но не так еще мерзко
Пока вас топчут но не так еще топчут
Пока вас гноят но еще не так
Пока вам хватит пива и покорства
Не присоединяйтесь к нам
Не присоединяйтесь к нам

1970—1976.

---

Виктор Ворошильский (р. 1927, Гродно) — польский поэт, прозаик, публицист, исследователь русской литературы XIX—XX веков, переводчик русской поэзии, автор повести о Щедрине, книг о Маяковском, Есенине, Пушкине. Деятель польской оппозиции. В 1956—1958 годах — главный редактор независимой газеты «Нова культура», где печатались, в частности, его репортажи из Будапешта «Венгерский дневник» (отдельное издание — польский самиздат, 1978). Один из создателей и соредакторов бесцензурного журнала «Запис» (1977—1981). В 1981—1982 годах, во время военного положения в Польше, был интернирован. Стихи из книги «Дневник интернирования» (Лондон, 1984) публиковались в «Иностранной литературе» (1991, № 7). Публикуемые стихи — из книг 1974, 1984, 1988 годов.

## Речь

Ксендз Ежи[1]
в детстве
говорил только по-простому
то есть по-белорусски
шелестящей речью
этих полей перелесков пастбищ

Лишь позднее
польская речь
обняла его сильным объятьем
вошла в него
им возглаголала
к Богу и к людям

Быть может теперь
когда он стал перед троном
он снова заговорил в смущении
языком детства:
Бацька
прабач им кали ласка[2]

И Господь услышал
эти простые слова

Декабрь 1984.

## Последний раз

Мы не знаем стольких вещей
но особенно угнетает
что никогда
мы не знаем
не последний ли это раз

Провожаешь на лестницу
(а то и нет)
зажигаешь свет
смотришь на спускающуюся спину
а уже
уже всё

Разговариваешь по телефону
откладываешь встречу
ну хорошо говорит он
созвонимся
и
не услышишь уже этого голоса

[1] Ксендз Ежи Попелушко (1947—1984) был похищен и зверски убит тремя сотрудниками польской госбезопасности 19 октября 1984 года. Похоронен 3 ноября того же года в Варшаве в ограде костела, где он служил. Могила его стала местом паломничества поляков.

[2] Отец, прости им, пожалуйста (*белор.*). Но в данном контексте в словосочетании «кали ласка» важнее его буквальный смысл: «Если (будет на то твоя) милость». Поэт вкладывает в уста ксендза Ежи слова Христа на кресте (ср.: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».— Ев. от Луки, 23, 34).

Рассеянное прикосновенье
мгновенье
момент
и
как древний шифр
тщетно будешь разгадывать
утраченный тайный смысл

**Фашистские государства**

Вскоре после войны 1914—1918 годов в Европе появились первые
фашистские государства В этих государствах
солнце всходило и заходило в обычное время озаряя лучами
крыши домов и холмов зеленые склоны В скотных дворах
мягко мычала скотина Матери на рассвете
будили детей целуя их в лоб Отцы возвращаясь с работы
со счастливой усталостью в теле вдыхали
дым домашнего очага а после обеда
засыпали в кресле или терпеливо мастерили что-нибудь или
музицировали с энтузиазмом Дети
играли в классы в пятнашки в прятки У маленьких девочек
груди вдруг начинали расти и девочки сразу
превращались в девушек переполненных шепотом шорохом
как деревья в лесу и всхохатываньем при звуке которого
у мальчишек пересыхало в горле Летними вечерами
на занавесках подсвечиваемых изнутри сходились тени
расходились и снова сходились в объятии Зимой же
любовники ловили устами пар из уст в оснежённых садах
И еще
можно вспомнить о котах выгибающих спину о воробьях
вспархивающих над мостовой о стариках на завалинке
о цветах садовых и комнатных о больничных сестрах
подающих больным термометр о людях с метлой
подметающих улицы О рассыхающейся
древесине о влажной борозде в поле о ветре в зарослях
И еще можно много
перечислить явлений свидетельствующих что

Ибо не было знаков на небе комет предзнаменований
воды превращенной в кровь несгорающего терновника ибо
жизнь шла обычно стало быть вправду в этих государствах
было много
людей обыкновенных и людей хороших и таких которые
ни о чем не знали и которым
не приходило в голову и которые
не считали себя совиновниками и которые
не имели с этим ничего общего и которые даже
не читали газет или читали невнимательно занятые
мыслью о том что надо поправить
протекающую крышу отдать ботинки
сапожнику посвататься выпить
кружку пива замесить краски зажечь свечку и которые вправду не
замечали страха в глазах соседа не
слышали дрожанья в голосе человека спрашивающего
как пройти не замечали разницы не слышали
внутреннего голоса в себе или если
догадывались о чем-то не могли ничего сделать и утешались
говоря Мы по крайней мере
не делаем ничего плохого живем как жили всегда Что было правдой

А все-таки это были
фашистские государства

## Ранний Чаплин

Мы знаем раннего Чаплина но до него
был Чаплин еще более ранний Те фильмы[3]
теперь забыты В то время у Чаплина
была бандитская рожа он злобно оскаливал зубы
как рысь готовая прыгнуть и не было у него ни стыда
ни совести он соблазнял женщин к соперникам
подсылал гангстеров отвергнутый мстил
ничем не гнушаясь когда красотка Мэйбл
Норман участвовала в гонках этот мерзавец
полил водою трассу переставил указатели направив
автомобиль в пропасть подложил динамит несмотря
на все Мэйбл осталась жива и победила
он лопался от бешенства публика
лопалась от смеха и естественно вовсе
ему не сочувствовала У него еще не было
его костюма тросточки усиков Звали его не Чарли
а Чез Позже Чез исчез но какое-то время
так продолжалось Со временем
внешность и личность Чаплина стали меняться Это
бывает не только с актерами но и
с апостолами и с обыкновенными людьми Многие
пережили такое в юности удивляясь
и страдая когда их лицо
затверделое в гримасе казавшейся образом
и подобием личности вдруг рассыпáлось крошилось
и затвердевало вновь но иначе Неизвестно
откуда это приходит Это не то что
принятое решенье Может быть вдохновенье Так Чаплин
после тридцати пяти фильмов преобразился
из Чеза в Чарли В последнем
из этих фильмов были оба Чарли
грезилось во сне что он Чез От грез
его разбудила палка полисмена Встал
со скамейки в парке и заковылял со смущенной
улыбкой куда-то Не было в нем
злобы только надежда Не было жажды
успеха только желанье
защитить человеческое достоинство Из преследующего
он превратился в преследуемого И это был уже
ранний Чаплин которого
мы полюбили не переставая смеяться

Перевод с польского и примечания
*ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО.*

[3] Речь идет о фильмах фирмы «Кистоун» (1914).

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## КЛЮЕВ В ИТАЛИИ

Под названием «Изба и Вселенная» на итальянском языке издана первая, насколько нам известно, зарубежная монография, посвященная поэту Николаю Клюеву[1]. Факт сам по себе примечательный. Ведь Клюев — имя, мало знакомое сколько-нибудь широкому кругу зарубежных читателей. Переводы его стихов не выходили в Италии отдельными изданиями, как это было с Пушкиным и Тютчевым, Блоком и Маяковским, Ахматовой и Цветаевой или, если взять современников, с Евтушенко. Цитирование или скромное присутствие в одной из итальянских антологий русской поэзии не меняет дела. Можно сказать, что личность Клюева в некоторой степени известна только узкому кругу специалистов по русской литературе и немногим образованным любителям европейской поэзии нашего века. Однако проникновение того или иного писателя в сферу иноязычной культуры не бывает обычно делом случая. Тем более когда идет речь о таком сложном поэте, как Николай Клюев.

Русская литература начала нашего века, и в особенности творчество современников Клюева — поэтов-символистов, например Брюсова, Балтрушайтиса (да и все движение символизма в целом), вызывала живой интерес в среде итальянских коллег, во главе с Джованни Папини группировавшихся в те годы вокруг журналов «Воче», «Марцокко», «Леонардо». Связь с русскими символистами, с журналом «Весы» в частности, в годы перед первой мировой войной становится значительным фактом итальянской культурной жизни, в которой уже заняли должное место Достоевский и Толстой и в которую войдут несколько позже Чехов и Горький.

После второй мировой войны, и в особенности начиная с 60-х годов, открывается новый этап в диалоге русской и итальянской литератур. В нем, естественно, выступает на первый план интерес к текущим событиям и явлениям литературной жизни, но этот интерес не следует механически за предложениями официальной культуры, а руководствуется собственными критериями. Так возник «бум» Булгакова, неоднократно переведенного, поставленного на итальянских сценах, переработанного для телевидения. Так прошумела история публикации за рубежом благодаря итальянскому издателю Фельтринелли романа «Доктор Живаго». Так появились переводы «Реквиема» Анны Ахматовой, «Архипелага ГУЛАГ» и других запрещенных сочинений Солженицына, «Жизни и судьбы» Гроссмана и прочих произведений, вошедших в культурный обиход и сознание западного читателя за много лет до гласности, которая своими публикациями-возвращениями существенных открытий ему не дала. Так итальянский читатель познакомился и с легально существовавшими у себя на родине произведениями, симптоматичными для понимания жизненных процессов и умонастроения в стране. (Главенствующее по количеству переводов место было занято Трифоновым и Айтматовым.) Следует также напомнить о подчеркнуто возобновленном внимании к литературе начала века, например к Андрею Белому и вообще к символистам или к Марине Цветаевой.

Но и тут Клюев был до сих пор обойден, хотя на Западе его не замалчивали так, как до недавнего времени на родине; большая часть его поэтического наследства была опубликована в собрании сочинений в двух томах, изданном в 1969 году в Мюнхене. По всей вероятности, преградой здесь явилась сама его своеобразная, крайне сложная для перевода поэтическая речь.

В такой ситуации книга Ольги Симчич, знакомящая итальянских читателей с одной из замечательных и оригинальных личностей русской литературы нашего века, открывающая им новый художественный мир, необычный и привлекательный, несомненно заслуживает внимания и благодарности. И в то же время несколько особенные условия введения имени Клюева в иную культуру наложили на книгу определенный отпечаток, или, вернее, возложили на нее определенную миссию.

---

[1] Olga Simčič. Izba e Universo. Vita e poesia di Nikolaj Kljuev. Roma. 1991. 275 p.

Первая цель, преследуемая автором,— познакомить читателей с жизнью и творчеством писателя, вовсе неизвестного ему и, быть может, даже чуждого его миропониманию; отсюда уклон в описательность, повествовательная манера изложения и вместе с тем лирический, приподнятый тон, забота о легкости и увлекательности чтения.

Вообще говоря, иностранного читателя Клюев-человек и Клюев-поэт может заинтересовать своей внешней экзотичностью. Но автор монографии предусмотрительно избегает таких решений; исходная позиция О. Симчич — показать глубоко самобытный творческий склад в его типичности для определенного пласта русской народной жизни и русской культуры.

Жизнеописанию Клюева с попутным литературным анализом произведений предпосланы вступительные главы «Аввакум XX века» и «Две России», дающие историко-культурный обзор эпохи и на ее фоне очерк жизненного уклада раскольников, быта и духовного мира северной деревни с ее религиозными идеалами и древними традициями, любовью к природе и своеобразным культом красоты. Автор акцентирует отличие этого мира от дворянской и буржуазной культуры, рожденной реформами Петра. При этом отвергаются клише, прилагаемые к «зачастую не понятому» поэту («ряженый», «театральность» и пр.).

Хорошее знание творчества Клюева, а также опубликованных документов и новых материалов о нем, основательное знакомство с работами, уже появившимися в печати (в особенности с исследованиями М. К. Азадовского, В. Г. Базанова),— все это позволяет О. Симчич дать личность писателя как бы в двойном освещении: изнутри и извне. Именно об этой двойной перспективе и говорит название книги. Изнутри — то есть рассматривая Клюева как представителя породившего его мира древней культурной и религиозной традиции, как характерного потомка Аввакума («...гремел мой прадед Аввакум»). Извне — то есть на фоне общего развития русской литературы начала века, в его связях с символистами, акмеистами, Есениным и другими «крестьянскими поэтами». Центральное место отведено отношениям с А. Блоком. Для автора монографии это взаимное влияние, развившееся благодаря определенному параллелизму в эволюции обоих поэтов за годы первой русской революции, переломные и для одного и для другого. И тут же О. Симчич проводит несколько беглую, но достаточно интересную аналогию между эволюцией Клюева и итальянского поэта Джакомо Новента (отчуждение от буржуазной цивилизации, технического прогресса, вдохновленность религиозными идеями и т. п.).

Монография не обходит стороной становление гражданских идеалов Клюева с 1905 по 1917 год и их дальнейшее испытание. Описывается трагическое разочарование человека из народа, не увидевшего осуществления заветных чаяний, пришедшего к полному отстранению от революции и в итоге — испепеленного ее огнем. Что касается поэтического горизонта Клюева, то, сознавая всю меру уникальности этого художника и невозможность причислить его к определенной литературной школе, О. Симчич вместе с тем при последовательном анализе его произведений от первого сборника «Сосен перезвон» вплоть до знаменитой «Погорельщины» констатирует, как уже говорилось, творческое соседство с символистами и находит некоторое родство с импрессионистами (скорее всего именно со школой живописи). Впрочем, система лирических мотивов и «мифов» («изба» с ее особым материальным и экзистенциальным миром, мать-земля, Россия-мать, Белая Индия, характерные образы сосны, ели, леса) могла бы быть, на наш взгляд, рассмотрена в более широком сопоставительном контексте. Например, «молчание» Клюева как бы напрашивается на сравнение с «молчанием» Тютчева. Вселенско-космическая проекция революции вызывает, естественно, ассоциации с пролетарской поэзией 20-х годов. Также интересно было бы сопоставить с символикой революции фольклорные образы волка, волчицы, зверя и т. д. Расширенный контекст помог бы избежать монотонности и перечислительности критического комментария к каждому сборнику поэта.

К сожалению, в книге, написанной для иностранного читателя, освещение таланта писателя со стороны его богатейшей лексики и версификации встречает серьезные затруднения. О. Симчич приложила немалые усилия, чтобы хотя бы частично донести до восприятия итальянской аудитории особенности клюевской поэтики. Этому способствуют ее переводы цитируемых стихов, в большинстве удачные. Более глубокое рассмотрение языка и стиля Клюева потребовало бы самостоятельного исследования, что, думается, выходит за рамки монографии, задуманной преимущественно как обзор жизни и творчества русского поэта.

**Татьяна НИКОЛЕСКУ**

Милан

# ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР

В последние три-четыре года в фокусе общественного внимания среди прочих персонажей нашей недавней истории оказалась фигура Николая II, во многом остающаяся непонятой и даже загадочной. Интерес к последнему русскому царю вызван, на мой взгляд, тремя обстоятельствами: длительным идеологическим табу, наложенным на эту тему большевистской цензурой, далеко идущими последствиями для России отречения Николая 2 марта 1917 года, наконец трагическим финалом его собственной жизни. Толчком к пробуждению этого интереса явился своеобразный «юбилей» — семидесятилетие убийства царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года. Поскольку эта дата пришлась на время перестройки, стало возможным переосмыслить сложившиеся стереотипы и в оценке Николая II.

Что, собственно, мы знали о нем до недавнего времени? Только то, что нам дозволялось знать в обстановке идеологического диктата КПСС. Что царь был, во-первых, Кровавый, а во-вторых, бездарный. И все. Правда, в 70-е годы советского читателя «побаловали» историко-публицистической книгой «Двадцать три ступени вниз», автор которой, М. Касвинов, хотя и разнообразил палитру изобразительных средств, но изначально задавался все той же сомнительной целью — «научно» обосновать убийство Николая Кровавого и его семьи в 1918 году. Единственно в чем преуспел М. Касвинов (и это было все же шагом вперед), это в том, что уродливую карикатуру на последнего Романова он заменил на сильно шаржированный портрет.

После 1985 года как-то незаметно на смену карикатурному образу Николая II пришло иконографическое изображение святого новомученика, кстати говоря, канонизированного Русской Зарубежной Церковью. Такая уж у нас, у русских, загадочная душа — вчера еще громили православные храмы под пение «Интернационала», демонстрировали на площадях под алыми стягами и портретами антихристов и прочих членов Политбюро, а сегодня, тесня истинно верующих, набились в недоразрушенные по недосмотру храмы и неуверенно выводим «Отче наш». Кажется, можно только приветствовать это возвращение к вечным истинам, но смущает массовость «мероприятия» и та легкость, с какой мы меняем убеждения. Так же легко в не столь уж далеком семнадцатом мы отвергли эти самые истины и впали в грех тяжкий, а теперь, не исповедавшись, без покаяния проталкиваемся к причастию. Ох, как неожиданны и круты зигзаги российской истории!

Остается лишь изумляться гримасам нашей общественной жизни. Убиенный государь император определенно перевернулся бы в гробу (если бы большевики не лишили его даже гроба), узнай он, что приверженцы российской монархии и «русской идеи» с черно-желто-белыми стягами выходят по зову неокоммунистов на улицы обеих столиц и требуют реставрации то ли «диктатуры пролетариата», то ли «развитого социализма»...

Но вернемся к нашему герою. Кто же он, последний русский царь,— безгрешный мученик или преступник?

Найти ответ на этот вопрос неискушенному читателю помогают появившиеся у нас в последнее время публикации, посвященные Николаю II[1].

Две из них принадлежат иностранным авторам — американскому публицисту Р. Мэсси и французскому историку М. Ферро. Книга Р. Мэсси «Николай и Александра» вот уже четверть века является бестселлером на западном книжном рынке. Она многократно переиздавалась, переводилась и даже экранизировалась (у них). Знали ее и у нас, но лишь сравнительно узкий круг людей, читающих на языках. Теперь благодаря московскому издательству «Дом» яркая и честная книга американского автора стала наконец доступна российскому читателю.

Мэсси не скрывает свою симпатию и искреннее сочувствие к убитому императору Всея Руси и членам его семьи, в особенности к малолетнему наследнику Алексею, неизлечимо больному гемофилией. Собственно, гемофилия и явилась, по признанию самого автора, толчком к написанию прославившей Р. Мэсси книги о трагической судьбе царской семьи. Дело в том, что собственный сын американского литератора страдал той же болезнью, что и русский царевич Алексей, и уже по этой причине Р. Мэсси как никто другой мог понять чувства непреходящего отчаяния и

[1] Роберт К. Мэсси. Николай и Александра. Перевод с английского. М. «Дом». 1992. 510 стр.; Марк Ферро. Николай II. Перевод с французского Г. Н. Ерофеевой. М. «Международные отношения». 1991. 350 стр.; «Дневник императора Николая II. 1890—1906 гг.». М. «Полистар». 1991. 305 стр.; «Отречение Николая II». Воспоминания очевидцев, документы. Репринтное издание 1927 года. Редакция П. Е. Щеголева. Вступительные статьи Л. Китаева и М. Е. Кольцова. М. «Советский писатель». 1990. 253 стр.; Олег Платонов. Убийство царской семьи. М. «Советская Россия». 1991. 192 стр.; Н. А. Соколов. Убийство царской семьи. М. «Сирин». «Советский писатель». 1990. 365 стр.

тревоги родителей обреченного наследника русского престола, что имело столь далеко идущие последствия для них самих и для России.

Такое тонкое, через себя пропущенное понимание умонастроений, владевших Николаем и Александрой, делает книгу Р. Мэсси в одно и то же время на редкость убедительной и в чем-то уязвимой для критики, поскольку и 1917 год и все последующие бедствия России американский автор выводит исключительно из неизлечимой болезни наследника-цесаревича. «...Революция в России,— утверждает Мэсси,— как это ни парадоксально, есть следствие гемофилии царевича и исторической роли Распутина». Понятное человеческое сочувствие к Николаю II у Мэсси иной раз перерастает в определенную идеализацию политики царя. И все же Мэсси хватает здравого смысла не объявлять Николая II, как это делает наш соотечественник и современник Олег Платонов, единственным на всю Россию «по-настоящему выдающимся государственным деятелем», которому он весьма категорично приписывает только одни успехи и достижения, перекладывая всю ответственность за 1917 год исключительно на «антинациональные силы». По моему глубокому убеждению, ни гемофилия, ни подрывная деятельность «антинациональных сил» не дают убедительного объяснения причин краха тысячелетней монархии в России. По меньшей мере в историческом анализе не обойтись без соответствующего расследования действий самого Николая II: в какой степени его политика и его поведение ускорили (или отсрочили) революцию 1917 года?

Наряду с уже упоминавшейся книгой Р. Мэсси найти ответ на этот вопрос нам помогает и последняя книга известного французского историка Марка Ферро, предлагающего свое прочтение биографии Николая II. Опубликованная в 1990 году парижским издательством «Пайо», она уже через год стала доступна российскому читателю благодаря оперативности издательства «Международные отношения». Остается лишь сожалеть, что издательство, осуществившее перевод книги М. Ферро на русский язык, предварительно не прибегло к помощи рецензентов-специалистов или научного редактора, что позволило бы избежать досадных фактических ошибок и редакторско-стилистических погрешностей, встречающихся в тексте, которые в значительной степени объясняются буквальным переводом с французского на русский. Тем не менее М. Ферро удалось создать вполне правдоподобный портрет Николая II на фоне российских реалий конца XIX — начала XX века.

Надо отдать должное скрупулезности автора, обобщившего вслед за Р. Мэсси огромный фактический, в том числе и архивный, материал, и его объективности. Книга Ферро значительно менее эмоциональна и психологична по сравнению с работой Мэсси. Она более аналитична и потому бесстрастна. Французский историк свободен как от грубого обличительства, так и от слезливого умиления — этих двух родимых пятен нашей отечественной историографии. Уже в предисловии он заранее отказывается от роли судьи, выносящего исторический приговор. Ему более импонирует роль бесстрастного диагноста, анализирующего различные ситуации и действия исторических персонажей в этих ситуациях. Главное, считает М. Ферро (и с этим нельзя не согласиться), историк ничего не должен скрывать.

«Человек загадочный, Николай II принадлежит к тем людям, для которых судьба — это долг, раз и навсегда принятый на себя, что отличает их от остального постоянно меняющегося мира,— отмечает французский историк.— Николай II отнюдь не слепец, однако, считая своим долгом проявлять уважение к прошлому и смирение перед Господом, не уступает ни крупицы своей власти. Если только его не вынудят обстоятельства, как в 1905 году. Он скорее отречется от престола». Именно так и случилось 2 марта 1917 года, и все обстоятельства того исторического события детально раскрываются в публиковавшихся еще в 20-е годы документах и воспоминаниях, переизданных ныне «Советским писателем».

Насколько закономерен или, быть может, случаен финал николаевского правления? «Я — царь-неудачник»,— с горечью признавался Николай II в августе 1914 года, будто предчувствуя грядущие потрясения. Действительно, над ним словно нависал какой-то рок. Восприняв от своего отца мощную империю, Николай II потерял ее менее чем за четверть века своего незадачливого царствования. Неудачи буквально преследовали его: семейная драма, связанная с неизлечимой болезнью наследника-цесаревича, несчастная русско-японская война и сомнительная победа над революцией 1905 года, разлад с обществом, принимавший угрожающие масштабы, невыносимо тягостная первая мировая, ставшая роковой для династии Романовых...

«Кто начал царствовать — Ходынкой, тот кончит — встав на эшафот»,— пророчествовал в 1906 году поэт Константин Бальмонт. Конечно, не случайная ходынская катастрофа предрешила екатеринбургское убийство и даже не личные качества Николая II, хотя последние и сыграли свою роль в трагедии царской семьи.

Ни по складу характера, ни по воспитанию Николай Александрович Романов не был готов к возложенной на него миссии. Как ни старается О. Платонов убедить

своих читателей в наличии у Николая II прирожденных и благоприобретенных качеств выдающегося государственного деятеля, он малоубедителен. Да, Николай был прекрасно образован и трудолюбив, да, он обладал хорошей памятью и волей, более похожей, правда, на упрямство, но всего этого было явно недостаточно для того, чтобы в выпавшее на его долю суровое время нести ту тяжелейшую ношу, которая на него свалилась после преждевременной кончины Александра III.

Что лучше и убедительнее может характеризовать любого человека, чем его интимный дневник, не предназначенный для посторонних глаз, тем более если речь идет о человеке искреннем и глубоко религиозном, каковым был последний русский царь? Заглянем в этот дневник, который Николай аккуратно вел с юных лет, благо что такую возможность нам предоставило издательство «Полистар», опубликовав дневниковые записи Николая II за 1890—1906 годы. К сожалению, это лишь малая часть дневника, но и она дает достаточно ясное представление об интеллекте, интересах, вкусах и времяпрепровождении наследника, а затем и императора Всея Руси.

Увы, изучив дневник, мы не найдем там ни интересных мыслей, ни сколь-нибудь глубоких обобщений, ни даже поверхностного объяснения происходившего за тот период, отмеченный, между прочим, русско-японской войной и смутой 1905 года. В сущности, это не более чем хроника семейной жизни, разбавленная скупыми упоминаниями о текущих политических событиях без какого-либо их анализа. Нараставший трагизм русской действительности, как ни странно, не нашел отражения в дневнике последнего русского царя. Если же мы ознакомимся с записями, относящимися к периоду, предшествовавшему воцарению Николая II, то увидим, что наследник откровенно тяготился вынужденным (даже формальным) участием в государственных делах, зато охотно предавался всевозможным светским развлечениям. Да и Александр III, по многим свидетельствам, был невысокого мнения о государственных талантах своего старшего сына и наследника.

Стоит ли удивляться, что неожиданное восхождение в 1894 году на русский престол повергло Николая в глубокое смятение. Сам Николай лучше многих понимал несоразмерность своих возможностей с грузом ответственности за доставшуюся ему огромную страну. «Бремя этого ужасающего для него события раздавило его»,— замечает Р. Мэсси.

Смирившись с судьбой, Николай II с действительно присущим ему трудолюбием окунулся в дела государственного управления, горькие плоды которого ему пришлось пожинать двадцать три года спустя. Наверное, в более спокойные времена он смог бы благополучно процарствовать по примеру особо почитаемого им государя — «тишайшего» Алексея Михайловича. Внушенные же Николаю с детских лет консервативные убеждения в незыблемости устоев самодержавия пришли в явное несоответствие со всеобщим духом времени и собственно российскими реалиями начала XX столетия.

В России неотвратимо назревал кризис в отношениях между самодержавной властью и так называемым образованным обществом. С убийством Александра II в 1881 году, отмечает М. Ферро, «рвались священные узы, связывавшие царизм и просвещенное общество. Его сыны осмелились посягнуть на жизнь царя, причем не на царя-тирана Николая I, а царя-освободителя. Произошло нечто непоправимое».

Ужасная смерть деда, да еще накануне дарования им России конституции, произвела крайне тяжелое впечатление на двенадцатилетнего подростка — будущего императора Николая II. К. П. Победоносцеву, обер-прокурору Святейшего Синода и по совместительству наставнику двух последних царей, не составило труда внушить своим воспитанникам твердое убеждение в непригодности для России либеральных нововведений на западноевропейский манер и правомерности сохранения самодержавного, освященного веками порядка.

Твердая приверженность самодержавному принципу правления в условиях, когда этот принцип себя изжил, составляла основу политической и человеческой драмы Николая II. Чувство долга наверное было доминирующим в характере последнего русского царя. Но скорее это был долг перед прошлым, а не будущим. Он постоянно смотрел назад, в то время как обязан был вести свой народ вперед. «До убийства царской семьи,— как справедливо полагает О. Платонов,— в России существовала большая вероятность установления конституционной монархии в том виде, в каком она существует в современной Англии или Японии. Монарх — знамя нации, хранитель основ, традиций, идеалов народа, правление же страной осуществляет парламент и утвержденное им правительство. Это было бы великим благом для страны».

Но ведь именно от такого блага для России и, между прочим, для себя и своей семьи со всем присущим ему упрямством отказывался Николай II. Главную свою заботу он видел в том, чтобы сохранить доставшуюся ему от предшественников

старую систему, передав ее в неизменном виде своему преемнику. О последнем разговор особый. Долгожданный наследник появился на свет лишь в 1904 году, и врачи не обещали ему, как больному гемофилией, долгой жизни. Забота о здоровье несчастного мальчика, непреходящая тревога за него буквально парализовали Николая II и Александру Федоровну. Болезнь наследника престола, перед которой официальная медицина отступилась, открыла двери императорского дворца перед Распутиным, серьезно скомпрометировавшим не только царскую семью, но и всю самодержавную власть. «Вы больше отец, чем царь» — в этих словах Гучкова, сказанных Николаю II в момент отречения, много горькой правды и даже укора, смешанного с сочувствием по отношению к последнему самодержцу, нерешительность которого несомненно ускорила революцию и крушение всего старого строя.

В чем же состояли просчеты Николая II как политика?

Самый серьезный просчет в том, что император вольно или невольно содействовал крайнему обострению конфликта между олицетворяемой им властью и обществом. С конца прошлого столетия Россия переживала бурный экономический подъем, и хотя по уровню промышленного развития она во многом продолжала отставать от передовых стран Запада, но по темпам роста производства выходила в первый ряд. Судя по успехам российской промышленности в первые годы царствования Николая II, писал пятьдесят лет спустя экономист Гершенкрон, Россия несомненно уже обогнала бы США, не утвердись в ней, к несчастью, коммунистический режим.

Экономический подъем, порожденный реформами царя-освободителя, имел и важные социально-политические последствия — появление пролетариата и зарождение рабочего движения, становление российской буржуазии, желавшей вкусить от пирога власти. В повестку дня все более настойчиво вставали два важнейших вопроса — преобразование самодержавной монархии в конституционную и аграрная реформа. В сущности, речь шла об освобождении колоссального потенциала России от связывавших ее пут.

Лучшие из министров Николая II — С. Ю. Витте и П. А. Столыпин — мечтали примирить идею монархии с новыми реалиями XX века.

Графу Витте Россия обязана первыми успехами в области индустриализации, в значительной мере оплаченной иностранными займами. Вместо непрерывного наращивания военных сил, которые не могла содержать дефицитная экономика, Витте всеми средствами поощрял капиталовложения внутри страны для роста производительного потенциала России. Между прочим, тогдашние «патриоты» (а вслед за ними и Ленин) обвиняли Витте в том, что он ставит Россию в политическую зависимость от западных кредиторов. В действительности эта зависимость оказалась больше надуманной, нежели реальной, о чем свидетельствует и невиданный промышленный рывок России в 1894—1913 годах, и вполне самостоятельная внешняя политика Российской империи. Увы, Николай II, в отличие от своих родителей, не любил Витте — не любил за самостоятельность мысли, казавшейся ему чрезмерно либеральной, за независимость суждений. В конечном счете Николай избавился от того, кто почитал своим первейшим долгом радеть об интересах царя и отечества.

Не оценил Николай II и самоотверженной деятельности другого выдающегося человека, пытавшегося спасти монархию,— П. А. Столыпина. В отличие от Витте, занимавшегося главным образом экономикой, Столыпина прежде всего интересовала политика. 1905 год он воспринял как грозное предупреждение, из которого сделал совершенно определенный вывод о необходимости укрепить опору монархии путем разрушения окостеневшей и малопроизводительной общины и создания системы индивидуальных крестьянских хозяйств капиталистического типа. Аграрная реформа Столыпина в случае ее успешной реализации решала извечный на Руси вопрос о земле и тем самым ликвидировала один из острейших антагонизмов. Потому-то деятельность министра-реформатора и вызвала бешеную реакцию в революционном лагере, справедливо усмотревшем в реформах Столыпина перспективу мирного (а не насильственного) разрешения назревших социальных и иных противоречий в России, что, разумеется, выбивало почву из-под ног социал-демократов и эсеров.

В противодействии попыткам Столыпина модернизировать Россию, дав при этом второе дыхание и тысячелетней монархии, большевики, как ни странно покажется на первый взгляд, нашли неожиданных союзников — твердолобых монархистов, усмотревших в деятельности самоотверженного и властного реформатора (а только такой реформатор и может рассчитывать на успех в России) опасное покушение на «священные принципы самодержавия». Ограниченностью черносотенцев, считавших Столыпина опасным либералом, с успехом воспользовались революционеры, приклеившие «либералу» ярлык «вешателя». Возник некий негласный сговор крайне правых и крайне левых, не раз губивший Россию. Сама фигура Богрова — убийцы Столыпина — ярко символизировала противоестественный, казалось, тандем —

охранки, призванной оберегать государственные устои, и революционеров, пытающихся взорвать эти самые устои.

Драма Столыпина заключалась в непонимании смысла и значения его деятельности именно тем, кого он тщетно хотел спасти, но кого успел лишь осенить крестом перед своей преждевременной смертью. Николай II никогда не жаловал своего премьера и держал его больше по необходимости. Судя по некоторым свидетельствам, Николай только после отречения понял, кого потеряла Россия, да и он сам, в роковой сентябрьский день 1911 года.

Впрочем, царь всегда тяготился людьми яркими и самостоятельными, как бы заслонявшими его, лишенного государственных талантов. Воспитанный на консервативных началах, Николай II не жаловал политиков, звавших его вперед, отдавая предпочтение тем, кто стремился ничего не менять.

Роковой ошибкой царя стало то, что он допустил расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих 9 января 1905 года. Рабочие направлялись к Зимнему дворцу передать царю-батюшке петицию-прошение о неотложных реформах.

Откуда им было знать, что император находился в Царском Селе. Не знали они и того, что не царь отдал приказ стрелять в них. Узнав о трагедии, Николай записал в дневнике за 9 января: «Господи, как больно и тяжело!»

Последствия расстрела 9 января оказались самыми драматичными. «Кровавое воскресенье,— пишет М. Ферро,— разорвало «священную связь» царя с народом, тем самым народом, на которого полагался царь и с которым связывал законность своей власти. С этим событием связывают также выход рабочего класса на историческую арену, поворот этот произошел не столько в результате действий революционных партий, сколько из-за самой самодержавной власти».

Ошибкой царя не преминули воспользоваться революционеры, развязавшие террор и подталкивавшие народ к возмущению. В феврале 1905 года был убит великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Затем последовали волнения в армии и на Черноморском флоте. В декабре вспыхнуло вооруженное восстание в первопрестольной.

В разгар беспорядков, охвативших империю, царь по настоятельному совету С. Ю. Витте соглашается даровать своему народу гражданские свободы и созвать Государственную думу. Манифест 17 октября 1905 года с одобрением был встречен общественным мнением: в нем увидели возможность мирного перехода к конституционно-монархическому правлению. Такой ход событий по разным причинам не устраивал крайне правых и крайне левых. Поэтому они объявили настоящую войну намечавшимся реформам.

Внешне казалось, что наконец-то будет налажен диалог между троном и обществом к вящей пользе России. Увы, надеждам этим не суждено было осуществиться, и свою долю ответственности за срыв намечавшегося диалога несет Николай II. Провозгласив готовность начать давно назревшие реформы, царь под влиянием ближайшего окружения скоро отказался от их проведения. Очередной его ошибкой стало откровенное нежелание сотрудничать с им же созванной Думой, настроенной поначалу к царю вполне лояльно. За короткий период с 1906 года, когда была созвана первая Государственная дума, и до февраля 1917 года Николай II трижды распускал депутатскую ассамблею, одновременно укорачивая ее права. Известно, что Николай II с трудом мирился с самим фактом существования Думы. Особенно его раздражали думские дебаты с их явным стремлением влиять на политику правительства. Николай никак не хотел осознать, что реальная опасность для его престола не Дума, а придворная камарилья и распутинщина, серьезно компрометировавшие российское самодержавие и царскую семью.

С наибольшей силой эта угроза проявилась в период германской войны, показавшей (к сожалению, с опозданием) дальновидность Витте и Столыпина, которые пытались модернизировать российскую экономику и укрепить опоры старого порядка. Уже в 1914 году для всех стала очевидна неподготовленность России к длительной войне.

И как раз «либералы» из Думы первыми забили тревогу и мобилизовали все силы для оказания помощи фронту. В связи с растущей нехваткой продовольствия и товаров в тылу общественные организации создали разветвленную сеть потребительских кооперативов.

А что же дворцовые «патриоты»? Они, как и всегда, оказались в стороне от созидательной деятельности, целиком поглощенные интригами — кому возглавить очередной кабинет, кому стать министром, кого назначить командующим фронтом... «Божий человек» бесцеремонно вмешивался в дела государственного управления и даже пытался влиять на ход военных действий, вызывая растущую ненависть к себе в обществе и в армии. Когда «старец» изъявил желание посетить Ставку Верховного

главнокомандующего, великий князь Николай Николаевич решительно заявил царю: «Он может приехать, но его повесят».

Крупным просчетом Николая II явилось и снятие летом 1915 года популярного в армии великого князя Николая Николаевича с поста главковерха и возложение на себя его функций. На первый взгляд этот шаг должен был повысить моральный дух и боеспособность армии, сблизить царя и многомиллионную солдатскую массу. Но это лишь на первый взгляд.

В действительности же решение царя оказалось пагубным по двум основным причинам. Во-первых, он не обладал полководческими способностями Николая Николаевича, что подтвердилось всем ходом военных действий с середины 1915 года. Кроме того, взяв на себя функции Верховного главнокомандующего, Николай II опасно связал свое имя со всеми неудачами на фронтах, сделавшись удобной мишенью для политических недругов. Во-вторых, и это самое главное, царь отбыл в действующую армию, оставив в Петрограде разгоравшийся очаг недовольства. Именно с его отъездом в столице «воцарился» Распутин с его безраздельным влиянием на Александру Федоровну.

Так или иначе, но решение царя возглавить армию с самого начала вызывало тревогу у наиболее трезво мыслящих приверженцев монархии. Произошло беспрецедентное событие: восемь министров, лично выбранных Николаем II, подписали петицию с возражением против решения царя возглавить армию. Об этом же просили его и думские деятели — кадет А. И. Шингарев и видный деятель «Союза русского народа» В. В. Шульгин. В ответ Николай II приостановил деятельность Государственной думы и уволил строптивых министров.

Близкие люди, пережившие 1917 и последующие годы, в свое время рассказывали мне, что недовольство накануне Февраля было буквально всеобщим: оно охватило даже безусловно преданное царю гвардейское офицерство, до крайности возмущенное «бардаком», царившим у подножия трона. Офицеры гвардейских полков откровенно осуждали нерешительность императора в связи с Распутиным и распутинцами. Широко распространялись ложные в действительности слухи об отношениях «старца» с императрицей. Престиж царской четы опасно падал даже в среде тех, кто всегда верой и правдой служил царю и отечеству. Впервые, пожалуй, эти два прежде неразделимых понятия оказались противопоставленными друг другу. Далеко не случайно в критический момент царь оказался в полном одиночестве.

Даже убийство Распутина в декабре 1916 года не спасло самодержавие, как на то искренне надеялись Пуришкевич, Юсупов и стоявшие за ними влиятельные монархические круги.

Намерение заменить слабого царя ради спасения России и монархии все более крепло даже среди убежденных монархистов, включая членов царствующей фамилии — вдовствующую императрицу Марию Федоровну, великих князей Николая Николаевича, Гавриила Константиновича, Кирилла, Бориса, Андрея и некоторых других. В пользу дворцовой революции ради предотвращения революции социальной еще в канун 1917 года более чем определенно высказались командующий Северным фронтом генерал Рузский и герой войны генерал Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом.

И все же социальная революция опередила дворцовую. Всего пять дней потребовалось, чтобы рухнула тысячелетняя монархия, причем с минимальными человеческими издержками. Случайно ли это? Конечно, нет! Перезрелое яблоко самодержавия само упало на землю при первом дуновении революционного ветра. А разве случаен тот факт, что отречение Николая II принимал убежденный монархист Шульгин, жизнь свою положивший на сохранение монархии в России? Даже ему стало ясно несоответствие идеи самодержавия новым реальностям.

Иногда высказывается мнение, что в феврале 1917 года армия была за царя, а в Петрограде, мол, взбунтовавшуюся чернь поддержали лишь деморализованные пропагандой запасные батальоны. Но как тогда объяснить, что отречения Николая II потребовали все командующие фронтами (за исключением генерала А. Е. Эверта), начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев, ближайший соратник царя в Ставке, и даже бывший главковерх великий князь Николай Николаевич, дядя царя. «Как мог я поступить иначе,— с искренней горечью произнес император, приняв окончательное решение,— они все меня предали, даже Николаша».

Трагизм ситуации Николая II в том и состоял, что в те роковые дни он остался один, без всякой поддержки и даже понимания, о чем ярко свидетельствуют многочисленные документы упоминавшегося сборника «Отречение Николая II», включающие, в частности, выдержки из дневника императора за февраль — март 1917 года. Почти весь Георгиевский батальон, направленный Николаем II из Ставки в Царское Село для защиты его семьи, разбежался в пути, не дойдя до назначенного места, а размещенный в самом Царском Селе полк георгиевских кавалеров в

критический момент объявил о своем нейтралитете и выбросил белый флаг, отказавшись, в сущности, защищать самых близких царю людей — его жену и детей. «Кругом измена и трусость и обман!» — читаем мы в записной книжке Николая II за 2 марта 1917 года. Ответственность Романовых за происшедшее в 1917 году сознавали тогда многие, в том числе и сестра Николая II, великая княжна Ольга Александровна, в числе немногих из семьи спасшаяся от кровавой расправы. «Не должно быть никаких сомнений в том,— писала она незадолго до своей смерти в 1960 году,— что наше последнее поколение сделало все, чтобы разрушить империю. В течение всех этих критических лет члены семьи Романовых, которые должны были бы быть непоколебимой опорой трона, вели себя далеко не так, как требовали того нормы, связанные с их положением и традициями семьи...» В этих горьких признаниях больше правды, чем в иных дилетантских рассуждениях некоторых современных беллетристов и публицистов о случайности падения самодержавия в России как результате «жидомасонского заговора».

2 марта 1917 года завершилась политическая биография Николая II. Продолжалась человеческая драма Николая Александровича Романова, очень скоро переросшая в трагедию всей его семьи. Американский публицист и французский историк — один детально, другой бегло — прослеживают путь Романовых на екатеринбургскую голгофу, проявляя естественную деликатность и сочувствие по отношению к ним, чего семь десятилетий старательно избегали советские историки-марксисты, цинично злорадствовавшие над «бесславным концом Николая Кровавого». В книгах Р. Мэсси и О. Платонова читатель найдет ужасающие подробности кровавой расправы над семьей Романовых, по большей части заимствованные из труда колчаковского следователя Н. А. Соколова «Убийство царской семьи», а также из цинично-хвастливых воспоминаний большевистских «героев» екатеринбургского и алапаевского убийств, публиковавшихся в СССР в 20-е годы. Как американский, так и современный российский автор не сомневаются в непосредственной причастности Свердлова и Ленина к организации убийств членов дома Романовых. Дело лишь за обнаружением неопровержимых документальных доказательств данной версии, представляющейся вполне убедительной.

Сейчас вновь объявилось множество охотников за сенсациями на романовскую тему, заявляющих о чудесном спасении то великой княжны Анастасии, то Марии, а то и самой императрицы со всеми дочерьми. В книге М. Ферро подробно разбираются некоторые версии такого рода, причем автор многозначительно не ставит точку на этом деле. На мой взгляд, наиболее убедителен все же дотошный следователь Н. Соколов, не сомневавшийся в том, что вся царская семья пала под пулями палачей Юровского...

Но вернемся в семнадцатый год. Уже стало общим местом говорить о безучастности и даже полном равнодушии царя к роковым событиям февраля 1917 года, предрешившим судьбу его самого и всей России. Эта версия получила распространение с легкой руки В. В. Шульгина, который вспоминал, что «он (Николай II.— *П. Ч.*) отрекся, как командование эскадроном сдал». Историки поверили этому очевидцу отречения.

Но таким ли уж легким было в действительности это решение царя и только ли естественной отцовской заботой о судьбе неизлечимо больного сына объяснялось отречение от престола также и за наследника, как полагают некоторые историки и публицисты?

А быть может, дело совсем в другом — в том, что по понятным причинам никогда не приходило в головы советским историкам, о чем не задумался М. Ферро, но что сумел понять Р. Мэсси. Если внимательно прочитать оба варианта манифеста отречения, то нельзя не увидеть самой искренней озабоченности Николая за «будущее дорогого нашего Отечества» «в тяжелую годину ниспосланных тяжких испытаний». Со всех сторон чуть ли не ежеминутно ему настойчиво внушали мысль об отречении, которое только и может спасти страну от братоубийственной гражданской войны, утверждали, что этого хочет весь русский народ. Разве случайно Николай написал в первом варианте манифеста: «За благо сочли, идя навстречу желаниям всего русского народа, сложить бремя врученной нам от Бога власти».

Р. Мэсси прав, когда отмечает, что, «вероятно, решающее значение имело его собственное нежелание начинать кровавую грязную бойню на улицах столицы. Годы самодержавного правления, годы кровопролитной войны, личного напряжения и собственных страданий сделали для него внутренне невозможным ввергнуть свою страну в гражданскую войну... Развязать гражданскую войну, в которой русские будут убивать русских, в то время как ненавистные немцы будут спокойно смотреть на это, было для царя полным отрицанием всего, во что он так глубоко верил».

Именно желание избежать крови, но уж никак не равнодушие к судьбе России, и побудило царя решиться на столь ответственный шаг, о котором впоследствии он

скорее всего сожалел, увидя разгар пожара гражданской войны. Нельзя сбрасывать со счетов и тот бесспорный факт, что Николай II был глубоко верующим человеком, чьи христианские убеждения не позволяли ему развязать братоубийственную войну.

...Завершая путешествие по обстоятельным книгам Р. Мэсси и М. Ферро, остается лишь сказать, что они удачно дополняют друг друга, высвечивая разные аспекты избранной темы. Если американскому автору лучше удалось раскрыть тщательно укрытый от посторонних внутренний мир Николая и Александры Романовых, глубоко постигнув их жизненную драму, то французский историк в большей степени сумел показать обреченность российского самодержавия с наступлением XX века. Впрочем, со страниц всех упомянутых в этом обзоре работ и документальных публикаций предстает трагическая личность последнего русского царя — человека глубоко порядочного и деликатного до застенчивости, примерного христианина, любящего мужа и отца, верного своему долгу и одновременно ничем не выдающегося государственного деятеля, пленника раз и навсегда усвоенных убеждений в незыблемости завещанного ему предками порядка вещей. Он не был ни деспотом, ни тем более палачом своего народа, как утверждала наша официальная историография, но не был при жизни и святым, как иногда теперь заявляют, хотя мученической смертью он бесспорно искупил все грехи и ошибки своего правления. Драма Николая II как политика — в его заурядности, в несоответствии масштаба личности вызову времени. Наверное, есть какая-то историческая закономерность в том, что изжившие себя политические системы способны воспроизводить лишь усредненных лидеров, по-своему ускоряющих своими недальновидными действиями падение старого порядка. Так было во Франции эпохи позднего абсолютизма, олицетворявшегося Людовиком XVI. Так было и в самодержавной России, ведомой Николаем II.

Конечно, хотелось бы надеяться, что появление на нашем книжном рынке двух бесспорно содержательных книг иностранных авторов, посвященных Николаю II, «спровоцирует» российских историков всерьез и объективно заняться изучением предыстории 1917 года и биографией последнего русского самодержца, но что-то мешает мне утвердиться в такой надежде... Наше смутное, беспокойное время явно не располагает ни к взвешенности, ни к объективности исторических оценок.

**Петр ЧЕРКАСОВ,**
*доктор исторических наук.*

## ПОПРАВКА

В № 10 за 1992 год на стр. 192 в материале шведского эколога Р. Эдберга имел место текстовой брак (дважды пропечатаны два абзаца), вызванный сбоем компьютера. В результате оказался искажен следующий текст:

«Только в последние десять — пятнадцать лет разломы начали открывать нам свои тайны, но и то, что мы уже узнали, вызвало переворот в представлениях о нашем домике в космосе, почти такой же революционный, как когда Коперник запустил Землю на орбиту вокруг Солнца или когда Дарвин поднял завесу над происхождением видов. Это повесть о процессах первостепенной важности для развития планеты и жизни. Многое из того, что прежде было накоплено и истолковано наукой, приходится теперь пересматривать.

Словно песок в огромных песочных часах, континенты утекают в море. Размолотые горные породы опускаются в пучины. Некоторые вещества, как известь и кремний, по пути на дно задерживаются в организмах планктона».

Приносим наши извинения автору, переводчику Л. Жданову и всем читателям «Нового мира».

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## ПИСЬМА М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

*Из архива П. П. Сувчинского*

### 1. П. П. Сувчинскому

Милый Петр Петрович,

— Мы с Вами немножко знакомы.— Обращаюсь к Вам с просьбой: сообщите, пожалуйста, адрес Ильина[1] — Сергею Михайловичу Волконскому[2]. Он его тщетно разыскивает всюду.

Адр<ес> кн<язя> Волконского:
*Paris* Bd des Invalides
Rue Duroc, 2

Простите, что так мало Вас зная — уже прошу, но мне о Вас много рассказывал Чабров[3].

Шлю Вам привет.

Скоро выйдут две моих новых книги: «Царь-Девица»[4] и «Ремесло»[5].— Тогда пришлю.

Марина Цветаева

5-го нов<ого> ноября
Прага, 1922 г.

<Приписка на лицевой стороне открытки:>
Здесь я живу и буду жить всю зиму.— Последний дом в деревне.—
«Как одинок последний дом в деревне,—
Как будто он — последний в мире дом!»[6]
(Rilke)

---

Письмо написано на почтовой открытке с видом чешского селения Вшеноры. На двух почтовых штемпелях стоят даты: 7 и 9 ноября 1922 г. Открытка адресована: Herrn P. Suwtschinski Potsdamerstrasse, 23 Port<al> 5, bei Frau Kriwan, BERLIN, Německo.

[1] Имеются в виду либо Ильин Иван Александрович (1882—1954), философ, публицист (сотрудничал в ведущих эмигрантских журналах, в том числе в «Русской мысли», редактировавшейся П. Б. Струве), либо Ильин Владимир Николаевич (1891—1974), философ, богослов, знаток музыки, в 20-е гг. участвовавший в евразийском движении (Сувчинский хорошо и близко его знал). Оба в ту пору жили в Берлине.

[2] Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — внук декабриста, театральный деятель и писатель. Знакомство Цветаевой с Волконским состоялось в Москве в 1919 г. и вскоре перешло в дружбу, которая продолжалась за границей долгие годы. В письме к Л. Е. Чириковой от 4 апреля 1923 г. Цветаева назвала свои отношения с Волконским «лучшей дружбой за жизнь», а его — «умнейшим, общительнейшим, стариннейшим, страннейшим и — гениальнейшим человеком на свете» («Новый журнал», 1976, № 124, стр. 146). К Волконскому обращены стихотворения Цветаевой, образующие цикл «Ученик» (1921). В 1924 г. она опубликовала большой отзыв на книгу Волконского «Родина» («Кедр. Апология».— «Записки наблюдателя», кн. I, Прага).

[3] Чабров (Подгаецкий) Алексей Александрович (1888?—1935?) — актер, режиссер. В фильме Я. Протазанова «Сатана ликующий» (1917) сыграл роль Сатаны. Цветаева ценила знание и понимание Чабровым поэзии, о чем и писала И. Эренбургу в марте 1922 г.: «Чабров — мой приятель: умный, острый, впивающийся в комический бок вещей <...> прекрасно понимающий стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное и

---

Публикация и комментарий *Ю. КЛЮКИНА, В. КОЗОВОГО* и *Л. МНУХИНА*. Письма печатаются по автографам, недавно переданным М. Л. Сувчинской в Национальную библиотеку (Париж). По договоренности с публикаторами публикация писем М. И. Цветаевой осуществляется журналом «Новый мир» одновременно с «Revue des études slaves». По техническим причинам во французском издании допущен ряд пропусков и неточностей в текстах писем, которые в настоящей публикации удалось восстановить и исправить.

всегда до страсти!» (А. Эфрон. «О Марине Цветаевой». М. 1989, стр. 111). Позже, в статье «Поэт о критике», Цветаева вновь вспомнила о нем: «<...> больше критиков и поэтов ценю слово А. Подгаецкого-Чаброва (человек театра)» («Благонамеренный», 1926, № 2, стр. 102). А. А. Подгаецкому-Чаброву посвящена поэма Цветаевой «Переулочки» (1922).

[4] «Царь-девица: поэма-сказка». Петербург — Берлин. «Эпоха». 1922.

[5] «Ремесло: книга стихов». М.— Берлин. «Геликон». 1923.

[6] Начальные строки стихотворения без названия из «Книги паломничества» в сборнике Р. М. Рильке «Часослов» (1905). Возможно, это перевод Цветаевой, а вероятнее всего, она приводит стихи по памяти в переводе Юлиана Анисимова (Р. М. Рильке. «Книга часов», ч. I: «О монашеской жизни». М. 1913, стр. 39). Перевод Ю. Анисимова:

Так одинок последний дом в деревне,—
Как будто он последний в мире дом...

## 2. П. П. Сувчинскому[1]

Париж, 25-го января 1926 г.

Милый Петр Петрович,

Позвольте порадовать Вас еще десятком двадцатипятифранковых (хорошо словцо?) билетов, отравой — если не отрадой — на ровно десять дней и ссорой со столькими же буржуями[2].

С искренним соболезнованием

Марина Цветаева

<Приписка рукой С. Я. Эфрона:>
Жду Вас, как было условлено, в пятницу.

Привет, С. Эфрон

---

[1] К моменту написания этого короткого письма Цветаева, по-видимому, уже близко знала Сувчинского. В его архиве сохранился печатный текст «Поэмы Конца» с надписью Цветаевой: «Петру Петровичу Сувчинскому — на память о Fillette, Спекторском и зеленом фартучке. Париж, 1-го января 1926 г.».

[2] Речь идет об организации первого творческого вечера Цветаевой в Париже, стоившей ей нервотрепки и унижений: надо было выпросить помещение (которое никто не хотел давать бесплатно), найти распорядителя вечера, отпечатать и распространить билеты. Чтобы вечер оказался успешным в финансовом смысле, приходилось просить влиятельных друзей распространить специальные дорогие билеты среди меценатов-толстосумов (Цветаева называет их в письме *буржуями*). Об этом же писал муж Цветаевой С. Я. Эфрон: «<...> резкое недоброжелательство почти всех русских и еврейских барынь, от к<отор>ых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием М<арины> пресмыкаться, просить и пр<очее>, отказались в чем-либо помочь нам» (письмо С. Эфрона к В. Ф. Булгакову от 9 февраля 1926 г.— ЦГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 1253, л. 5).

В архиве П. П. Сувчинского сохранился пригласительный билет на вечер с исправленной от руки датой (первоначально стояло — 23 января):

LA SOIRÉE
de
Mme MARINA TSVETAIEVA
le 6 Février 1926
à l'Union de Jeunes Écrivains et Poètes Russes*
79, rue Denfert-Rochereau

## 3. П. П. Сувчинскому

<февраль 1926>[1]

*ШАТЕР* (просто — костер — царственность — сирость). В ШАТРЕ — и ОРДА[2], только *за* шатром. И *мужское*. Лучше ОРДЫ! Шатер — укрывающее, но не удушающее. Дом (или дворец) *со сквозняком.*

---

* Вечер Марины Цветаевой 6 февраля 1926 в Союзе молодых русских писателей и поэтов *(фр.)*.

А что у Гумилева — Шатер[3] — тем лучше! Гумилев — большой поэт, и такое воссоединение приятно. Кроме того, ШАТЕР — как простор — как костер — ДЛЯ ВСЕХ.

— Вот Вам Петр[4].

МЦ.

---

Приписка к письму С. Эфрона Сувчинскому. Речь здесь идет о выборе названия для готовившегося журнала (будущие «Версты»).

[1] Датируется по содержанию.

[2] Название «Орда» предложил А. М. Ремизов в письме Сувчинскому от 9 февраля. Затем, 12 февраля, он добавил к своему предложению новый вариант: «Ясак». А когда Сувчинский придумал название «Версты», он возражал ему в письме от 23 февраля: «Лучше крепкое ВЕРСТА» (архив П. П. Сувчинского). Д. П. Святополк-Мирский, со своей стороны, предлагал Сувчинскому назвать журнал «Улус» или «Ясак» (письмо от 8 февраля; архив П. П. Сувчинского). О журнале см. прим. 2 к письму 6.

[3] Название сборника стихов Н. Гумилева, вышедшего двумя изданиями (Севастополь. «Цех поэтов». [1921]; Ревель. «Библиофил». 1922). Севастопольское издание — последняя книга, увиденная при жизни автором.

[4] К письму было приложено стихотворение М. Цветаевой «Петру» (обращено к Петру I). Впервые опубликовано: М. Цветаева. «Лебединый стан». Мюнхен. 1957. См. также письмо 6 и прим. 3 к нему.

### 4. П. П. Сувчинскому

Лондон, 11-го марта 1926 г.[1]

Дорогой Петр Петрович,

Как мне в жизни не хватает старшего и как мне сейчас, в Лондоне, не хватает Вас! Мне очень трудно. Мой собеседник[2] молчит, поэтому говорю — я. И совсем не знаю, доходит ли и как доходит. Я ведь совсем не вижу людей, особенно вблизи, мне в отношении нужна твердая рука, меня ведущая, чтобы лейтмотив принадлежал не мне. И никто не хочет (м<ожет> б<ыть> не может!) этого взять на себя, предоставляют *вести* мне, мне, которая отродясь — ВЕДОМЫЙ!

Мы с Вами как-то не так встретились, не довстретились на этот раз, и вместе с тем Вы мне близки и дороги, ближе, дороже. У Вас есть слух на меня, на мое. Мне кажется, Вы бы сумели обращаться со мною (ох, как трудно! и как я сама себе — с людьми — трудна!). Мне нужен покой другого и собственный покой за него. Что мне делать с человеческим молчанием? Оно меня гнетет, сбивает, сшибает, я его наполняю содержанием, может быть вовсе и не соответствующим. Молчит — значит плохо. Что сделать, чтобы было хорошо? Я становлюсь неестественной, напряженно-веселой, совсем пустой, целиком заостренной в одну заботу: не дать воздуху в комнате *молчать*.

Вчера, в один вечер, я издержала столько, что чувствую себя — и ночь не помогла! — совсем нищей. Молчание другого — неизбежность моей растраты, впустую, зря. Человек не говорит. Не говорит и смотрит. И вот я под гипнозом *молчания, глядения,*— враждебных сил!

— «Я очень трудна. Вынесете ли Вы меня две недели?» Большая пауза.— «А Вы меня?»

Мне хотелось бы простоты, покоя, уверенности. А другой не помогает, недвижностью своей вызывая меня на сложность, смуту, сомнение, нечто явно не мое, от чего унижена и страдаю. Знаете,— когда неверный воздух между людьми? Ненадежный, быстро рвущийся.

---

Ах, кажется знаю! Не выношу, когда человек наполнен *мною*. Не выношу ответственности. Хочу — *моим, своим*, а не *мною*. Ведь я себя (лично) не люблю, люблю с в о е. Совпадение в с в о е м — вот. А ведь иначе — одиночество, не-встреча, разминовение. Двое сходятся в третьем — да. Но двоим никогда не встретиться в одном из двух или друг в друге. X любит Y, а Y любит X=одиночество. X любит Y, а Y тоже Y=одиночество. X любит Z и Y любит Z — встреча. Z=с в о е (для X и для Y) совпадение в том, что выше и X и Y.

Напишите, права ли я и права ли моя тоска?

---

Переправа была ужасная[3]. Никогда не поеду в Америку. Лондон нравится[4]. У меня классическая манзарда поэта. Так устала (меньше от моря, чем от молчания), что спала одетая и всю ночь ворочала какие-то глыбы.

---

Хочу в зверинец, смотреть британского льва, окунуться в чистоту и покой зверя.

---

Завтра вечер, билеты идут хорошо[5]. Сегодня же перепишу и отошлю «Поэму горы»[6]. А Св<ятополк>-М<ирскому> Ремизов нравится, он очень огорчен разминовением с Вами. (Я не читала)[7].

Милый друг, переборите лень и напишите мне хорошее большое письмо. Издалека видней.

Это письмо — только Вам, домой не пишу, потому что не хочу лишних тяжестей.

МЦ.

Адр<ес>: London WCI
9, Torrington Sq[8]
— мне —

---

О высылке статьи и денег М<ир>скому говорила.

---

Если бы Вы знали, как мне тяжело!

---

[1] Письмо написано на следующий день после приезда Цветаевой в Лондон, куда ее пригласил кн. Д. П. Святополк-Мирский.

[2] Собеседник — кн. Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890—1939), критик, историк литературы, участник евразийского движения и близкий друг Сувчинского. Историю своего «освобождения» от евразийства и окончательного перехода к коммунизму описал в одной из статей («La Nouvelle Revue française», 1931, nº 216, p. 384—397). В 1932 г. вернулся в Россию. Арестованный в 1937 г., погиб в 1939 г. в лагере Атка, расположенном в двухстах километрах от Магадана.

Цветаеву со Святополк-Мирским познакомили П. П. и В. А. Сувчинские. К моменту знакомства он уже был горячим поклонником ее таланта (см. о Цветаевой в его работе 1922 г. «О современном состоянии русской поэзии»: D. S. Mirsky. «Uncollected Writings on Russian Litterature». Berkeley. 1989, p. 101—102). Он написал развернутые рецензии на ее поэмы «Мóлодец» («Современные записки», 1926, № 7, стр. 569—572) и «Крысолов» («Воля России», 1926, № 6/7, стр. 99—102), отвел ей заметное место в своей «Истории русской литературы», вышедшей в Лондоне на английском языке; лондонский журнал «New Statesman» в номере от 27 февраля 1926 г. напечатал его статью о поэзии Цветаевой. В это время Святополк-Мирский читал лекции по русской литературе в школе славистики при Лондонском университете. 16 декабря 1925 г. он писал Сувчинскому о желании увидеть Цветаеву и просил в этом помочь. Цель организованной им поездки — дать Цветаевой возможность заработать выступлением в Пен-клубе и отдохнуть от домашних забот. В Париж Цветаева возвратилась две недели спустя, 26 марта.

[3] Пересечение Ла-Манша.

[4] В конце поездки Цветаева писала Анне Тесковой: «Это первые мои две свободные недели за 8 лет (4 советских, 4 эмигрантских) — упиваюсь... Лондон чудный. Чудная река, чудные деревья, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки, чудные камины и чудный Британский Музей...» (М. Цветаева. «Письма к Анне Тесковой». Прага. Academia. 1969, стр. 38).

[5] В этот же день (11 марта) Святополк-Мирский сообщил Сувчинскому: «Вчера приехала М<арина> Ц<ветаева>, завтра ее вечер — денежно, кажется, успех обеспечен». А 16 марта он писал Сувчинскому: «Вечер М<арины> Ц<ветаевой> был удачен — особенно в денежном отношении (больше, чем я ожидал)» (архив П. П. Сувчинского).

[6] «Поэма Горы» была напечатана в № 1 «Верст», который вышел в конце июня — начале июля 1926 г.

[7] В первом номере «Верст» были напечатаны следующие вещи А. М. Ремизова: «Воистину (Памяти В. В. Розанова)», «Из книги „Николай Чудотворец"» и «Россия». В письмах Святополк-Мирского Сувчинскому от 9 и 11 марта 1926 г. речь шла об отрывках из ремизовского «романа», которые Сувчинскому не понравились (хотя Ремизов, с которым он близко дружил, был уже тогда одним из любимейших его писателей).

[8] Адрес школы славистики, где преподавал Д. П. Святополк-Мирский.

## 5. П. П. Сувчинскому

Лондон, 15-го марта 1926 г.

Дорогой Петр Петрович,

Вы просто не поняли моего почерка. Какая же у Вас лень, когда Вы начинены динамитом? Вы, за быстротой, просто неучтимы. Où êtes Vous allé la pêcher?* (Лень)

А о себе и своем — раздвоении — Вы правы. Но у меня пуще чем разминовение — равнодушие. Мне нет дела до себя. Меня — если уж по чести — просто нет. Вся я — в *своем*, свое пожрало. Поэтому тащу человека в свое, никогда в себя,— от себя оттаскиваю: дом, где меня никогда не бывает. С собой я тороплюсь — как с умыванием, одеваньем, обедом, м<ожет> б<ыть> вся я — только это: несколько жестов, либо навязанных (быт), либо случайных (прихоть часа). Когда *я* говорю, *я* решаю, *я* действую — всегда плохо. *Я* — это когда мне скучно (страшно редко). Я — это то, что я с наслаждением брошу, сброшу, когда умру. Я — это когда меня бросает МОЕ. Я — это то, что меня всегда бросает. «Я» — всё, что не Я во мне, всё, чем меня заставляют быть. И диалог м о е г о со мною всегда открывается словами:

«Вот видишь, какая ты дура!» (Мое — мне.)

---

И — догадалась: «Я» э т о п р о с т о т е л о... et tout ce qui s'en suit**: голод, холод, усталость, скука, пустота, зевки, насморк, хозяйство, случайные поцелуи, пр<очее>.

Всё н е п р е о б р а ж е н н о е.

---

Не хочу, чтобы *это* любили. Я его сама еле терплю. В любви ко мне я одинока, не понимаю, томлюсь.

---

«Я» — не пишу стихов.

---

Мандельштам «Ш у м в р е м е н и». Книга баснословной подлости[1]. Пишу — вот уже второй день — яростную отповедь. Мирский огорчен — его любезная проза[2]. А для меня ни прозы, ни стихов — ж и з н ь, здесь отсутствующая. Правильность фактов — и подтасовка чувств. Хотелось бы поспеть к этому № журнала[3] — хоть петитом — не терпится.

---

Я по Вас соскучилась, я когда-нибудь еще буду очень Вас любить.

Если заняты, не отвечайте, это не переписка, я просто подаю голос. Вечер прошел удачно. Лекцию Д<митрий> П<етрович> начал с посрамления Чехова[4], который ему более далек, чем нечитанный китайский поэт (хорошо ведь?). Стихи доходили[5]. Хочу на часть денег издать Лебединый Стан[6], он многим нужен, убедилась.

---

Была у Голицыных[7] — чудный и странный дом. Но хозяйка не любит собак.

До свидания, извлекайте С<ергея> Я<ковлевича>, Вы единственный, с кем ему хорошо.

— Как я рада, что я Вас встретила!

МЦ.

Ремизовым не восхищена[8] — не люблю единоличного Ремизова, люблю Ремизова *по поводу*, с чужим костяком. Но поместить надо.

<Приписка на полях:>

Мирский написал небольшую статью (стр<аниц> 7 печат<ных>) о Совр<еменных> З<аписках> и Воле России[9]. Остро и мужественно.

---

* Откуда у вас она? *(Фр.)*

** И все, что из этого следует *(фр.)*.

[1] С автобиографической повестью О. Мандельштама «Шум времени» (Л. «Время». 1925) Цветаеву познакомил скорее всего Д. П. Святополк-Мирский. Прочитав книгу, Цветаева взорвалась — в письме Д. И. Шаховскому от 18 марта она награждает книгу тем же эпитетом: «Сижу и рву в клоки подлую книгу М<андельштама> „Шум Времени"» (Марина Цветаева. «Неизданные письма». Paris. YMCA-Press. 1972, стр. 361). По всей видимости, ее негодование вызвали иронические строки о царской семье (главка «Ребяческий империализм») и крайне бездушное, по ее мнению, отношение Мандельштама к Добровольческой армии и событиям в Крыму в период гражданской войны (главка «Феодосия»). Мог возмутить Цветаеву портрет ее знакомого по Крыму, поэта и военного инженера Александра Цыгальского, «эстетски» написанного Мандельштамом (главка «Бармы закона»). За одну неделю Цветаева пишет «Мой ответ Осипу Мандельштаму». Однако публикация статьи осуществлена не была. После отказа Сувчинского печатать ее в «Верстах» (см. письмо 6) друзья и близкие, возможно, отговорили Цветаеву вообще печатать статью, полагая ее излишне резкой. В апреле 1926 г. в письме к Ариадне Черновой Владимир Сосинский свидетельствовал: «Сегодняшний вечер М<арина> И<вановна> читала свою статью о Мандельштаме. Статья прекрасная. Но я сказал М<арине> И<вановне>, что слушал ее с болью. «Большой высокий человек ударяет маленького, низкого. Мне жалко маленького».— «Это говорит в вас рыцарское чувство — такое же чувство у меня к тем людям, о которых Мандельштам позволяет себе говорить мерзости». «Сознавая вашу силу — я все время находился под очарованием — все же его — Мандельштама. Под очарованием тех стихов, которые вы приводите — и даже глупостей, которые можно простить только ему одному». Адя, я бы не хотел, чтобы эта статья была напечатана. Зачем поэту обвинять поэта в том, что он раболепствует перед коммунистической властью? Нам ли судить Пушкина в том, что он в один и тот же год — 1826-й — написал Стансы декабристам и стансы Николаю I? А ведь Мандельштам — до сих пор не написал ни одной оды коммунизму. Его книга, которую М<арина> И<вановна> считает раболепством, объявлена в СССР контрреволюционной. Статья сильная, бьющая, задевающая — кстати сказать, очень логичная — по существу своему глубоко несправедлива. Пусть даже падение как человека (хотя я с этим не согласен) — но имя Мандельштама нечто большее для нас, чем просто человек. Статья М<арины> И<вановны> касается еще души Мандельштама — это больно. Ведь странно: «Мандельштам посмел назвать двуглавого орла — „птичкой" и царский приезд — „уличным путешествием"» — отсюда его гнусность. Я беру маленький факт,— по нему ты видишь несправедливость М<арины> И<вановны>. Есть факты действительно некрасивые, М<арина> И<вановна> права — но я настаиваю на своем: нельзя об этом. Особенно поэту о поэте. Пусть этим занимаются не поэты. Кстати, все «не поэты» в эмиграции, прочтя эту книгу — не нашли ее «большевиствующей». Нашел ее таковой первый поэт и друг его. Но я — все же — *могу простить М<арине> И<вановне> все*, только за те дивные песенные слова, которые рассыпаны в ее статье,— так же как сумел бы *простить Мандельштаму* все — за прекрасные страницы его прозы — величавый эпос наших дней. Только — не надо печатать этой статьи» (архив Л. А. Мнухина, машинописная копия).

Будет уместно отметить еще одно, более позднее обращение Цветаевой к книге Мандельштама, а именно в стихотворении «О поэте никто не подумал...» (1934): «Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом/ Времени не моего!»

Текст статьи, по-видимому, не сохранился. В архиве Цветаевой остался лишь ее черновик.

[2] Д. П. Святополк-Мирскому принадлежат два хвалебных отзыва на «Шум времени» Мандельштама. В рецензии в «Современных записках» (1925, № 25, стр. 542—543) он отметил, что «„Шум времени" одна из трех-четырех самых значительных книг последнего времени, а по соединению значительности содержания с художественной интенсивностью едва ли ей не принадлежит первенство...». Эту оценку, данную Мирским книге Мандельштама, как и другую в «Благонамеренном» (Брюссель, 1926, № 1, стр. 126), аналогичную первой, Цветаева, по всей вероятности, знала.

[3] Речь идет о первом номере журнала «Версты».

[4] Своим кратким вступительным докладом Святополк-Мирский предварил выступление Цветаевой.

[5] Кроме своих стихов, Цветаева прочла несколько стихотворений Пастернака.

[6] Желание незамедлительно издать сборник посвященных Белой гвардии стихов «Лебединый стан» (1917—1920) появилось у Цветаевой, по-видимому, после прочтения «Шума времени».

[7] Друзья Сувчинского в Лондоне кн. Владимир и Екатерина Голицыны, участвовавшие в евразийском движении.

[8] См. прим. 7 к предыдущему письму. В целом же Цветаева высоко ценила талант Ремизова. Отвечая на журнальную анкету «Русские писатели о современной литературе и о себе», Цветаева писала: «Здесь, за границами державы Российской, не только самым живым из русских писателей, но живой сокровищницей русской души и речи считаю — за явностью и договаривать стыдно — Алексея Михайловича Ремизова, без которого, за исключением Бориса Пастернака, не обошелся ни один из современных молодых русских прозаиков. Ремизову, будь я какой угодно властью российской, немедленно присудила бы звание русского народного писателя...» («Своими путями», Прага, 1925, № 8/9, стр. 7—8).

[9] Статья «„Современные записки" (I—XXVI, Париж, 1920—1925); „Воля России" (1922, 1925 и 1926 гг., № 1—11, Прага)» была опубликована в № 1 «Верст».

## 6. П. П. Сувчинскому

Париж, 29-го марта 1926 г.

Дорогой Петр Петрович,

Если бы Вы сказали: «Не беру, потому что плохо», Вы бы (плохо или нет) были правы. Если бы Вы сказали: «не беру, потому что взяв, лишусь российского рынка», Вы бы были правы. Но вы осудили вещь[1] *по существу* и этим оказались глубоко́-неправы. Задета не кожа, а самое мясо вещи: душа.

Единоличная ответственность автора за вещь — вот девиз журнала, ближайшим участником[2] которого я бы смогла быть. Не в I, а во II, да еще подумайте, да еще подумаем, допустимы ли вообще обличения и т. д. (А *Петр* — сплошное обличение! — допустим? Потому ли, что сообличаете[3]? Потому ли, что «стихи» — не в счет!)

Какое же «ближайшее участие». Поэму горы у меня и В<оля> Р<оссии> (никогда не вернувшая мне ни одной строки!), и «Благонамеренный» и м<ожет> б<ыть> даже «Дни» (Алданов[4] великодушен!) возьмут. Аллегорические горы — ça ne tire pas à conséquences*! А вот проза, да еще всеми и каждым оплеванное Добровольчество, звук один этого слова... М<ожет> б<ыть> и Воля России бы (и с бо́льшим правом!) запнулась. Добровольчество — вот Ваш камень преткновения. Обличительную статью Мирского (на чисто-литер<атурную> тему) Вы конечно бы взяли[5]. Как обличительную мою.— Хочу, чтобы Вы знали, что — *знаю.*

Вчитайтесь и вдумайтесь и поймите, что «ближайшее участие» так и останется на обложке, *следовательно — на обложке оставаться не должно*[6].

---

Вот как бы я поступила, если бы не сознание, что сняв себя с обложки, несколько расстраиваю общий замысел (Ремизов — прозаик, Шестов — философ, я — поэт). В России бы Вы меня заменили. Здесь не Россия.

Посему, ограничиваюсь чувством, а поступок — опускаю.

МЦ.

---

Письмо написано на бланке пневматической почты. Адрес отправителя: Mme Efron-Tsvetaeva, Paris, 19-e, rue Rouvet № 8; адресат: M. Pierre Souvchinsky, 59 bis, rue Denis Gogue, *Clamart.*

[1] Речь идет об отказе П. П. Сувчинского печатать в «Верстах» (№ 1) статью Цветаевой «Мой ответ Осипу Мандельштаму». Позже, в приписке к письму С. Эфрона Е. Л. Недзельскому, Цветаева посетует по этому поводу: «Милый Е<вгений> Л<еопольдович>. С моей статьей (о книге «Шум времени» — М<андельшта>ма) было совершенно так же. В понедельник: возьмем в № 2, а уже в среду — никогда и ни в какой. Причем ни *нет* ни *да* я не добилась, ибо — хотела сказать — ПОЛЯК, но вспомнила к *кому* и *кто* (полька-бабушка**) пишет.

Говорю Вам, билась три часа — ничего не добилась. БЕРЕТЕ или НЕТ? — Да видите ли...

Я этого человека *не* понимаю и ничего не принимаю в нем, кроме необыкновенной головы» (архив Л. В. Зубовой, С.-Петербург; наше внимание на эту приписку обратила Анна Саакянц).

[2] На обложке «Верст» значилось, что журнал выходит под редакцией кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона, при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова. Фактически журнал выходил под редакцией Сувчинского, при самом активном участии Святополк-Мирского, который и раздобывал деньги на его издание. Эфрон выполнял работу секретаря редакции. Подробнее об истории создания и существования «Верст» (вышло всего три номера) см.: Глеб Струве. «Русская литература в изгнании». Париж. YMCA-Press. 1984, стр. 73—77; Анна Саакянц, «Журнал „Версты"» («Новый журнал», 1991, № 183, стр. 211—217).

Журнал, старавшийся представить русскую культуру, «подсоветскую» и зарубежную, как единое развивающееся целое, был встречен враждебно политической цензурой в СССР. В архиве П. П. Сувчинского хранится заполненный формуляр с отзывом на первый номер «Верст» политредактора Ленинградского губернского отдела по делам литературы и издательств (Подотдел иностранной литературы). Отзыв гласит: «Сборник сочинений

---

* Здесь: ...это осложнений не сулит! (*Фр.*)

** Цветаева имеет в виду свою бабушку по материнской линии, Марию Лукиничну Бернацкую (1841—1868).

русских авторов, издаваемый, как это говорится в предисловии, для действительно русских людей, которые сейчас находятся за границей. Весь сборник проникнут антисоветским направлением и ненавистью к большевикам. Сборник чуждый нашей идеологии». Заключение политредактора (М. Арсеньева): «Запретить». Дата получения «Верст» — 24 июля 1926 г., дата заключения — 26 августа.

[3] См. прим. 4 к письму 3. Цветаева имеет в виду резкое неприятие петровских преобразований в своем стихотворении «Петру», совпадающее, по ее мнению, с отношением к ним евразийцев (которое на самом деле было в эту пору гораздо сложнее).

[4] Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1866—1957) был в то время редактором литературного отдела газеты «Дни».

[5] Цветаева оказалась права. Во втором номере «Верст» была опубликована статья Д. П. Святополк-Мирского «Веяние смерти в предреволюционной литературе» (сокращенный текст его выступления в Париже 5 апреля 1928 г.— см. помеченное этой датой письмо Цветаевой Д. А. Шаховскому: М. Цветаева, «Неизданные письма», стр. 365), в которой «зачарованность смертью» критик обнаруживал не только у Андреева, Бунина, Арцыбашева, Сергеева-Ценского, но — как «острое заражение духа» — и у Вл. Соловьева, «великого поэта Символизма» Анненского, «гениальнейшего из людей своего времени» Розанова, у Зин. Гиппиус, Вяч. Иванова, Флоренского, Белого, «символически-пророческого» Блока, в «замечательной» книге Свенцицкого «Антихрист» и в «благородных» письмах Гершензона в «Переписке из двух углов», наконец, в «аккуратненьких подпольных эпиграммах и мадригалах Ходасевича». Иную «тональность» и «новую фазу» он связывал с «направлениями формализма, футуризма, акмеизма», с именами Гумилева, а затем Пастернака и Цветаевой. Этот текст (а точнее, парижское выступление) вызвал, по словам самого Мирского, «негодование всего эмигрантского синедриона» («Версты», 1927, № 2, стр. 253).

[6] Реакцию Цветаевой предугадать было нетрудно. Сувчинский не последовал совету Мирского, который 9 марта 1926 г. писал ему: «Мне кажется, что по отношению наших трех китов Шестова, М. Цветаевой и Ремизова мы не можем проявлять никакой цензуры».

## 7. П. П. Сувчинскому

St. Gilles, 2-го июня 1926 г.

Дорогой Петр Петрович,

Вот что пишет Пастернак об отзыве Мирского (в «Соврем<енных> Записках», о нем и мне)[1]. «Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно*. Но я не уверен, справедливо ли он *определяет* меня. Я не про оценку, а про определенье именно[2]. Ведь это же выходит вроде «Шума Времени» — натюрмортизм. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю, в реалистическом обличьи, спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя, читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного»[3].

Когда я это прочла, я ощутила правоту Пастернака, как тогда, читая, неправоту Мирского. И вспомнила — очень неполно, отдельностями — поездку за фартуками, словотворчество, жгут фуги, измененный угол зрения. Все, что вспомнила, написала Пастернаку[4], а Вам пишу следующее:

Вспомните полностью, т. е. создавайте заново и напишите. (Жгут фуги это была я, измененный угол зрения — Пастернак.) Напишите о нем и мне — *от лица Музыки*, как никто еще не писал. Угол зрения — угол слуха, со зрительного на слуховое.

Просьба не странная, мне до страсти хочется, чтобы лучшее, сказанное о Пастернаке, шло отсюда. Снятый рубеж. А почему о нем и мне? Потому что все это делают, и письменно и устно, и делают *не так*. Родство и рознь. Берут какое-то соседство, не оправдывая, не подтверждая. Устанавливают факт. Любопытны — истоки.

Этой статьи я хочу и для Пастернака, и для себя, и *для Вас*. Я хочу, чтобы лучшее, сказанное о Пастернаке и мне, было сказано Вами, музыкантом: Музыкой[5]. Вы замечательно пишете, ненавидя статьи полюбила Вас за статью о Блоке[6].

---

* Это он о меня касающемся. (*Прим. М. Цветаевой.*)

И еще: мне важно снять с Пастернака тяжесть, наваленную на него Мирским. Его там — за бессмертие души — едят, а здесь в нем это первенство души оспаривают. Делают из него *мастера* слов, когда он — ш а х т е р — души.

«С заскорузлой от музыки коркой
На поденной душе»...[7]

(Из его отроческой книги)

(Статьи Св<ятополк->М<ирского> сейчас подробно не помню. Загвоздка в противопоставлении моего платонизма его — не знаю чему.)

---

Кончаю небольшую поэму, разномастную и разношерстную[8] Приедете — прочту. (Приедете ведь?)

Откармливаю С<ергея> Я<ковлевича>, которого Вы обратили в скелета. Заездили коня — версты[9]!

Прочла «Вольницу» Артема Веселого.— Жизнь во всей ее силе.— Прочла письмо Ремизова к Розанову, которое, не сомневаюсь, прочел и Розанов[10]. Порукой — конец.

Две недели сряду читала Письма Императрицы[11], и две недели сряду, под их влиянием (в ушах навязло!) писала ужасающие.

---

Пейзаж напоминает Мирского — ровно. Я больше люблю горы.

---

Устрашающие ветра. Сегодня на рынок шла вавилонами как пьяный. Море грязно-бурое, ни одного паруса.

---

Едим крабов и паучих (спрутов). Пьем вино из собственной бочки, которая стоит в жерле камина. Хозяину и хозяйке двести лет, вину — три месяца.

До свидания, если серьезно хотите приехать, все удостоверю и напишу. Мне только нужно, когда и на какой срок.

Привет Вам и Вере Александровне.

МЦ.

---

Письмо написано из маленькой деревушки Сен Жиль, расположенной на берегу океана (департамент Вандея), куда Цветаева с детьми приехала 24 апреля и где пробыла до октября. В конце мая к семье присоединился С. Эфрон, а чета Сувчинских побывала в Сен Жиле в июле.

[1] Рецензия на поэму Цветаевой «Молодец» («Современные записки», 1926, № 27), в которой Святополк-Мирский говорил о творческом росте М. Цветаевой и Б. Пастернака.

[2] Святополк-Мирский писал: «Пастернак зрителен и вещественен. Его поэзия — овладевание миром посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, *обнимать* вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. Он „наивный реалист"» («Современные записки», 1926, № 27, стр. 570).

[3] Несколько измененная цитата из письма Б. Пастернака М. Цветаевой от 23 мая 1926 г. (см.: «Переписка Бориса Пастернака». М. 1990, стр. 344).

[4] Этого письма Цветаевой Пастернаку в их опубликованной переписке нет.

[5] Об отношении Сувчинского к поэзии Пастернака в ту пору см. введение Вадима Козового к публикации «Из переписки Б. Пастернака и П. Сувчинского» («Revue des études slaves», Paris, LVIII, 1986, 4, p. 638—639). Короткий текст о Пастернаке был написан Сувчинским лишь три десятилетия спустя (хранится в его архиве).

О поэзии *через музыку* сама Цветаева высказалась в письме от 9 июня 1923 г. к А. В. Бахраху (текст, записанный Цветаевой в тетрадь и отличающийся от текста отправленного письма). На слова Бахраха о сборнике Цветаевой «Ремесло» (рецензия «Поэзия ритмов».— «Дни», Берлин, 1923, 8 апреля, стр. 19): «В «Ремесле» предел былых устремлений. Так дальше нет пути. Дальнейшее шествование этим путем — шествование к пропасти, в бездну; в сторону от поэзии к чистой музыке...»,— Цветаева отвечает: «„Куда дальше? В Музыку, т. е. в конец?!" Верю, что Вы искренне в тот час задумались, потому отвечаю: нет! Из Лирики (почти музыки) — в Эпос. Флейта, дав максимум, должна замолчать. <...> Это разряжение го́лоса — в голосах, единого — в множествах. Чем на тысячу голосов выражать одну свою душу, я буду одним голосом выражать тысячу чужих, из которых каждая — тоже одна! То, чего не может один, могут — в одном — многие. Единство множества. Оркестр — тоже единство» («Новый мир», 1969, № 4, стр. 192).

[6] Имеется в виду либо предисловие П. Сувчинского к поэме «Двенадцать», вышедшей в 1921 г. в «Российско-болгарском издательстве» (София), либо скорее всего его статья «Типы творчества (памяти Блока)»: «На путях. Утверждение евразийцев». Книга вторая. М.— Берлин. «Геликон». 1922, стр. 147—176.

[7] Неточно цитируемые строки из стихотворения Пастернака «Скрипка Паганини» (сб. «Поверх барьеров», 1917). У Пастернака: «С загрубевшей от музыки коркой...»

[8] Поэма «Попытка комнаты», завершенная 6 июня 1926 г. Опубликована в «Воле России», 1928, № 3. Несколько позже Цветаева переписала для Сувчинского эту поэму, сопроводив ее надписью: «Дорогому Петру Петровичу Сувчинскому — на память о сэн-жильском лежании — ежевике, осле, -ì-à,— многом, бывшем и не бывшем. МЦ. St. Gilles-sur-Vie, 25-го августа 1926 г.».

[9] В письме к В. Ф. Булгакову от 8 июня 1926 г. С. Эфрон писал: «Я в St. Gilles! Впервые за восемь лет по-старорежимному отдыхаю. До сих пор удивляюсь, как удалось мне вырваться из Парижа. Мои «Версты» уподобились клейкой бумаге, а я мухе: одну ногу вытяну — другие увязнут...» (ЦГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 1253, л. 9).

[10] Вещи, опубликованные в № 1 «Верст». Текст Ремизова «Воистину» был написан к 70-й годовщине со дня рождения В. В. Розанова, в форме письма к нему.

[11] «Письма императрицы Александры Федоровны». В двух томах. Берлин. «Слово». 1924.

## 8. П. П. Сувчинскому

<начало июля 1926>[1]

А подарок из немецкого магазина,— а? Версты чудесны[2]. Вы не ответили мне на письмо, поэтому мне неприлично писать Вам дольше, хотя и есть что́!

Напишите когда приезжаете — встретим.

До свидания, мой миленькой (влияние Аввакума[3]). Привет Вере Алекс<андровне>, пусть везет пестрый купальный костюм, здесь всё мужские и траурные.

МЦ.

Ждём 10 экз<емпляров> «Верст», которые нам необходимы.

---

Приписка к письму С. Эфрона, в котором он делится впечатлениями от только что вышедшего первого номера «Верст».

[1] Датируется по содержанию: после выхода «Верст» и до приезда Сувчинских в Сен Жиль.

[2] Выпуск первого номера журнала несколько задержался из-за забастовки в типографии (письмо С. Эфрона Сувчинскому, без даты; архив П. П. Сувчинского). 10 июля Цветаева сообщала Пастернаку: «Версты вышли <...>. Наши портреты на одной странице» («Переписка Бориса Пастернака», стр. 383). А 12 июля в письме Е. Л. Недзельскому С. Эфрон писал: «„Версты" вышли! У меня пока один экземпляр <...> думаю, появление такого журнала в эмиграции — событие немаловажное» («Новый журнал», 1991, № 183, стр. 212).

[3] В первом номере «Верст» было опубликовано «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

## 9. П. П. Сувчинскому

<Сен Жиль, лето 1926 г.>[1]

*Единолично*

Всего несколько слов. Спешу.

Жестокость, беспощадность, отметание, отрясание,— все это *ведущий*. Я не ведо́мый[2]. Оттого не сошлось. (Не ведо́мый, т. е. безвопросный, неспрашивающий.) Единственный вопрос, лбом в ствол (или в грудь): — Плохо? — Да.— Есть лучше? — Есть.— Давай расскажу. И рассказываю — дереву — Волконскому — школьнику — Тезею[3] — его же. Обмен сиротств. Вот моя дружба с природой.

Мне *плохо* жить, несвойственно, непривычно, от главных человеческих радостей — тоска. Как не люблю моря — не люблю любви, хотя всегда пытаюсь полюбить, поверить (поэтам!) на́ слово. Ничего победоносного во мне. Полная беззащитность. Открытость раны.

Никакого мировоззрения — созерцания. Миро-слушанье, слышанье, ряд отдельных звуков. Может быть свяжутся! Не здесь.

---

О Вас. Вы старше меня, богаче меня, счастливее. Вообще, у Вас почти что нет ровни. Умственно — может быть, душевно — может быть, вместе: голова к груди — нет. С знающими Вам скучно, с чующими — глупо. Вам со мной глупо.

---

Часто во время прогулки мне хотелось идти с Вами. Вообще: то, что Вы здесь видели и вообще будете видеть — не я.

Denn dort bin ich gelogen wo ich gebogen bin*[4].

Я буду по Вас скучать.

МЦ.

Глядя Вам вслед — как с корабля, где не наша воля:

— Вот остров, который я миновала. Может быть — тот, где...

---

Встреться мы раньше или позже — во всяком случае *иначе* — но эту песенку Вы знаете.

---

Листка не храните.

---

[1] Датируется по содержанию. Вероятно, написано сразу после посещения Сувчинским Сен Жиля.

[2] Ср. письмо 4.

[3] См. прим. 4 к письму 10 и прим. 9 к письму 11.

[4] Цитата из первой части («О монашеском житии») книги «Часослов» Р. М. Рильке. Эту цитату Цветаева приводила раньше в письме к Ариадне Черновой от 8 января 1925 г. (М. Цветаева, «Неизданные письма», стр. 113).

### 10. П. П. Сувчинскому

<Сен Жиль, 3 сентября 1926 г.>[1]

Дорогой Петр Петрович, от Сережиного отъезда[2] отчасти завишу и я,— поэтому очень прошу Вас, устройте то, о чем он Вас просил (Префектура — чиновник — зачисление в международный союз журналистов — через Познера[3]). В три дня ему одному этого ни за что не одолеть и пражская встреча провалится. Пишу en connaissance de cause**. Нынче 3-ье, время у Вас еще есть. Устрашена, в Вашей закрытке, вопросом: «А как же Вы?»

— Договорились ли с Мирским насчет Тезея[4]? С<ережа> привезет в Париж. Переписала больше половины, когда кончу — напишу Вам. Дайте свой венский ад<рес>.

Сердечный привет Вам и В<ере> А<лександровне>.

МЦ.

— Ваше письмо дошло всячески.

---

[1] Датируется по содержанию. Написано в продолжение письма С. Я. Эфрона П. П. Сувчинскому.

[2] С. Эфрон собирался в Париж и Прагу. В июне Цветаева получила от Валентина Федоровича Булгакова (1886—1966), бывшего в то время председателем Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, извещение о прекращении выплаты ей чешскими властями пособия, если она не вернется в Чехию. По этому поводу С. Я. Эфрон писал В. Ф. Булгакову: «Ваше письмо уподобилось грому среди ясного неба. Положение наше таково. Мы — понадеявшись на чешское <...> полуобещание, ухлопали все деньги, заработанные в Париже, на съемку помещения в Вандее, заплатив до середины октября. Собирались жить на Маринину литературную стипендию. Мое *Верстовое* жалованье в счет не идет, ибо получаю с №, а не помесячно, и гроши (давно уже проедены). И вот теперь, без предупреждения, этот страшный (не преувеличиваю) для нас материальный, а следовательно и всякий иной, удар» (ЦГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 1253, л. 12—13).

---

* Ибо где я согнут — я солган *(нем., пер. М. Цветаевой)*.

** Со знанием дела (*фр.*).

В сентябре С. Эфрон съездил на несколько дней в Прагу. Тогда же, не без помощи Булгакова, была решена проблема с выплатой Цветаевой стипендии.

[3] Познер Соломон Владимирович (1880—1946) — журналист (был эмигрантом еще до переворота 1917 года), секретарь Союза русских журналистов в Париже. Через его посредство Цветаева получала иногда денежную помощь, оказывавшуюся писателям.

[4] Драма «Тезей» (впоследствии «Ариадна»), написанная Цветаевой еще в Чехии и заново переписанная в Сен Жиле, была напечатана в «Верстах», № 2.

## 11. П. П. Сувчинскому

St. Gilles, 4-го сентября 1926 г

Дорогой Петр Петрович,

Письмо дошло, по этому руслу отвечу позже.

Сейчас целиком (не я, время мое) поглощена перепиской Тезея, особенно трудностями начертания некоторых мест (ударения, паузы). Будь Вы здесь, Вы бы мне всё объяснили. Не зная теории, иду по слуху, не зная чужого — иду по собственному, не знаю куда иду (веду).

Смотрите: 1) Спит, скрытую истину
Пóзнáвшая — душ[1].

2) Спи́т скры́тую истину
Пóзнавшáя душ

— разное ведь? —

Мне нужно второе, вторым написано. Т. е. ударяются равнó первый и второй слоги, от равной ударяемости, в промежутке, естественно, пауза. Другой пример:

Ветвь, влагой несомая,
Страсть, чти ее — спит

и

Вéтвь, влáгой несомая
Стрáсть, чти́ ее — спит NB! то, что мне нужно

Мне нужен звук молота в первом слоге, тяжелое падение слога. Но печатать всё с ударениями — невозможно. Ограничиваюсь пометкой: «ударяются первый и второй слоги» и в словах многосложных — тире. Пример:

Те — ла насыщаемы,
Бес — смертна алчба...

Пока добралась в чем дело, переписывала (переначертывала ибо печатные, вот такие, буквы) страницу по три раза. Весь Тезей — 64 стр<аницы> (писчей бумаги, больш<ого> формата).— Задача!

Много поправок (смысловых и словесных) возникают прямо под рукой. Никакая машинка не заменит! Я — рука — бумага. Я — рука — машинка — бумага. Насколько утяжелена инстанция передачи.

Тезей мне, в конечном счете, нравится. Нравится, что справилась. Есть вещи — услада сердцу (Поэмы горы, конца), есть — задача... голове в первую голову. Трудней всего фабула, т. е. постепенность событий. На нее и льщусь.

---

Вы большой умник. Помните, весной кажется, Вы мне сказали: «Теперь Вам уже не захочется... не сможется писать отдельных стихов, а?» Тогда удивилась, сейчас — сбылось. Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге — столько взрывов, пожаров, обвалов: пустырей. Лирическое стихотворение — катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая самораправа. Лирикой — утешаться! *Отравляться* лирикой — как водой (чистейшей), которой не напился, хлебом — не наелся, ртом — не нацеловался и т. д.

В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, от дня ко дню крепчающая и весчающая. Одна — здесь — жизнь, другая — там (в тетради). И посмотрим еще какая сильней!

<На полях против этого и предыдущего абзацев:> О письме не упоминайте[2].

Из лирического стихотворения я выхожу разбитой.

Да! Еще! Лирика (отдельные стихи) вздох, мечта о том, как бы (жил), большая вещь — та жизнь, осуществленная, или — в начале осуществления.

— Согласны ли Вы со мной? (Наспорившись, хочу общности.)

---

О нашей жизни здесь. Все были больны, кроме меня.— С<ережа>, Аля[3], Мур[4] (животная грызть). Шло непрерывное варение каш: всем разных. Теперь С<ережа> и Аля обошлись, Мур еще на диэте, отощал и погрустнел.

Приехали дети. А<нны> И<льиничны>[5] — трое с еще ее родственницей. Живут все у А<лександры> З<ахаровны>[6]. Купаемся. У осла не были. Ежевику ели — ртом с кустов — раз. Варим варенье и жалеем, что не догадались раньше, в ваше пребывание. Это бы усластило память.

Много раз мысленно начинала Вам письмо, удерживала — от написания — воспитанность: кодекс расставаний, требующий первенства от отъезжающего. Это письмо — не в счет, по другому руслу. Настоящее напишу позже, если дадите свой венский адрес. Хочу — в нем — рассказать Вам, как я с Вами познакомилась. Вы об этом не знали, я об этом — до кануна Вашего отъезда — начисто *забыла*. Теперь — вспомнила. Мне только нужна уверенность в единоличности.— Вот.—

Знайте, что Вы мне сейчас — родной.

МЦ.

Да! Найдите мне в Вене[7] *Stoll* — Мифы (Mythen или Griechische Mythologie, очень известная книга)[8] и подарите, непременно с надписью. Хочу, пока еще здесь, начать II ч<асть> Тезея — Федру[9]. Вышлите в St. Gilles из Вены. Эта книга была у меня в России, только, если можно, не избранные мифы, а полностью. Хотите, в благодарность перепишу «С моря»[10]?

Книга, м<ожет> б<ыть>, для юношества — ничего. Возьмите *самую полную*.

---

[1] Цитата, как и две последующие,— из картины четвертой «Наксос» трагедии «Тезей».

[2] Вероятно, письмо 9.

[3] Эфрон Ариадна Сергеевна (1912—1975) — дочь Цветаевой.

[4] Эфрон Георгий (1925—1941) — сын Цветаевой. Мур — его домашнее имя. О его судьбе, как и о судьбе Ариадны Эфрон, подробно см.: Мария Белкина. «Скрещение судеб». М. 1988.

[5] Андреева (урожд. Денисевич) Анна Ильинична (1883—1948) — вторая жена писателя Л. Н. Андреева (1871—1919). Цветаева познакомилась и подружилась с ней в Чехии. В 1934 г. Цветаева назвала имя Андреевой, вместе с А. Тесковой и Б. Пастернаком, в числе тех, кто «помогал жить» ей (М. Цветаева, «Письма к Анне Тесковой», стр. 116).

Дети Андреевой — Вера, Валентин и Савва.

Родственница — тетя Наташа, жена брата Л. Н. Андреева, Всеволода.

Подробно о пребывании Андреевых в Сен Жиле летом 1926 г. см.: В. Андреева. «Эхо прошедшего». М. 1986, стр. 300—307.

[6] Туржанская Александра Захаровна (ум. в 1974 г.) — актриса, жена кинорежиссера Н. Туржанского. Цветаева и Туржанская познакомились в Чехословакии и вскоре подружились. Туржанская, разошедшаяся с мужем и жившая с сыном Олегом (Леликом), сопутствовала цветаевскому семейству все эмигрантские годы, вплоть до отъезда Цветаевой из Парижа летом 1939 г., помогая по уходу за детьми и хозяйству. Александра Захаровна дежурила у постели Цветаевой при родах сына, выхаживала младенца, которого потом крестила. В дневниковых записях Цветаевой времени рождения сына Туржанская не раз поминается благодарственным словом: «<...> К ней другие ходили за пирогами, я — за тайной — всего ее непонятно, неправдоподобно-простого существа и с самотайной — себя. <...> Верьте вяжущим вам фуфайки и няньчащим ваших детей! Эти за вас — в огонь пойдут» (А. Эфрон, «О Марине Цветаевой», стр. 220—221).

[7] Сувчинский собирался в Вену на съезд руководителей евразийского движения.

[8] Цветаева имеет в виду «Мифы классический древности» немецкого писателя Г. В. Штолля (1818—1890). Впервые изданная в Германии в 1862 г., эта книга затем неоднократно печаталась и в русском переводе. Однако для работы над продолжением «Тезея» Цветаева использовала книгу немецкого писателя-романтика Густава Шваба (1792—1850) «Прекраснейшие сказания классической древности» (1838—1840 гг., русский перевод — в 1912—1914 гг.). У Цветаевой было немецкое издание; в эти же дни (16 сентября 1926 г.) она просила В. Сосинского разыскать его среди ее книг: «Примета: мое имя — Прага — пометка: книга на всю жизнь» (М. Цветаева, «Неизданные письма»,

стр. 231). В письме к Ю. П. Иваску от 4 апреля 1933 г. Цветаева отмечала: «Источники моей Федры и вообще всей моей мифики — немецкий пересказ мифов для юношества Густава Шваба» («Русский литературный архив». Нью-Йорк. 1956, стр. 209).

[9] «Федра», вторая часть трилогии «Тезей» (первоначальное название «Гнев Афродиты»), была задумана Цветаевой еще в 1923 г., во время работы над первой частью. Наброски, планы, записи к «Тезею» («Ариадна») перемежаются в черновой тетради выписками, относящимися к «Федре». После того как рукопись «Тезея» была отправлена в печать, Цветаева вновь, спустя почти три года, обращается к «Федре». В первой половине сентября она создает план будущей драмы. Работая над «Федрой» с перерывами, Цветаева в конце 1927 г. оканчивает работу. Последние исправления в «Федру» были внесены в июне 1928 г., перед сдачей рукописи в набор (см.: М. Цветаева. «Театр» М 1988, стр. 375—379).

[10] Поэма «С моря» (май 1926 г.). Опубликована в «Верстах», 1928, № 3

## 12. В. А. Сувчинской

St Gilles-sur-Vie, 6-го сентября 1926 г

Добрый вечер, дорогая Вера Александровна[1]!

Пишу Вам после ужина, в тот час, когда Вы с Петром Петровичем приходили, посему — обычное приветствие. (Только сейчас поняла, что Вы, непривычная к моей руке, еще ни одной буквы не поняли, и первую — р например, или ъ поймете только в конце).

Сначала о Муре, верней о Мурах — Вашем и моем. Ваш чудесен, лучше, т. е. четче нельзя. Вышла даже дырка на штанишках. Лучшее Му́рино или как говорит С<ережа> — мури́ное — изображение. Нежное спасибо Вам: океанский, вернее сахарский Мур увековечен[2].

Теперь о моем: мой, в данный час, неудачней вашего. Вот уже две недели на диэте, желудок не налаживается, похудел. Чудный живот спал, становится, к моему огорчению (о Муре говорю), просто хорошоглядящим ребенком. Мне этого мало. Говорит: Лель (Лелик)[3], Аля и дядя, совсем отчетливо. Громко и многоречиво ругается (в маленьком садике) на прохожих. В 5 ч. (после моря) перестал спать, два дня сряду дико баловался, пришлось прекратить. Мой «писательский» час еще урезался. Либо мо́ю посуду — Аля с Муром, либо Аля — посуду, я с Муром

С<ережа> и Аля (животы) наладились, С<ережа> очень похудел. В данный час терзается угрозой хозяйки потянуть нас к мировому за стирку (фактически: ополаскиванье двух детских штанов) в комнате. Когда я ей кротко возразила, что ополоснуть не есть стирать, она послала меня: «dans le derrière du chien voir si j'y suis»*, на что получила созерцательное: «Vous y êtes sûrement»** Грозится жандармами и выселением. Целые дни шепчется с разными дамами и куаффами, носится по городу, шепча и клевеща. Ваша хозяйка очевидно, будет лжесвидетельницей.

Боюсь себя на суде 1) юмора 2) откровенности и — чтобы не насчитывать — общего *подъема* далеко́ заводящего!

Как пример: Лелика, спокойно сидевшего с Алей на приступе́ньке за книжкой, выгнала из сада с воплями: «Assez d'étrangers dans mon jardin!»***, на что Аля потом целый день пела (напев «Il était une bergère») — «Il était une Madame — ron ron, ron ron, petit patapon — il était une Madame — qui gardait son jardin comme un chien,

qui gardait son jardin comme un chien»****.

---

Погода разная. Еще купаемся. Андреевские дети на суше великаны, в воде тритоны[4]. Я в жизни не видала такого купанья. Вода для них воздух,— проще

---

* В задницу собаки, чтобы проверить, не там ли я (*фр.*).

** Вы сами, конечно, там (*фр.*).

*** Мне надоели чужие в саду! (*Фр.*)

**** Жила-была пастушка. Жила-была мадам — рон рон, рон рон, маленький патапон — жила-была мадам — которая охраняла свой сад как пес, которая охраняла свой сад как пес. (*Фр.*)

воздуха. Выйдя на́ берег перешвыриваются — как фокусники шарами — целыми глыбами. Все трое черные, все трое огромные (крохотный — куда меньше Али — 14-летний младший внезапно, в 4 месяца, вырос с Сережу), все трое ловкие. Таких здесь нет, да и нигде нет.

5-го (вчера) был день Алиного тринадцатилетия (праздновали по новому, по настоящему 5/18-го), жалела — да все жалели — что вас обоих нет: были чудные пироги: капустный и яблочный, непомерная дыня и глинтвейн. Аля получила ко дню рождения: зубную щетку и пасту (ее личное желание), красную вязаную куртку — очаровательную,— тетради для рисованья, синие ленты в косы и две книги сказок: Гримма (увы, по франц<узски>!) и — полные — Перро, с пресловутыми moralités. Лелик поднес ей огромный букет (шел озабоченный и сияющий, как жених) и — оцените! — склянку кюрасо, которого Аля не стала пить, потому что «крепко и жжется». Была у нас и бедная (т. е. мне ее жалко) родственница А<нны> И<льиничны>[5] — немножко отойти от своих великанят — пасет их целые сутки.

Сейчас иду к А<лександре> З<ахаровне>[6] — уезжает послезавтра в Париж. И С<ережа> наверное скоро. С ужасом думаю о предстоящем мне единоличном сожительстве с бесовкой (хозяйкой) — и о всех мебелях, которые придется покупать. Не весь ли дом перестраивать? Скажет — отсырили (Муркиными штанами) стену. Может быть окажусь в тюрьме. На этом прискорбном предположении кончаю.

Целую Вас, дорогая Вера Александровна, сердечный привет П<етру> П<етровичу>. Переписку Тезея кончила.

МЦ.

<Приписка на полях:>

Это письмо написано, как Вы любите: не опоминаясь.

Напомните П<етру> П<етровичу> *Вена* Stoll, Griechische Mythologie, *он знает*[7] (из области розовых фартуков: Vortuch*).

---

[1] Сувчинская Вера Александровна, урожденная Гучкова (1906—1986), — дочь А. И. Гучкова, общественного деятеля, первого военного и морского министра Временного правительства. П. П. Сувчинский женился на ней в ноябре 1925 г. (вскоре после развода с А. Д. Поповой). В эмигрантской среде выделялась своеобразными, порой эпатирующими суждениями. С начала 30-х гг., после развода с Сувчинским, ее взгляды становятся все более просоветскими и прокоммунистическими. В 1936—1937 гг. вместе с С. Я. Эфроном и К. Б. Родзевичем (тоже бывшим евразийцем, героем цветаевских «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца») занималась отправкой в Испанию добровольцев, в основном русских эмигрантов, возможно, участвовала и в другой «нелегальщине» под контролем НКВД (см. о ней в этой связи: Alain Brossat. «Agents de Moscou». Paris. Gallimard. 1988, p. 216—231; Peter Huber. «Der Mord an Ignaz Reiss 1937 bei Lausanne...». «Revue suisse d'histoire». Basel. 1990. Vol. 40, p. 396—397). Последнее, впрочем, резко впоследствии отрицала.

Вторым браком Вера Гучкова была замужем за шотландцем Робертом Трейлом, славистом, одно время работавшим в Москве (он был коммунистом; в июле 1937 г. погиб, сражаясь в Испании).

Судя по письму А. С. Эфрон в Военную прокуратуру СССР (см.: «Горизонт», 1992, № 1, стр. 53; это письмо с просьбой о реабилитации отца написано в июне 1955 г.), Вера Александровна была знакома с С. Я. Эфроном «приблизительно с 1924 г., а м<ожет> б<ыть>, и ранее». В те же годы, вероятно, произошло и ее знакомство с Цветаевой, однако близких отношений между ними не было. В 30-е гг. Вера Трейл была дружна с Ариадной Эфрон.

[2] Речь идет, по-видимому, о фотографиях Мура, сделанных В. А. Сувчинской во время ее пребывания в Сен Жиле в июле.

[3] Сын А. З. Туржанской.

[4] См. письмо 11 и прим. 5 к нему.

[5] См. там же.

[6] А. З. Туржанская.

[7] Цветаева просит напомнить Сувчинскому о своей просьбе купить ей книгу Штолля (см. прим. 8 к предыдущему письму).

---

* Фартук (*нем.*).

## 13. В. А. Сувчинской

Дорогая Вера Александровна,

Недавно приехала[1] и очень рада буду Вас повидать. Лучше — в 6 ч<асов> вечера, когда дневные заботы, частью, сброшены.

Из Кламара доезжаете до Bellevue. 31, Boulevard Verd. От вокзала три минуты ходу.

Увидите и услышите (крик ослика и т. д.) Мура.

Итак, жду.

МЦ.

Bellevue, 7-го окт<ября> 1926 г.

— Дом большой, с башенкой, в саду. Старая железная решетка, в ней калитка[2].

---

[1] Цветаева покинула Сен Жиль 2 октября и поселилась в пригороде Парижа Бельвю.

[2] В письме к А. Тесковой от 24 сентября 1926 г. Цветаева писала о своем новом жилище: «О нас всех: квартира снята,— в 15 мин<утах> поездом от Парижа. Meudon. Лес. Отдельно садик для Мура. Жить мы будем с одной вшенорской семьей, дом пополам*. Так легче» (М. Цветаева, «Письма к Анне Тесковой», стр. 44).

## 14. П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину

Bellevue, 9-го марта 1927 г.

Многоуважаемые Петр Петрович и Лев Платонович[1],

Только что прочла Ответ Вишняку[2], подписанный вами обоими, и тут же, под ударом, не дождавшись Сережиного возвращения, пишу вам.

«Среди ближайших сотрудников в редакции Верст есть евреи...» Тут кончается ваше письмо и начинается мое.

Когда редактора — счетом три и имена их: Сувчинский, Святополк-Мирский и Эфрон, ссылка на редакторов-евреев естественно относится к последнему. Итак:

Сергей Яковлевич Эфрон

— довожу до вашего сведения —

Сергей Яковлевич Эфрон родился в Москве[3], в собственном доме Дурново, Гагаринский пер<еулок> (приход Власия).

Отец — Яков Константинович Эфрон, православный, в молодости народоволец[4].

Мать — Елисавета Петровна Дурново[5].

Дед — Петр Аполлонович Дурново, в молодости гвардейский офицер, изображенный с Государем Николаем I, Наследником Цесаревичем и еще двумя офицерами (один из них — Ланской[6]) на именной гравюре, целой и поныне. В старости — церковный староста церкви Власия.

Мой муж — его единственный внук[7].

Детство: русская няня, дворянский дом, обрядность[8].

Отрочество: московская гимназия, русская среда.

Юность: женитьба на мне, университет, военная служба, Октябрь, Добровольчество.

Ныне — евразийство[9].

---

Если сына русской матери и православных родителей, *рожденного* в православии, звать е в р е е м — 1) то чего же сто́ят и русская мать и православие? 2) — то как же мы назовем сына еврейских родителей, рожденного в еврействе — т о ж е евреем?

Ходасевич, говорящий об одном из редакторов, носящем фамилию Эфрон, был... точнее.

Делая С<ергея> Я<ковлевича> евреем, вы оба должны сделать Сувчинского — поляком[10], Ходасевича — поляком[11], Блока — немцем (Магдебург)[12], Бальмонта — шотландцем[13], и т. д.

---

* Цветаева сняла дом вместе с А. З. Туржанской.

Вы последовали здесь *букве*, буквам, слагающим фамилию Эфрон,— и последовали чисто-полемически, т. е. НЕЧИСТО — ибо с м е ю с ь при мысли, что вы всерьез — хотя бы на одну минуту — могли счесть С<ергея> Я<ковлевича> за еврея.

Вы — полемические побуждения в сторону — оказались щепетильнее московской полиции, на обязанности которой лежала проверка русского происхождения всякого юноши, поступавшего в военное училище,— и таковое происхождение — иначе и быть не могло — за С<ергеем> Я<ковлевичем>— признавшей.

Делая С<ергея> Я<ковлевича> евреем, вы 1) вычеркиваете м а т ь 2) вычеркиваете р о ж д е н н о с т ь в п р а в о с л а в и и 3) я з ы к, к у л ь т у р у, с р е д у 4) с а м о с о з н а н и е ч е л о в е к а и 5) ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА.

Кровь, пролившаяся за Россию, в данном случае была р у с с к а я кровь и пролита была за с в о е.

Делая С<ергея> Я<ковлевича> евреем, вы делаете его ответственным за народ, к которому он *внешне* — частично, *внутренно* же — совсем непричастен, во всяком случае — куда меньше, чем я!

---

Наднациональное ни при чем, с какой-то точки зрения и Heine и Пастернак не евреи, но не с какой-то, а с самой национальной точки зрения и чувствования — вы неправы

*и н е в п р а в е.*

Говорите в своих статьях о помесях, о прикровях, и т. д., ссылаться на еврейство «одного из редакторов» я воспрещаю[14].

Марина Цветаева

P. S. Евреев я люблю больше русских и может быть очень счастлива была бы быть замужем за евреем, но — что делать — не пришлось.

---

[1] К а р с а в и н Лев Платонович (1882—1952) — русский историк, философ, богослов. Хотя одно время Карсавин много печатался в разных евразийских изданиях, однако от предложения Сувчинского участвовать в «Верстах», журнале не вполне евразийском, сперва хотел отказаться. Все же во втором номере «Верст» появилась его статья «Без догмата», а в третьем — работа, связанная тематически с публикуемым письмом Цветаевой и его контекстом: «Россия и Евреи» (там же — ответ на нее А. З. Штейнберга и его же статья «Достоевский и еврейство», опубликованная по просьбе Карсавина). Он, в частности, пишет: «Конечно, необходимо покончить с глупою сказкою (или с новым «кровавым наветом» — все меняет свои формы, даже клевета), будто евреи выдумали и осуществили русскую революцию. Надо быть очень необразованным исторически человеком и слишком презирать русский народ, чтобы думать, будто евреи могли разрушить русское государство. <...> Но денационализированные евреи участвовали в русской революции, и участвовали в ней в силу самой природы их. Они стали отходить от нее (в лице оппозиции в обоих ее флангах) лишь теперь, вместе с переходом ее к национальной фазе» («Версты», 1927, № 2, стр. 72). Автор различает безрелигиозную «периферию» и «ядро еврейского народа», которое, собственно, и есть народ, призванный стать «равноправным членом евразийской федерации». (См. также ценные воспоминания о Карсавине: А. Штейнберг. «Друзья моих ранних лет». Париж. «Синтаксис». 1991, стр. 193—217.)

Причиною первоначального неприятия Карсавиным задуманного журнала было его отношение к предполагавшимся главным сотрудникам, в том числе и к Цветаевой. 10 марта 1926 г. он писал из Берлина Сувчинскому: «У меня, к несчастью, плохо происходит в сознании различение между человеком и писателем. Цветаеву совсем себе не представляю, но Марина Ефрон мне совсем не нравится. Цветаева это что-то распущенное, но еще дебелое мещанское; герань не герань, а какой-то цветочек с фуксином; Ефрон же вовсе плох» (архив П. П. Сувчинского). Резко отзывается он и о Ремизове в связи с его переложениями русских народных сказок («претенциозная бездарь»), и о Шестове (повторяется чья-то острота: «Пять дураков слушают Шестова»).

Во Франции, когда С. Я. Эфрон стал играть заметную роль в евразийском «кламарском кружке», Цветаева и Карсавин нередко встречались. Их отношения, по ряду свидетельств, отличались взаимной корректностью; по другим свидетельствам, Цветаева Карсавина побаивалась. Кроме того, она, по-видимому, ценила его сердечное расположение к мужу. Семьи Карсавина и Цветаевой отдыхали по соседству в Понтайяке летом 1928 г. Именно через Карсавина, а затем, после его отъезда, через его семью, на четыре года задержавшуюся во Франции, А. А. Тескова пересылала из Праги Цветаевой денежную помощь (посредник, кажется, добавлял к этому кое-что от себя). Уезжая в Литву, Карсавин подарил Цветаевой огромный стол, о чем она вспоминала впоследствии добрым словом.

[2] Вишняк Марк Вениаминович (1883—1975) — общественный и политический деятель, публицист, неизменный редактор «Современных записок». Текст ответа ему Карсавина и Сувчинского обнаружить не удалось. Зато контекст его написания восстановить нетрудно.

В № 29 «Современных записок» за 1926 г. (стр. 432—441) появилась едкая и свирепая рецензия В. Ходасевича на № 1 «Верст». Обвинялся журнал в пробольшевистском направлении, причем больше всего досталось Д. П. Святополк-Мирскому, по мнению критика, его «главному хозяину и дирижеру». Помянута была и статья Сувчинского «Два Ренессанса», где он, в частности, писал: «Большевики сдвинули со своих мест тысячи оседлых людей. Наново развивается социальная подвижность, специфически русское *континентальное кочевничество* и страсть к социальному делу. Из рук революционеров-спецов это дело постепенно отнимается. По сравнению с оживающей многосложностью жизни — бессильно элементарное доктринерство коммунизма». И дальше: «В каких-то новых большевицких людях тяга к социальному делу и жизненной подвижности проснулась с необычайной силой...» («Версты», 1926, № 1, стр. 141, 142). «Мы знаем, кто эти «какие-то новые большевицкие люди»,— возражал Ходасевич.— Это нэпманы всех мастей и профессий, начиная от бывших рабочих и кончая публицистами, люди с Лениным на языке и с аршином в кармане, одинаково «нажившие» все «идеализмы»: это — смесь че-ка и охранки, партийного клуба и дубровинской чайной, черно-красная сотня, краса и гордость любой реакции. Кроме нее, сейчас «там» все придушено и задушено. Кремлевцы ошибочно считают ее надежным тормозом при их спуске от «мировой социалистической», Сувчинский (кажется — правильнее) ожидает, что «тяга к национальному делу» выльется у нее в славный еврейский погром». Эта фраза сопровождалась сноской: «Что не очень любезно в журнале, где один из редакторов — С. Я. Эфрон, а в числе сотрудников — Пастернак, Бабель, Л. И. Шестов и Артур Лурье».

18 декабря 1926 г. редакция «Верст» направила в редакцию «Современных записок» письмо: «Милостивые Государи! В № 29 «Современных записок» напечатана статья г. Ходасевича о «Верстах». Из общего тона этой статьи, а равно из ряда отдельных фраз и выражений <...> может создаться навязчивое подозрение, будто «Версты» не являются органом в общественно-политическом отношении независимым. Самым решительным образом протестуем против подобного рода недопустимых подозрений. <...> Сюда же мы относим и ничем не обоснованное желание г. Ходасевича усмотреть в статье «Два Ренессанса», помещенной в том же № 1 «Верст», погромный антисемитизм <...>». В ответе редакции «Современных записок» утверждалось, что она «никаких обвинений специфического, указываемого в письме, характера не поддерживала и не поддерживает». Оба письма были опубликованы в очередном, 30-м, номере «Современных записок», вышедшем в начале 1927 г. По свидетельству Вишняка, на этом конфликт между двумя редакциями завершился (см.: М. В. Вишняк. «Современные записки: воспоминания редактора». Indiana University Publications. 1957, стр. 143). «Ответ Вишняку», подписанный Карсавиным и Сувчинским, был, вероятно, попыткой продолжить полемику.

[3] С. Я. Эфрон родился 29 сентября 1893 г., крещен был 31 октября (по старому стилю) 1893 г. в московской Воскресенской, что в Барашах, церкви.

[4] Я. К. Эфрон (1854—1909). В выписке из копии метрической книги, свидетельствующей о рождении и крещении С. Я. Эфрона, в графе сведений о родителях значится: «Московской губернии, Подольской 2-й гильдии купец Яков Константинов Эфрон, реформатского исповедания, и законная жена Елисавета Петрова, православного исповедания» (частный архив, Москва). Я. К. Эфрон и Е. П. Дурново состояли членами народовольческой организации «Земля и воля», в 1879 г. примкнули к группе «Черный передел». Об их революционной деятельности см., напр.: А. Эфрон, «О Марине Цветаевой», стр. 43—44, 46—47 (глава «Ее муж, его семья»).

[5] Е. П. Дурново (1855—1910). Ее участие в народовольчестве нашло отражение в воспоминаниях Н. Морозова: «Повести моей жизни». М. Изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 1933, т. II, стр. 233—245 (глава «Лиза Дурново»); см. также очерк И. Жук-Жуковского «Елизавета Петровна Дурново-Эфрон» («Каторга и ссылка», М., 1929, № 12(61), стр. 145—163).

[6] Возможно, Ланской Павел Сергеевич (умер в 1853 г. в чине генерал-лейтенанта).

[7] Следует читать: «его единственный ныне живущий внук». У Сергея Яковлевича было четыре брата: Петр (1881—1914), Глеб (1891—1898), Константин (1895—1910) и Алексей (умер в младенческом возрасте).

[8] Об атмосфере, царившей в эфроновском доме, женитьбе С. Эфрона и др. см.: А. Эфрон, «О Марине Цветаевой», стр. 46—47, 50—51.

[9] О евразийстве и его эволюции в эту пору см. вступительную статью А. В. Соболева к публикации «Полюса евразийства» («Новый мир», 1991, № 1, стр. 180—182).

С. Я. Эфрон сочувствовал евразийскому движению еще в Чехословакии. В 1926—1929 гг. в Париже он стал заметной фигурой в движении (в 1928 г. вошел в редакционную коллегию газеты «Евразия»), что объяснялось не только его сближением с Сувчинским и Карсавиным. В эти годы социально-политическая проблематика и партийно-организационный активизм окончательно возобладали в евразийстве, отодвигая на задний план то, что, собственно, и составляло его исходную теоретическую базу и несомненную специ-

фику (определившуюся в период с 1920 по 1923 г. — в книге Н. С. Трубецкого «Европа и человечество», в сборниках «Исход к Востоку» и «На путях»,— а политически и исторически, по замечанию Д. П. Святополк-Мирского, отмеченную положением «по ту сторону правого и левого»). Свойственная движению изначально антиреставраторская позиция переходит теперь в попытки дифференциации «западнического» коммунизма и большевизма «русской стихии», тогда как в лево настроенной парижской («кламарской») группе, где активен был С. Эфрон, она все более явно окрашивается в просоветские тона. Именно этим поворотом к самостоятельности и независимости (на фоне чекистских провокаций, слухов о прямой вербовке и фактов, ее подтверждающих) объясняется отход от движения в 1928 г. Н. С. Трубецкого и П. Н. Савицкого, через год — П. П. Сувчинского и вскоре последовавшая его самоликвидация. Однако С. Я. Эфрон уже в 1926 г. был к такой потере вполне готов — после выхода первого номера «Верст» (см. письмо 8) он излагал Сувчинскому свою программу новой издательской деятельности на иностранных языках: «Не пресловутая наша пропаганда евразийства, а пропаганда евразийцами советского дела».

[10] П. П. Сувчинский был поляк по отцу, граф Шелига-Сувчинский.

[11] Дед Ходасевича по отцу был польским дворянином.

[12] Прадед Блока по отцу был уроженцем мекленбургских земель (Северная Германия).

[13] Предание о шотландском происхождении бытовало в семье Бальмонта.

[14] Д. П. Святополк-Мирский в письме к Сувчинскому от 17 марта 1927 г. так отозвался на «инцидент» с Цветаевой: «Марина полна неожиданностей, но я считаю, что Вы поступили нетактично, и защищать Вас перед ней не буду. Нашу батавскую слезку надо беречь, она разлетается от одного укола. Напомню Вам, что по поводу статьи Ходасевича Вы, в письме ко мне, в числе преступлений его сочли „указание на еврейское происхождение Эфрона"».

### 15. В. А. Сувчинской

Мёдон. 14-го ап<реля> 1927 г.

Дорогая Вера Александровна,

Спасибо от всего сердца Вам и Петру Петровичу за помощь и участие, и еще — Петру Петровичу отдельно — за безупречное поведение во время дивертисмента.

Хозяйка Студии (Бутковская[1]) неизвестно почему была в холодной ярости, кажется п<отому> ч<то> шипели на шуршавших бумагой.

Я так рада, что вечер кончился!

Поцелуйте от меня Вашу маму, ее присутствие меня сердечно тронуло, очень хочу ее повидать, она мне чем-то напоминает мою мать, я не ошибаюсь.

Приходите как-нибудь завтракать с нами (в 12 ч<асов>) — не взыщите, если попадете на что-н<и>б<удь> скучное — потом пойдем с Муром в лес, полазим.

Целую Вас. М<ожет> б<ыть> условитесь с С<ергеем> Я<ковлевичем> о дне? Тогда попадете на не скучное (относительно).

Да! Я у Вас забыла своего КУРИЛУ (роговой, двуцветный) то-есть мундштук. С<ергею> Я<ковлевичу> лучше не передавайте — потеряет — привезите сами.

---

[1] Бутковская Наталья Ильинична (1878—1948) — режиссер и актриса. В 20-х гг. в Париже принимала активное участие в дивертисментах для детей и взрослых. Поставила в театре Colisée несколько спектаклей на французском языке.

### 16. П. П. Сувчинскому

Дорогой Петр Петрович,

Пишу Вам по свежему следу. Если Вы серьезно можете добыть мне 500 фр<анков> под Федру — давайте и берите. С «Современными <Записками>» еще не поздно, ибо аванс еще не получен[1]. Но *уверены* ли Вы — не очередная ли прихоть М<ир>ского! — что № IV Верст — *будет*[2]? Меня бы такой долгий срок даже устраивал — если, положим, от сего дня через 6 месяцев — не было бы беспокойства: а вдруг не кончу?

Деньги мне нужны к отъезду, т. е. не позднее 5-го*. Обдумайте хорошенько. И ответьте скорее.

МЦ.

26-го авг<уста> 1927 г., четверг.

* Чем раньше — тем лучше. Хотя бы часть. Только что заплатила 86 фр<анков> 40 сант<имов> за газ. Осталось 30 фр<анков>.

Кстати, мне остается еще дополучить 100 фр<анков> за поэму «С моря» — 200 строк, по 1 1/2 фр<анка> — 300 фр<анков>, а я получила только 200 фр<анков>, ибо Сережа, которому Вы давали, думал, что по франку ст<рока>. Эти 100 фр<анков> можете включить в 500, тогда аванс за Федру будет 400. Расписки доставлю.

---

Убеждена, что приедете на Океан[3],— из чистого сочувствия ко мне. В конце сентября, а? Откроем прогулку с очередным ослом[4]. В начале октября,— а?

---

[1] Трагедия «Федра» была все же опубликована в журнале «Современные записки» (1926, № 36, 37).

[2] Издание «Верст» прекратилось на № 3. Когда этот номер еще готовился, Святополк-Мирский в письме Сувчинскому от 23 января 1927 г. объяснял, почему он не сможет больше заниматься журналом: «Я не хочу продолжать издание «Верст» в их нынешней формуле. Я был бы не прочь, но две причины мешают: растущее и совершенно непреодолимое отвращение (не в переносном смысле, а просто inhibitio, невозможность) к Эфрону и Марине. Всякое общение с ними, устное или письменное, мне совершенно мучительно. Я немножко преувеличиваю, но причина эта очень существенна. Вторая: моя роль добытчика денег мне еще отвратительнее, чем общение с Эфронами. Это совершенно не мое дело <...>». Вместо журнальных «кирпичей» Мирский предлагал издавать небольшие сборники статей с участием ряда авторов «Верст»: «Вы, я, Бердяев, м<ожет> б<ыть>, Федотов*, м<ожет> б<ыть>, Карсавин или Шестов».

При этом Мирский высоко ценил поэзию Цветаевой (до определенного периода): «Получил стихи Маринины. Перечитывал многое, был сильно взволнован — какой все-таки, еби ее мать, поэт! Одно плохо, что в свое время мало секли. Эти годы 1922—25 ее лучшие. Восходящая линия ее идет до Родзевича и Родзевичем обрывается» (письмо Сувчинскому от 5 июня 1928 г.).

Главное было в том, что «Версты» не раскупались. Евразийским издательством деньги на них не предусматривались, а меценаты раскошеливаться больше не хотели. В письмах 1927 г. Мирский постоянно на это жалуется и, выражая желание прекратить выпуск журнала, убеждает Сувчинского с ним согласиться.

[3] Цветаева планировала поехать на океан, по-видимому, опять на вандейское побережье, в начале сентября 1927 г., но эти планы сорвались из-за болезни сына и ее самой.

[4] См. письмо 11.

## 17. П. П. Сувчинскому

<начало февраля 1928 г.>[1]

Милый Петр Петрович,

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: сделайте все возможное, чтобы пристроить мои прилагаемые билеты, издатель взял на себя 25, на мою долю пало 15, тогда только книга начнет печататься[2].

Техника такова: подписчик заполняет бланк (нужно для нумерации[3]) и направляет по указанному адресу, издателю. С<ергей> Я<ковлевич> доскажет остальное.

Бланк важен только с деньгами, иначе он называется *посул*.

Простите, ради Бога, за просьбу.

МЦ.

---

[1] Датируется по содержанию.

[2] Речь идет о книге стихов Цветаевой «После России», вышедшей из печати в конце мая 1928 г. Издание книги, оказавшейся ее последним прижизненным сборником, субсидировал И. Е. Путерман, часть необходимой суммы собиралась по подписке. 9 февраля 1928 г. Цветаева пишет письмо аналогичного содержания и Л. О. Пастернаку: «Дорогой Леонид Осипович! Обращаюсь к Вам с большой просьбой: не найдете ли Вы мне нескольких подписчиков на мою книгу стихов «После России»? Посылаю в отдельном конверте 5 бланков...» (М. Цветаева, «Неизданные письма», стр. 257). По выходе книги в свет Цветаева подарила один экземпляр Сувчинскому с надписью: «Петру Петровичу Сувчинскому — в знак будущего. Марина Цветаева. Мёдон, 31 мая 1928 г.».

---

* Г. П. Федотов публиковался в «Верстах» под псевдонимом Е. Богданов (статьи «Три столицы» в № 1 и «Трагедия интеллигенции» в № 2).

[3] Несколько экземпляров книги было изготовлено для подписчиков на дорогой бумаге, на которых проставлялись номера в соответствии с нумерацией подписных бланков.

## 18. П. П. Сувчинскому

<лето 1928 г.>[1]

Милый Петр Петрович,

Поселим Вас не на краю *леса*, а на краю *мяса*: единств<енное> свободное помещение у *мясника* на Route de Veau <нарисована голова теленка>, 2 1/2 километра от моря. Нынче дам задаток. М.— Шучу.—

---

Приписка к письму (на открытке) В. А. Сувчинской из Понтайяка.

[1] Датируется по содержанию письма В. А. Сувчинской. Написано не позже 1 августа 1928 г., ибо в этот день Цветаева писала из Понтайяка А. А. Тесковой: «Здесь из русских: профессора Карсавин и Лосский с семьями, проф. Алексеев, П. П. Сувчинский с женой <...>» (М. Цветаева, «Письма к Анне Тесковой», стр. 64).

---

ОТ РЕДАКЦИИ. В 1992 году исполнилось 100 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой. «Новый мир» еще в 1991 году начал публиковать материалы, связанные с творчеством М. Цветаевой. Была напечатана ее статья «Кедр» — о книге князя С. Волконского «Родина» (№ 7), а также две работы Иосифа Бродского о ее прозе и поэзии (№ 2). Однако юбилейный год прошел у нас в журнале без цветаевских публикаций, и только в этом январском номере нынешнего, 1993 года мы представляем читателю подборку ее писем. Цветаевская тема в «Новом мире» будет продолжена: в течение года мы намерены напечатать письма и воспоминания Ариадны Эфрон, эссе Вадима Козового и другие интересные материалы.

# В МИРЕ ИСКУССТВА

*Предварительные итоги XX века*

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

*

# НОВАЯ МУЗЫКА № 6

## Прелюдия, она же финал

Мы слышим в музыке то, что мы о ней прочли. Анекдотическую, но доказательную иллюстрацию этого можно почерпнуть из воспоминаний Д. Шостаковича (его рассказ записала профессор М. Сабинина). В бильярдной академического дома отдыха «Усово» в 1948 году, в разгар «всенародного обсуждения» партийных решений об «антинародных формалистах», некий начитавшийся газет академик, не подозревая, что перед ним «тот самый» Шостакович, с раздражением выключил радио, воскликнув: «Какую, в самом деле, белиберду сочиняют эти формалисты!» А звучала-то Шестая симфония Чайковского...

К музыке XX века журналистика научилась прилагать два слова: «сложная» и «элитарная». Как будто Моцарт прост, а Шопен неаристократичен! Даже сказанные с апологетической целью, эти слова ничего не объясняют ни в классически ясных произведениях С. Прокофьева, ни в коаноподобных акциях Дж. Кейджа (1912—1992), только заранее отпугивают слушателей, которым есть над чем поломать голову и без музыки. Между тем можно было бы смягчить удар, хотя бы пояснив, что Новая музыка XX века — по меньшей мере шестая новая музыка в истории европейской культуры, а с предыдущими пятью ведь в конце концов свыклись и полюбили, даже слишком полюбили, если Моцарт стал казаться «простым», а Шопен — «демократичным».

Итак, музыкально-новое нашего времени — не внезапный вираж истории. Из каких же гаражей выезжают его «звукомобили» (название акции, проведенной композитором Г. Беккером в 1965 году на индустриальной выставке в Ганновере)? И куда держат путь? Откуда и куда — главные вопросы нового композиторского сознания, к эстетическим критериям музыкальной ценности добавившего исторические (а подчас и отождествляющего одни с другими: хороша не просто та музыка, которая хороша, но та, которая хорошо встраивается в историческую перспективу). Эти вопросы звучат в композиторских манифестах, реконструкции истоков и гипотезы о направленности музыкально-исторического движения в XX веке заполняют теоретические труды композиторов, например, пять томов «Текстов о музыке» К. Штокхаузена. Звучат эти реконструкции и гипотезы и в самой музыке (впрочем, отделить ее от слова о ней сегодня труднее чем когда бы то ни было; «композиторское музыковедение» составляет один из аспектов композиторского «музыкоделания»), звучат вот как:

ОТКУДА = КУДА; КУДА = ОТКУДА.

Например, в «Композиции для двух оркестров» М. Филиппо (1960) прелюдийный фрагмент может быть заменен финальным, а он в свою очередь — прелюдией; экспозиционная часть дана в двух вариантах, которые можно играть в любой очередности или сразу вместе — в обоих расположенных на расстоянии друг от друга оркестрах; то же касается и развивающей части. Опус, таким образом, «освобождает» время из жестких рамок «начала» и «конца», снимает с него проклятие необратимости, позволяет ему течь неодноколейно.

Эта композиционная схема реализована в настоящей статье. Она оказалась удобной для того, чтобы указать на парадоксы Новой музыки, которая и нова сразу в нескольких равноправных смыслах, и развивается сразу многими путями, и итожит свое развитие таким образом, что возвращает к своим предпосылкам. Еще одна композиционная модель пришлась кстати. Текст статьи состоит из двух пластов: основного и комментирующего (примечания). Это, собственно, так, как в любой обстоятельной статье. Но заодно читатель получит какое-то представление об отра-

ботанном в Новой музыке способе «диагонального» развертывания процесса — не по «горизонтали» мелодического развития, не по «вертикали» аккордов, а через взаимопроникновение тембровых пластов, сходящихся в целевую точку в глубинной перспективе композиции. Так построена пьеса С. Губайдулиной «In crosce» («Крестнакрест», 1979) для органа и виолончели. Орган экспонирован игрой в высоком, звонком регистре, виолончель — в низком, темном. Движение музыки состоит в том, что органное звучание постепенно перемещается в темную глубину, тогда как виолончельное воспаряет к звонкому свету. Примечания в статье — это «виолончель», их поначалу утомляющая подробность вполне может быть аттестована если не как «глубокая», то как «темная». Основной текст — это «орган». Конечно, до «высоты» и «звонкости» ему далеко, но примем условно за заменитель этих качеств его, основного текста, лаконичность. От экспонирующих фрагментов к развивающим и к финалу (он же прелюдия) основной текст и примечания обмениваются «регистрами»: первый становится более подробным, вторые — более краткими.

А теперь читатель, если желает, может начать, как у вышеупомянутого Филиппо, с финала, вернувшись к настоящей прелюдии напоследок. Соответственно из двух экспозиционных разделов любой может быть первым, из двух развивающих разделов любой — вторым.

## Экспозиция-1 (или 2): современное и новое

Композитор и музыковед Филип Гершкович[1], полуподпольно учительствовавший в Москве в 1960—1980 годах, славился едким остроумием. Одна его шутка задела сразу двух современников: «Родион Щедрин — это Кабалевский XX века». Если вычесть из этого афоризма саркастическую оценку творчества обоих мастеров[2], в остатке получится необидное и несомненное: современность и в самом деле — сосуществование времен. Есть некоторый «вчерашне-сегодняшний» музыкальный континуум, на разных участках разно напряженный: либо тяготеющий к качеству исчерпанности, либо, напротив, заставляющий предчувствовать продолжение.

Рядом с чистым (или почти чистым) вчера, «вчерашним вчера» (например, тем же Кабалевским), живет «вчера сегодняшнее». Когда С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Б. Бриттена, И. Стравинского или П. Хиндемита причисляют к «классикам XX века», то в этом есть не только оценочный, но и историко-типологический резон. Их новаторство, по сути дела, не отличается от новаторства Гайдна или Моцарта. Новизна сочинений тут синоним авторской оригинальности. Привкус исторической инициативы, проектирование изобретений и открытий в будущее, столь ощутимые в исканиях Шёнберга или Штокхаузена (о них ниже), здесь отсутствуют, равно как и потребность утвердить свой приоритет или запатентовать метод посредством программных манифестов и комментариев к своим сочинениям.

Существует и «вчерашнее сегодня». Фортепианный концерт — ранний опус А. Скрябина — слушается как написанное в 1897 году сочинение Шопена. А в поздних произведениях, например в «Прометее», до сих пор манит «обещание», которому еще предстоит быть выполненным. К. Дебюсси успел быть домашним пианистом у Н. фон Мекк, щедрой покровительницы П. И. Чайковского. Но в опере «Пеллеас и Мелизанда» (1902) или в симфонических эскизах «Море» (1905) звучит открытая перспектива, все еще ожидающая детальной прорисовки.

Наконец, «сегодняшнее сегодня». Оно легко соскальзывает в «сегодняшнее вчера» и даже во «вчерашнее вчера», как только достаточно широко оттиражированная новация попадает в арсенал «кабалевских». Календарь «сегодняшних сегодня» может выглядеть следующим образом (параллельный отсчет от 1910 года отражает две линии новаций).

**1910—1920 годы: французский дадаизм, итальянский футуризм, русский конструктивизм.**

Эстетическая цель: впустить сырую действительность в границы искусства. Технический принцип: замена традиционного музыкального звука шумами, главным образом городской среды[3]. Перспектива: «звукоподобие», «музыкоподобие» любых акустических и неакустических феноменов.

**1930—1940 годы: «конкретная музыка».**

Эстетическая цель: услышать «музыку в мире», вывести произведение за стены концертного зала — как реально, так и в сфере ассоциаций. Технический принцип: магнитозапись и последующее электропрепарирование любых натуральных (не только урбанистических, как в 1910—1920 годах) звучаний: шума ветра, журчания воды, грохота поезда, человеческих вздохов, криков[4].

**1950—1970 годы: электронная музыка.**

Эстетическая цель: достичь тембровых эффектов, не имеющих акустического аналога ни в музыке, ни в природе, ни в цивилизации. Технический принцип: сочинять при помощи синтезатора (генератора звучаний) сам звук — его частотные и спектральные характеристики, преобразовывать, монтировать их и воспроизводить готовый результат без участия музыкантов-исполнителей. Перспектива: превращение тембра (окраски звука) в субстанцию музыкального произведения (вместо звуковысот и длительностей)[5].

**1960—1990 годы: сонористика.**

Эстетическая цель: сделать субстанцией сочинения (то есть тем, что определяет его формальную целостность) тембр — наименее поддающийся формализации, наиболее «неаналитичный», «алогичный» параметр звучания (высоты и длительности, как и контрасты громкости, легко формализуются). Технический принцип — тот же, что в электронной музыке, однако с весьма существенной поправкой: звук опять-таки сочиняется, но с применением не синтезатора, а «живых» инструментов, посредством необычного их сочетания и нетрадиционных приемов игры на них. Перспектива: «диагональное» слышание музыки, о котором уже говорилось выше и которое можно уподобить осознанию времени, движущегося для нас как бы осязаемыми сгустками[6].

**1950—1960 годы: инструментальный театр (хэппенинг).**

Эстетическая цель: используя зрительные образы в качестве звуковых, стимулировать целостное восприятие. Технический принцип: возвести обычные визуальные условия исполнения музыки в статус самостоятельного компонента музыкальной композиции. Перспектива: по аналогии с музыкальным движением и движением по поводу музыки (исполнительская жестикуляция) «втянуть» в музыку всякое движение и вообще все видимое[7].

**1970—1990 годы: мультисенсорные процессы, музыка окружающей среды.**

Эстетическая цель: создать образ всеприсутствия музыки и присутствия всего в музыке. Технический принцип: сочинение процессов, в которых музыкально взаимодействуют звук, шум, цвет, свет, театральные акции, а также обоняемые и осязаемые предметы. Эти процессы могут осуществляться в реальном пространстве — на улицах городов, на железной дороге и т. д. Перспектива: возврат к мифу о музыкальности мироздания[8].

**1910—1950 годы: серийная (додекафонная) композиция, сериализм.**

Эстетическая цель: создание предельно единой, цельной конструкции, стерильной и герметичной, не впускающей в себя никакой жизнеподобной интонации, никакой «сырой» (не возведенной к идеальному типу) экспрессии. Технический принцип: сведение традиционных измерений музыкальной мысли (мелодии-горизонтали и гармонии-вертикали) к единственному измерению: ряду из 12 неповторяемых звуковысот. В сериализме такие ряды (серии) организуют также длительности, штрихи (приемы звукоизвлечения), оттенки громкости. Перспектива: «странное» звучание, довлеющее себе и выпадающее во вневременную статику[9].

**1950—1970 годы: алеаторика, вариабельная и индетерминированная композиция.**

Эстетическая цель: испытание авторской музыкальной мысли на пластичную изменчивость и, сквозь нее, концептуальную самотождественность. Технический принцип: подчинение процесса сочинения и исполнения более или менее управляемой случайности. Перспектива: образ «разветвленного» времени[10].

**1960—1990 годы: минимализм.**

Эстетическая цель: создать образ предельной плавности, недискретности медленно движущегося времени. Технический принцип: длительный процесс, состоящий в повторении и микроизменениях элементарных попевок и аккордов. Перспектива: «очищение» восприятия времени от слишком «быстрых» рациональных и прагматических категорий типа «причина — следствие», «усилие — результат», «средства — цель»[11].

**1970—1990 годы: «новая простота».**

Эстетическая цель: концептуальная самодостаточность опуса как не требующего истолкований музыкального факта. Технический принцип: любые средства. Перспектива: выход из истории; сочинение не нуждается в «историческом месте», в «предшественниках» и «последователях», чтобы иметь право на художественное существование[12].

И все это («сегодняшнее вчера», «вчерашнее сегодня», «сегодняшнее сегодня») — современная музыка. Но если она наделена качеством новизны, то это только потому, что во всех временах созданы произведения, которые воплощают истинное Сегодня. Его отсвет падает на остальную музыку, созданную в XX веке: она современна относительно этого подлинно настоящего времени.

Истинное Сегодня — то же самое, что «завтрашнее сегодня». Как уже сказано, в XX веке музыкально новым представляется не вообще все, чего раньше не было (или что кажется небывалым), а лишь то, в чем присутствует качество проекта, реализацией которого займется грядущее.

Прежнее чувство музыкальной новизны было другим.

---

[1] Филип Гершкович (1906—1989) учился в Вене у Альбана Берга и Антона Веберна (см. прим. 9), после переезда в СССР в 1940 году был принят в Союз композиторов, затем изгнан оттуда, частным образом преподавал теорию музыки, писал теоретические работы. Последние теперь изданы: Филип Гершкович. «О музыке». М. 1991.

[2] Гершкович, видимо, имел в виду специфически советский тип адаптивного стиля, выражающий сознательную или бессознательную верность лозунгу «народности искусства» и требованию его обязательной «понятности массам». Д. Кабалевский — популяризатор традиций XIX века; его сочинения — перепевы наследия А. Лядова или А. Аренского. Р. Щедрин — талантливый популяризатор находок XX века (Стравинского, Прокофьева, Веберна или Шнитке — список имен можно продолжить), как бы переадресованных малоискушенным слушателям.

[3] Стук пишущей машинки в балете Эрика Сати «Парад» (1917), рев моторов в пьесе Луиджи Руссоло «Встреча автомобиля с аэропланом» (1914) или удары молота в симфоническом эпизоде Александра Мосолова «Завод» (1928) — это акустические предвестники знаменитой пивной банки на картине отца поп-арта Энди Уорхолла. Но дело не только в «опрозрачнивании» границ искусства для сырого жизненного материала. Дело еще в расширении арсенала слышимого, с которым можно работать как с традиционным музыкальным звуком.

[4] Идеи «шумового оркестра» Руссоло — изобретателя то сложных, то наивно-смешных (всякого рода «камеры грохота») шумовых инструментов — усовершенствовали музыканты-инженеры Пьер Шеффэр (р. 1910) и Пьер Анри (р. 1927). Применение магнитозаписи позволило обходиться без пародий на оркестровые инструменты, а также препарировать («остранять») натуральные звучания. Наиболее известный образец — «Симфония для одного человека» Шеффэра — Анри (1950).

[5] Первые электрофоны, как бы объединившие поиски Руссоло и Шеффэра, были созданы еще в конце 20-х годов. Однако эпоху электронной музыки открыли синтезаторы, впервые продемонстрированные композиторам в 1951 году. Синтезаторы, в отличие от «камер грохота» или магнитозаписи натуральных звучаний, дают возможность сочинить структуру любого звука: и вроде бы шумового, и вроде бы наделенного традиционной высотной определенностью и тембровой узнаваемостью. В электронной музыке снимается различие между шумом и музыкальным звуком. Наиболее известные образцы: «Этюды I и II» Карлхайнца Штокхаузена (р. 1928), его же «Пение отроков», «Живое — неживое» для синтезатора и магнитофона Софии Губайдулиной.

[6] Корни сонористики — не только в конкретной и электронной музыке или в шумовых экспериментах футуристов, но и в красочном фортепианном и оркестровом письме французских импрессионистов, прежде всего Дебюсси. Способы сочинения темброзвука для инструментов, имеющих уже свой «готовый» тембр, могут быть разными. Более просты нетрадиционные смеси готовых тембров (например, органа и ударных в сочинении Губайдулиной «Сказанное») или нетрадиционные приемы игры (например, смычками по пластинам виброфона в «Per archi» («Смычками») Владимира Тарнопольского, р. 1955). Более сложна сонорная ткань, возникающая в результате того, что Дьёрдь Лигети (р. 1923) назвал микрополифонией: движение множества голосов, расположенных предельно близко друг к другу по высоте. В итоге высоты звуков не различаются, создается впечатление бурлящего и переливающегося тембрами более или менее широкого звукового пятна. Определенная логика «расширений» и «сужений» этого пятна образует процесс композиции. Из известных сонористических опусов: «Реквием» Лигети, «Космогония» Кшиштофа Пендерецкого (р. 1933), «Pianissimo» Альфреда Шнитке.

[7] Хэппенинги, то есть бессюжетные сценические действа, близкие театру абсурда, в музыке имели свою особенность: они обыгрывали традиционную концертную ситуацию. Поэтому точнее было бы использовать термин Маурисио Кагеля (р. 1931) «инструментальный театр». Первым хэппенингом можно считать знаменитую пьесу Джона Кейджа «4′33″» (1954): пианист (в других версиях — инструментальный ансамбль) 4 минуты 33 секунды сидит за роялем и ничего не играет. Пародийно-эпатирующий эффект является тут оболочкой нескольких идей. Так, Кейдж превращает аудиторию (недоумен-

но-ожидающие шумы зала) сразу и в «музыкальный материал» и в «исполнителя музыки». При этом слушатели воспринимают на месте музыки (следовательно, как музыку) собственное время, самих себя. Подстановка «видимой музыки» на место звучащей дает поразительной силы эффект в опере Штокхаузена «Четверг» (из цикла «Свет»). В кульминации Михаэль-певец сходит на шепот и немоту, Михаэль-тромбонист лишь нажимает на клапаны инструмента, а Михаэль-танцор пластически продолжает их партии (в опере каждый герой представлен тремя исполнителями), и кажется, что звучит самая громкая кульминация из возможных.

[8] Мультисенсорные процессы — это, например, «Звуко-цвето-запахо-игра» Иозефа Антона Ридля (р. 1927), ароматизировавшего, иллюминировавшего и заполнившего музыкой улицы Бонна. Музыка окружающей среды — это, в частности, акция Кейджа «В поисках утраченной тишины»: три поезда, заполненные пассажирами, которые играют на музыкальных инструментах и ловят шумы и передачи на коротких волнах, отправляются из Болоньи в Равенну, Поретто и Римини — по жизненному пространству растекается звукошумовое пятно. «Музыкой» становится все: поезда, станции, люди на платформах, ландшафт. Мультисенсорные процессы и музыка окружающей среды предлагают пережить наличную действительность как художественное произведение.

[9] Серийная и сериальная техника зарождается в нововенской (или второй венской) школе (первая — это Гайдн, Моцарт, Бетховен), в творчестве Арнольда Шёнберга (1874—1951) и его учеников Альбана Берга (1885—1935) и Антона Веберна (1883—1945). Хроматизация ткани в позднеромантической музыке расшатала устои тональности (об этом еще будет сказано), из-под опуса тем самым уходила почва завершенности, логичности, цельности. Шёнберг, придумавший «метод сочинения 12-ю равноправными тонами», мыслил серию как замену тональности, но одновременно также — мелодии и гармонии классической композиции. Серия, последовательность интервальных шагов между 12 хроматическими звуками,— это всё серийного сочинения. Опус представляет собой совокупность трансформаций серии — как бы систему зеркал, отражающих один и тот же звуковой предмет. Однако организация серийной и особенно сериальной музыки столь сложна, что слух ощущает лишь это идеальное множество «одного и того же», лишь сублимированно-чистую экспрессию, но не в состоянии зарегистрировать в каждом моменте звучания его связь с предшествующим и последующим. Поэтому с культом совершенного порядка сочетается эстетика странности, непредсказуемости звукового образа. Особенно ярка она в пуантилизме — такой разновидности сериализма, в которой звуки отделяются друг от друга либо паузами, либо регистровой дистанцией, либо резкими тембровыми контрастами, либо всем этим вместе. При этом звуки-точки замыкаются в себе, как если бы каждая такая точка стояла в конце неведомой, неуслышанной фразы. Точки сами становятся «фразами». Возникает амбивалентный эффект — предельной разреженности ткани и предельной концентрированности энергии. Недаром о Веберне, заложившем основы пуантилизма в 1928 году в Симфонии ор. 21, можно прочесть как о «маэстро тишины» и вместе с тем «мастере афористически емкого стиля».

[10] Алеаторика (от alea — игральная кость, жребий, случайность), или вариабельная композиция: способ композиции, предполагающий незакрепленность фрагментов опуса относительно друг друга. Например, «Фортепианный концерт» и «Музыка перемен» Кейджа созданы с помощью гадания по древнекитайской «Книге перемен»; изначально случайный выбор фрагментов «возводится в степень», поскольку исполнителю предписано также случайно выбирать последовательность составляющих сочинение звуковых групп. Индетерминированная композиция подразумевает еще большую роль исполнительской импровизации. Например, в сочинении Штокхаузена для двух певцов «По небу странствую я, сопровождаемый птицей» выписана лишь канва — мелодическая строчка и общие правила ее распева (первая часть — импровизация на первый звук, вторая — на первый и второй и т. д.). Исполнители должны демонстрировать свободную спонтанность (в том числе и как актеры, пластически). Крайний случай индетерминированной композиции — интуитивная музыка («Из семи дней» Штокхаузена): нотный текст отсутствует, его заменяют словесные указания к медитации. Однако не следует думать, что вариабельная и индетерминированная музыка — легкое дело для дилетантов. Тонкость состоит в том, что композитор все-таки сочиняет некий горизонт для вероятного; точнее сказать, он сочиняет вместо одной строго определенной связи элементов сразу множество возможных связей. Граница между множеством чего угодно и множеством возможного именно в данном произведении все-таки существует. Более того, именно чувство этой границы культивируется как эстетическое, художественное переживание.

[11] Минимализм (или репетитивную, или медитативную музыку) рассматривают как реакцию на сложности сериализма или сонористики, хотя в нем есть своя сложность. В минимализме используется элементарный материал — попевки из нескольких звуков, аккордов или даже один длящийся звук (в «Композиции 1960, № 7» Ла Монт Янга). Попевки, звуки или аккорды повторяются (отсюда обозначение «репетитивизм»). Однако повторяются они в нескольких накладывающихся друг на друга и смещающихся относительно друг друга пластах (например, у семнадцати исполнителей пьесы Терри Райли «In C» — «В тоне до»). Пьесы могут звучать сколь угодно долго, в пределе — всегда (процесс повторений можно «закольцевать», как предусмотрено в «In C»). Минимализм есть способ

сделать музыкальное время «объективным», словно не зависящим от человеческих определений. Однако не случайно репетитивную музыку называют также медитативной. Подразумевается достигаемый вслушиванием в «здесь и теперь» эффект погружения в «сверхсознательное». И не зря принципы минимализма реализуются в современной духовной музыке, например в сочинении для скрипки с оркестром «Войдите!» Владимира Мартынова (р. 1946).

[12] «Новая простота» — широкое течение, скорее эстетическая программа, чем техническая новация. К «новой простоте» относят романтико-экспрессионистские стилизации Вольфганга Рима (р. 1952; его манифесты и сделали популярным лозунг «новой простоты»), но также минимализм. О «новой простоте» говорят в связи с творчеством Штокхаузена конца 70—90-х годов, в частности с операми из цикла «Свет». Вокальные и инструментальные партии в этих операх в буквальном смысле разыгрываются на сцене (в действие включены танцоры, «транскрибирующие» звуки жестами). Зримый комментарий к музыке (даже не *к* музыке, а *внутри* музыки) создает эффект лубочной наглядности смысла. На этот же эффект работают (также, по сути дела, включенные в музыку) словесные комментарии композитора, прилагаемые к программкам, например: «Люцифер взывает к пяти стихиям: к воздуху — ритму, воде — мелодии, земле — гармонии, огню — динамике, свету — тембру... Под конец Люцифер в восхищении слушает простую мелодию, противясь ей, наслаждаясь, вновь противясь, дает себя заворожить и медленно умирает мнимой смертью» (из комментария к музыкальной драме «Суббота»). Сочетание разных техник под знаменем «новой простоты» означает характерное для музыкальной ситуации с конца 70-х перемещение акцента с технического «как» (оно ранее казалось единственным удостоверением новизны) на выразительное «что» Это «что» относится не к произведению, а скорее к концепции произведения. Отсюда шаг до произведения как концепции, существующей не столько через звуки, сколько по поводу звуков или даже поверх звуков. «Новая простота» собирает различные версии музыкального концептуализма. от таких, в которых концептом является традиция (Г Малера для В. Рима, венских классиков — для Манфреда Трояна и т п.), до таких, в которых концептируется искусственный миф (например, о Михаэле, Люцифере и Еве-богоматери в цикле «Свет» Штокхаузена). В отечественной музыке «новая простота» представлена также неоднородно. С одной стороны, «Тихие песни» Валентина Сильвестрова (р. 1937) — цикл романсов на стихи русских классиков, выдержанный в глинкинских традициях, остраняемых принципиально бескульминационной динамикой (весь цикл поется и играется предельно тихо); с другой стороны, «О» Ивана Соколова (р. 1960) — то есть одновременно ноль, круг и гласная «о»; инструментальный театр для флейтиста: исполнитель описывает на сцене круг, совершает круговые движения инструментом, восклицает и поет «о» и погружает слушателей в нулевое, то есть предельно простое, звучание, все вместе есть медитация на тему «ничего — все», заложенную в нуле-круге.

## Экспозиция-2 (или 1): специфика нового в музыке XX века

На фоне других музыкальных культур европейская профессиональная композиция[1] уникальна: в ее духовную программу входит категория нового[2]. На каждом своем историческом повороте опус-музыка[3] ставит указатели: «nova», «nouve», «neue»...

XIV век: в трактатах Филипа де Витри «Ars nova» (ок. 1320) и Иоанна де Муриса «Ars nova musicae» (1322) композиторское письмо их современников француза Гильома де Машо и итальянца Франческо Ландини было названо новой музыкой. Соответственно начальная традиция высокого профессионализма — школа Нотр-Дам (существовала с XI века, расцвет — между 1160 и 1320 годами) получила имя старой музыки (Ars antiqua)[4].

XV век: нидерландская школа, полифония строгого письма[5]. Джозеффо Царлино, определивший ее нормы («Le institutione harmoniche», 1588), назвал начинания Гильома Дюфаи 1430-х годов опять-таки новой музыкой.

XVII век: «Le nuove musiche» — озаглавил Джулио Каччини, один из отцов оперы, сборник вокальных сочинений (1601), давший музыкальное имя столетию[6].

40—70-е годы XVIII века: сенсация тогдашней художественной жизни — мангеймская школа, открывшая классическое оркестровое письмо, классический тип симфонии[7]. Этикетку «новой музыки» за творчеством мангеймцев закрепили Чарлз Бёрни («Музыкальные путешествия», 1772) и К. Ф. Д. Шубарт («Эстетика звукового искусства», 1784).

XIX век: к творчеству Бетховена сотрудничавший в 1810—1815 годах в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» писатель и композитор Э. Т. А. Гофман отнес успевшие немного отдохнуть слова «новая музыка». В «Берлинской всеобщей музыкальной газете» крупнейший музыковед и педагог Адольф Бернгардт Маркс с 1824 года не уставал напоминать о том, что Бетховен — великий новатор и революционер. Это почетное звание к 40-м годам прошлого столетия превратилось почти

что в синоним оценок «выдающийся талант», «гений». Его носили Берлиоз, Лист, Вагнер, титулованные критиками-современниками. А после Вагнера, озаглавившего свои трактаты вполне прогрессистски и «эсхатологически»: «Искусство и революция» (1849), «Художественное произведение будущего» (1850),— стало как бы нормой, что композитор аттестацию новатора получает не от критического и слушательского жюри, а присваивает себе сам. Композитор-новатор становится историком самого себя. История непосредственно входит в творчество. Автор сочинения задумывает и реализует не просто музыкальную идею данного опуса, а место этого опуса в музыкальной истории, его включенность в непрерывную цепь между прошлым и будущим. «Сегодняшняя» музыка становится интерпретацией наследия и прогнозом последствий; она означает не только саму себя, но еще и свое осуществившееся и долженствующее осуществиться историческое окружение. Она лишь во-вторых и постольку музыка, что во-первых и поскольку — музыка об истории музыки. Отсюда и концептуальная роль техники. В технических изменениях процесс музыкально-исторического развития прослеживается наиболее наглядно. Техника письма — самый удобный индикатор для историзированного музыкального сознания, ищущего ценности в категориях «откуда» и «куда».

Вагнер, последний в «традиции революционеров» XIX века, вплотную подошел к шестой по счету «новой музыке» — Новой музыке XX века (вплотную — типологически; хронологически между Вагнером и Шёнбергом лежала эпоха позднего романтического стиля). Очередной своей реставрацией термин обязан немецкому музыковеду Паулю Беккеру, опубликовавшему статьи о музыке после 1910 года под опять свежо прозвучавшим заголовком «Neue Music» (1923).

Этим дело не кончилось. Около 1950 года заговорили о «новейшей музыке». Термин отражал двойственность ситуации: новизна наследия начала века еще не стерлась, а импульсы новаторства продолжают действовать. Традиционный термин «новая музыка», не отгуляв положенных исторических каникул, запряжен в работу и черпает дополнительные силы в подкрепляющем суффиксе.

Шестая Новая музыка (продолженная «новейшей»), однако, нарушает инерцию первых пяти. Прежние реформы воспринимались поначалу как дань тривиальному, грубому вкусу (даже раннего Гайдна северонемецкие критики, хранившие верность традициям барокко, упрекали в банальности). Чего не видели в былых новациях (и что постоянно осуждают в нынешней Новой музыке), так это элитарности и сложности. И не случайно: на пьедестал господствующего направления новаторы ушедших веков возводили периферийную, или низовую, традицию[8].

Новая музыка XX века начинается не из эстетической провинции и не с примитивных норм. Ее начало есть продолжение центральных магистралей, укатанных задолго до нее. Новизна шестой Новой музыки (сравнительно с предшественницами) в том, что она не нова. А также в том, что старое в ней так заостряется и высвечивается, что из данности становится проблемой; из готового «ответа» превращается в «вопрос», обращенный к будущему; из итога — в проект.

Замечательный музыковед Карл Дальхауз одну из статей о Новой музыке XX века озаглавил «XIX век сегодня» (1970). В самом деле, ключевые идеи музыкальных революций нашего времени, при всей их непопулярности у широкой аудитории, можно найти в привычном посетителям рутинных концертов репертуаре прошлого столетия. В нем же отыскиваются и главные опоры теперешней поп-музыки. Опыт прошлого века расщепился: в качестве необсуждаемого «итога» он вошел в исключающее всякую «вопросительность» мышление производителей современного музыкального развлечения, а в качестве «проекта» — в безответно вопрошающую мысль современных новаторов опус-музыки. Кстати, одна из ранних пьес Ч. Айвза[9] называется «Вопрос, оставшийся без ответа».

Как же «ответы» стали «вопросами» (безответными)? И какие именно «ответы»?

На уровне проблем сочинения (уровень, на котором музыка идентична себе, а не сводится к поводам для беллетристических прозрений типа «так судьба стучится в дверь»[10]) выделяются две ключевые для прошлого века идеи, унаследованные Новой музыкой нашего времени. А именно: самоценность материала и самоценность конструкции. Стремясь к резонансу со слушательским опытом читателей журнала, персонифицируем эти идеи следующим образом: первая — это «Лист», вторая — «Бетховен» (хотя, конечно, не только о листовском или бетховенском наследии должна идти речь).

Лист большую часть жизни провел во Франции и Италии — там и подхватили его итоги, там и началось их «перепроектирование». Бетховен творил в Вене, и в Вене его наследие превратилось в программу для музыкального будущего.

[1] Точкой ее исторического отсчета может служить появление в X—XI веках линейной нотации, которая, в отличие от других способов графической фиксации музыки, позволяет точно и исчерпывающим образом передать звуковую ткань. Память музыканта освобождается от изустно передаваемого канона, в сознании расчищается место для свободного изобретения. Внеканоничность, заложенная в основание опус-музыки (см. прим. 3), означает, что музыкальный язык, хотя и существует до произведений, в самих опусах производен от оригинальной идеи сочинения. Развитие идеи может приводить и к нарушению норм. Когда такое нарушение случайно и единично, то налицо профессиональная погрешность. Когда нарушение системно, то возникают новый музыкальный язык и выражаемая им новая трактовка музыкального пространства — времени, движения, экспрессии и т. д.: новая музыка.

[2] Точности ради следует отметить, что современная развлекательная музыка также не чужда новому. Однако новизна в ней — вроде модной приправы ко всегда одному и тому же стереотипу. Новы вторичные факторы — аранжировка, инструментарий, манера исполнения, ритмические фигуры, связанные с танцевальным стилем; зато неизменны факторы первичные — мелодико-гармонические связи и структурные членения формы. Это как с костюмом: юбка и брюки верны своей «идее», несмотря на изменчивость длины и ширины, расцветки и вида ткани, на актуальность или неактуальность рюшей или карманов. Но даже эта периферийная новизна — результат адаптации на развлекательных подмостках высокой европейской музыки, что в итоге привело к характерной эстетической фальши. Генетический след высокой композиции — мнимосерьезный психологизм при передаче любовного томления или квазимногозначительность при обыгрывании бунтарских порывов. Старая обиходная музыка была чище: она оставалась в сфере игры, не претендуя на «искреннее чувство» или на «социальную борьбу». Дело в том, что на процесс усреднения культуры высокая музыка в XIX веке отозвалась «демократизацией», которая и опустила оперные, симфонические и камерные формы через оперетту, бытовой романс и виртуозные фантазии на популярные мелодии к шлягеру и «пьесам для эстрадного оркестра». Впрочем, в последние годы по мере ассимиляции рок-стиля (который генетически с высокими жанрами не связан) эстрадная песня постепенно очищается от своего «лакейского аристократизма».

[3] Европейскую профессиональную композицию кратко называют опус-музыкой (понятие введено Х. Х. Эггебрехтом, 1975). Opus в тривиальном смысле — издание сочинения под номером, проставленным издателем (позднее — автором), а также вообще любое сочинение даже без номера, но записанное в нотах. Но это понятие имеет и фундаментальную эстетико-историческую интерпретацию; согласно кантору Николаю Листению (трактат «De musica», 1584) «opus perfectum et absolutum» есть авторское произведение, зафиксированное в нотном тексте и потому всегда идентичное себе, «совершенное и абсолютное» (этим опус отличается от устной импровизации). Понятие «опус-музыка» подчеркивает значение нотного текста в новоевропейском композиторском творчестве.

[4] В практике Ars antiqua время измерялось в категориях смыслового веса (оно «растягивалось» под тяжестью слогов наиболее весомого слова, которое распевалось более протяженной мелодической фигурой, чем не столь важные слоги). В композиции Ars nova изменилась концепция времени. Длительности звуков стали выписываться, следовательно — соотноситься друг с другом, а не с весом слога или слова. Однако движения к цели, к финалу в этом музыкальном мире нет, есть как бы перетряхивание звукоритмического калейдоскопа внутри общего непоколебимого порядка.

[5] Принципом полифонии строгого письма стала имитация — проведение мелодии (темы), взятой из свода церковных песнопений, в разных голосах от разных (не любых, а учитывающих числовую и теологическую символику интервалов) высотных позиций через определенный промежуток времени. В такой технике движение есть только метафора пребывания в предельно монолитном времени-пространстве. Принадлежность темы к грегорианскому хоралу (церковному кодексу напевов) заставляет понять неподвижное единство, распространяемое композитором в масштабный процесс и многоголосный объем, как божественную сущность, выявляемую в музыке.

[6] Джулио Каччини, Клаудио Монтеверди, Якобо Пери, Винченцо Галилеи (отец ученого), члены Флорентийской камераты (основана в 1580 году), противопоставили хоровой полифонии строгого письма сольную монодию — мелодию с сопровождением. Звуковысотное пространство функционально дифференцировалось. Вверху расположилась главная линия, внизу — подчиненный ей аккордовый пласт. Аккорды служили краской, «подсвечивающей» мелодический «пафос» (так, мажорное трезвучие выражало твердость, энергию, минорное — мягкость, пассивность). Эта дифференциация ткани означала новый образ мира, в котором крупным планом выделена индивидуальность. Она есть еще только «отдельное» (а не «неповторимое»), поскольку ее аффекты передаются стандартным образом. Однако время из «объективной» вечности уже превращается в «субъективный» процесс эмоциональных движений. Эмансипация музыкального времени от символики вечности ставит перед композиторами проблему начала и конца сочинения. Решается проблема завершенности опуса на пути функциональной дифференциации

аккордов: один из них наделяется функцией главного созвучия (тоники), другие — подчиненных. Сочинение строится по риторическому принципу: оно начинается с экспонирования опорной роли главного созвучия, продолжается «оспариванием» этой роли и завершается ее окончательным «утверждением».

[7] Оркестровое письмо Иоганна (Яна) Стамица (1717—1757) и его учеников привело в системную связь с вышеописанной «тональной риторикой» все параметры композиции, и прежде всего громкостную динамику. Стамиц впервые использовал оркестровые возможности для создания эффекта нарастания и спада звучности. Постепенные усиления и ослабления громкости как бы проясняли — на безусловно понятном уровне физиологического воздействия звука — растущее напряжение при переходе от тоники к аккордам, репрезентирующим сферу неустойчивости, или успокоение при переходе от последних к тонике. Таким образом, у мангеймцев тональная логика, погоняемая громкостной динамикой, быстро и бодро нашла самые прямые пути к цели движения — к заключительному утверждению тоники. Форма симфонии, отработанная мангеймцами, есть выражение тональной логики в пределах большого массива времени. Мангеймцы, однако, так наслаждались новообретенной ясностью целенаправленного процесса, что его схематика подавляла у них индивидуальную выработку отдельного сочинения: у них не было ярких, запоминающихся тем, неожиданных гармонических ходов и т. п. Поэтому классиками в открытой ими системе письма суждено было стать не им, а Йозефу Гайдну, Вольфгангу Амадею Моцарту и Людвигу ван Бетховену (последний одновременно и родоначальник следующей «новой музыки»).

[8] Ars nova XIV века придало менестрельной импровизационной практике ранг утонченного письменного творчества. Революция Гильома Дюфаи XV века ввела на континент и облагородила провинциальную английскую манеру хорового исполнения духовных мелодий. Монодия Каччини сообщила качество художественности прикладным вокальным упражнениям, известным еще в XVI веке. Композиция мангеймцев взяла за основу модель клавесинного сопровождения оперных речитативов, то есть третьестепенный фрагмент предшествующей традиции. Романтики разрабатывали жанры, до них принадлежавшие к развлекательно-салонному обиходу: песню, фортепианную миниатюру, программную (иллюстрирующую литературный сюжет или театральное действие) пьесу.

[9] Чарлз Эдвард Айвз (1874—1954) — американский композитор, феноменальный тем, что с 1889 до 1927 года (когда он перестал сочинять после тяжелой болезни), не пройдя никакой серьезной школы, живя вдалеке от европейских центров и вообще будучи руководителем страховой компании, успел обозначить едва ли не все основные находки Новой музыки — как первой, так и второй половины века.

[10] Слова Ромена Роллана о головном мотиве Пятой симфонии Бетховена стали поистине фатальными. Теперь у тривиальных композиторов, желающих придать сочинению «судьбоносный» авторитет, и у музыкальных оформителей теле- и радиопередач всегда наготове звуковая аббревиатура грозного и неумолимого рока. Между тем тема Пятой Бетховена имеет такое же отношение к «судьбе» или к «двери», как к хорошей (или плохой) погоде. Напиши Роллан что-нибудь столь же яркое о других темах Бетховена — и наследие гения давно превратилось бы в масскульт

## Развивающая часть — 1 (или 2): возврат к мифу?

Надо думать, каждый когда-либо слышал «Венгерские рапсодии» Ференца Листа (даже в фильме «Веселые ребята» звучит «дайджест» Второй рапсодии). Эти блестящие сочинения, как и многие другие пьесы Листа (или фортепианные циклы Р Шумана, других романтиков), задолго до появления кинематографа апробировали принцип, теперь известный под именем монтажа. Они строятся из фрагментов, между которыми нет выраженной причинно-следственной, или какой-либо иной однозначной, связи[1]. Единственное, что держит композицию в состоянии завершенности,— быстрая, бравурная, «цирковая» по трюковой эффектности концовка. Виртуозный вихрь финала снимает в восприятии немотивированность очередности частей. Но, собственно говоря, нагнетание темпа и эффекта в финальных разделах — скорее дань жанру виртуозной музыки, чем требованию крепко сбить форму. Последнее для Листа явно не императив. Воля мастера направлена на другое. Пластика и колоритность мелодии чардаша или богатство виртуозной фактуры для него важнее, чем логика соподчинения начала и конца, большого и малого и т. п. Это и есть самоценность материала: сочинение «из чего-то» превалирует над сочинением «чего-то», вернее, «что-то» у Листа так устроено, чтобы мы прежде всего слышали, «из чего» оно.

Казалось бы, отсюда один шаг до банальной музыки: до какого-нибудь шлягера, который держится на эмоциональной открытости безотказных мелодических оборотов и не нуждается в связной конструкции целого[2]. Однако опыт Листа и других

романтиков оказалось возможным осмыслить и иначе. За необязывающей самоочевидностью ярких мелодий и виртуозного декора был услышан строгий и требовательный вызов.

Материал самоценен — конструкция не накладывает на него ограничений. Значит, материал может быть любым. Необязательно искать интересную мелодию — можно инкрустировать высокую форму готовыми клише мюзик-холла (Сати, «Парад»). Да и вообще мелодия необязательна. Достаточно тембро-гармонических мазков, в которых мелодия растворяется внутри колористического звукового объема (Дебюсси, «Море»). Если на первом месте краска, то зачем вообще точная высота звуков или тембр, выверенный веками инструментостроения? Можно использовать шумы, уж наверняка колористически сочные (Эдгар Варез, «Электронная поэма», 1958). Но если шум функционально эквивалентен музыкальному звуку, то чем хуже слово, речевая артикуляция? Ведь слово, как и шум, тянет за собой четкие ассоциации, но с ним к тому же можно играть, то «говоря» музыкой, то «музицируя» говором (Лучано Берио (р. 1925) назвал эту технику, реализованную в его Симфонии, «новым контрапунктом слова и музыки»).

Вслед за шумом и словом нельзя обойти свет и цвет. Уши и глаза всегда кооперировались, и не только скрыто, в синэстезических глубинах восприятия[3], но и открыто: еще в 1772 году Гайдн дополнил постепенное истончение ткани в финале «Прощальной симфонии» световым эффектом (оркестранты гасят свечи) и даже театральной акцией (исполнители, в разное время завершая свои партии, по очереди уходят со сцены). Поэтому когда в 1910 году Скрябин ввел партию света в «Поэму огня» («Прометей»), то оправданием ему служил не только мифологический сюжет — он был больше поводом, чем причиной[4].

Уже без всякого литературного повода Бруно Корра в 1912 году конструирует клавиатуру из цветных ламп и исполняет на ней не только свои сочинения («Абстрактную хроматическую музыку», например), но и сонаты Моцарта. Где цвет и свет, там и другие зрительные впечатления. Инструментальный театр (например, изображающая бичевание Христа игра на ударных в «Хоральной прелюдии» Тарнопольского) лишь доращивает до состояния необычности то, что весьма обычно,— пластическую экспрессию движений инструменталиста. Однако если зримое входит в музыку, то отчего не войти в нее обоняемому? Ведь от задувания свечей в гайдновской «Прощальной» до возжигания ароматических свечек при исполнении опусов Кейджа или ароматизации городских улиц в музыке окружающей среды дистанция велика только хронологически, но никак не по существу (эйдетически). Но раз уж музыку можно обонять, то почему ее нельзя осязать? В «Берлинской водной музыке» Карла Нихауса (1977) слушатель плавает на спине в бассейне, а на дне его два динамика издают звучания, которые ощущаются как гулкие колебания воды. Да что там осязать! Музыку можно и просто-напросто съесть: в «Театральной пьесе» Кейджа, исполненной в 1975 году московскими музыкантами, слушателям раздавали конфеты. У того же Кейджа (акция «В поисках утраченной тишины») на музыке едут (слушателей-исполнителей везут озвученные поезда), по ней гуляют (например, по улицам Бонна, превращенным в музыку Ридлем), в ней размещаются (как публика на платформе в центре зала, оснащенного громкоговорителями, двигающимися и неподвижными, в «Пении отроков» Штокхаузена)...

Читателя, воспринявшего последние примеры как тему для фельетона, стоит предостеречь пушкинской фразой: «Но и любовь — мелодия». То, что в прошлом веке существовало в метафорическом виде: «Все есть музыка»[5] (метафора эта в свою очередь переводила в разряд условных поэтических фигур традиционное — от Пифагора до Кеплера — представление о безусловной онтологической эквивалентности универсума и музыки[6]),— в нашем столетии реализовалось: музыкальным материалом стало все, и все чувства уподобились слуху. На переднем крае новизны это «всезвучие» бытия и «всеслух» чувствования даны буквально. Но и дальше от крайностей, где концепционная активность новизны ослабевает, где слышат только уши и звучит только традиционный звук, «все» тоже присутствует — присутствует в опосредованном виде.

Опосредованием может быть музыкальная история, отражающая развернутый в культурном времени человеческий мир. Так — в полистилистических произведениях, например в Первом Concerto grosso (1977) Шнитке (искажаемый канон в стиле Вивальди, осколки скрипичного концерта Чайковского, диалог высоких жанровых идиом с банальным танго и т. д.— в тенденции знаки всей музыки как знак всей трагической истории человечества, приведшей к катастрофе XX века). Опосредованием может быть и сам звук, выпавший в своей структурной отточенности из привычной слуху колеи и обретающий предельную обобщенность (как в инструментальной музыке Эдисона Денисова).

Итак, антично-средневековый миф о музыкальности универсума, который был для романтиков метафорой, в Новой музыке XX века как будто восстанавливается. Даже на уровне очевидности — в названиях произведений: «географических» («Пустыни» Эдгара Вареза, 1855—1965), «химических» («Мутации» Берио), «биологических» («Каталог птиц» Оливье Мессиана /1908—1991/; «Террариум» Виктора Суслина /р. 1942/), «геотектонических» («Сейсмограмма» Анри Пуссёра /р. 1929/), «астрономических» («Знаки зодиака» Штокхаузена, «В созвездии Гончих Псов» Виктора Екимовского /р. 1947/), «геометрических» («Разрывы плоскостей» Виталия Годзяцкого /р. 1936/, «Гомеоморфии» Леонида Грабовского /р. 1935/), «космогонических» («Ортогенез» Йозефа Маловеца /р. 1933/, «Вначале был ритм» Губайдулиной), «оптических» («Спектры» Сильвестрова, «Перспективы» Берио, «Интерференции» Гизельхера Клебе /р. 1925/), «физических» («Атмосферы» Дьёрдя Лигети, «Празднество прекрасных вод» Мессиана) и т. д., и т. п.— музыка стремится занять все этажи мироздания, продублировать номенклатуру вселенной. Но и в глубине, в области экспрессии, она также мироподобна. Она выходит из горизонта индивидуального психологизма и драматизма, ассоциирующегося с социальными конфликтами, со столкновениями «личность — общество». Ее чувства не холодны, даже предельно интенсивны, но из них ушло все героически-одинокое и патетически-активистское. Если у романтиков внеисторическая универсальность и надындивидуальность музыки существовали в сознании и на словах, тогда как в самих произведениях жили индивидуальные чувства и исторические драмы, то у творцов Новой музыки XX века обратная ситуация: внутренняя смысловая тенденция опусов состоит в природоподобии, растворяющем личность, тогда как сознание и слово о музыке наполнены исторической рефлексией и эстетикой оригинальности.

Короче, ни фаустианского вызова, ни прометеевских подвигов, ни гамлетовских страданий, ни мефистофельской властности (перечислены персонажи, давшие имена симфоническим и фортепианным произведениям Листа) в Новой музыке нет. Ее чувства ближе к пифагорейскому экстазу созерцания чисел — живых энергий — или к мистическому восторгу слияния с миром-божеством, напоминающему о неоплатониках. Хотя Новая музыка и «выведена» историческим сознанием из предшествующей традиции, в ней самой историческое сознание исчерпывается, образ времени-истории сходит на нет.

---

[1] В рапсодиях или симфонических поэмах Листа логические «зияния» образованы прежде всего отсутствием последовательных гармонических переходов от фрагмента к фрагменту. Лист не скрывает этого обстоятельства, а скорее подчеркивает его, наскоро «отделываясь» от необходимости вывести «Б» из «А» несколькими нарочито необязательными аккордами или пассажами, а часто и просто паузой.

[2] Лист сам порой делал этот шаг, например в романсе «Грезы любви», который и в его время и теперь функционирует как самый настоящий шлягер (неизменно популярная лирическая песня).

[3] Еще И. Ньютон предложил аналогию «спектр — октава». Но и без его вычислений всегда существовал цветной слух — синэстезический резонанс высот и тембров со степенью яркости света и с красками. Наиболее простой и всеобщий случай цветного слуха — восприятие высоких тонов и звонких тембров как светлых, низких тонов и глухих тембров как темных.

[4] В последующих замыслах («Предварительное действо» и «Мистерия») Скрябин планировал партию света вне каких-либо сюжетных привязок.

[5] Вот как писал, например, Новалис: «Медицина. Каждая болезнь — музыкальная проблема; излечение — музыкальное разрешение...» Или: «Природа — эолова арфа, она — музыкальный инструмент, звуки которого, в свою очередь, служат клавишами высших струн в нас самих» (из «Математических фрагментов», цитируется в переводе Ал. В. Михайлова).

[6] «Как очевидно из сказанного... от движения светил возникает гармония, так как-де от этого происходят гармонические звуки... Когда же несутся солнце, луна и еще столь великое множество таких огромных светил со столь великою быстротою, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук. Предположив это и приняв, что скорости движения их, зависящие от расстояний, имеют отношения созвучий, говорят, что от кругового движения светил возникает гармонический звук. А так как казалось странным, что мы не слышим этого звука, то в объяснение этого говорят, что причиной этого является то, что тотчас по рождении имеется этот звук, так что он вовсе не различается от противоположной ему тишины. Ибо различие звука и тишины относительно и зависит от отношения их друг к другу» (пифагорейский фрагмент цитируется в переводе А. Ф. Лосева).

## Развивающая часть — 2 (или 1): неодномерное время?

Хочется надеяться, что уж Пятую-то симфонию Бетховена (ту самую, в которой «судьба» якобы «стучится в дверь») читатели помнят, а если нет, то пусть возьмут пластинку (можно и не с записью какой-либо из девяти симфоний[1], а с сонатами, квартетами) и, прежде чем читать дальше, прослушают. Вообще-то слушать Бетховена сегодня, пожалуй, трудно. Слишком настоятельна энергия, сконцентрированная в его сочинениях, слишком тянет «вперед и вверх» развитие его формы, чтобы ненароком не вспомнить о пресловутом тоталитаризме[2]. Да, Бетховена не зря уже более столетия воспринимают как вождя — особенно же вожди его так воспринимают[3]. И не случайно логику его композиции описывают в категориях гегелевской диалектики с ее предустановленной природе и истории высшей целью и едва ли не с марксистской «практикой» движения к этой цели. В эпоху идеологий идеологические интерпретации не просто навязываются чему угодно, но и извлекаются из глубины вещей. Бетховен читал Канта, а не Гегеля. Но его воля к завершенной конструкции, которая с жесткой последовательностью обнаруживает себя через процесс прогрессивного развития формы (главная тема в финале — это более высокое качество, чем главная тема в экспозиции, хотя тема в экспозиции скрыто содержит в себе финал), в самом деле сродни «Феноменологии духа». И как у Гегеля конкретное и особенное неизбежно растворяются во всеобщем, так и у Бетховена: если перед слухом и разворачивается прекрасная, вроде бы самодовлеющая мелодия, то это только нас искушающий обман: мелодия составляет пластическую оболочку пучка конструктивных импульсов, строящих форму. Конструкция подчиняет себе материал настолько, что пластика тем может и вовсе не развернуться. Ведь это именно о Бетховене (как раз о головном мотиве Пятой симфонии) написано, и притом ярым бетховенианцем, уже упоминавшимся музыковедом А. Б. Марксом: «Шедевры вырастают из ничтожнейших мотивов... Важен не мотив, а его использование в развитии формы» (1837).

Подчинение материала конструкции таит в себе две перспективы. Перспектива «итога» — рай для эпигонов. Можно при должном усердии освоить любую конструктивную схему композиции и, не обладая большим дарованием, творить «большое искусство», правда столь же вдохновенное, как нарукавники счетовода. Перспектива «проекта» — голгофа для новаторов, распинаемых критикой на кресте «элитаризма» и «формализма».

Первыми по «крестному пути» пошли нововенцы. Шёнберг и его ученики воплотили в своих новациях такой примерно ход специфической для Новой музыки историзированной (то есть аналитически продолжающей традицию) мысли. Если материал всецело подчинен конструкции — так, что отдельные мелодические, гармонические, ритмические и т. д. элементы теряют свою пластическую, колористическую или символическую автономию,— то конструкция сама должна стать материалом. Это и произошло в додекафонии и сериализме.

«Материалом» являются не звуки серии, а интервальные (длительностные и т. д.) отношения между ними — следовательно, форма сама себе материал. Возникает двуплановое отношение музыкального целого ко времени. В качестве модели сочинения серия содержит время в себе; в качестве звукового последования серия сама содержится во времени. Время сразу и вытянуто в процесс и остановлено, оно и совершается и завершено. Каждый момент сочинения существует до того, как прозвучал, хотя это «до того» осознается только тогда, когда он все-таки звучит.

Так открылся путь к преодолению основополагающего для Бетховена телеологического движения от начала к концу, делавшего его музыку «оправдательным аргументом» в сознании утопистов-революционеров. Так грандиозный «ответ» Бетховена превратился в большой вопрос. Возникло серьезное сомнение в ценностном приоритете одноколейного, эсхатологически необратимого музыкального времени.

Это сомнение выразилось в экспериментах с вероятностным временем, временем — совокупностью альтернатив. Пять «формант» (частей) Третьей фортепианной сонаты Пьера Булеза (р. 1925) могут играться в разном порядке (разделы внутри «формант» также). Девятнадцать звуковых групп в нотном тексте «Клавирной пьесы — XI» Штокхаузена, очередность и темп исполнения которых выбирает исполнитель, разделены полем белой бумаги. Чистый лист между островками нотописи символизирует подразумеваемое множество других версий.

Позднее идея многовариантного времени у Штокхаузена получает историко-культурную конкретизацию. Композитор выдвигает идею «мировой музыки» (Weltmusik). Речь идет о вариабельной композиции, оперирующей не сочиненными звуковыми группами, но готовыми образцами, взятыми из традиционной музыки разных регионов мира. В «Телемузыке» Штокхаузен соединяет фольклорные и профессиональ-

ные традиции острова Бали, Южной Сахары, Испании, Венгрии, племен из джунглей Амазонки, Японии, Китая, горных народностей Вьетнама и т. д. Подобно исполнителю своей «Клавирной пьесы — XI», композитор спонтанно выбирает последовательность готовых образцов, а роль чистой бумаги отводится электронному фону, внетрадиционная нейтральность которого позволяет ему быть пластичной соединительной тканью для любых сочетаний разноисторических и разнорегиональных «музык».

Музыкальная полихрония культур, пусть не столь концептуализированная, стала константой современной музыки в целом (включая и поп-музыку). Достаточно вспомнить о разных «нео-»: неофольклоризме Белы Бартока, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна; неоканонизме (авторском претворении духа и традиций церковной музыки средневековья) от Оливье Мессиана до Владимира Мартынова; неоклассицизме Прокофьева, Стравинского или Хиндемита; неоромантизме Пендерецкого, Рима или Сильвестрова. Можно вспомнить и о Востоке, заполнившем разные этажи западной культуры — от симфонического подиума (например, симфония Мессиана «Турангалила») до рок-подмостков (альбомы ансамбля «The Beatles», открывшие эпоху Индии в развлекательной музыке).

Идеи вероятностного времени и поликультурной истории реализуются в конструкциях, наделенных качеством открытости. В творчестве Штокхаузена эта открытость проявляется даже внешне — в факте постоянного пересочинения уже некогда сочиненного[4]. Произведение принципиально разомкнуто для собственных альтернатив.

Той же цели может служить и простое отсутствие начала и конца, без всякого пересочинения сочиненного. В минималистских опусах, особенно «закольцовываемых» (как, например, «In C» Райли), произведение длится (реально или виртуально) так долго, что многократно отменяет само себя. Ведь техника репетитивного процесса подразумевает, что слушательское внимание не способно сохранять концентрированность бесконечно; временами оно ослабляется или вовсе выключается, потом включается вновь. В моменты его выключения произведение становится фоном для себя самого, услышанного в моменты напряженного восприятия. Но фон — это неотслеживаемый процесс, текущий параллельно с отслеживаемым и как бы альтернативный ему.

Наконец, альтернативой музыкальному произведению может быть немузыкальное произведение. В творчестве композитора, архитектора и математика Яниса Ксенакиса (р. 1922), ученика О. Мессиана и Ле Корбюзье, развивающего идеи стохастической музыки (техники, в которой выбор отдельных звучаний опирается на математический аппарат теории вероятности), музыкальные опусы пересочинялись в качестве архитектурных проектов (например, «Метастазис» (1953): зарисовав звучания струнных как линии, автор получает график, который в 1956 году лег в основание проекта павильона фирмы «Филипс» для Всемирной выставки в Брюсселе). Вариантом временно́го процесса оказываются пространственные объемы, и наоборот.

Альтернативность произведения самому себе вырастает в принципиальную вариабельность всего художественного мира Новой музыки. Он представляет собой собрание возможностей, не вытесняющих друг друга, но свободно общающихся между собой. Две линии новаций не враждуют, а то, что они отталкиваются от противоположных предпосылок, различимо лишь при генетической реконструкции.

Итак, из «бетховенской» завершенной и самоценной конструкции с неумолимой последовательностью выведена конструкция открытая, подразумевающая альтернативы самой себе, конструкция, в которой время вариабельно, неодноколейно и нетелеологично, в которой оно в конце концов даже не время, а пространство (пространство игры архитектурных объемов у Ксенакиса, пространство многообразия мировой культуры у Штокхаузена). Некоторые черты этого образа времени уже знакомы европейской композиции — по наследию Ars antiqua или Ars nova, по созданиям нидерландских полифонистов XV—XVI веков. Выходит, «бетховенская» перспектива вела вспять? И идеологически срастившийся с ней гегельянский историзм-прогрессизм был чреват «вытесненным» в «подсознание» образом времени, сотканного из случайностей и возможностей, времени, не марширующего вдоль логичной прямой, но то вращающегося по кругу, то погружающегося в глубину момента, то разветвляющегося на множество линий. Это «подсознание» сегодня возобладало над просветительским духом с его «ясными, как солнце, сообщениями широкой публике» (Фихте) о конечном торжестве абсолютной идеи или грядущем триумфе социального равенства. По крайней мере, в музыке возобладало. Если в ней сегодня и возникает образ линейного времени, то либо в пародийной окраске (например, пьеса для оркестра «С 10 по 30 сентября 1988 года» Ивана Соколова:

двадцать дней, обозначенные в названии, композитор провел в доме творчества в Рузе и все «прожитое» — работу, чтение, игру на рояле, беседы с коллегами и т. п.— спроецировал в эпатирующую музыкальную структуру), либо же в культово-календарном смысле, когда обычное время символически связано с временем сакральным (так — в «Распорядке дня» для ансамбля ударных Владимира Мартынова).

Что же, Новая музыка XX века, «природоподобная» по материалу и «внеисторичная» по конструкции, означает конец крепко связанных в нововременной европейской культуре индивидуализма и прогресса? Нет, скорее речь должна идти о проекте депсихологизации и деисторизации сознания. Ведь выражает-то эти установки искусство, все еще стремящееся быть оригинальным (значит, индивидуализированно-авторским) и новым (значит, измеряющим себя историческими категориями).

Один из способов удержаться в зоне новизны состоит в том, чтобы не быть до конца понятым. Поэтому Новая музыка XX века принципиально элитарна: она подразумевает непонимание и порой даже провоцирует его агрессивные реакции. Однако это не просто эгоистическая прихоть художников, не желающих расставаться с традиционно почитаемым «историчной» публикой титулом «новатор». Эзотеричность музыкальной новизны необходима современной культуре.

---

[1] Только не с Восьмой! Восьмая симфония, писавшаяся параллельно с трагической Седьмой (в 1812 году), это как бы гайдновский анклав на бетховенской территории. В Восьмой Бетховен иронически смотрит на себя глазами не озабоченного философскими обобщениями старшего коллеги по венской школе и на него — своими глазами. Композитор создает пародию на «нормальную» классическую симфонию, пародию, в которой, однако, слышна невозмутимая естественность пародируемой нормы. Композитору как бы жаль, что он не остался там, где писание симфоний было прекрасным ремеслом, а не служением человечеству, и в то же время он смеется над музыкой, довольствующейся прекрасным ремеслом.

[2] Наше современное восприятие можно объяснить впечатляющим историческим опытом. Но еще в 1923 году, то есть до западного варианта «тоталитаризации», появились свидетельства социально-критического восприятия музыки Бетховена. В книге «Судьба музыки с древности до современности» немецкие музыковеды Эрих Вольф и Карл Петерзен писали о бетховенской композиции: «Ее смысл заключается в борьбе противоположностей... в абстрактной войне, которую воля субъекта-композитора ведет сама с собой. Форма сонаты... это чистый механизм. Не без основания... приходят аналогии с бюрократической государственной системой, для которой живые существа — всего лишь функции».

[3] Среди высказываний о Бетховене, принадлежащих харизматическим лидерам XIX и XX веков, собранных музыковедом Хансом Хайнрихом Эггебрехтом в книге «К истории восприятия Бетховена» (1972), не хватает хрестоматийной для нас ленинской фразы: «Изумительная, нечеловеческая музыка!» Сегодня в восторженном эпитете «нечеловеческая» слышатся бесчеловечные отголоски. Между тем «бетховенские» восторги вождей имели как раз самую понятную человеческую природу. Им лестно было услышать хоть какой-то резонанс своему прогрессистскому утопизму в творениях гения, и восторгались они не Бетховеном, а собой. Недаром же А. Луначарский с безоглядным анахронизмом восклицает: «Бетховен — художник восходящих классов!» И одновременно объявляет Чайковского певцом «классов разбитых и безнадежных» (статья «Музыка и революция», 1927).

[4] Например, «Фортепианная пьеса — IX» (1954) вновь создается в 1961 году; «Фортепианная пьеса — XIII» (1958) входит в оперу «Суббота» из цикла «Свет» (1981); «Знаки зодиака» неоднократно заново сочинялись с 1975 года (в московских концертах Штокхаузена в 1990 году исполнялся вариант 1983 года).

## Финал, он же прелюдия: «непонятность» новой музыки

XX веку осталось всего-то семь лет, а Новая музыка XX века все еще как бы в будущем, все еще — «музыка будущего» (Р. Вагнер). Ее понимание постоянно отодвигается в завтрашний день — даже там, где она реально включена в культурную жизнь (то есть не у нас). Однако не стоит спешить с сокрушениями по поводу «отложенного понимания» современной композиции.

Во-первых, не во всем следует искать переводимости на язык внятных нам определений — таково одно из «посланий» Новой музыки. Когда музыка отдаляется

от нашего понимания, она учит непреложности факта, аналогичного факту природному, обходящемуся без толкований. При этом сама эта музыка окружена толкованиями — едва ли не каждый значительный новатор XX века представлен не только нотами или пластинками, но и томами статей о собственном творчестве и творчестве близких по направлению коллег. Однако тенденция композиторских комментариев такова, что, словно темная ниша, делающая более ярким свет свечи, словесное оплетение музыки, вроде бы рационально объясняющее ее замысел и способ делания, только оттеняет принципиальную непонятность задуманного и осуществленного. Недаром есть и такие музыкальные произведения, которые состоят в пародийном толковании музыки. Например, «Для сцены» М. Кагеля (1959—1960) — лекция о современной музыке, комментируемая инструменталистами и танцорами и постепенно сползающая в полнейшую невнятицу.

Комментарий композиторов нацелен не столько на объяснение, сколько на эффект горизонта: постоянно отодвигаемого понимания, которое — именно в своем ускользании — как бы включено в музыкальный смысл. Предчувствие догадки, явственное сквозь неясность, и есть то, чему призывает внять Новая музыка. Она впервые художественно освоила особое состояние сознания: «предпонимающее» ощущение, чувство «предпонимания».

Не случайно эта грань духовной жизни открылась искусству именно теперь — в эпоху массовой информации и массовых культурных форм с их упором на сенсационную самоочевидность любого, даже самого бессмысленного, сообщения, всякого, даже необъяснимого, смысла, каждого, пусть сокровенно-таинственного, образа. «Вопрос, оставшийся без ответа» — это музыкальный ответ эпохе заведомо понятных ответов, за которыми уже нет никаких подлинных вопросов.

Вот хотя бы это и надо иметь в виду, слушая Новую музыку XX века.

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

**Читайте в следующем номере:**

**АЛЕКСЕЙ ПУРИН**

**Набоков и Евтерпа**

.Таким, мастерским и волшебным, гимнастическим упражнением на литературном снаряде с последующим, мягким и фиксированным, точным приземлением на черный мат фабулы начинается книга, озаглавленная «Дар»; и вдумчивый читатель сообразит: речь в ней пойдет о писательском даровании главного героя — Федора Годунова-Чердынцева, мы даже сказали бы — лирического героя...

..Зина Мерц скажет лирическому герою «Дара»: «Я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова» Конечно же, это о Набокове. Проза Набокова — обходной маневр, посредством которого посредственный стихотворец обрел поэтическое бессмертие..

...Между «Лолитой» и «Даром» лежит мировая война и Атлантический океан, эти книги разительно не похожи, но мир набоковской прозы — един. Его «автобиографическая» русская ветвь тесно переплетена с той, которая содержит «Лолиту». Комплекс набоковских романов не образует линейного цикла, это скорее вечное возвращение, восходящий повтор. В сущности, это поэтический принцип; так строятся стихотворные комплексы Осипа Мандельштама или Георга Тракля. Это своего рода стрельба в десятку...

..«Лолита» и «Дар» — два крылышка описываемой мной лирической бабочки, которые, заметим, при вертикальном складывании совпадают многими точками своего рисунка...

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

*

## пРОЗА МИРА

Но сложное понятней им
*Б Пастернак*

Кажется, странной выйдет эта статья. О литературе — и не столько о ней. О презумпции реальности — и не столько о ней. О двух неотторжимых «линиях» традиционной русской культуры, об их внутренней несовместимости и об их трагической неразделенности. О демифологизированной прозе и о политической мифологии. Критика не критика, публицистика не публицистика, эссе не эссе; однако надеюсь, что и не «взгляд и нечто».

Но сначала — о двух сочинениях двух современных прозаиков, разновозрастных, никак между собою не связанных, теплую компанию не составляющих (не знаю — читавших ли друг друга вообще).

Прохор Меньшутин, герой повести Марка Харитонова, входящей в ту же трилогию, что и роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», перебирается в провинциальный город Нечайск. Тихий, прохладно-таинственный дом на окраине, близость тенистого пруда, упокоение полугородской провинции, хранящей уклад размеренной жизни... Прохор служит директором нечайского Дома культуры, у него умирает жена, растет дочь — и постепенно смыслом его жизни становится организация городского праздника, спектакля, в котором был бы задействован весь город. Культуру — в массы, главное не победа, а участие, из всех искусств для нас важнейшим... И лишь постепенно полумистический замысел Прохора проступает сквозь сентиментальный и социальный антураж: он не ставит пьесу, он ставит жизнь, организуя ее по законам «бродячего» сюжета о Золушке и каждому отводя в ней жестко определенную роль. Переезд в провинцию, многолетнее унылое существование, даже смерть жены наделяются «семиотическим» смыслом, перестают быть просто переездом, существованием, смертью, но организуются в трехчастную экспозицию, вовремя уступающую место завязке и приуготовляющую кульминационный взрыв. Главная же роль отводится дочери, Зое — она должна пройти испытания Золушки и, потеряв хрустальную туфельку, пасть в объятия принца. «Падение» в бездну счастья как раз и намечено на финал общегородского праздника, на финал жизни Прохора: ясно, что, осуществив постановку своей жизни, он должен будет уйти за кулисы и опустить занавес...

Под конец повествование Харитонова сгущается до неимоверности; ясный идиллический слог начала повести сменяется стилевой бурей итога: «почернело синее море». Трение «бедной существенности» о бетонные берега ограждающего ее меньшутинского сюжета усиливается до крайности, ей все теснее в нем; она ищет выхода в родную неоформленность и неорганизованность. Но театральный замысел Прохора, призванный своей стройностью и масштабностью заметить простоватый, недостаточно возвышенный, но от Бога данный естественный смысл жизни, замешан круто. (Не забудем — в жертву принесено все, даже смерть жены предстает неявным «жертвоприношением».) Только в самое последнее мгновение Зоя обнаруживает разлом, находит «бытийственную щелку», в которую можно ускользнуть, пока часы не пробили полночь и выход из меньшутинской сказки не закрылся навсегда. Замысел разрушен, смысл обретен заново, жизнь Меньшутина разрешается в ничто. Грустно, но не до конца безысходно.

В повести Андрея Дмитриева «Воскобоев и Елизавета», появившейся в июльской книжке «Дружбы народов» за 1992 год и продолжающей «хновский» цикл этого «тридцатилетнего» прозаика (в том же журнале, № 1, 12 за 1991 г.), все гораздо трагичнее. Лишенный права полетов, военный летчик Воскобоев остается без цели, придававшей его жизни вкус и остроту; пресный провинциальный городок Хнов засасывает летчика в свою трясину (городок окружен болотами); майор Трутко,

интересующийся литературой и в свободные от полетов часы переписывающийся со столичным литературоведом Зоевым, вводит Воскобоева в краткий курс сюжетологии, то пересказывая ему «Бедную Лизу» и «Жизнь в лесу» (понятное дело: руссоистский ряд), то рассуждая о стихах Анненского (утонченное уныние). Сюжеты эти накладываются на бессюжетье воскобоевской жизни, не вытесняя ее окончательно, но применяясь к ее обстоятельствам, спутываются с ней (так спутывается само повествование: первая фраза дмитриевской повести незаметно для читателя повторится в «пробе пера» майора Трутко, отправленной критику Зоеву и перехваченной военным цензором). И в развязке Лиза и Эраст поменяются местами, а естественная жизнь в окружении хновских лесов сомкнется с болотным чавканьем над головами героев: затонувший в пучине литературных смыслов Воскобоев кончает с собой.

Но это — лишь первая развязка; есть и вторая.

Литературовед Зоев, наконец-то собравшийся в Хнов, к майору, чей литературный пыл он безуспешно пытался остудить своими письмами, попадает на поминки — и мы не сразу понимаем, что это поминки не по Воскобоеву, а по майору, тоже оборвавшему свою жизнь. Но если уход Воскобоева был ложно мотивирован внешними, житейскими неудачами, то самоубийственный сплин майора ничем иным, кроме как «вертеровским» комплексом, литературным поведением, не объяснишь. И все это — на фоне непрописанных, лишь едва намеченных реалий «предолимпийского» 1979 года, в конце которого тех, кто оставил себя в живых, ждет Афганистан: «к черту на рога», где «жарко будет», как в традициях романтической демонологии изъяснится командир части. (Вольно или невольно здесь повторена концовка довоенного фильма «Тимур и его команда»: отец Жени, уезжая в «служебную командировку», на вопрос, в мягком ли он поедет, с таким великодушным сарказмом отвечает: «в мягком», что патриотически настроенному зрителю не приходится сомневаться: «Броня крепка и танки наши быстры».)

Уж не знаю, каким литературным слухом надо обладать, чтобы подобно Н. Ивановой (см.: «Столица», 1992, № 39) расслышать в камерном звучании дмитриевской повести лишь бормочущий «пересказ на современный лад» бессмертного сочинения Карамзина о Лизиной смерти. Да, наряду со множеством других классических сюжетов, «Бедная Лиза» — в который уже раз на протяжении русской литературной истории[1] — обыгрывается Дмитриевым, используется как фон и как сюжетная закваска. Подобным образом у Харитонова используется мотив «Золушки», следует ли из этого, что он перепевает Шарля Перро? При этом я не хочу включаться в бесконечные и, на мой взгляд, бессмысленные споры о русском постмодернизме[2]. Перед нами обычная — рутинная, можно сказать, работа «культурного» писателя с сюжетно-тематическим фондом классики; работа, требующая предельного напряжения художественных сил, ибо вписать новый дом в старинный архитектурный ряд куда сложнее, чем возвести сногсшибательный новострой на пустыре. Впрочем, это слишком самоочевидно, чтобы нуждаться в обсуждении. Куда важнее другое.

И Дмитриев и Харитонов в неприкосновенности воспроизводят одну из самых устойчивых — ибо исполненных особого, сверхлитературного смысла — сюжетных моделей отечественной словесности. Красивый «художественный» замысел вторгается в обыденный строй российской жизни или в мерный ход ее истории, и либо отторгается ее органической структурой, либо демонически разрушает «органику», либо неожиданно растворяется в ней без остатка, как будто его и не было. Вспомним пушкинские «Повести Белкина», где герои то замышляют волнительный «балладный» побег, то в традициях «готического романа» намереваются устроить вечеринку с покойниками, а получают куда более немыслимую «бытовую» развязку; «Медный Всадник», который открывается переустроительным и величественным замыслом безымянного царя, демиургически творящего из бедной, убогой природы свой «государственный текст», а завершается тем же самым «непереустроенным» российским пейзажем; вспомним «Войну и мир» с ее гениально-назойливым лейтмотивом предустановленности истории, бесполез-

---

[1] Подробнее о рецепции «Бедной Лизы» в русской литературе см. соответствующую статью А. Зорина и А. Немзера в книге «Столетья не сотрут...» (М. «Книга». 1989).

[2] О западноевропейском постмодернизме можно думать что угодно, но отрицать выстраданность его этической и эстетической «pluralia tantum», множественности, его социальную и философскую укорененность во всем послевоенном бытии Западной Европы не приходится. (Подробнее см. очерк «восходящей звезды» немецкого философского постмодерна В. Вельша: Welsch. W. Ästetisches Denken. Stuttgart. 1990.) То же, что творится сейчас у нас, следует скорее считать игрой в постмодерн, а учитывая роль «игры» в системе «нормального» постмодернизма, это — игра в игру.

О работе Вельша, переведенной на русский язык, см. на стр. 252—253 настоящего номера журнала.— *Прим. ред.*

ности попыток вмешаться в ее ход, презрительным изображением политиков как «художников от истории» и сквозной метафорой веретена, часов, токарного станка — всего, что вращает, кружит, втягивает; и так вплоть до «Мастера и Маргариты», где Вельзевул, прибывая в Москву, обосновывается в «художественной» среде, на которую делает свою мрачную ставку; вплоть до «Охранной грамоты», заявившей, и «Доктора Живаго», увенчавшего пастернаковскую философию художника как с в и д е т е л я истории, не участвующего в ней, но и не отрекающегося от нее...

Все это настолько въелось в плоть русской культуры, что Александру Иванченко, задумавшему с н я т ь трагедию советской эпохи, разомкнуть цепь принесенных ею страданий в область блаженного не-деяния (роман «Монограмма», «Урал», 1992, № 2, 3, 4), пришлось вообще отказаться от отечественной традиции и погрузить свою укорененную в русской истории и русской словесности героиню Лиду Черновол («Ее отцу Емельяну был пожалован заячий тулупчик. Ее мать Марина наложила на себя рýки в Елабуге. Ее дед умер на станции Астапово. В свое атласистое, с корридой, имя она облекалась как в плащ») в буддийский мир, как бы п е р е у к о р е н и т ь ее[3]. В Лидиных медитациях по замыслу писателя должны были соединиться и перетечь друг в друга эпизоды мучительных судеб ее рода (с потрясающей силой написаны сцены высылки на Урал) и обильные фрагменты переведенных Иванченко буддийских текстов. Я искренне преклоняюсь перед писательским мужеством Иванченко, пошедшего наперерез читательским привычкам; я, кажется, понимаю, ч е г о он хотел добиться, вгоняя в плоть романа вероучительные клинья; я вижу, как в финале он пытается синтезировать два взаимоисключающих пласта своего повествования, отводя Лиде роль Шестого патриарха и венчая роман словами о достигнутой желанной Пустоте. Но вослед А. Немзеру полагаю, что в «Монограмме» «буддизм одолел суетное российское бытие»[4] только формально, да и то лишь благодаря замечательному мастерству Иванченко, его умению вести сюжетную линию железной рукой.

Даже если бы основной объем не был здесь «съеден» неудобочитаемыми выдержками из «Алмазной сутры», даже если бы эти философемы были художественно мотивированы, наподобие того, как историософский финал «Войны и мира» подготовлен всей повествовательной энергией эпопеи, вспениваясь на вершине ее эмоциональной волны, все равно — пластика русского «романа воспитания» отторгла бы чужеродную ткань; упругое «вещество повествованья» не смирилось бы с подчинением реальности — замыслу о ней. И дело здесь не в буддизме; вполне христианский по намерению утопический роман Гоголя не случайно оборвался на невнятных главах (скорее всего так и не написанного) второго тома. «Бедная существенность» в системе русской литературы всегда обладает бóльшими правами, чем самый полновесный художественный образ, а искусство н е д о с т а т о ч н о н е в е р о я т н о, чтобы напрямую соприкасаться с российской реальностью, н е д о с т а т о ч н о н е м ы с л и м о, чтобы конкурировать с поворотами российской истории, и с л и ш к о м м о т и в и р о в а н н о, чтобы всерьез противостоять силе и непредсказуемости бытовых развязок. Любое отступление от этого правила вело и ведет к творческому поражению.

Удивительно ли после этого, что столь значимым для нашей словесности оказался мотив невоплотимости «идиллического хронотопа» (любезного сердцу М. М. Бахтина и всех его неисчислимых последователей) в необъятном и грустном пространстве российской жизни? (Читатель Харитонова и Дмитриева с удовольствием отметит их верность и этой традиции. Рушится провинциальная пастораль Прохора Меньшутина; бездетное счастье русских Филемона и Бавкиды завершается в «Воскобоеве и Елизавете» иудиным грехом.)

Идиллия как жанр и пришла в Россию в XVIII веке, чтобы в своем чистом виде потерпеть полное и сокрушительное поражение. Ни одного сколь-нибудь заметного сочинения в идиллическом роде, построенного на р у с с к о м материале и п о л н о с т ь ю подпадающего под жанровую юрисдикцию, мы назвать не сможем[5].

---

[3] Я сознательно уклоняюсь от обсуждения темы л и ч н ы х религиозных воззрений Иванченко и говорю только о внутренне закономерном художественно-философском строе его романа.

[4] Немзер А., «Крик молчания. О романе Александра Иванченко „Монограмма"» («Независимая газета», 3.10.92, стр. 7).

[5] Ну, опыты круга А. А. Ржевского (не путать с анекдотическим поручиком). Ну, переложения из Геснера, Гебеля и Фосса, многочисленные переводы из госпожи Дезульер, неоцененные труды Вас. Перевощикова по внедрению в русскую словесность опыта «речных идиллий» Броннера, опыты А. Ф. Воейкова по реконструкции «идиллического мифа» в составе полижанровой и принципиально незавершаемой поэмы «Искусства и науки»... Исследования о «пастушеской поэзии» в России XVIII века имеются, одно из самых обстоятельных — Joachim Klein. «Die Schäferdichtung des russischen Klassizismus». Berlin. 1988); естественно, невозможно не упомянуть ставшую уже классической статью В. Э. Вацуро «Русская идиллия в эпоху романтизма» («Русский романтизм». Л. 1978, стр. 118—138). Кстати, анализ в т о р о с т е п е н н ы х явлений иной раз бывает интереснее и плодотворнее, чем вершинных пластов культуры.

«Феокритовы нежные розы» впервые были высажены на заснеженных просторах С.-Петербурга Николаем Гнедичем — действие его знаменитых «Рыбаков» развернулось на берегах Невы:

На острове Невском, омытом рекою и морем,
Под кущей одною два рыбаря жили пришельцы...

Дорога, давно нащупывавшаяся[6], наконец привела к цели, для появления дельвиговского «Отставного солдата» (чей отсвет через систему многократных литературных отражений от идиллии Павла Катенина «Инвалид Горев» через «Повесть о капитане Копейкине» и образ Платона Каратаева дошел до Ивана Денисовича) более препятствий не было:

Вы слышали ль, как заступился Бог
За православную державу нашу,
Как сжалился он над Москвой горящей,
Над бедною землею, не посевом,
А вражьими ватагами покрытой...

Но не было более и препятствий и для самоуничтожения жанра! Войдя в плотные слои российской атмосферы, став русской по теме, по реалиям, по духу, идиллия почти мгновенно вывернулась наизнанку и, превратившись в рассказ о том, *как идиллия невозможна* («Конец Золотого века» Дельвига — кульминационный пункт), самоуничтожилась. Зато она стала философским и сюжетным импульсом для *едва ли не всех* вершинных творений русской классики. От «Старосветских помещиков» Гоголя, так важных Харитонову в его построениях, до «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Барышни-крестьянки», столь значимой для Дмитриева; от самоочевидных жанровых реминисценций в «Обломове» и левинских глав «Анны Карениной» до «Прощания с Матёрой».

И всюду — идиллический план разрешается в трагедию, а идиллическая игра оборачивается высокой серьезностью обыденных последствий. Смерть приходит к Пульхерии Ивановне прямиком из райского сада; Каренина, минуя предложенный Толстым идеал левинской, научно организованной пасторали, падает под колеса поезда; «ночная фиалка» Блока окутана болотными испарениями; а бесконечные пасторали «деревенщиков» разрешаются в крах, утраты, потоп, войну, коллективизацию...

Тут бы и пуститься в блаженно-самодовольное плавание мысли, тут бы и начать нахваливать здравость родной культуры, ее стоическую трезвость, защищенность от соблазна «эстетизации» жизни и мужественное приятие неидиллических законов земного бытия... Еще бы хорошо противопоставить эти ее достойнейшие качества западным литературным концептам; в который уже раз сравнить «типовой» русский сюжет (в начале романа у героя все есть — деньги, семья, работа, но нет смысла жизни; в конце же, напротив того, все потеряно, а смысл жизни зато обретен) с «типовой» западной фабулой (финальная сцена: некогда несчастный герой получает чек на миллион долларов и благоустроенную жилплощадь). Еще бы неплохо привести десяток-другой народных пословиц... Увы, ничего не выйдет. А почему — поможет понять еще одно сентиментальное сочинение на трагическую тему.

---

...Розенбаум в Афган слетал,
С кровью красною, чужою
Сопли сладкие смешал...

*Т. Кибиров.*

В 80-е годы в советском культурном пространстве не очень мирно сосуществовали две «исторические» серии: «Жизнь замечательных людей», выходившая в «Молодой гвардии», и «Писатели о писателях», издававшаяся «Книгой». И в той и в другой появлялись повествования достойные (в «ЖЗЛ» — несопоставимо реже, чем в «ПП»), а также с трудом выдерживающие критику (в «ПП» — несопоставимо реже,

---

[6] Еще в 1789 году Н. М. Карамзин напечатал «русскую истинную повесть» «Евгений и Юлия»; славный сентиментальный однофамилец автора «Воскобоева и Елизаветы» Иван Дмитриев продолжил поиск, превратив «Glucére» Беранже в идиллию «Людмила» (1805); попытки в том же духе предпринимал и Федор Глинка — «Лука да Марья. Народная повесть» (1818)... Но все это суть именно пробы, поиски, попытки. Не более того.

чем в «ЖЗЛ»); и та и другая ориентировались на свой круг авторов, прорваться в ряды которых не каждому было дано; но различались они прежде всего не уровнем, не «жанровым типом», не «авторским активом»; различались они исходными историософскими установками. Если оставить в стороне исключения (к ним в молодогвардейской серии при некоторых существенных оговорках следует отнести «Гоголя» Игоря Золотусского, книгу Бориса Тарасова о Паскале, эйдельмановского «Лунина»...), то «ЖЗЛ» исходила из презумпции тайны, «ПП» — из презумпции факта. «Типичные» молодогвардейские авторы (Ю. Лощиц, М. Лобанов, Ю. Селезнев...) за каждым событием в жизни героя стремились узреть нити заговора, направленного против него лично и против России в целом: масонского ли, сионистского ли, иезуитского ли, но непременно исходящего от некоей потаенной и разветвленной организации. «Типичный» автор серии «Писатели о писателях» если и говорил о «таинственном», «загадочном» в жизни героя, то связывал это с неуправляемостью и загадочностью самого потока истории, непознаваемостью его субстанции; а чаще всего обходил такие материи стороной; не случайно практически ни в одной из книг серии мы ничего не найдем о религиозной жизни России XVIII—XIX столетий (разве что на уровне разговора о «нравственных исканиях»).

Именно тогда и заявил о себе Леонид Бежин — ныне известный беллетрист, а поначалу славный китаист, исследователь школы «ветра и потока»[7]. Книга его о Ду Фу, вышедшая в «ЖЗЛ», была свободна от жестких норм «ЖЗЛовской» идеологии — уже потому хотя бы, что во времена Ду Фу масонов еще не было, а ритуально-талмудический заговор в средневековом Китае потерпел, как известно, сокрушительное поражение. В те годы (а следуя филологической моде, я был в курсе актуальных проблем брахманизма, итальянского гуманизма, структурной антропологии и за успехами отечественной синологии следил с куда большим интересом и тщанием, нежели за текущей словесностью, интерес к которой гуманитарной средой не поощрялся) казалось, что издание Бежина в «ЖЗЛ» — приятное исключение или тактическая уловка, что н и ч е г о общего между его ощущением истории и «серийной» концепцией нет...

Прошли блаженные времена. Где теперь китаистика Бежина? А беллетристика — вот она; причем в последнее время принявшая новое направление.

В позапрошлогодней «Литературной газете» была напечатана бежинская повесть, тщательно загримированная под очерк, где писатель поведал миру, как пытался служить главным редактором новосозданного писательского издательства и как из этого ничего не вышло. Бежин ничего не домысливал и не привирал, рассказывал «как оно было на самом деле»; с мастерством, заставлявшим вспомнить «Алмазный мой венец» Валентина Катаева, рисовал узнаваемые портреты литературных деятелей, придумывая им на редкость точные клички. Но описываемая реальность исподволь остранялась, сгущалась в жизнеподобный миф и в конце концов с н и м а л а с ь.

Особую роль при этом играла двойственная интонация: наивно-ироничная, доверительно-подначивающая, она так удачно рифмовалась с маской сентиментального созерцателя, старомодного «книжного» славянофила, согласившегося войти в клетку со славянофилами «натуральными» и вместо собратьев по разуму внезапно обнаружившего в ней обитателей джунглей, снежных людей от культуры. Автор посмеивался вроде бы только сам над собою, в худшем случае над своими героями-соиздателями; но я как читатель не мог избавиться от неприятного ощущения, что Бежин и надо мной посмеялся, и меня «просчитал», «снял», превратил в «затекстового персонажа» повести. Причем сделал это не так наступательно и жестко, как автор заведомо провокационного романа «Бесконечный тупик» Дм. Галковский[8]; а исподволь, «как бы резвяся и играя». Именно тогда у меня зародилось смутное подозрение, что Бежин не написал повесть по живым следам своего неудачного редакторства, а р а з ы г р а л е е с ю ж е т в ж и з н и, чтобы з а т е м описать в л и т е р а т у р е как с л у ч а й и з ж и з н и и тем самым добиться сверхреалистического эффекта. То есть, что он пошел служить в издательство, з а р а н е е зная, чем дело кончится, и сознательно стремясь с п р о в о ц и р о в а т ь придуманный литературный конфликт.

Либеральные друзья разуверяли меня: он не игрок, а гражданин, он борется с антисемитами, он друг всего прогрессивного и враг всего реакционного, а ты... Я же в гражданских достоинствах Л. Бежина не сомневался и не сомневаюсь; просто пытаюсь описáть его новый м е т о д — когда не бытие проецируется в словесное

---

[7] Б е ж и н Л. Под знаком «ветра и потока»: образ жизни художника в Китае III—VI веков. М. «Наука». 1982.

[8] С неудовольствием отсылаю читателя к распечаткам фрагментов из этого поистине бесконечного сочинения, которое нужно читать — если вообще читать — только целиком, в нерасчлененном виде. См.: «Наш современник», 1992, № 1, 2; «Новый мир», 1992, № 9, 11; «Москва», 1990, № 12.

пространство, но сама реальность переконструируется под словесные нужды. Когда манипуляции совершаются не с персонажами, а с людьми.

Теперь Бежин написал повесть из совершенно другой жизни — и опять стилизовал свое сочинение под жизнеподобный, документальный жанр, так что журнал, в который я сейчас пишу, не решился печатать ее в разделе прозы, а отправил в «Дневник писателя»: «Усыпальница без праха. Записки сентиментального созерцателя» («Новый мир», 1992, № 8). Боюсь, профессиональные историки сведут обсуждение этой вещи к очередному спору о вероятности/невероятности ухода Александра I Благословенного из таганрогского дома и появления в образе старца Феодора Кузмича,— а именно по следам старца путешествует «сентиментальный созерцатель» Бежин. Вопрос о «святой жизни старце» Феодоре Кузмиче необычайно важен — даже вне всякой зависимости от вопроса об уходе Александра I. Но сейчас куда более существенно иное.

Ушел или не ушел Александр I, его царствование — одна из самых красивых и самых горьких страниц русской истории; был или не был старец Феодор Кузмич в своей прежней жизни Помазанником Божиим, его образ — один из самых светлых и значимых в церковной истории последнего предреволюционного столетия. Если оставить в покое блистательно-остроумную и пародирующую Солженицына поэму Давида Самойлова «Струфиан», то два «главных» обращения к теме александровского ухода — пушкинская поэма «Анджело» и «Посмертные записки старца Федора Кузмича» Л. Н. Толстого задали ее трагическую высоту; Пушкин бился в «Анджело» над мучившей его — и так и не разрешенной им — проблемой государственной милости и царственного безволия, Толстой сквозь призму «Посмертных записок...» з а г л я д ы в а л в даль своего собственного ухода, а уходя из Ясной Поляны, совершенно очевидно о г л я д ы в а л с я на томскую заимку бывшего монарха. И Пушкин, и Толстой связывали тему у х о д а с многомерностью русской истории, многовариантностью человеческой жизни, заведомой непредсказуемостью «хода вещей». Что ищет в ней Леонид Бежин?

Трагедию «князя, сына человеческого», раскаявшегося в гордыне, признавшего свое монаршее поражение и ушедшего искать спасения «во глубину сибирских руд»? Или красивую легенду о царственном мистике, театрально обманувшем приближенных и тонко разыгравшем купца Хромова и всех своих сибирских почитателей... кем я был, а кем стал... я только воробышек, перелетная птичка... Систему российских ценностей, в которых участь старца на сибирской заимке несоизмеримо выше участи победителя Наполеона, Государя полумира? Или он хочет — в который уже раз — противопоставить «милостивого» Александра «жестокому» Николаю и предать умолчанию тот несомненный факт, что николаевское царствование, так величественно начавшееся, подорвалось именно на «александровских» минах: декабристском движении, военных поселениях и польской конституции (бунт и восстание 1831 года)? Или — он собирает материалы для будущего жития сибирского старца?..

Есть в «Усыпальнице без праха» и рассуждения о трагедии, и восхищение легендой, и слова о святости, и противопоставление «небесной» логики русской истории — «земной логике» культуры западной, и осуждение Николая. Но не о том и не о тех написана эта повесть.

Она — о сентиментальном путешествии прозаика Леонида Бежина за шапочкой старца Феодора Кузмича; о психологии и радостях человека, занятого отколупыванием вещественного слоя времени и созерцанием чужих трагедий в мягком свете уютного абажура. Именно поэтому профессиональный гуманитарий, искушенный историк Леонид Бежин всеми доступными средствами создает образ п р о с т о д у ш н о г о повествователя. Сто пятьдесят раз повторяя: «Собственно, автор этих строк, фигура отчасти условная, и есть такой романтический и сентиментальный созерцатель, а вовсе не дотошный историк, замуровавший себя в архивах». Демонстративно перевирая факты, которых н е м о ж е т н е з н а т ь. (Вопреки утверждаемому Бежиным, старец Феодор Кузмич н е п р и ч и с л е н пока к лику святых; об уходе Александра I н е м о г л и поговаривать «среди декабристов, к которым Пушкин был близок», а он н е м о г никак «относиться» к этим разговорам затем, что уход Александра Благословенного — в смерть ли, в странствие ли по Руси, и стал поводом для декабрьского выступления, а Пушкин в ту пору вообще пребывал в Михайловском; Пушкин н а п и с а л о своем царственном тезке, и не только в «Анджело» — перечитайте сердцевину «Медного Всадника»; Н. Я. Эйдельман н е п р и в о д и т «в одной из своих работ» свидетельства о ч е в и д ц е в вскрытия царской гробницы в 1921 году,— но как раз наоборот, подчеркивает в последней своей книге о Владимире Раевском[9], что н и о д н о г о п р я м о г о с в и д е т е л ь с т в а этого

[9] Э й д е л ь м а н Н а т а н. Первый декабрист. Повесть о необыкновенной жизни и посмертной судьбе Владимира Раевского. М. Политиздат. 1990.

вскрытия не сохранилось, все косвенные; вершиной же бежинского «антигуманитарного бума» следует считать указание на книгу «академика В. Николаева» «Александр Первый — старец Федор Кузмич» как на вероподстойный источник: я ни за что не поверю, что человек, с легкостью необыкновенной рассуждавший о философии Гегеля и Чжуан-цзы, способен не отличить дилетантскую поделку вроде труда «академика В. Николаева», где ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет[10].) И если сентиментальные повествователи у Харитонова и Дмитриева в полном соответствии с русским сентиментальным и идиллическим каноном отколупывают благостную оболочку «пасторальной» жизни русской провинции, чтобы открыть под ней неиссякаемый источник трагизма, то сентиментальный созерцатель у Бежина пытается отколупнуть «реальный» слой русской истории, чтобы заглянуть в нее с таинственной изнанки. И если сжать смысл бежинской повести до нескольких предложений, то она — о том, как неинтересно заниматься историческим процессом во всей его данности и вослед Карамзину и Толстому решать, кому принадлежит история — царям, народам или Единому Богу? Она — о том, что история хотя и не управляется злоумышленными заговорщиками, но тем не менее всецело принадлежит театрализованной тайне и что деятели ее обращаются с нею так же, как обращался со столичным издательством сам Леонид Бежин: провоцируют на задуманный результат. Именно поэтому в центре бежинских интересов оказывается Александр Благословенный, задумавший и воплотивший свой уход, чтобы издалека любоваться результатом.

Какой красивый ход пропадает! С каким изяществом можно было бы вернуться мыслью к синологическому прошлому Леонида Бежина и еще раз вспомнив о «буддийском фоне» «Монограммы» Александра Иванченко, объяснить все отступлением от здравой русской традиции, отказом от отечественной трезвости в пользу пьянящей юго-восточной мечтательности... Но...

«Китайский» фон в повести Бежина действительно присутствует; самый метод литературной игры с реальностью был сначала описан Бежиным в книге «Под знаком „ветра и потока"» и лишь затем, спустя годы, «опробован на практике»; однако все списать на китайские происки решительно невозможно. «Сентиментальный созерцатель» укоренен в отечественную традицию столь же основательно, как и Дмитриев с Харитоновым; просто традиции — разные. Лейтмотивом проходящая через всю повесть фраза «Я не исторический труд пишу, а...» — есть не что иное, как раскавыченная цитата из «Розы мира» Даниила Андреева, да и прямые ссылки на эту (на протяжении 1992 года не раз переиздававшуюся) книгу великого русского мистика в «Усыпальнице без праха» содержатся.

...И тут я впадаю в «полную немоту». Легко быть свободным, обсуждая сочинения Л. Бежина: наш с ним опыт сопротивления коммунизму в уютном кресле-качалке приблизительно равен; но как забыть, в каких условиях создавалась «Роза мира», какой ценой оплачено мистическое видение Андреева и чем оно было и стало для сотен и сотен людей, его глазами смотревших из-под глыб советской истории в метаисторическую даль... Спокойный разбор «Розы мира» остается делом будущего, когда многое отболит. Единственное, о чем уместно говорить уже сейчас, это о неизбывно русской склонности к отвержению существенности ради приобщения к тайне, при отказе смириться с непознаваемостью этой тайны и при готовности отдаться во власть любому учению, которое предложит ключ к ее постижению, даже если оно будет противоречить личным религиозным воззрениям созерцателя[11]. Русскому историософу мистического направления мало сказать: славянское язычество не было до конца побеждено христианством и, не устраненное, век от века христианизовалось; нужно выразиться всеохватнее: «...создается впечатление, что враждебному натиску христианского мифа кто-то все время ставил как бы некий предел, кто-то, век за веком, оберегал слабые грядки праироссианства от

---

[10] Достаточно того, что американский «академик» пишет, будто старец Феодор Кузмич объявился в Красноуфимске в год кончины преподобного Серафима Саровского; и таких странных сближений в его книге — множество.

[11] Ср.: «Заявляю торжественно: поклоняюсь Святому Духу, чту Его и молюсь Ему с таким же благоговением, как другие христиане; и не могу видеть не только хулы на Него, но ни малейшего принижения Его образа в той идее, что Он есть Бог-Отец и что Бог-Отец есть Бог Святой Дух,— что это два именования одного и того же — первого — лица Пресвятой Троицы. И подчеркиваю, что высказываю здесь свое личное мнение, ни на что не претендующее... Подтверждено оно было и той высшей инстанцией, которая остается для меня единственным решающим авторитетом»; «...великий враг не дремал, и даже на книгах Нового Завета явственно различается местами его искажающее прикосновение... проникая в человеческое сознание авторов Евангелия, он сумел извратить многие свидетельства, исказить и омрачить идеи, снизить и ограничить идеал, даже приписать Христу слова, которых Спаситель мира не мог произнести» (Андреев Даниил. Роза мира. Метафилософия истории. М. «Прометей». 1991, стр. 120, 114).

вытаптывающей поступи воинствующей церкви» (Д. Л. Андреев). Мало сказать: в движении истории явственна непредугадываемая воля Провидения; это слишком просто, необходимо подыскать что-нибудь посложнее и поглобальнее: этнобиологическую концепцию внеземных облучений (Л. Н. Гумилев). Мало указать на Воскресение Христово как на залог нашего личного спасения; нужно задумать проект научного воскрешения из мертвых как неустранимой цели человечества (Н. Ф. Федоров)... Трагичность «русской идиллии» непостижимым образом встречается с эйфорией «русской утопии», а трезвость русской словесности — с возбужденностью русской историософии. Когда русская литература заводит речь о настоящем, она не страшится простоты и обыденности; когда русская мысль пускается в путешествие по прошлому или будущему, она сразу теряет голову.

Но глобальное учение, всесильное, ибо верное, должно быть не просто религиозным, оно должно быть — художественным, ибо только образ способен покрывать собою все возможные объяснения необъяснимого, только он способен убеждать помимо контроля разума. Тот, кто читал «Розу мира», должно быть, не раз ловил себя на мысли о сходстве написанного Андреевым с миром «христианской фантастики» Клайва С. Льюиса. Но вся катастрофическая разница между ними заключена в том, что образ для Льюиса — это только образ, иллюстрация к тезису; образ для Даниила Андреева — это все. Но при этом собственно художественного значения его утопия — как и утопия Федорова — лишена; «Роза мира» написана на той странной смеси социально-политического («Тогда откроется практическая возможность к осуществлению цепи широких мероприятий ради превращения конгломерата государств в монолит, постепенно преображаемый двумя параллельными процессами: внешним — политико-социально-экономическим и внутренним — воспитательно-этико-религиозным») и романтически приподнятого стиля («...великие леса надежно хранили в своей глубине связь человеческого существа со стихиалями; и волхвования кудесников, игрища во славу творческих сил, чары колдунов, обряды, связующие человека с незримыми обитателями и хозяевами Природы, длили свое существование»), на какой только и может писаться художественный проект, предназначенный для внедрения в плоть истории.

---

Нет ничего опаснее, как смотреть на реальность истории «литературным» взглядом, выискивая скрытые мотивировки, обманные ходы и конструируя из принципиально разомкнутого в пространстве и времени бытия замкнутый «метаисторический текст». История настолько невероятна, настолько лишена чувства меры в «подстраивании» случайных встреч и символически совпадающих событий, что похожа скорее на крайне надуманный мелодраматический роман, чем на высококлассное сочинение реалистического писателя. Поэтому, когда чтимые нами писатели, историософы, публицисты вдруг начинают рассуждать о тайных заговорах «подземного политбюро» против России и ее народа и необходимости искать скрытых врагов, чтобы расправиться с ними по законам военного времени, это не есть драма талантливой бесчеловечности (в чем обвиняли всех — от Константина Леонтьева до Василия Розанова и Павла Флоренского), но есть трагедия безудержного эстетизма. Самый печальный — для меня — пример такой трагедии — «православная журналистика» Сергея Нилуса. Имя его в либеральной среде принято произносить сквозь зубы; в среде церковной с пиететом; при том, что первые знают Нилуса лишь как издателя «Протоколов Сионских мудрецов», а вторые прежде всего как автора книг «Великое в малом», «На Берегу Божьей реки», безупречного свидетеля и летописца русской церковной (монастырской по преимуществу) жизни последних предреволюционных лет, ценимого в этом своем «свидетельском призвании» св. Иоанном Кронштадтским. Одни помнят, что он ввел в оборот фальшивку Третьего отделения, другие — что подарил православному миру, быть может, величайшее вероучительное прозрение столетия — беседу св. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым... Однако среди четырех книг С. Нилуса, переизданных репринтным способом Свято-Троицкой Сергиевой лаврой с уклончивыми послесловиями А. Стрижева, «Протоколы...» отсутствуют, и мало кто отдает себе отчет в том, что беседа св. Серафима, открывшая новые горизонты православного миропонимания, и «Протоколы...», в 1918-м именно по «нилусовскому» изданию переведенные в Германии председателем «Союза против засилия евреев» Г. фон Беком, изученные Гитлером и сослужившие ему хорошую идеологическую службу[12], не просто были переданы в мир одними и теми же руками, но и напечатаны под одной обложкой. Беседа в первой части «Великого в малом», «Протоколы...» во второй.

---

[12] Подробнее о С. А. Нилусе см.: Дудаков Савелий, «О „Протоколах Сионских мудрецов"» («Даугава», 1991, № 3-4).

Как могло такое случиться? Мне кажется, Нилус стал очередной жертвой «литературного» воззрения на историю. Будучи гораздо более чутким, нежели большинство его современников, он уже с конца XIX столетия ощутил приближение страшных — последних, как ему вослед В. С. Соловьеву казалось,— времен, леденящее дыхание «князя мира сего». Понять и смириться с тем, что заговор сатаны против Бога может осуществляться без «посреднических услуг» какой-то вечно неуловимой, всемирно разветвленной и неподвластной времени и пространству земной организации; что в каждую новую эпоху покупаются и продаются новые души и учреждаются новые «институции зла»; что предугадать и просчитать их появление невозможно именно в силу «внелитературного» (одновременно и предустановленного и случайного) характера земного мироустройства, он просто был не в состоянии. Именно поэтому он связал грядущее царство антихриста с надгосударственными, надпространственными и вневременными силами — папством, масонством, еврейством. И с точки зрения сюжетологии был по-своему последователен. Но с точки зрения собственно исторической... вспомним, в чьем «эсхатологическом ведении» находился воспользовавшийся услугами Нилуса национал-социализм; вспомним и то, чем начинаются «Протоколы...»: изображением двух «печатей антихриста»: шестиугольной звезды и звезды пятиугольной. Нилус как бы выбирал между ними; и нетрудно догадаться, какой выбор он сделал в соответствии со своей детективной логикой. Теперь вспомним, какой знак красовался все семьдесят лет на гербе страны, в которой мы жили.

Вспомним — и ужаснемся.

---

Священная история человечества, как она предстает в библейском изложении, начинается идиллией Эдема и завершается утопией Нового Иерусалима. Идиллией, навсегда утраченной в результате грехопадения. И утопией, которую предстоит оплатить страшной ценой последних времен. Этими пределами ограничено пространство мировой истории, как входом и выходом. Любая попытка восстановить Эдем и построить Новый Иерусалим внутри этих границ; любая интеллектуальная реконструкция и проекция обречены заранее. Расставшиеся с эстетической условностью и претендующие на историческую «вменяемость» идиллия и утопия превращаются в прошлое, которое навсегда прошло, и будущее, которого никогда не будет.

Это слишком хорошо ощутила русская словесность; это слишком плохо поняла русская историософия. Почему так? Каким образом в едином составе русской культуры совместились заведомо несовместимые полюса? Отчего она постоянно раскачивается между мужественной трезвостью и сухим пламенем пьянящей мечты? С какой стати сквозная философия ее литературы так подчеркнуто антилитературна и покоится на незыблемом основании презумпции реальности, доверии к бытию и вглядывании в поток истории, а ее историософия так подчеркнуто антиисторична, противонаправлена естественному ходу вещей, так пропитана литературщиной? Чем объяснить, наконец, что в строе русской культуры так трагичны последствия «прободения» литературы историософией, слишком часто приводившие самых лучших писателей к полной немоте, к жизни вне творчества, а значит, вне ее «художественного оправдания»? Можно привести примеры, в том числе и совсем недавние; но я сознательно не называю имен — и без того все мы слишком хорошо помним, как сначала тот или иной современный прозаик создавал литературный инвариант федоровской ретроспективной утопии, воссоздавал канон русской идиллии, а затем уходил в политику, чтобы предлагать рецепты ее сохранения. Поскольку же эта идиллия, во-первых, никогда не была и не могла быть похожа на свое литературное отражение, во-вторых, давно и безвозвратно утрачена, Градом Китежем ушла на дно, постольку политический плюсквамперфект таких рецептов незаметно превращался в футурум; ретроспекция оборачивалась утопией и речь уже шла не о терпеливом сохранении утраченного, а об ускоренном внедрении желаемого. В этот самый момент творчество покидало русского писателя, и он становился заложником своей политической программы, своей философической мечты.

Я не знаю — почему так. Я вижу только, что в этом недоверии к истории, недоверии к живой жизни культуры, в этом забвении того, что Бог Авраама, Исаака и Иакова не есть Бог мертвых, но живых и что Он из камней может создавать детей Своих, сейчас оказываются едины как левые, так и правые, как националисты, так и демократы...

И вновь рассол русской литературы призван избавить нас от мук семидесятилетнего похмелья. И вновь ей предстоит выбирать между русской историей и русской историософией, между Россией как вещью невидимой, в которую можно только верить, и Россией, которую надлежит любить такой, какой нам Бог ее дал, между умопомрачительной сложностью грез и обжигающей простотой любви.

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СВОБОДЫ

Речь пойдет об одном из важнейших истоков мучительного восстановления культурологических традиций в России — о всемирно известной теперь Московско-Тартуской семиотической школе, неотъемлемо связанной с именем Юрия Михайловича Лотмана.

Менее всего я претендую здесь на анализ трудов этой школы и деятельности ее признанного основоположника и бессменного лидера. Такой анализ для меня невозможен по двум причинам: во-первых, я всегда воспринимал работу этой школы извне (хотя и с достаточно близкого расстояния) и потому не взялся бы судить о конкретной роли каждого из участников в ее формировании, во-вторых, в ней объединилось столько звезд первой величины (не говоря уже о могучем втором эшелоне), что сравнивать их по вкладу в науку было бы пустым делом. Общим для большинства участников этой научной школы было весьма запоздалое формальное признание — почти все защищали докторские диссертации, уже будучи маститыми учеными, а В. Н. Топоров в разгар перестройки был избран сразу академиком, оставаясь кандидатом наук. Среди этой группы гениальных «кандидатов» Юрий Михайлович возвышался своим монументальным профессорством, которое подчеркивалось густыми (теперь, увы, поредевшими), длинными, рано поседевшими волосами (в 60-е годы признак почтенной старомодности) и знаменитыми пышными усами.

В начале 60-х годов семиотика связывалась не столько с литературой и культурой, сколько с точными методами в достаточно широко понимаемой гуманитарной сфере: тут и дешифровка забытых письменностей, тут и увлечение машинным переводом, и создание языковых моделей на основе формальных грамматик, и проблема искусственных языков, и все такое прочее. Во всем этом был привкус свежести, посягательства на традиционную гуманитарную науку и, менее декларируемый, оттенок противостояния господствующей идеологии, претендующей на обладание окончательной истиной в сфере знаний о человеке, добываемой якобы исключительно средствами исторического материализма. Недаром после второй Всесоюзной конференции по семиотике, состоявшейся в 1962 году, на ее устроителей обрушился гнев тогдашнего комиссара по идеологии и будущего академика Ильичева.

Общую атмосферу описываемой научной среды создавали молодые возмутители спокойствия, ниспровергавшие старые авторитеты и уверенные в своей причастности к великому делу перестройки гуманитарных (прежде всего филологических) наук на прочном фундаменте точного (более того, математического) знания. Именно тогда на филологическом факультете Московского университета было создано отделение структурной и прикладной лингвистики (так называемой ОСИПЛ), где молодых филологов легендарный Ю. А. Шиханович обучал основам современной математики. Казалось, рушатся междисциплинарные перегородки, в лингвистику ринулись люди с профессиональной математической и инженерной подготовкой.

Что касается Юрия Михайловича Лотмана, то он как бы одновременно и принадлежал этому движению (был в нем уважительно признан, хотя его область интересов с точки зрения энтузиастов-новаторов виделась лишь боковым ответвлением — одним из не самых многообещающих приложений общего запаса структуралистских идей), а с другой стороны, и не принадлежал, ибо с самого начала тяготел не к созданию формальных моделей тех или иных гуманитарных феноменов, но к постижению самого феномена культуры. Более того, он явно стремился подойти к этой задаче в лучшем смысле слова по-профессорски, то есть профессионально, то есть дисциплинарно. Для этого, правда, надо было создать ту самую дисциплину, которая стала предметом обсуждения последующих летних школ по «вторичному моделированию знаковых систем», проводимых на спортбазе Тартуского университета в Кярику, а также содержанием получивших мировую известность выпусков «Семиотика. Труды по знаковым системам».

Отбор приглашаемых на школы и для участия в «Трудах», издававшихся много лет Тартуским университетом в качестве «ученых записок» (к 1990 году вышло 23 выпуска), осуществлялся довольно строго. Большинство семиотических конфе-

ренций, семинаров и научных сборников собирали людей прежде всего по признаку их ангажированности — увлечения проблематикой, готовности проверять заявленные научные принципы на новом, еще не освоенном материале — и подлинного профессионализма. Это была довольно узкая, но очень устойчивая группа, создавшая, в сущности, семиотику культуры как научную дисциплину, которой с тех пор уже нельзя было заниматься любительски. Такой подход был для начала 60-х годов как бы открытием заново азов научности, почти исчезнувшей из сферы гуманитарных исследований (поскольку «научностью» официально считалась верность истмату, согласно которому вся культура есть лишь надстройка над базисом — производительными силами и производственными отношениями). Если следовать историческому материализму, культура не является целостным объектом самостоятельного изучения — позволительно лишь выяснять, как те или иные культурные явления вытекают из экономического состояния общества. Вот почему претензии семиотики на научное объяснение феноменов языка, истории, искусства и т. п. воспринимались идеологическими надзирателями разных рангов как нечто безусловно крамольное. Были терпимы лишь узко прагматические направления: машинный перевод, автоматизация информационного поиска и процессов переработки информации, распознавание устной речи, создание читающих автоматов и тому подобные чисто технарские разработки. Да и то, подобные вольности — посягательства на моделирование интеллектуальных процессов — стали допускаться лишь в результате «оттепели» и под давлением потребностей военной промышленности и спецслужб (вспомните завязку романа А. И. Солженицына «В круге первом»!).

Не только идеологический контроль, но и само умонастроение научной среды 60-х годов не слишком благоприятствовало самостоятельному развитию гуманитарных исследований. Идеалом научности считались точные науки и прежде всего математика. Структуралистский подход воспринимался в этой среде как путь математизации гуманитарного знания, позволяющий сблизить последнее с точным и тем самым освободить от рабской идеологической зависимости. Любая попытка традиционных гуманитариев отстоять свою автономию от точных наук, подчеркнуть специфику человеческих феноменов воспринималась как согласие оставаться на привязи у исторического материализма. Впрочем, очень часто так оно и бывало, хотя в ту пору активно работали в науке А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, В. Я. Пропп, А. А. Реформатский и другие, хранившие специфически гуманитарную научную традицию. И все же не они тогда определяли научный климат. Парадокс Лотмана состоял в том, что, развернув свою деятельность внутри структуралистской парадигмы, участвуя в структуралистско-семиотических начинаниях, он одновременно дистанцировался от них, не поступался гуманитарным содержанием в угоду господствующей моде, хотя и не втягивался в нелегкую борьбу с естественнонаучным подходом к культурным феноменам. Он занимался своим профессиональным делом — так, как он его понимал, не отказываясь и от общения с широкой аудиторией семиотиков-структуралистов естественнонаучного склада.

На переломе 60-х и 70-х годов, когда идеологическая атмосфера в московских гуманитарных центрах сгустилась, Лотман стал чаще и охотнее выступать на семинаре отдела семиотики ВИНИТИ, тематика которого охватывала прикладные направления и потому меньше преследовалась. Лотман и его соратники представляли на этом семинаре «гуманитарный фланг» семиотики, и, чтобы послушать «Юрмиха», туда сбегалось множество публики из разных научных учреждений. В эти годы появились его замечательные комментарии к «Евгению Онегину», работы о Пушкине, Гоголе, вообще о русской литературе и культуре XVIII и XIX веков. О соотношении культурологического творчества Лотмана с его исходной научной профессией — литературоведением — можно косвенно судить по характерной цитате из статьи С. П. Залыгина («Новый мир», 1991, № 11, стр. 229): «У литературы есть преимущество: ее нельзя лишить гласных (или негласных, это уж другой вопрос) размышлений о самой себе. Примеры тому — хотя бы Лосев, хотя бы Бахтин, Лотман, Лихачев...» Явная спонтанность этого списка, как бы нечаянно возникшее сочетание очень разных имен красноречиво говорит о месте Ю. М. Лотмана в русской науке. Ведь все упомянутые лица — не просто литературоведы, а еще (если не в первую очередь) философы и историки культуры. Только это и дало им возможность сделать столь значительный вклад в науку о литературе.

В концепции семиотики культуры, развиваемой Ю. М. Лотманом, основной категорией был текст, и это провозглашалось достаточно настойчиво. Сама культура рассматривалась как механизм порождения текстов, как пространство их функционирования. На страницах Тартуских сборников всерьез обсуждалось, что́ есть текст в той или иной культуре, даже что является в большей или меньшей степени текстом. Скажем, в христианской культуре Библия в большей мере текст, чем рыцарский

роман, а в эпоху застоя самиздатская рукопись служила в большей мере текстом, чем газетная статья или официально рекомендуемая книга.

Культура при этом истолковывалась как коллективный интеллект. Этому кругу идей Ю. М. Лотман посвятил помимо статей книгу «Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума» (1977). Однако, в отличие от традиционной для математизированной семиотики постановки задачи о переводе текстов с помощью искусственного интеллекта, Ю. М. Лотман подчеркивает здесь характерный для культуры феномен принципиальной непереводимости текстов разного типа, обеспечивающий «лавинообразное самовозрастание смыслов» и стимулирующий творческое (то есть, по Лотману, создающее новые тексты) сознание. Речь идет о том, что в смыслообразовании принципиально должны участвовать две системы кодирования, между которыми имеет место отношение непереводимости, придающее трансформациям текста непредсказуемый характер. Такого рода явления происходят, по мнению Лотмана, например, когда «западная» цивилизация пытается пересказать необычные для нее и тем самым выглядящие как иррациональные тексты «восточных» цивилизаций. В результате генерируются тексты, новые для обеих цивилизаций. Эти идеи развиты Лотманом в статье «Мозг—текст—культура—искусственный интеллект»[1]. Любопытно, что название известного литературоведческого ежегодника «Контекст» возникло как антитеза «тексту» — основному понятию в научной школе Ю. М. Лотмана; тут подчеркивалось, что литературный текст не самодостаточен. Сегодня эти споры отошли в историю, и вряд ли само противопоставление текста и контекста как враждующих идейных символов сохранило актуальность, ибо именно Лотман очень многое в своих литературных штудиях строил на весьма детальном всматривании в культурный контекст. Достаточно вспомнить, сколь любовно он фиксирует подробности, необходимые для понимания текста «Евгения Онегина»,— от расположения строений в усадьбе Лариных до нарушений дуэльного кодекса секундантами Онегина и Ленского. Припоминается и доклад Лотмана о Гоголе, где совсем нетривиально объяснялось, что в сцене хвастовства Хлестакова было заведомым враньем, а что вполне могло быть правдой. Сегодня один из авторов «Контекста» М. Бахтин и апологет исследования текстов Ю. Лотман естественно упоминаются в едином ряду имен.

К сожалению, мне пришлось побывать только на одной из знаменитых тартуских школ. Это было уже в 1987 году на той же спортивной базе Тартуского университета близ Отепя, расположенной на берегу живописного озера, среди лесистых холмов. Перед этим в течение семнадцати или восемнадцати лет школу не удавалось собрать ввиду опальности и самого научного направления и его главы. Перестройка все же подарила такую возможность, которой по целому ряду причин скорее всего суждено оказаться последней. Конференция открылась блистательным докладом Юрия Михайловича, сделанным в конференц-зале университетской библиотеки. Доклад этот был посвящен анализу культурного механизма, в результате которого возникают процессы над ведьмами. Докладчик отнюдь не пытался играть на актуальности темы, на политических подтекстах и т. п. Это был вполне академический, очень ясный и глубокий анализ аффекта страха, порождающего массовые поиски и преследования ведьм. Докладчик подчеркнул, что вопреки ходячим мнениям преследование ведьм отнюдь не средневековое явление. Оно возникло почти одновременно с открытием Америки Колумбом. Нарушилась устойчивость и неизменность средневекового мира, стал невероятно быстро меняться образ жизни — отсюда страхи, поиски врагов в ближайшем окружении. Любопытно было наблюдение, что в число подозреваемых попадали самые старые и самые молодые, самые красивые и на редкость уродливые, самые умные и отпетые дуры. Словом, опасения и подозрения вызывали все лица, заметно отклоняющиеся от средней нормы, чем-то отмеченные — положительно или отрицательно.

Помню, на меня произвела впечатление мысль докладчика о том, что и сами подозреваемые в ведовстве часто искренне считали себя причастными к сношениям с нечистой силой; общая атмосфера суеверий порождала стремление укрыться от давления «нормального общества» под защитой противостоящих ему сил, реализовать свои дурные страсти. Тут шли в ход галлюциногенные средства, извращенное поведение. В настоящем же средневековье не только не было процессов над ведьмами, но и сама вера в существование таковых неоднократно объявлялась суеверием. В связи с этим докладчик рассказал об истории создания печально известной книги «Молот ведьм», первоначальной задачей которой было доказать существование самого явления ведовства, чем и обосновывалась необходимость преследований и

[1] См. сб. «Семиотика и информатика». М. 1981. Вып. 17. Эти сборники издавались отделом семиотики ВИНИТИ.

судебных процессов. Это был один из лучших, слышанных мною, докладов Лотмана, ибо в нем гармонически сочетались обе его сильные стороны — тонкий отбор исторических деталей, опирающийся на глубокое знание, и умение строить четкие объясняющие концепции, хорошо согласующиеся с этими конкретными деталями. Злободневность на Лотмана никогда не давила; аналогии с современностью могли естественным образом возникать, но никак не были главной целью автора.

Мне кажется, что идеи Лотмана трудно артикулировать в отчетливых дискурсивных формулировках: они требуют бесконечного прописывания деталей и представляются выражением его интуитивного видения культуры, которое развертывается скорее как живописное изображение, чем строгий геометрический чертеж.

В некотором смысле противоположной оказалась ситуация М. М. Бахтина — гуманитария до мозга костей, никак не связанного с точными методами изучения культуры, подчеркивающего постоянно роль поступка как свободного действия. Но именно Бахтин сумел ввести в оборот фундаментальные идеи и принципы (карнавализация, полифонический диалог и др.), которые очень легко могут быть артикулированы в четких и ясных формулировках, даже без опоры на тот огромный материал, из которого они выросли.

Сегодня все виднее, что в семиотическом подходе Лотмана к литературе и культуре главное — отнюдь не формальные схемы и уж никак не навязывание этих схем культурно-историческому материалу. Главное же (по крайней мере, с моей точки зрения) — это выявление конкретных смыслов, выражаемых знаковыми средствами (текстами) той или иной культуры. При этом тексты активно воздействуют на свой контекст, создавая новые образцы культурного поведения. В работах Лотмана можно найти многое о литературных прообразах поведения декабристов, о многочисленных печориных, появившихся под влиянием прозы Лермонтова и т. д. В сущности, научное кредо Юрия Михайловича гораздо ближе к историческому литературоведению, чем к последовательному структурализму в духе В. Я. Проппа. Для Лотмана историческая конкретика текста (вплоть до деталей быта, в которых он, как никто иной, умеет прочитывать культурные смыслы) гораздо важнее, чем структурные инварианты этого текста, его абстрактные архетипы по образцу инвариантов волшебной сказки, открытых Проппом.

Вместе с тем Лотман в своей интерпретации культуры остается универсалистом. Разумеется, культура принципиально локальна в пространстве и во времени: каждая эпоха, каждая местность порождают огромное число своеобразных образцов поведения, культурных штрихов, стилевых особенностей. Высочайший профессионал, Ю. М. Лотман чувствует себя в этом многообразии как рыба в воде, но каждый раз его истолкование позволяет ощутить универсальность культурных смыслов. Происходит чудо узнавания в людях, населяющих другие эпохи и страны, существ, себе подобных. А это уже достижение нравственное (притом полученное строго профессиональными средствами) — увидеть собрата в человеке, инако одевающемся, инако реагирующем, инако мыслящем.

Культурологический подход предполагает изучение литературы в единстве со всем набором культурообразующих текстов. Литература с этой точки зрения теряет свою предметную автономность. Лотман не первый и не единственный рассматривает функционирование литературы в такой перспективе, но, может быть, именно в его работах этот подход достиг наибольшей органичности. Сам же феномен культуры приобретает статус автономного предмета научной дисциплины — семиотики культуры, без попыток его редукции к иным сущностям — материальным или духовным. (Этим никак не отрицается возможность других подходов к исследованию культуры; так, например, социология культуры рассматривает культурные феномены не с точки зрения порождения и перекодирования культурных текстов, но с точки зрения реализуемых в культуре социальных функций.) Надо подчеркнуть, что автономность культуры как дисциплинарного предмета здесь рассматривается лишь в гносеологическом аспекте — это один из путей ее познания. Совсем иной вопрос — об онтологическом отношении культуры к сфере духовного. Безрелигиозный взгляд на культуру может привести не только к отрицанию ее самостоятельной роли (представлению о ее вторичности по отношению к сфере производства), но и, напротив, к отождествлению культуры с областью духовного в целом, к своего рода сакрализации культуры, ввиду отсутствия понятий об Абсолюте, задающем точку отсчета для человеческого бытия. С религиозной точки зрения культура есть самореализация Духа, среда, через которую Дух может воздействовать на человека, открываться человеку, а утрата духовных даров ведет к деградации и гибели культуры. Опыт тоталитаризма показывает, что отрыв от духовных корней превращает культуру в инструмент идеологического манипулирования сознанием, в презренную служанку идеологии.

Какова же позиция Ю. М. Лотмана по поводу онтологического статуса культуры? Я не знаю непосредственных его суждений на сей счет, но, быть может, попытка реконструкции здесь уместна. В этом смысле мне представляется принципиальным то, что концепция культуры по Лотману всегда предполагает спонтанность генерирования новых текстов, то есть неполную запрограммированность культурных механизмов. Действующие в культуре законы оставляют место для свободного проявления Духа. Можно даже сказать сильнее: принципиальное многообразие способов «поведения» культурных текстов, многообразие способов их прочтения и перекодирования создает открытое пространство смыслов, в котором есть место для свободного самовыражения и самораскрытия Духа. Культура оказывается предрасположенной к духовному сотворчеству, но не претендующей на абсолютность духовного авторитета.

Профессорски серьезное отношение Ю. М. Лотмана к культуре как научному предмету оборачивается рыцарской защитой культуры как пространства, где формируется человеческое достоинство, где человек способен получать духовные дары. Среди традиционных иллюстраций к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» есть изображение белого рыцаря, которое выглядит шаржем на Юрия Михайловича. Собственно, сам этот образ был автошаржем создателя сказки, и потому такое сопоставление вполне уместно. Белый рыцарь несет через плечо перевернутый почтовый ящик — символ культурной коммуникации, значимой для каждого отдельного человека, приобщенного к культуре. В применении к самому Юрию Михайловичу это еще символ отсутствия само собой разумеющихся знаков научного признания. В Академию наук СССР он не мог быть избран по идеологическим причинам — там были зарезервированы места для отставных идеологических вождей. (Не могло быть речи и о месте академика для Бахтина и Лосева, а избрание узника Соловков Лихачева — почти невероятная случайность.) В Российскую академию Лотман не попал как гражданин уже иного государства, а в его Эстонии кому-то пришло в голову потребовать от него сдачи экзамена по эстонскому языку, от чего он решительно отказался (хотя за годы, прожитые в Тарту, он эстонским языком овладел).

Что ж, это лишь подчеркивает значимость Лотмана как культурного явления. Культурные смыслы прорываются вопреки официальному признанию, а культурное, как правило, противостоит казенному.

Тоталитарная идеология всегда была враждебна тому, чем более всего восхищался Иммануил Кант,— звездному небу над головой и нравственному закону внутри нас. Поэтому любые попытки постулировать независимость научной истины, свидетельствующей о красоте и стройности законов мироздания, автономию этики или самостоятельность культурного творчества становились не просто «диссидентством» по отношению к властным партийным структурам, но, повторим, сопротивлением самой идеологизированной атмосфере, охватившей в значительной мере и тогдашнюю научно-профессиональную среду. Отстаивание независимости своего научного предмета было и отстаиванием своего человеческого достоинства.

В «доперестроечные» времена взгляд на культуру как на автономное от идеологии образование, безусловно, служил духовному раскрепощению общества. Сегодня уместно заметить таящуюся здесь опасность культуроцентризма, о которой сказано выше. Но сегодня сама проблема культуры должна ставиться с новой философской углубленностью: свобода обязывает.

**Ю. ШРЕЙДЕР.**

# КОРОТКО О КНИГАХ

*

**ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. Стихотворения. М. «Советский писатель». 1991. 239 стр.**

Драгоценное своеобразие российской поэзии — в строгом равновесии служения и свободы. Ежели оно нарушается в пользу игры или идеологии, продукт творческого усилия, как правило, бывает неполноценен, при органическом же двуединстве — выкристаллизовывается глубокая лирика. Творчество Инны Лиснянской — новое тому подтверждение.

Лиснянская, по счастью, не соблазнилась ситуацией начала 60-х годов, когда поэзия, давая определенный глоток свободы, в свою очередь попала в кабальную зависимость от потребностей публики. Основной корпус стихов Лиснянской сформировался позднее поэтического бума хрущевской оттепели; основательно, постепенно отстаивался творческий мир поэта, что и явилось гарантией его непреходящей надежности. «Стихотворения» — самая объемная покуда книга Лиснянской у нас в отечестве, где после скандала с «Метрополем», участником которого была Лиснянская, ее десять с лишним лет не печатали.

Таким образом, «Стихотворения» — в некотором смысле неожиданность и сюрприз для широкого отечественного читателя, «вдруг» обретающего новый лирический микрокосм, вступающего в общение с душой ранимой, откровенной и одновременно мужественной и гордой, доверительно рассказывающей ему о своем нелегком существовании в наше драматичное время.

Что я увижу в часы одиночества?

Птиц перелетных кочевничье зодчество,
Жизнь без младенчества,
Воздух без имени, почву без отчества,
Дым без отечества.
. . .
Разве мне плохо под певчими гнездами
С дымом соседствовать?
Птичьи права — это роскошь, но с грезами
Радостно бедствовать.

«Стихотворения» — своего рода лирическая автобиография, искусно и сложно выстроенная с нарушением непосредственной хронологии, когда воспоминания о бакинском детстве, военном отрочестве, бесприютной юности вкраплены в канву зрелой мировоззренческой и интимной исповеди Книга имеет свою глубоко продуманную драматургию, композиция веско подкрепляет и усиливает качество конкретных сти хотворений..

Именно лирическая глубина, следствие сосредоточенного поэтического существования, помогает Лиснянской преодолеть то безвременье поэтики, ту аморфность зарифмованной речи, которая в советское время стала практически повсеместной, представляя собою странную смесь натуги с болтливостью. При этом кажущаяся простота ее литературной манеры на деле требует от читателя известного волевого усилия, ибо она по-своему герметична и нужны внимание и добрая воля, чтобы проникнуть под ее оболочку.

Лаконизм и мастерская оснастка текста дают энергичную упругость стиху, не допускающему никакого неряшества и надежно обуздывающему первичный хаос, о котором писал Тютчев и справиться с которым стремится любой поэт.

Такую «тяжелую артиллерию» поэзии, как многоступенчатые ассоциативные связи и метафоры, самоценная игровая фонетика и т. д., Лиснянская целомудренно не пускает в ход, ограничиваясь минимумом изобразительных средств; ее поэтика выживает за счет подлинности, начисто лишенной позерства: исповедь исключает умозрительную игровую искусность.

Свобода — не бунт одиночек завзятых,
А дар в одиночестве жить,
Себя не жалеть, не искать виноватых
И будущим не дорожить.

Лиснянская безропотно — до наивности — доверяет Промыслу, а значит, благодарна судьбе: какое редкое ныне качество! К ее музыке не подмешано скептическое или ерническое брюзжание, поводов для которого, следует признать, бытие дает предостаточно и которым, к примеру, грешит, бывает, при всем своем экзистенциальном величии муза Бродского. И хотя на первый взгляд интонационный и технический спектр ее поэзии не широк (мы привыкли нынче к большей... разливистости), ее лирика вдруг чудесным образом преображается в эпику, в ней обнаруживается высокий религиозный пафос, не случайно библейские героини — нередкие гостьи ее стихов.

Сочетание беззащитной женственности с силой характера, хрупкости с волей свойственно и ее лирической героине...

Ты поживи с мое,— сказало море.
Ты повидай с мое,— сказало небо.
Ты испытай с мое,— земля сказала.

И я забыла собственное горе,
И возлюбила слово больше хлеба,
И перед миром на колени стала.

...«Дарование есть поручение, нужно исполнить его во что бы то ни стало»,— сказал Баратынский. И Инна Лиснянская — из числа тех русских поэтов, чья жизнь благодарно подчинена самоотверженному выполнению этого поручения.

**Юрий Кублановский.**

*

**АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ. Вариации. М. «Эхо». «Палитра». 1992. 79 стр.**

Книгу Алексея Дидурова можно читать по-разному. Можно наслаждаться свободой и естественной непринужденностью одних строк:

Спешить — ни-ни: пусть он доедет первым.
Вступаю в лифт, взведен напрягом нервным
В чем дело? — и ловлю себя на том,
Что, вспомнив прожитое в одночасье,
Вдруг осознал, что приношу несчастье.
В какой бы ни вступил я круг и дом!
Лишь я родился – предки разбежались.
Попал в команду – САМБО — облажались,
Пришел в казарму — трех пришил еврей
За то, что издевались без предела.
Завел семью — был отлучен от тела...

Можно раздражаться, что иная строфа, хорошо начавшись, в угоду некоторому литературному кокетству понижает свое лирическое напряжение.

Но и в том и в другом случае хочется заглянуть: что там дальше? Это редкое для нынешних стихов качество. И объясняется оно не сюжетикой, не эпическим складом дарования автора. Вернее, не только ими. Читая Дидурова, погружаешься в жизнь, как в городскую мутную реку со всеми ее запахами и оттенками. Но разве не испытывает нормальный человек постоянной тяги даже к не благоухающей реке своего города, разве не тянет его к засоренному, в нефтяных пятнах, но живому — живому! — течению?

Есть стихи, написанные как бы в состоянии, когда автор сказал себе: «Все! Знать тебя не хочу, жизнь. Ты и поэзия — две вещи несовместные. Так вот, до шести вечера я служу, стою в очередях, исполняю разные обязанности. Кто хочет, может называть это жизнью. Но с шести я забываю о твоих бедных радостях. Начинается поэзия. И чем меньше она будет напоминать о тебе, жизнь, тем лучше!» Разумеется, мало кто из авторов захочет признаться, что его творчество — плод этого именно состояния. Однако стихов таких мы видим множество.

Не таковы стихи Дидурова. У него попросту нет времени на сугубо литературные упражнения. Но у него нет и другого способа свести счеты с жизнью как только с помощью поэзии. А свести эти счеты ему ох как хочется!..

Дело в том, что жизнь, такая, какая его всегда окружала, ему не нравится. Чего уж хорошего:

Я в преисподней жил. Я видел ад.
Я в нем ловил мокриц, и в их извивах
Прочел я жажду жизни — жизнь назад
В родимых недрах, темных и червивых.
Я видел быль и прах добра и зла
На срезе грунта перед самой рамой.
От газа греясь, резались в «козла»
На кухне черт-те кто с моею мамой.
Мать вышла замуж. Выхрип: «Лучше спи!»
Поспишь тут — в темноте толчется семя..
Родился спутник. Делает «пи-пи».
Вода в подвале. Время каплет в темя.

Тяжело читать эти едва ли не кощунственные строки. А жить — легче?

Самое же интересное, что Алексей Дидуров по-юношески влюблен в эту беспощадную и нечистую жизнь и, бесстрашно изображая ее внешнее убожество, начисто отказывается признавать ее убогой. «Я знаю, что ты — красавица,— как бы говорит он жизни,— и на хрена тебе морочить мне голову, притворяясь уродиной. Все равно не поверю!»

Никуда не денешься: влюбленность в назначенную ему от рождения землю, в ее города, в ее женщин — свойство настоящего поэта, при каком бы режиме он ни жил.

Здесь дерутся в кровь на помойках чайки,
От дворцов разит коммунальным супом,
И овсяный кофе я пью из чашки,
Что дрожит в ознобе а-ля Юсупов.
Здесь ржавеет мрамор и бронза плачет,
И само бессмертье настигла старость.
Этот город Вас от меня так прячет,
Словно Вы — последнее, что осталось...

Как большинство по-настоящему талантливых людей, Алексей Дидуров не боится плодотворных влияний. В последних по времени стихах чувствуется, например, интерес к Иосифу Бродскому.

Проще простого отыскать в этой книге недостатки. Их даже не надо отыскивать — они ни от кого не прячутся. Очень часто они — следствие такого напора эмоций, когда автор в панике отступает перед хлынувшими на него словами и ритмами. И тогда мне, например, не хватает проявления его лирической воли, поэтического вкуса, отсутствие которых не окупается свободой и непосредственностью стихотворного высказывания. Конечно, если бы к носу Ивана Кузьмича...

«Вариации» на нынешнем поэтическом фоне — заметная книга. Первая у Дидурова. А поэту уже за сорок. Я рад, что она наконец вышла.

**Юрий Ряшенцев.**

*

**ДОН-АМИНАДО. Поезд на третьем пути. М. «Книга». 1991. 332 стр.**

**ДОН-АМИНАДО. Парадоксы жизни. Стихотворения, воспоминания, афоризмы. М. Издательское предприятие «Обновление». 1991. 302 стр.**

Сегодня уже нет основания считать имя Дон-Аминадо забытым. Появились книги, журнальные публикации. Точнее считать его возвращенным наполовину — потому хотя бы, что интерес нынешних читателей к его наследию ни в какой мере не может сравниться с прижизненным ярким успехом.

Возвратить, даже при желании, можно не все. Иной раз, когда ушел сопутствовавший книгам воздух времени, не помогают самые честные и последовательные усилия публикаторов, издателей и историков литературы. В дореволюционной России существовала, очевидно, какая-то особая, совершенно своеобразная разновидность культуры смеха, для нас, нынешних, почти непонятная, наверное, ушедшая безвозвратно. Эти пародии, остроты, колючие экспромты, заполнявшие десятки, едва ли не сотни весьма популярных юмористических журналов — самые удачные из них облетали всю Россию,— способны были сделать автора невероятно знаменитым. И среди мастеров веселого жанра, бесспорных любимцев публики, имелись свои чемпионы, побивавшие все мыслимые рекорды известности.

Однако сегодня, когда читаешь рассказы Аверченко или Тэффи, в свое время почти хрестоматийные, то, конечно, без спору, признаешь их милыми, ну и талантливыми тоже... но трудно все же понять, как образованная публика могла предпочитать их книгам Ахматовой, Сологуба, Розанова, Андрея Белого. Состав смеха, должно быть, необратимо изменился... Что ж, это даст нам возможность яснее увидеть иные стороны дарований былых кумиров.

Зоркий Бунин в 1927 году, в эмиграции, написал об известном всему русскому обществу фельетонисте Аминаде Петровиче Шполянском, чаще всего использовавшем псевдоним Дон-Аминадо, что он не просто популярный и блестящий газетчик, а один из самых выдающихся русских юмористов, обладающий талантом в первую очередь художественным. Марина Цветаева писала мэтру юмористической журналистики: «Милый Дон-Аминадо, мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт... Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу...»

Говоря объективно, блестки мгновенной веселости автора «Парадоксов жизни» отсверкали тоже не все и не совсем. Насмешка его и ныне способна жалить: «Ты, небеса беру в свидетели, / Достойна лестного стиха: / — Ты так цветешь от добродетели, / Что перезреешь для греха».

По наблюдению Ходасевича, реформатором русской эпиграммы был Вяземский, но дань ей, как известно, отдал сам Пушкин, не одобрявший односторонности и однообразия в литературном деле. Дон-Аминадо — разнообразен. С блестящим остроумием он соединяет дар настоящего, традиционного, классического, прозрачного русского лирического стиха:

Бабье лето. Поворот.
Золотой канун разлуки.
Так и кажется, что вот
Чьи-то медленные руки
Чью-то шею обовьют,
Кудри милые обхватят
И таким кольцом сожмут,
Что разнять их сил не хватит

В стихах Дон-Аминадо жива неопосредованная лирическая связь с Апухтиным, Меем, Майковым, А. К. Толстым... и с органически воспринятым русской поэзией Генрихом Гейне. Стихи последнего не могли не быть близки Дон-Аминадо, поэту и остроумцу. «Русское лето в России. / Запахи пыльной травы. / Небо какой-то старинной, / Темной, густой синевы. / Утро. Пастушья жалейка. / Поздний и горький волчец. / Эх, если б узкоколейка / Шла из Парижа в Елец!..» Ностальгия и ирония образуют здесь состав, который может быть откомментирован единственным образом:

«И только один Ходасевич не выдержал и, впервые за весь вечер разжав зубы, не сказал, а отрезал:

— С ослами спорить не стану, а скажу только одно: это и есть настоящая поэзия, и через пятьдесят лет ослы прозреют и поймут».

Это, собственно, цитата уже из мемуаров Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути». Едва изданные, они несомненно сразу встали на одну полку с воспоминаниями С. Маковского, И. Одоевцевой, Ю. Анненкова, Б. Лившица — словом, с классикой жанра в XX веке. Автор разнообразен и здесь. Мягкая, но точная ирония портретных характеристик и бытовых сценок, импрессионистически-объемные картины культурной жизни Одессы, Киева (их так мало в русской мемуаристике!), Москвы, Парижа. Кроме того, книгой можно воспользоваться как пособием по истории отечественной журналистики начала века. Будни вяло-солидных «Русских ведомостей» и знаменитого «Русского слова» во главе с Власом Дорошевичем, хилого «Голоса Москвы» и слегка авантюрных «Вечерних новостей» с девизом «война и скачки», заумной газеты «Новь» и видного патриотического журна-

ла «Лукоморье» описаны их бывшим сотрудником и посетителем редакций с едкостью, нежностью, неизменным остроумием; и мелькают в этих описаниях лица самые неожиданные, для русской словесности не посторонние, от Амфитеатрова и Петра Потемкина до Веры Инбер и Эренбурга.

И проступает в обеих этих книгах глубина и человеческая незаурядность их автора. Тот его художественный дар, что и дает право на возвращение не половинное

**И. Слюсарева.**

*

**I. ЛОГОС. Философско-литературный журнал. 1991, № 1; 1992, № 2.**

Империя философской нормы разрушена. На ранее контролируемой территории возникают новые философские журналы, стремящиеся обособиться и заявить свое право на истину

Сегодня рискованно писать рецензию на вновь появившийся журнал, представленный чаще всего лишь своей первой книжкой. Выход рецензии вполне может совпасть с безвременной смертью самого журнала. Действительно, слишком велика вероятность, что все событие первым номером и ограничится... Однако передо мною уже второй и (даже с большими, как уверяют издатели, шансами выжить) макет третьего номера нового московского философско-литературного журнала «Логос».

Наверное, только так и может называться этот журнал. И не просто потому, что объявляет себя наследником «Логоса» дореволюционного, «Логоса» Яковенко и Степуна. Тот философский пафос, который, как кажется, единственно питал мужество начинающих издателей, глубоко укоренен в их представлении о способном к возрождению Логосе, о возможности сегодня, в нашей культуре говорить на языке мировой философии. Да и само появление журнала обязано, пожалуй, прежде всего слову — московский «Логос» выпустили в свет студенты философского факультета Московского университета, показав поистине удивительную возможность творения ex nihilo.

У «Логоса» несмотря на, казалось бы, легкомысленный еще возраст его создателей, очень серьезные и даже респектабельные намерения На первом плане — задача научная поддержать усилия по возвращению мыслящей и читающей России академической традиции философской мысли. В своих двух первых номерах журнал перепечатывает работы Ф. А. Степуна, Н. О. Лосского, публикует архивные материалы из наследия Г. Г. Шпета; публикуется впервые полностью переведенная на русский язык А. Козыревым (ему же принадлежит обстоятельная сопроводительная статья) написанная по-французски работа В. С. Соловьева «София». Обращение к этим именам связано, по-видимому, с надеждой группы молодых исследователей-философов начать с того момента в истории русской философии, когда еще существовало то единое европейское мыслительное пространство, в котором органично чувствовали себя отечественные мыслители.

«Логос» строится как своего рода философский альманах, предоставляя свои страницы и возобновленным публикациям русских философов, и переводам работ философов-классиков современного Запада, и отечественным исследователям культуры. Однако журнал имеет и свои пристрастия. В отделе I первого номера «Логоса» помещены прежде всего философско-феноменологические исследования. Издатели открывают свой первый выпуск журнала статьей Э. Гуссерля «Феноменология», приглашая как бы вновь — теперь уже, возможно, всерьез — возобновить свое знакомство с тем мощным европейским философским движением, которое во многом определило облик философии XX века.

Трудно сейчас предсказать, насколько опора на рационалистическую отчетливость феноменологических штудий окажется надежной и продуктивной. Пока сама задача консолидации какого бы то ни было «направления», как мне кажется, безысходно велика в сравнении с имеющимися творческими и профессиональными философскими силами. Феноменологическую направленность журнала могут сегодня у нас всерьез поддержать разве что сами авторитеты: Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-Понти (их тексты постоянно на страницах журнала).

Вопрос издателей: узнаем ли мы в ближайшие годы, насколько русский язык адекватен феноменологии? — я бы, пожалуй, расширила, спросив (не знаю, правда, у кого): каким образом сегодня отечественная культура может войти в опыт современного мышления? Именно об этом рассуждают на страницах второго выпуска журнала участники «круглого стола», посвященного философии Мартина Хайдеггера,— В. Бибихин, С. Зимовец, В. Малахов, В. Молчанов, В. Подорога. Может быть, именно это самый важный и сложный вопрос сегодня?

Мне меньше всего хотелось бы, представляя новый журнал, нагнетать ситуацию напыщенной серьезности. В какой-то степени, правда, сами издатели дали к тому повод несколько вычурным и глубокомысленно-туманным обращением «От редакции». Впрочем, эта возбужденно-философская речь, вряд ли имеющая свой четкий адресат, как-то забывается, когда начинаешь листать и читать сам журнал. В нем есть место и академически серьезным статьям М. Гарнцева об антропологии в византийской мысли, Г. Майорова о Софии-Мудрости как источнике философствования, Н. Гребенюка о философии У. Оккама, и живым спорам «круглого стола» о Хайдег-

гере, и таким не обязанным определенному академическому жанру работам, как, например, работе Е. Петровской «Кит как текст. Читая „Моби-Дика"». У журнала складывается свой круг авторов. Хочется надеяться, что у него появится и свой заинтересованный читатель.

**II. СТУПЕНИ. Философский журнал. 1991, № 1,2,3; 1992, № 1. Л.—СПб. СП «АЛГА-Фонд».**

За неполных два года философский журнал «Ступени» успел не только родиться, но и — примета времени — позаботиться о европейском реноме, оповестив о своем представительстве во Франции. Осевая линия Россия — Европа в значительной степени определяет содержание его первых номеров, где с различных сторон обсуждается, по существу, один вопрос: об основаниях русского национального типа культуры в его отношении к типу европейскому. Пока, правда, не приходится говорить, что журналу удались знаменательные открытия: обсуждение чаще всего располагается в уже тривиальной общей дихотомии русского — коллективного и западного — индивидуального типов ментальности (статья В. Литвинского «В поисках духовных предпосылок цивилизации» /1991, № 2/). Исключение составляет, пожалуй, лишь статья Александра Пятигорского (Англия) «Философия или литературная критика» (1991, № 3), где обстоятельно обсуждается «литературность» русской философии: ее ориентированность на прояснение литературного текста, имеющего, как полагают, единственно прямой и непосредственный «доступ» к загадке русской истории и судьбы. Но мне показалось более занятным другое: тема России (и не только в этом журнале) все чаще (осознанно или нет?) выделяется в отдельную «рубрику», всплывая всякий раз подобно некоему континенту, живущему уже своею исторически отдаленной жизнью. Возобновляемые реанимации проблемы Россия — Запад оказываются все менее оригинальными и удачными. Но, может быть, в том нет уже вины авторов?

В первых номерах «Ступеней» есть материалы, доступные еще недавно лишь узкому кругу соучастников самиздатских философских журналов, например «Исследования по теории катарсиса» группы Аркель (1991, № 3). Здесь достаточно много статей, рассчитанных на тех, кто как-то сведущ или хотя бы интересуется вопросами самой философской дисциплины, по сей день остающейся у нас обязательным элементом высшего образования: О. Новицын, «Философия, миф и логические игры»; В. Волжский, «Еще о человеке»; Св. Лурье, «Этическое сознание человека: опыт типологизации» (1991, № 3); К. Пигров, «Творчество в жизни современного человека» (1991, № 2) и др. Но там, где заходит речь о преподавании философии, разговор неизбежно опять сворачивает на обсуждение марксизма: участники заочного «круглого стола», где на суд вынесен новый учебник «Введение в философию» (1992, № 1), тоже никак не могут отвлечься от этой навязчиво возвращающейся темы; порой даже кажется — они боятся дать себе ее «забыть», ибо что иное дано сегодня «вспомнить» преподавателю философии?

Журнал «Ступени» старается выдерживать определенную направленность своей линии, сохранять свою интонацию. Ее поддерживают постоянные авторы журнала В. Литвинский, П. Кузнецов, В. Карпунин, В. Волжский. За действительность, как полагает один из авторов, мы слишком часто и привычно принимаем «кожу» вещей (1992, № 1); предназначение же философии — восходить к Высшей Реальности, к Эмпирею. На этом credo стоит новый философский журнал. Правда, иногда возвышенная интонация рассуждений «о Боге, мире и человеке» переходит в высокомерие поучительства, как это, на мой взгляд, случилось в своеобразной отповеди «сытому (неужели сытость была когда бы то ни было помехой интеллектуальной деятельности?) Фукуяме», американскому профессору, автору нашумевшей некогда статьи о «конце истории» (В. Волжский, «Гадание по Гегелю /1992, № 1/).

В постоянной рубрике «Россия» читатель встретит очередные републикации русских философов начала XX века: «Трагедия и современность» Ф. Степуна, «На пути к логизму» В. Эрна, две работы о феноменологии Б. Яковенко, «Своеобразие русской философии» Н. Лосского и др. Участие же в журнале современных западных славистов ограничивается пока что публикацией перевода статьи Ю. Шеррер «Об одной теологии революции (Мережковский и русский символизм)» (1992, № 1).

Из номера в номер «Ступени» ведут и раздел «Восток», основу которого составляет перевод «Йоги-сутры» Шримата Патанджали, снабженный комментарием разъяснительного характера.

Что же касается Запада, этого симпатического центра философских рефлексий, то здесь журнал уверенно движется от универсальной точки философского отсчета — Иммануила Канта (представленного текстом «Об аристократическом тоне в новейшей философии» /1991, № 2/), через лекции Эдмунда Гуссерля «Идея феноменологии» (1991, № 3, подготовка публикации Б. Маркова) — к Мишелю Мейеру (1992, № 1), создателю новой и, как полагают издатели, заслуживающей внимания концепции «проблематологии», ревизующей лежащую в основе традиционного философского вопрошания пропозициональную модель философского языка.

**III. НОВЫЙ КРУГ. Ежеквартальный художественно-философский и культурологический журнал. 1992, № 1. Киев. «Новый круг».**

В отличие от уверенного и знающего тона «Ступеней» киевский журнал «Новый круг» начинает существование с признания невозможности дать какие-то рецепты и ответы. Да и сама философская ориентация журнала является здесь не строго дисциплинарной — журнал с равным вниманием относится к художественным и культурологическим текстам. Может быть, именно это общее открытое пространство, где нельзя наверняка уловить и зафиксировать понятийно и однозначно местопребывание самой философии, более приспособлено сегодня для культурных новаций?

Наверное, благодаря тому, что журнал «экстерриториален», в нем нет надрывно звучащей темы «судьбы России». Журнал вообще не центрирован на некий заранее определенный круг идей. Его ставка, по-видимому, на другое — прежде всего на имена. Большинство публикаций первого номера журнала — своего рода авторские мини-произведения, философско-поэтические, прозаические или же «научные».

Содержание первой книжки достаточно разнообразно: здесь и небольшое семиотико-культурологическое исследование И. Булкиной о «Киев-городе», и проза Сигизмунда Кржижановского, и поэзия Марины Доля, Валерия Ламаха, В. Клеваева, Р. Левчина, К. Сигова, Н. Полянської, и философские заметки В. Библера, и переводы стихов Пауля Целана... В разделе «Пространство философии» представлена лекция Мераба Мамардашвили «О понятии философии». Пожалуй, впервые делается попытка анализа философии Мераба Мамардашвили в общем контексте русской философии (А. Шевченко, «Тема России и Запада в философии М. К. Мамардашвили»).

В единый раздел журнала объединены материалы по культурологии, искусствознанию и критике. Достаточно своеобразным мне представляется исследование Изалия Земцовского «Человек музицирующий — Человек интонирующий — Человек артикулирующий», ставящее под вопрос общепринятую концепцию о коммуникативном характере музыки, о музыке как языке. Работа А. Горски «Вербальная магия: мифы и реальность постмодернистской критики» является небезынтересной попыткой завоевать определенное критическое место в отношении новой «постмодернистской словесности». А в разделе «Архивы» публикуется глава из трактата «Живопись и элементы» украинского футуриста А. Богомазова, излагающего принципы авангардного искусства.

Закрыв журнал, я подумала о том, что мне ни разу не досадили назидательностью и нарочитыми акцентами. Журналу удалось сохранить внутреннюю свободу и спокойную открытость к обсуждению самых различных проблем. И пожалуй, последнее, но немаловажное: журнал прекрасно оформлен офортами Александра Аксинина — загадочное плетение, не поддающийся быстрой расшифровке лабиринт...

**IV. ПУТЬ. Международный философский журнал. 1992, № 1.**

Традиция — волшебное слово дня. На нее столь много упований. Традиция — обетование того, кто ощущает «зыбкость» и «неподлинность» нашего сегодня...

Надежде на традицию сопутствуют и усилия к «возрождению»: перед нами первый номер философского журнала «Путь» — своеобразного продолжателя эмигрантского журнала.

Новый международный журнал выдерживает респектабельность во всем. Он прекрасно исполнен полиграфически. Он достаточно строг в подборе тем и авторов. Он выдержан в спокойной интонации рассуждения. Концепция журнала изложена в открывающей первый номер статье его главного редактора Анатолия Яковлева. Журнал надеется «по мере сил способствовать становлению единого — Восточного и Западного — интеллектуального пространства», он обращен к попыткам философского осмысления «жизненно важных проблем», он готов поддержать надежду на появление в современной русской культуре актуально мыслящего философского сообщества.

Первое слово «Путь» предоставил профессору Кембриджского университета Эрнесту Геллнеру. В работе «Пришествие национализма. Мифы нации и класса» Геллнер предлагает модель становления сегодняшней социальной, политической и культурной нормы — так называемого национального государства. Автора концепции во многом не устраивает упрощающая Марксова модель, ибо «ни классы, ни нации не являются неизменными сущностями, образующими ландшафт истории», они скорее мифы, уже не нужные нам сегодня. Он полагает, что «подлинной реальностью, определяющей ход исторического развития, является... переход от одного типа связи между культурой и властью к другому». Еще один западный исследователь, профессор Бамбергского университета Вольфганг Вельш, представлен в журнале статьей «„Постмодерн". Генеалогия и значение одного спорного понятия». Обсуждение разворачивается вокруг легитимности и области применения понятия и термина «постмодерн». Профессор Вельш, правда, не ведет содержательный разговор о самой проблематике постмодерна, продуктивно разрабатываемой сегодня в американской и континентальной социологии, литературоведении, в теории искусства, в философии. Он пытается остаться как бы вне пристрастий, однако, как мне показалось, был бы не прочь удостовериться заранее в добропорядочности тех, кто нескромно

претендует на роль авангарда в культуре. Впрочем, подводя итоги своего обзора, В. Вельш высказывается в пользу «подлинного постмодерна» в отличие от его «суррогатов».

Для профессиональных философов и исследователей науки будет небезынтересна работа Ю. Чайковского «Познавательные модели, плюрализм и выживание», где обосновывается мысль о необходимости новой науки для спасения мира от надвигающегося системного экологического кризиса. Свой вклад в дело спасения Ю. Чайковский вносит разработкой диатропики — науки о разнообразии (честь создания которой принадлежит С. В. Мейену), без коей, уверен ученый, будут несостоятельны более общие усилия. «Наука» — первое и последнее слово статьи. Но столь ли непререкаемо и абсолютно ее право на истину и социальное водительство?

И еще одна модель — на сей раз это модель человека и культуры. В статье М. Розова «Прошлое как ценность» главенствует пафос «системы упорядоченных ценностей», среди которых свое место должно занять и прошлое, став опорой «абсолютных ценностей». Мысль на удивление проста, но отнюдь не бесспорна.

Все кратко и, может быть, порой несколько упрощенно представленные здесь мною статьи первого номера журнала «Путь» так или иначе, менее или же более явно высказываются прежде всего на тему социальную. Это некоторые разносторонние заходы к анализу макрореалий социума. Читая и пытаясь анализировать этот номер журнала, я все время думала о том, что действительных структур нашей повседневности такого рода анализ вряд ли может коснуться. Журнал остается в парадигме «поиска новых идей», но это, видимо, сознательно выбранная позиция.

В журнале опубликованы: подборка материалов, посвященных христианскому мыслителю Карлу Барту, интервью А. Миграняна с Ф. Фукуямой, воспоминания Василия Налимова, краткий очерк по проблеме «новой элиты» М. Вайды, размышления прозаика и переводчика Асара Эппеля «О пользе переводов и критики», письма С. Л. Франка к Н. А. и П. Б. Струве (публикация М. А. Колерова).

Журнал стремится поддержать и традиции рецензирования. Этот жанр практически ушел сегодня со страниц журналов, тогда как поток книжной продукции, в том числе и выпуск книг по философии, неизмеримо возрос. Авторская группа журнала «Путь» совершенно, по-видимому, справедливо полагает, что рецензия — это первый знак состоявшейся коммуникации, органический элемент жизни научного сообщества.

И еще раз о «зыбкости и саморазрушении повседневности», о которой с такой печалью говорит А. Яковлев. Может быть, не стоит так уж горевать о потере устойчивых ориентаций? Быть может, попробовать менее трагично отнестись к новым языкам повседневности? И полюбопытствовать о том, что «остались» не только «мы с нашим внутренним духовным миром», но и многое, что не спрашивает нашей санкции на свое существование. Обиднее всего было бы кончить так, как кончила русская философия, вынужденная частью к эмиграции, частью к академической аскезе на родине, но так и не сумевшая выйти из классики, освободиться от ее иллюзий относительно духовных оснований социума и культуры.

**Е. Озиобкина.**

**Читайте в 1993 году:**

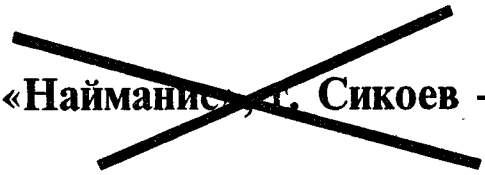
**А. МАКАРОВ, С. МАКАРОВА**

**К истокам «Тихого Дона»**

«Настоящая работа предлагает читателям обзор альтернативных официальному шолоховедению материалов, в которых предпринята попытка объяснить загадку неоднородности текста «Тихого Дона» и взаимоисключающих тенденций в нем. Проблема авторства в свете новых данных предстает по-иному. Вопрос о том, кто написал «Тихий Дон», Шолохов или, например, Крюков, представляется некорректным — у известного нам текста несколько авторов. Все убедительнее звучащее сегодня предположение о наличии в эпопее различных, но сосуществующих авторских начал подтверждается результатами системного текстологического исследования, которое мы предприняли. Нам удалось отслоить от основной (художественной) ткани инородные вставки и вкрапления и выявить сложную структуру посторонних вмешательств, перестановок, заимствований и изъятий, чуждых духу и поэтике исходного художественного текста, который послужил основой «Тихого Дона» 1928 года издания. Надеемся, что эта работа приближает возможность корректно поставить вопрос о реконструкции и авторстве первоначального текста «Тихого Дона»...»

# *Господа зарубежные подписчики!*

**Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» приносит вам свои глубочайшие извинения за некорректное поведение фирмы «Найманис» по отношению к вам. Мы тоже виноваты. Мы не поняли вовремя создавшегося положения. Фирма «Найманис», г. Сикоев оказались некорректными и неплатежеспособными, они не выполнили условия договора с нами, не перевели нам ни пфеннига за номера журнала «НОВЫЙ МИР» с 1 по 4.**




**Мы порвали отношения с «Найманисом» и передали материалы в суд города Мюнхена.**

**Господа подписчики! Мы рекомендуем вам потребовать деньги с фирмы «Найманис» за оставшиеся номера с мая по декабрь и подписаться на эти номера и на весь 1993 г. у фирмы «КУБОН УНД ЗАГНЕР».**

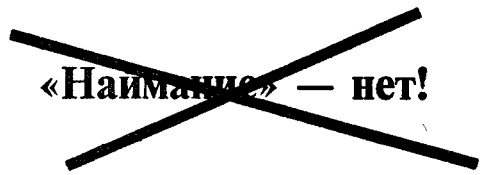
**Одновременно мы благодарим фирму «КУБОН УНД ЗАГНЕР». Комплекты журнала с мая по декабрь вы получите уже через «КУБОН УНД ЗАГНЕР». Точность и корректность — генетические свойства баварской фирмы «КУБОН УНД ЗАГНЕР».**

**Имейте дело только с фирмой «КУБОН УНД ЗАГНЕР»!**

**Господа подписчики! Ваше внимание к «НОВОМУ МИРУ» мы ценим очень высоко, своей подпиской вы поддерживаете не только нас, но и российскую культуру.**

**Каждый номер «НОВОГО МИРА» — это серьезная книга. 12 номеров — это собрание сочинений, в котором обязательно присутствует первоклассная русская литература.**

**Еще раз извините нас за недальновидность при заключении договора с фирмой «Найманис».**




**Желаем вам радости, здоровья и удачи!**

## ПОМНИТЕ! «КУБОН УНД ЗАГНЕР» — ДА!

**Редакция журнала «НОВЫЙ МИР».**

# ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

*

**OLIVIER CLÉMENT. Berdiaev. Un philosophe russe en France.** Paris. Desclée de Brouwer. 1991. 250 стр.

В то время, как у нас выходили и выходят многочисленные издания Бердяева и на лотках книготорговцев лежит нераспроданное «Самопознание», во Франции появилось новое исследование «Бердяев. Русский философ во Франции». Его написал Оливье Клеман, известный православный писатель и богослов (именно книга Бердяева, прочитанная Клеманом в 20 лет, вызвала его интерес к православию), профессор философии Сергиевского института в Париже, создатель и редактор серии книг на религиозные темы «Théophanie» ( изд. Desclée de Brouwer), автор трудов о христианской восточной традиции, о В. Лосском и П. Евдокимове, о покаянном каноне Андрея Критского и многих других Книга состоит из трех частей: первая, вводная,— биографическая канва и беглый взгляд на русскую христианскую традицию XIX—XX вв.; вторая часть распадается на главки о Бердяеве и французской философии, персонализме, Марселе Морэ и Леоне Блуа; третья часть посвящена «религиозной философии» Бердяева, его отношению к истории и творчеству. Эта книга интересна в первую очередь не биографическим материалом. Философские взгляды Бердяева той поры развивались в непрестанном переосмыслении опыта французских мыслителей. Опираясь в основном на статьи Бердяева, печатавшиеся в журнале «Путь», Клеман рассматривает творчество русского философа в его взаимодействии с историей французской философской мысли. С точки зрения Клемана, Бердяев не систематизирует традицию, а открывает — и не без риска — ее новые пути. Он та «удивительная звезда, которая располагается между Россией и Европой, православием и западным христианством, атеистическим гуманизмом и духовным опытом, Дионисом и Индией <...>, — пишет Оливье Клеман. — Николай Бердяев призывает православную традицию, призывает всех христиан подняться над историческими ограничениями ради служения конечной реальности, т. е. единству, личности и Парусии».

**MARIANNE GOURG. Mikhaïl Boulgakov (1891—1940). Un maître et son destin.** Paris. Robert Laffont. 1992. 314 стр.

Книга переводчика и специалиста по русской прозе, профессора Мариан Гур «Михаил Булгаков. Мастер и его судьба» представляет собой опыт иллюстрированной биографии. Это популярная книга из распространенного на Западе типа изданий, неизвестного нам в силу отсталости нашей полиграфической базы. Жизненный путь Булгакова Мариан Гур делит на трехлетия, которым соответствуют главы ее книги (Кавказ (1919—1921), Московские дебюты (1921—1924) и т. д.); исключение составляют первая и вторая главы: они охватывают период киевского детства, юности, первой мировой войны и революции. Фотографии, которые использованы в издании, предоставлены в основном Юрием Кривоносовым и музеем Булгакова в Киеве. Автор постоянно обращается к материалам переписки писателя и дневнику Елены Сергеевны Булгаковой; справочный аппарат сведен к минимуму, и все ссылки помещены в тексте — под строкой. В конце книги — подробная хронологическая таблица, отражающая события биографии Булгакова, исторические ориентиры и ряд фактов русской литературной и культурной жизни. Эта книга не претендует на научные открытия, она своего рода музей: фотографии (лица, дома, улицы старого Киева, Москвы...), письма, афиши, эскизы театральных костюмов — все это приметы жизни и времени Булгакова.

**JEAN-PHILIPPE JACCARD. Daniil Harms et la fin de l'avantgarde russe.** Berne. Peter Lang. 1991. 611 стр.

Книга Жана Филиппа Жаккара «Даниил Хармс и конец русского авангарда» — диссертация, представленная им филологическому факультету Женевского университета на соискание степени доктора филологии. По словам исследователя, цель этой работы состояла в том, чтобы показать творческую эволюцию Хармса, исходя как из анализа его текстов, так и из его литературного и артистического окружения. В первой главе диссертации, имеющей название «Заумная поэзия», Жаккар разбирает декларации середины 20-х годов А. Крученых и взгляды В. Хлебникова на заумный язык. Во второй («Цисфинитная логика») — останавливается на теоретических воззрениях К. Малевича, имевших огромное значение для Хармса в период его деятельности в Государственном институте художественной культуры (ГИНХУК). Третья глава («Чинари») в основном посвящена двум фигурам — философам и друзьям Хармса — Я. Друскину и Л. Липавскому; четвертая («От реального искусства к абсурду») — истории ОБЭРИУ и творческому кризису 30-х годов, приведшему к созданию литературы абсурда. Как пишет Жаккар, творчество Хармса можно рассматривать под двойным углом зрения: с одной стороны — в связи с философскими и формальными исканиями русского авангарда, с другой — с направлением европейского экзистенциализма. Почти половину объема книги занимают подробные примечания и тщательно составленная библиография. Здесь и архивные собрания, и издания Хармса на русском и иностранных языках, и многочисленная литература о Хармсе (библиография насчитывает 1011 наименований, под № 1012 по праву стоит «Всё» — «Vsë»). Венчают издание указатели имен и сочинений Хармса, встречающиеся в диссертации.

**Елизавета ПАСТЕРНАК.**

# SUMMARY

The issue begins with excerpts from a shorthand record of a round-table discussion organized by the «Gorbachev-fund», its subject being «The Russian Idea and the New Russian State System». Among the participants are some well-known publicists and politicians (V. Aksyuchits, V. Novodvorskaya, A. Tsipko, D. Dragunsky, S. Kurginyan and others).

Poetry section presents poems by Sergey Averintsev, Igor Shklyarevsky, Elena Kryukova and D. A. Prigov.

Pieces of Ivan Oganov's «Autumnal Song of Vine-Grower» are published. It is a voluminous epic based on Georgian mythology.

The genre of short story is represented by Boris Ekimov's «Enemy of the People», Asar Eppel's «On the Grass of the Yard» and Lyudmila Ulitskaya's «Daughter of Bukhara».

Historian Pyotr Cherkasov in «Comments» section reviews new books about life and assassination of the Russian emperor Nicolai II and his family, and Tatyana Nikolesku comments upon a treatise published in Italy upon the works of Russian poet Nicolai Kluyev.

«Publications and Reports» section contains letters of Marina Tsvetaeva to P. P. Suvchinsky.

In her article «New Music № 6» published in «The Art World» section professor Tatyana Cherednichenko reflects on the tendencies of XX century music.

Literary critic Alexander Archangelsky in his article «Prose of the World» examines interaction between historical truth and historical legends.

In his essay «Culture as a Factor of Freedom» Yuly Shreider makes a portrait of a noted Russian scientist Yury Lotman.

In «Brief Notes On Books» section Elena Oznobkina reviews new books on philosophy, Yury Kublanovsky writes about the poetry of Inna Lisnyanskaya, Yury Ryashentsev about that of Alexey Didurov and Irina Slyusareva about the works of Don-Aminado.

In our new section «Foreign Books About Russia» Elizaveta Pasternak briefly annotates new books of French authors united by the theme of Russian culture.

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**
**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.10.92 г. Подписано к печати 24.11.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108И16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 74 000 экз. Зак. 4120. Цена 47 р. (по подписке); розничная цена договорная.

При участии издательства "Известия Советов народных депутатов Российской Федерации". Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства "Известия Советов народных депутатов Российской Федерации". 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

8 НМ ЭО № 1

Индекс 70636

# *В 1993 году «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать:*

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты** (роман, книга вторая);
**АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ. Спички** (повесть);
**о. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Письмо духовному сыну о евразийстве;**
**ВЛАДИМИР ВОЛКОВ. Облава** (роман, перевод с французского);
**ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые...** (главы из воспоминаний);
**ДНЕВНИК ЙОЗЕФА ГЕББЕЛЬСА. 20-е ГОДЫ** (публикация и комментарии Елены Ржевской);
**ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ;**
**ИГОРЬ КЛЯМКИН. Общество и реформа;**
**АНТОН КОЗЛОВ. Государство и коррупция;**
**МИХАИЛ КУРАЕВ. Зеркало Монтачки** (повесть);
**А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА. К истокам «Тихого Дона»** (текстологическое исследование проблемы авторства романа);
**В. НЕПОМНЯЩИЙ. О Пушкине и русской культуре;**
**МАРИНА ПАЛЕЙ. Рейс** (рассказы);
**Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. В садах других возможностей** (рассказы);
**ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ. По роду их** (роман);
**АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. «Увлекая в дальнюю Америку...»** (пьесы и другие неизвестные материалы);
**АЛЕКСЕЙ ПУРИН. Набоков и Евтерпа** (эссе);
**ЭДУАРД ПУСТЫНИН. Хронология дождей** (рассказы);
**ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН. Заметки из зала Конституционного Суда;**
**С. М. СОЛОВЬЕВ. Воспоминания;**
**БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;**
**С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;**
**ВЛАДИМИР ШАРОВ. До и во время** (роман);
**ДОРА ШТУРМАН. Остановимо ли Красное Колесо?**
**АРИАДНА ЭФРОН. Письма. Воспоминания о матери;**
**М. В. ЮДИНА. Письма к друзьям;**
**ВИКТОР ЯРОШЕНКО. Бремя созидания** (год реформ);

а также новые произведения **Л. БЕЖИНА, А. БИТОВА, П. ВАЙЛЯ и А. ГЕНИСА, Г. ВЛАДИМОВА, Р. ГАЛЬЦЕВОЙ, З. ГАРЕЕВА, Д. ГРАНИНА, Н. ИЛЬИНОЙ, А. КИМА, Н. КОРЖАВИНА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, А. КУШНЕРА, С. ЛИПКИНА, И. ЛИСНЯНСКОЙ, В. МАКАНИНА, Ю. МАЛЕЦКОГО, Г. МЕДВЕДЕВА, Б. МОЖАЕВА, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, М. РОЩИНА, Д. РУБИНОЙ, Г. САПГИРА, М. ЧУДАКОВОЙ, Ю. ШРЕЙДЕРА** и других авторов.

Следите за нашими анонсами.

ISSN 0130—7673 Новый мир, 1993, № 1, 1 — 256.